ЕВГЕНИЙ ДОБРОВОЛЬСКИЙ

ЗЕЛЕНАЯ СТРЕЛА УДАЧИ

ЕВГЕНИЙ ДОБРОВОЛЬСКИЙ

ЗЕЛЕНАЯ СТРЕЛА УДАЧИ

РОМАН-ХРОНИКА

МОСКВА
ПРОФИЗДАТ
1979

83.3Р7
Д 56

КАРАНДЕЕВЫМ — ОТЦАМ И ДЕТЯМ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Д $\frac{70302-001}{081(02)-79}$ 106—79 4702010200

© Профиздат · 1979

БОГ БИЛЛИКЕН

Часть первая

1

Хроника семейства Кузяевых начинается в стародавние времена.

Все Кузяевы были людьми крестьянского сословия и плотно населяли собой Чубаровскую волость Боровского уезда досточтимой в истории славной Калужской губернии. Ныне области.

Деревня Сухоносово, откуда происходит кузяевский корень, лежит в ста километрах от белокаменной нашей столицы если ехать, не сворачивая, прямо по бывшей Старо-Калужской дороге, в тех самых местах, где «российское воинство под предводительством фельдмаршала Кутузова, укрепясь, спасло Россию и Европу» — как написано на чугунном памятнике, стоящем на возвышении среди сухоносовских полей и перелесков. Есть там и другая надпись, сообщающая, что «сей памятник воздвигнут на иждивение крестьян села Тарутина, получивших от графа С. П. Румянцева безмездную свободу». Тарутино и Сухоносово лежат рядышком.

В старинных документах значится, что упомянутый граф Румянцев в воспоминание событий 1812 года уволил 745 душ крестьян и дворовых в звание свободных хлебопашцев, а они за эту свободу обязывались заплатить за бывшего своего владельца его долг Санкт-Петербургскому опекунскому совету в размере, или, как тогда выражались,— в количестве 60 тысяч 600 рублей ассигнациями. Все происходило баш на баш и благородные воспоминания событий тут ни при чем, но только благодетеля своего крестьяне благодарили вслух, о всех его деяниях говорили с уважением, про себя же при этом думали как угодно, тем более, что графский долг выплачивали двадцать один год и «без всякого со стороны бывшего владельца вспомоществования».

Двоюродный дедушка Михаил Егорович, тряся седой головой, рассказывал Игорю Кузяеву на даче в Малаховке,

когда Игорь был еще совсем ребенком, что Кузяевы ходили на заработки в Москву, занимались гужевым промыслом, а в военное время воевали.

Игорь морщил лоб. На соседней даче заводили патефон, и знаменитый в те поры тенор Вадим Козин щемящим голосом просил отворить калитку, отворить и войти в тихий сад, словно тень... За лесом, за соснами в железном скрежете проносилась, мелькая на солнце, зеленая электричка. Про историю Игорю было неинтересно. Он весь был в будущем.

— Не забудь потемне-э-э-е наки-и-дку...— пел соседский патефон, а Игорь мечтал быть ворошиловским стрелком, орденоносцем и инженером-автомобилестроителем — вот ведь единым махом и не выговоришь — «автомоби-ле-строителем» и работать на автомобильном заводе имени Сталина, как отец строить грузовики ЗИС-5. Дедушку слушал он вполуха.

Когда-то давным-давно кто-то из кузяевских стариков ходил с Суворовым через Альпы, служил в драгунах и кавалергардах по конной части, в крепостной артиллерии, в егерях, в гренадерах были, а если имена тех Кузяевых и не сохранились в книгах и хрестоматиях, то это, по мнению дедушки, произошло исключительно по недоразумению.

Много войн на памяти Кузяевых, и эта хроника, чтоб дойти до наших дней, должна начаться с войны, с морского похода и сражения, развернувшегося далеко от родной калужской земли.

Утром 2 октября 1904 года русская эскадра, разделившись на четыре эшелона, начала сниматься с либавского рейда.

В два часа пополудни последний корабль вышел в море и занял свое место в походном ордере. Накануне был шторм. Балтийское море, еще не успокоившись, катило навстречу крупную зыбь. Низкое серое небо поливало мелким дождем броневые палубы, башни и надстройки. Ветер трепал мокрые брезенты на мостиках и рострах. Эскадра шла вперед, имея ход в десять узлов. Путь предстоял неблизкий: вокруг Африки на Дальний Восток, чтобы отомстить коварному врагу за «Варяга» и «Корейца» и прийти на помощь доблестным защитникам Порт-Артура.

На мачтах флагманского броненосца то и дело поднимались сигнальные флаги. Адмирал нервничал.

Он вообще был человеком нервным и вспыльчивым, являя собой тот тип военачальника, который в случае успеха считается большим оригиналом, а в случае поражения — самодуром.

Герой турецкой войны, георгиевский кавалер адмирал Зиновий Рожественский был высок ростом, красив и резок. Среди других он отличался несомненной честностью и строевой под-

тянутостью, что импонировало государю. «Есть! Так точно! Будет исполнено!» Как в сущности мало нужно, чтоб считаться талантливым флотоводцем!

Его величеству хотелось видеть в хмуром, бородатом адмирале командующего суворовского типа. Интеллигенты надоели. Реформы, предложения, особое мнение на каждый случай — это все не то. На кровавое дело надо посылать человека, пусть грубого, но несомненно храброго. И деятельного. Именно таким и видели в свете контр-адмирала Рожественского, уже в походе получившего второго орла на погон и почетный чин генерал-адъютанта, чтоб по возвращении с победой иметь счастье состоять при священной особе государя императора.

Однако на эскадре верховное мнение не разделяли. С первого же дня командующий напугал.

Широко расставив ноги, монументальный, он стоял на мостике флагманского «Князя Суворова» и, лихо сдвинув на затылок походную фуражку, страшным образом материл своих флагманов и командиров, что само по себе может и оригинально, но как-то недостойно. При нижних чинах к тому же.

Свежий ветер трепал его черные с проседью волосы, он сжимал огромные кулаки, и голос его гремел, как труба иерихонская.

Машинный квартирмейстер, по-пехотному — младший унтер-офицер Петр Кузяев, герой этой хроники, считал своего командующего нехорошим человеком.

Много позже, всякий раз, когда речь заходила о Рожественском, он извинялся, прикладывал руку к груди: «Я, конечно, кто, а он как возвышался... Командующий! Но фулюган. Одно слово, Иван Алексеевич, гопник!» Это он директору Ивану Алексеевичу Лихачеву рассказывал о своей службе и как особо запомнившийся пример приводил случай с флагманским доктором. Доктор тот пароль тихим голосом произнес ночью на ревельском рейде. Часовой еще раз крикнул: «Кто идет?» — и кляцнул затвором. Зато случившийся рядом адмирал выхватил из брючного кармана браунинг и выстрелил, и начал орать: «В башку целься! В башку ему!»

С одной стороны, все так: устав — дело святое, но зачем в игрушки-то играть, не дети.

— Гопник,— соглашался Лихачев и вспоминал случай из своей биографии, когда он командовал отрядом красногвардейцев и у них один винтовку дома забыл, жену навещал. Но это когда было... А тогда, в октябре 1904 года эскадра шла по Немецкому морю и черный, угольный дым низко стлался по волнам. Грозный адмирал нервничал.

Русский агент, обосновавшийся в Скандинавии, засыпал Главный морской штаб шифровками, из которых следовало, что японские миноносцы при попустительстве Англии проникли в Немецкое море и, базируясь на английские порты, могут

внезапно атаковать эскадру, а посему следует принять все меры предосторожности.

Первый раз боевую тревогу пробили в датских водах у мыса Скаген. С эскадренного броненосца «Наварин» донесли, что видят два воздушных шара.

Темнело. На палубах и срезах убрали вельботы, шлюпбалки, сняли тентовые и леерные стойки, чтоб артиллеристам лучше было целиться. Погасили ходовые огни. Но сигнал — «Ожидать атаки миноносцев сзади!» последовал только на следующий вечер, через сутки тревожного ожидания, когда отставшая от эскадры плавучая мастерская «Камчатка» донесла телеграфом, что ее атакуют японцы.

По всей эскадре барабанщики ударили дробь — атаку, затрубили горнисты, и тысячи матросских ног загрохотали по железным палубам. «Миноносцы! Миноносцы! Японские миноносцы!» Это было страшно и жутко до мистики. Откуда им взяться в этих водах у берегов Европы? А с другой стороны, разве не с атаки миноносцев началась гибель 1-й Тихоокеанской эскадры? Тогда без объявления войны японцы ворвались на рейд Порт-Артура...

Около полуночи впереди флагманского корабля прямо по курсу взвились три ракеты. Проходили Доггер-Банку, отмель в Немецком море.

Рожественский немедленно открыл боевое освещение и дал залп всей своей минной артиллерией.

В слепящем, голубом свете прожекторов запрыгали маленькие, юркие кораблики, несомненно, японские. Вон они куда забрались! Вот ведь заварили кашу.

Следом за флагманским начали стрельбу остальные корабли. «Миноносцы! Миноносцы...» Их было много. Целая флотилия широким фронтом шла на адмирала. Он скинул фуражку, орлиным взглядом впиваясь в картину боя. Он не вздрогнул, когда началась стрельба и не изменился в лице, когда рядом в боевой рубке кто-то охнул: «Мина! Мина, ваше превосходительство! Кажется, «Бородино» потопили...»

Весьма вероятно, что он был храбрым человеком. Но, увы, как этого мало, чтоб командовать эскадрой и распоряжаться судьбами тысяч людей. До конца своей жизни он верил, что был атакован японскими миноносцами, и переубедить его не представлялось возможным даже после того, как была создана международная комиссия по выяснению причин и компенсации убытков «Гульского инцидента»,— так назвали этот ночной бой, когда русская эскадра со всего хода врезалась в рыболовную флотилию, приписанную к Гульскому порту, приняв мирные траулеры, ведшие ночной промысел селедки, за вражеские миноносцы.

В ту международную комиссию комиссаром от России откомандировали адмирала Дубасова, тоже решительного муж-

чину, считавшегося наверху, в кругах близких к государю, как и Рожественский, грубоватым, но бесхитростным малым, настоящим воином без либерального миндальничанья. Эту фамилию надо запомнить. Дубасов...

...Эскадра спускалась к южным широтам. Давно был пройден Ла-Манш, и дуврские белые утесы проплыли с левого борта, прошли штормовой Бискайский залив. На этот раз он был тих и ласков.

Показались испанские берега. Ветер приносил на корабли запах сухой травы и мокрого пыльного камня. Было тихо и покойно, и если бы не приступы ярости, вдруг нападавшие на адмирала, и не дымы английских крейсеров, следовавших по пятам, плавание могло показаться безмятежным.

Английские крейсеры вели себя дерзко.

Они шли фронтом то впереди, то сзади в двух-трех кабельтовых. Когда эскадра догружалась углем, англичане обычно скрывались где-нибудь в соседней бухте. Сначала их было четыре, потом добавилось еще шесть, и тогда их действия приняли совершенно возмутительный характер. Они охватывали русские корабли полукругом и вроде бы конвоировали. Рожественский скрипел зубами и матерился в душу, в бога, в двенадцать апостолов поименно большим боцманским загибом. Команда спала, не раздеваясь. Орудия были заряжены и по ночам, ночь за полночь играли учебные тревоги. Боевую, пожарную, водяную... Адмирал не спал.

Наконец на траверзе зеленых Канарских островов, возникших в дымной синеве, как видение детства, как сказка, английские крейсеры ушли за горизонт, и только изредка вдали появлялись их тонкие мачты.

Слепило солнце, плескало южное море, 2-я Тихоокеанская эскадра двумя колоннами пересекла экватор, справа — «Князь Суворов», за ним броненосцы «Имп. Александр III», «Бородино», «Орел», «Ослябя», слева — плавмастерская «Камчатка», за ней транспорты «Анадырь», «Метеор», «Корея», «Малайя»... В хвосте строем клина шли, разрезая острыми форштевнями морскую гладь, крейсеры «Дмитрий Донской», «Адмирал Нахимов» и «Аврора», больше всех пострадавшая на Доггер-Банке. В ту ночь своими же снарядами на «Авроре» пробили дымовые трубы и фальшь-борт, тяжело ранив комендора и священника, кинувшегося по боевому расписанию крестом и божьим именем вдохновлять команду на борьбу с миноносцами антихриста.

Священник вскоре умер от потери крови, а раненого комендора отправили на белое госпитальное судно «Орел», которое, отстав от эскадры на целую милю, следовало во всем своем белом великолепии, с другой жизнью — с санитарами, с докторами, с градусниками и сестрами милосердия в шуршащих крахмальных платьях.

На редких стоянках офицеры пытались крутить амуры. Но за сестрами был строгий глаз. Больше получалось разговоров. Несомненный успех имел только сам адмирал.

По воскресеньям, а иногда и в будни на виду всей эскадры на флагманский броненосец адмиральским катером прибывала старшая сестра милосердия мадам Сиверс, по мнению Кузяева, женщина из себя видная и в статях. Она обедала у Рожественского. В рефрижераторном отделении студили шампанское.

Пройдя экватор и тропик Козерога, обогнули мыс Доброй Надежды, взяли курс на Мадагаскар. Там в бухте Носси-Бэ была назначена встреча с отрядом контр-адмирала Фалькерзама.

Носси-Бэ в переводе на русский значит «Большой Остров». Здесь город Хелльвиль, голубые горы, похожие на паруса, пальмы и запахи, каких на Руси у нас не бывает даже в самое разнотравье в июне, на сенокос.

Только-только отслужили Рождество. Дома мели метели, вовсю трещали рождественские лютые морозы, гудели церковные колокола, и в тихих лесах с лохматых елок крупчаткой падал сухой снег. На реках рубили проруби, ставили снежные кресты. А здесь в Носси-Бэ пылала несусветная жара, летали яркие птицы и бабочки с блюдце величиной. Худые, черные люди в узких лодках подплывали к самому борту броненосца, закидывали вверх курчавые головы, предлагали бананы, ананасы и другие неведомые фрукты, названия которым не знали даже господа офицеры.

Мадагаскар поразил Кузяева. Стоянку в Носси-Бэ он запомнил на всю жизнь. Да и как было не запомнить!

Первые три дня грузились углем. Свистали боцманские дудки. Палило солнце. По сходням поднимались потные матросы, взвалив на спину мешки с антрацитом. И лица и тела были в черной пыли. Уголь хрустел на зубах и под ногами в кубриках и коридорах. «Ходи веселей! — орало обалдевшее начальство.— Давай шевелись!» На флагманском корабле оркестр играл гвардейские марши, и раскаленные медные трубы сверкали, как на пожаре.

Наконец уголь загрузили. Сделали большую приборку. Все помещения окатили забортной водой, отдраили и отлопатили, корабли стояли готовые к дальнейшему плаванию, но адмирал, видимо, решил дать короткий отдых.

Однажды тихим утром машинный квартирмейстер Петр Кузяев сошел на берег. В белой форменке с синим воротником, в белых брюках он спрыгнул на стенку, и ему показалось, что земля упруго качнулась под ногой. Плескало море. Вокруг застыла сонная тишина.

Вдоль самого берега стояли навесы с угольными брикетами. Пахло разогретым антрацитом. Рядом помещалась тамож-

ня, и два таможенных чиновника под тентом пили воду со льдом.

Кузяев поправил бескозырку в белом чехле и неторопливо двинулся в город по аллее, усаженной косматыми пальмами, мимо белой губернаторской виллы, застывшей в зеленой тени, мимо кабачка «Кафе де Пари», где уже сидели офицеры с эскадры все в белых кителях, в пробковых шлемах и шумно разговаривали, звеня бокалами с холодным красным вином.

В тот же вечер он писал письмо в Калужскую губернию в деревню Сухоносово, пытаясь передать все свои впечатления.

«Добрый день или вечер. Здравствуйте, дорогие родители, отец Платон Андреевич и мамочка Аграфена Кондратьевна. Низкий поклон из дальней стороны.

Здравствуйте братья, Илья Платонович, Иван Платонович и Сергей, здравствуйте сестры Аннушка, Пелагея и Василиса Платоновна с детками и супругом Василием. Привет и слова сердечные всем сродственникам Кузяевым, в первую голову Петру Егоровичу, Михаилу Егоровичу и Васятке, как они там, дорогие наши, живут в Москве...» Далее Петр Платонович перечислял других своих родственников, чтоб ни у кого не было обиды. Эту часть письма пропускаем. Затем: «А земля здесь, на Мадагаскаре, чистый чернозем. Чего не воткнешь, все тебе растет. Бананы да ананасы едим, как репу. Картошки мало и дорога, а капусты, к примеру, вовсе и нету. Квашеной не знают. Тоскуем по щам. Капусту заготовлял нам Кронштадтский морской госпиталь, так вся вспухла от жары. Пять бочек за борт, одна — в дело. У вас сейчас морозы, лежит снег, а здесь теплынь. Скот ходит нагульный, гладкий, а роги разлетом, считай, в сажень, чудно́. Много трудов кладем в походе на подлого неприятеля с верой в победу, да и как оставить отечество в поругании, сами, небось, понимаете, чего натворили япошки...»

Последняя фраза наверняка написана для Платона Андреевича, большого патриота, воспитывавшего сына в высоких мыслях. Все Кузяевы, что служили в драгунах и кавалергардах по конной части за веру, царя и отечество, живот свой не щадили, и Петру Платоновичу наверняка хотелось показаться отцу.

Уже пал Порт-Артур, это знали и в Носси-Бэ и в Сухоносове. Задача 2-й Тихоокеанской эскадры усложнялась. Остатки русского флота на Востоке были затоплены на артурском рейде, и нельзя уже было надеяться ни на чью помощь. Только на самих себя, да еще с таким адмиралом. Но, может, Петр Платонович искренне верил в победу, кто скажет теперь. Наверное, так. Но только в Носси-Бэ вся эскадра писала письма. Писал сам адмирал, несколько строк из его письма приведем чуть позже, писали старшие офицеры и младшие. Пожелтевшие страницы тех писем ныне хранятся в архивах. За окном

проносятся машины. По весенним лужам катит троллейбус. Надо приложить усилие, чтоб перебраться в тот давно прошедший день с его давно прошедшими тревогами...

«Говорят, что мы скоро уходим во Владивосток. Неправда. Идти туда после падения Артура,— пишет жене капитан 1-го ранга Семенов, командир броненосца «Бородино»,— идти в том составе, что мы имеем, нельзя, бессмысленно: да мы, я в этом уверен, и не пойдем, даже соединившись с 3-м отрядом. После сдачи Мукдена, что принесли нам французские телеграммы, идти мы не можем; этого не должно быть, в противном случае это будет роковая ошибка».

«Адмирал, кажется, скоро совсем спятит,— пишет другой офицер, лейтенант Владимирский,— по ночам ему все чудится что атакуют миноносцы, а в обращении с подчиненными дошел до того, что одного капитана второго ранга схватил за шиворот. Вероятно, скоро начнет кусаться».

Писали не таясь: впереди была смерть со славою или без и плевать, если письма вздумают перлюстрировать для высшего начальства. Горе стране, вот так вот запросто пославших своих сыновей на верную гибель! Дома должны были знать всю правду. Всю целиком!

«Дорогой отец, если даст Бог, и мне удастся еще с Вами увидеться...» Выцветшие чернила и бумага от времени ломкая на сгибах. Это тоже из Носси-Бэ. «...я Вам порасскажу много такого, что Вы, вероятно, даже при самой пылкой фантазии себе представить не можете... Адмирал продолжает самодурствовать. Мы все уже давно разочаровались в нем и путного ничего от него не ждем. Это продукт современного режима, да еще сильно раздутый рекламой. Карьера его чисто случайного характера. Может быть, он хороший придворный, но как флотоводцу — грош ему цена». Это пишет младший минный офицер лейтенант Вырубов. Где могила того лейтенанта, на каком дне, нам неизвестно. Жить бы ему и жить молодому...

Прощались с родителями, с женами, с детьми, но внешне все шло по раз и навсегда заведенному порядку, а в душу, в нее ж не заглянешь, и каждое утро, едва легкий туман открывал берега гавани Носси-Бэ, за пять минут до восьми, на мачтах «Князя Суворова» взвивался сигнал: вахтенным начальникам приготовиться к подъему флага. Со всех кораблей в утренней тишине на все голоса неслось: «Караул! Горнисты! Барабанщики! Наверх! Команде наверх повахтенно... во фронт стоять... дать звонок в кают-компанию!»

Сыпались матросские каблуки, команды выстраивались на шкафутах повахтенно, господа офицеры — на правых шканцах, караул, горнисты и барабанщики — на левых. «Смир-на!.. Слушай... на кра-ул! На флаг!» И ровно в восемь мгновение в мгновение на всех русских кораблях раздавалось: — «Смир-на!

Флаг поднять!» Кормовые флаги с синим андреевским крестом медленно ползли к ноку гафелей.

Белые флаги с синим крестом... Белый цвет — символ незапятнанной чести, синий крест — символ веры и долга.

Команды стояли смирно. Винтовки вскидывались на караул. Все снимали фуражки, матросы и офицеры. Горнисты играли «поход», унтер-офицеры свистали в дудки, а баковые вахтенные отбивали восемь склянок. Бом, бом, бом...

Черные туземцы и таможенные чиновники с восторгом смотрели с берега. На балконе белой губернаторской виллы поднимали жалюзи. Да и как было не заглядеться на такую картину! Синее море. Синее небо. Эскадра на рейде и бравые матросы на палубах — артиллеристы, минеры, сигнальщики и офицеры при кортиках, при белых перчатках, выбритые, надушенные, подтянутые красавчики стоят один к одному с фуражками на согнутой руке. Мощь! Сила! И броненосцы новейшие, не только старье разное по закуткам смели. Русский флот вышел в мировой океан, и людей нашли, и офицеров своих воспитали, слава богу, с петровских времен по крохам собирали и школили. И вышколили. Но кому, кому в руки вложила Россия судьбу этого флота? Кто должен был вести его в бой?

Кто? И за что?

Французские газеты сообщали о беспорядках в Питере, о стачках в Москве, что Россия накануне революции, а господин адмирал, с утра появившись перед своим штабом, уходил и дожидался обеда и того времени, когда к нему поднимется мадам Сиверс, сидел без сюртука за письменным столом у себя в салоне и писал жене: «...что за безобразия творятся у вас в Петербурге и в весях Европейской России. Миндальничанье во время войны до добра не доведет. Это именно пора, в которую следует держать все в кулаках и кулаки сами — в полной готовности к действию, а у вас все головы потеряли и бобы разводят. Теперь именно надо войском все задушить и всем вольностям конец положить: запретить стачки самые благонамеренные и душить без милосердия главарей».

Легкий ветер шевелил черную бороду адмирала. В открытом иллюминаторе играло море. В гостиной денщик, обутый в мягкие шлепанцы, неслышно накрывал к обеду. Расставлял хрусталь, раскладывал столовое серебро с вензелями Кронштадтского морского собрания, бликующее солнечными зайчиками.

2

Представьте мое состояние, когда 19 июня 197* ровно в одиннадцать утра меня вызвали по начальству, но не к Ю. Пэ. и не к Вэ Дэ., а к Самому, который вел номер от 27-го и, как говорили, имел ряд конструктивных предложений.

— Рад вас видеть в добром здоровье,— сказал Сам, поднимаясь над столом, заваленным рукописями, гранками и мятыми полосами.— Присаживайтесь. Прошу, мой молодой друг. Как спали? Между прочим, вы прекрасно выглядите.

Сам одинаково широк в плечах и в бедрах, его тяжелое тело имеет вполне цилиндрическую форму, и темный костюм, пошитый хорошим портным, придает ему архитектурную законченность.

В кабинете пахло типографской краской и табаком. На стене висел портрет Ленина, на столе стояла фотография маленькой девочки с веселыми глазами, любимой внучки. Гудел вентилятор.

— Номер от 27-го посвящен рабочему классу. Мы начинаем большой разговор, а лично вы, Геннадий Сергеевич, поддержите нас тяжелой артиллерией, дав большой, может, даже полосный очерк о Московском автомобильном заводе имени Лихачева. Заслуженное предприятие, традиции там, история, одним словом,— любопытно.

— Но я никогда не писал о заводах,— возразил я, может быть, не так смело, как мне хотелось, но возразил.— Это тема другого отдела.

— Помилуйте и прекрасно! Прекрасно, потому что свежий взгляд всегда предпочтительней закостенелого, нехорошего, плохого, погрязшего в рутине. У меня нет надежд, что кто-то, кроме вас, может это сделать в нужном ключе. Кардинал Ришелье, например...

— В десять дней я не уложусь.

— Вот видите, это уже деловой разговор! Дадим одиннадцать. Соберете материал и отпишетесь.

Сам смотрел на меня тепло и ласково, и что бы он сказал еще неизвестно, потому что в кабинет заглянула секретарша Люда.

— Арнольд Евсеевич, вас к главному.

— Хорошо. Значит, Геннадий Сергеевич, мы договорились...

Кабинет главного редактора находится рядом, в том же коридоре, следующая дверь, а Арнольд Евсеевич — человек дисциплинированный и хорошо знающий нетерпеливый характер нашего начальника. Он кладет руку на мое плечо и незамедлительно, но совершенно без суеты выходит в коридор. На прощание он говорит мне несколько ободряющих слов и на этом, наверное, теряет темп, потому что вновь возникает Люда.

— Арнольд Евсеевич! Ну, вас же ждут!

— Да, да...— он тяжело расправляет плечи.— Передайте главному, что я уже... в пути.

Я вернулся к себе, закурил и, вынув из двери ключ, чтоб никто случаем не побеспокоил, начал размышлять о том, что

же можно написать про автомобильный завод, где, к слову, я никогда раньше не был и никого там не знал.

Десять дней для газетного очерка срок оптимальный. Это не много и не мало, это только-только.

Когда длинноногие газетные мальчики говорят, что кто-то за вечер взял да и написал сколько-то там страниц сразу в номер и хорошо получилось, я не верю.

Вероятно, такое, в общем-то, возможно, почему нет, но у меня так никогда не получалось. Мне надо начинать издали, не с наскока, а поэтому вечером из редакции я поехал в Ленинскую библиотеку, долго искал место на стоянке и по широкой мраморной лестнице под бронзовыми сияющими люстрами поднялся в свой научный зал, где библиограф Сонечка, старинная моя знакомая — мы уже много лет друг друга знаем,— быстренько начала подбирать материалы по истории Московского автомобильного завода.

За то время, пока она подбирала, я успел спуститься в подвальный этаж в библиотечную столовую, пропахшую диетической пищей — разопрелой манной кашей и протертыми супами, быстро поужинать, после этого из темной курилки, где в густом табачном дыму натужно, как в шахте, выл вентилятор, я позвонил домой, чтоб сказать жене: «Я сегодня поздно. Я в библиотеке».

— Тебе весело? — спросила она зловеще.

— Очень остроумно! Я тебе говорю — я в библиотеке. Срочное дело.— И тут я вспомнил, что вечером мы куда-то собирались... Не то в кино, не то в гости...

Жена замолчала. Наверное, до нее донесся гул вентилятора, и легко было решить, что я звоню с улицы, стою в телефонной будке с разбитым стеклом, рядом присмиревшие, чтоб их слышно не было, мои дружки. А мимо проносится автотранспорт, весь в вечерних огнях и в шуршанье шин. Нам весело. Жена не поверила, что вдруг появились срочные дела и повесила трубку.

Я поднялся наверх, прошел вдоль бесконечного генерального каталога. Под ногами скрипели рассохшиеся дубовые паркетины.

Потом до самого закрытия я сидел в Ленинской библиотеке. Горела лампа под стеклянным зеленым колпаком. Шуршали страницы. Кто-то глухо кашлял. И по ковровой дорожке в проходе справа от меня раздавались приглушенные шаги...

В тот первый вечер я узнал, что завод заложили какие-то Рябушинские, московские ухари, миллионщики и «спортсмэны». Так писалось тогда это слово — «спортсмэн». Первый директор, господин инженер, ездил на автомобиле марки «Протос», но предпочитал лошадку. Возил его и Рябушинских шофер по фамилии Кузяев, который одновременно был и директорским кучером. Фамилия Кузяев мне запомнилась вначале,

может быть, только по звучанию. Мягко звучит, ласково — Кузяев.

Потом был второй вечер тоже в библиотеке и подшивка заводской многотиражки «Вагранка» за 29-й год, и там под фотографией лобастого паренька в темной косоворотке с двумя белыми пуговками на шее я прочитал: «Секретарь комсомольской ячейки отдела шасси — лучший молодой ударник Степа Кузяев. На смотре молодых ударников ему присуждена первая премия».

Опять Кузяев! Не родственник ли он того шофера, который возил Рябушинских? Если сын, то вот сюжет и вроде есть где повернуться: отец миллионщиков возил, а его Степа лучший ударник! Какой журналист такое пропустит. Если ж просто однофамильцы, опять получается интересно и вполне возможен какой-то ход. Уже легче, уже одна ниточка есть, решил я и успокоил себя — все будет нормально. Ведь что такое профессионализм и в журналистике тоже? Профессионализм — это возможность не опускаться ниже определенного уровня. Выше можно. Сколько угодно. Это взлет. А ниже нельзя. Не получится.

Пока все шло спокойно, или, по крайней мере, привычно, так точнее. Но в какой-то момент время накрыло меня, я почувствовал дыхание истории, и вдруг вполне просто и вполне буднично начались со мной тихие чудеса.

Был третий день из тех одиннадцати. Я вошел в кабинет заместителя генерального директора объединения «АвтоЗИЛ». Вошел в обычный современный кабинет, где по стенам деревянные полированные панели, у окна боком стоит широкий письменный стол, рядом — диспетчерский пульт с белыми, красными пластмассовыми кнопками, с цветными лампочками. Навстречу поднялся высокий седой человек, похожий на того молодого ударника из «Вагранки», протянул руку: «Кузяев Степан Петрович». И тогда мне захотелось совершенно несбыточного. Я нырнул. Как в прорубь зимой. Представьте, сердце вот-вот выскочит. Вы прыгаете вниз. А с набережной смотрят на вас любопытные москвичи и гости столицы. Все в шубах.

— Извините, Степан Петрович, ваш папа, я не знаю, я в некотором затруднении, случайно не был шофером... у Рябушинского?

Надо отметить реакцию присутствующих. В кабинете было еще несколько товарищей. Я спросил, и все они с любопытством посмотрели на меня, потом — на Степана Петровича. Вот чудак, подумали все разом, неужели отец Степана Петровича, вполне реальный человек, Петром звали, раз сын Петрович, возил какого-то там Рябушинского.

Для всех этих молодых инженеров, окончивших советские наши втузы, мой вопрос показался курьезным. Глупости какие! Рябушинский. Кареты. Цыганский хор у Яра. Керосино-

вые заляпанные фонари над булыжной московской мостовой — откуда? Зеленая тень Садовых, цокот копыт на Неглинной и тихие чаепития в субботние банные вечера. Кино все это! Поди проверь! Литература. Художественная. Писательские вымыслы. Понапридумают люди, им гонорар за это платят. Инженеры усмехались снисходительно.

Но Степан Петрович кивнул.

— Да,— сказал глухо.— Мой отец Петр Платонович возил Рябушинских. Было такое,— и засмеялся.— И скрыл бы, да не могу. Я подробностей, правда, уж не знаю, многое порастерялось, надо наших стариков кузяевских порасспросить. Но факт такой совершенно точно имел место.

...Через час или через полчаса, проехав вдоль всего завода, мы вышли из машины на огромном пустыре, где начиналось строительство нового автосборочного корпуса.

День переваливал на вторую половину, и в жаркой послеобеденной тишине ветер гнал к нам красную кирпичную пыль. Пахло солояркой, горелыми электродами, известью. Вдалеке, в самом конце пустыря, развороченного землеройными механизмами, над заводским забором возникал, будто в тумане, ступенчатый контур города — дома, разные по высоте, по-разному освещенные плоскости стен, крыши, частокол коллективных телевизионных антенн. То ли попали мы на пересменок, то ли день на стройке выдался выходной, мне запомнилось безлюдье. Безлюдье и абсолютная тишина, хотя как раз тишины быть-то и не могло: рядом работал завод, готовые грузовики шли на сбыт, и козловые краны безмятежные, будто на пристани, грузили их на железнодорожные платформы, поднимая за шкирку, как щенят.

Возле полуразрушенного кирпичного дома, одиноко торчавшего посреди пустыря, в пыли и в жаре валялись разбитые стекла. Стекла должны были блестеть на солнце и чуть позванивать. Иначе не запомнились бы. А дом был будто с военной фотографии, и, может, поэтому новый мой знакомый вспомнил войну и того человека, о котором все порывался рассказать еще в машине.

— ...Заспорил я с ним, Геннадий Сергеевич. Эдакий московский гусь приехал! Столичная эдакая штучка. Штукарь! Слово за слово, он кулаком по столу, я кулаком. Матерей вспомнили. Но я-то главней! У меня-то полномочия! Время военное. «Молчать! Извольте выполнить все, что вам приказано!» Тут он понял, взрослый человек, что я еще мальчишка, что мне командовать нравится. Первый раз я в таком качестве, дорвался. А я подумал: ничего, дело сделаем, победителей не судят, соберемся друзьями, и я при всех свою ошибку признаю, скажу, он был прав. Но вот не так получилось! Утром сирена воет, душу скребет. Воздушная тревога. В самый раз! Налетели «юнкерсы», штук их сорок. Бомбы рвутся, зенитки

грохают, ад кромешный, и, верите, скажу вам, у меня сердце ёкнуло: его лицо вспомнилось, обиженное. Вдруг с ним что? Ведь он же по большому счету прав был! И так мне стыдно стало за вчерашнее, за свое мальчишество. Такая, понимаете ли, опасность, жизнь на кону, а я в игрушки играю: приехал начальник. Гимнастерка на мне коверкотовая, галифе из синего бостона, костюм по тем временам руководящий...

Я вежливо наклонил голову. Я понял, мне рассказывают сокровенное.

— В два часа, как дали отбой, диспетчер их горьковский сообщает, что накрыли его бомбой. Из укрытия вышел! Я подумал тогда, что он в обиде на меня смерть искал и простить себе не могу. Вот до сих пор как вспомню... Нельзя в такие штучки играть!

— Ну, знаете ли, это не от вас зависело...

— Причем тут от меня или не от меня? Я о другом. Вот завод перед нами и это не железки, не мертвые камни, то да сё, завод — судьба, косточки у него живые, жилочки, с них-то и начинать. Завод — люди.

— Зачем же вину на себя...

— Дорого нам жизненный опыт достается! Ох, дорого, Геннадий Сергеевич. Вот к чему я веду. Кровью за него плачено, пóтом полито, слезами солеными, криком до хрипу...

Я попробовал высказать свое мнение, говорил что-то вполне разумное молодое, энергичное, но все мои слова шли мимо, не запоминаясь, как ветер, гнавший кирпичную пыль, как тишина, которой не было, как все те горячие запахи застывшей стройки, посреди которой мы стояли на груде серого щебня, будто на постаменте. Издали точь-в-точь скульптурная группа.

Кузяев снял черную тяжелую кепку, большой разлапистой рукой пригладил седой чуб. Я спросил его, почему он носит такой головной убор, жарко летом, да и ничего себе аэродромчик!

— Привык,— ответил он разглядывая свою кепку.— Раньше как-то не принято было, чтоб рабочий человек в шляпе. С какой стати? Не буржуйство даже, нет, а не носили. Привычка — вторая натура, до нас сказано. Да и Лихачев Иван Алексеевич, директор наш, бывало только кепи признавал. А вот мой Игорь Степанович, третье поколение кузяевское, тот, видишь, в шляпе. Не может иначе. Весьма элегантно. Так? Вы с ним, к слову, побеседуйте насчет окружающей среды и того, с каким знаком в нашу жизнь автомобиль вошел, с плюсом или с минусом,— все знает!

Мы стояли в центре Шестого двора. Все это разрытое пространство называлось Шестым двором, хотя ни Первого, ни Второго, ни Десятого дворов на заводе нет и никогда не было.

Есть разные предположения о том, как и почему возникло это название. Каждый отстаивает свое. Кузяев считает, что

все пошло с легкой руки Ивана Алексеевича Лихачева, поскольку в родной его деревне Озерёнцы на Тульщине, где мерили все пудами, саженями и дюжинами, Шестым двором именовали самую глухую даль за туманной и белой по утрам околицей. Будто на краю света за тридевять земель лежал тот затерянный Шестой двор.

— Это ж черт знает, как далеко было. Мы сюда на это, ну, на пикник, хаживали. Гармошку берем, комсомолок своих и — «Чемберлен, старый хрен, нам грозит, паразит...» Сколько Чемберлену было-то? Вот. А теперь сам старый хрен. А?

Когда-то здесь была роща. Шумели на ветру корабельные сосны. Потом была заводская свалка. На Шестой двор свозили металлолом, стружку, битые кирпичи. Казалось, заводские корпуса не дойдут до этих рубежей, да и нужен он на заводе, в большом сложном хозяйстве, вроде как чулан, чуланчик, если «свалка» в эпоху НТР не подходящее слово. Но когда стало заводу тесно, со всех сторон окружила его Большая Москва, так что никуда не двинешься, вспомнили про Шестой двор. Вот он — он!

— Как считаешь, Сеня,— Кузяев обернулся к шоферу,— старые мы с тобой птицы, пора нам улетать. На юг. На пензию...

— Да ведь это как посмотреть,— заволновался шофер, до того на моей памяти не проронивший ни слова. Он сидел в машине, свесив ноги на сторону.— У каждого времени, Степан Петрович, свой взгляд.

Семен Ильич снял очки. На правой руке у него на каждом пальце по букве — «С-Е-Н-Я», а на левой — «К-А-Т-Я», это когда он за хозяйкой своей ухаживал, в далекие тридцатые годы, жил за Серпуховской заставой на валу большой мастер живых картин, кулачный боец Федор Кириллович Чичков. Он Семену Ильичу еще и цыганку обещал на грудь положить. Цыганку и малый мужской набор: бутылку, рюмку, колоду карт и надпись: «Вот что нас губит!» Но большую цену ломил за работу.

— Нет, старые мы с тобой птицы и нечего хорохориться. Вот построим корпус и на пензию! Шабаш. На пензию...

— Слова.

— Нет, Сеня, отнюдь. Ты меня знаешь. Не первый год, а?

— Вот потому и возражаю. Сказки это. Сказки.

Справа на краю котлована стоял желтый экскаватор, от него, как круги по воде, так же осязаемо плыли в разогретом воздухе запахи горячего металла и дизельного топлива.

— Деревенские мы. Ведь вот уж сколько лет прошло, а на землю смотрю, не как на грунт. Грунт что? Земля в сфере инженерной деятельности. Земная поверхность даже... А я на грунт — как на пашню, как на зябь. Гляжу, и мысль сразу:

чего здесь вырасти может? Или вот жара, а я думаю не ко времени. Как бы не засушило. У меня мысль возникает порой, на пенсию уйду, сразу к себе в Комарево подамся. Или в Сухоносово.

— Ой, Степан Петрович, вам бы себя послушать! Вы, как чем недовольны, так сразу и вспоминаете, что деревенский. Давно это было! Ну, какой из вас сельский житель! — возмутился Семен Ильич. Он не знал, почему разговор принял такое направление, какие были на то причины и обстоятельства.— Ну, на рыбалку там, ну, в охотничье хозяйство на кабанов, пострелять их в свободное от работы время, а жить-то в сельской местности отвыкли ведь...

— Кто где родился, тот там и пригодился. Построим корпус и до свиданьица!

Семен Ильич хмыкнул, вытер пот со лба, оттянув рубашку, подул себе на грудь. «Парниковый эффект»,— пояснил, имея в виду и жару, и пыль, и раскаленное бесцветное небо.

— Я таких погод не помню. И в деревне вас не представляю.

— А ты Рябушинских помнишь? Завод наш начинали. Батька мой у них шоферил!

— Поди ж ты! — Семен Ильич всплеснул руками.— Я ж вашего Петра Платоновича преотлично помню. А Рябушинские, они потом сбежали? В Париж?

— Нет, в Ленинград.

— Шутите?

— Смеюсь, как же. Там их только и ждали. В Ленинграде. На Выборгской стороне, а?

— Фамилия знакомая. Бывало у матери пацаном гривенник на кинематограф второй на неделе просишь, она говорит: «Да что я тебе, Рябушинский что ли?» Богатый был. Ясно, богатый.

— Побогаче нас.

— А вот это как посмотреть...— Семен Ильич многозначительно покачал головой.

Вечером Степан Петрович пригласил меня к себе, и разговор наш вернулся к тому, о чем мы говорили на Шестом дворе.

Жена Степана Петровича уехала на дачу, сын еще утром предупредил, что пойдет в университет культуры, там у него лекция по экономике. В квартире было пусто и тихо.

Мы пили чай с пряниками и пастилой. Это Степан Петрович успел купить внизу в булочной. Он снял с серванта две хрустальные вазочки, разложил все аккуратным манером и пальцем, пальцем еще потыкал уже на столе, чтоб все лежало ровно, не из кульков же гостя угощать в самом деле. Включил телевизор, но только изображение. Без звука. Включил по инерции.

Мы сидели в большой комнате. Ветер шевелил тюлевую занавеску на балконной двери, и синий кинескопный свет дрожал на стене, крашенной «под шелк».

Это уже совсем другое время. Черные лимузины «ЗИМ» у ярко освещенного подъезда гостиницы «Москва», оперетта «Трембита», стихи Щипачева на школьных вечерах: «Любовь не вздохи на скамейке и не прогулки при луне...» — и вот стены «под шелк». Это все из тех лет.

Моя мать искала хорошего мастера, чтоб так отделать одну из двух наших комнат в огромной коммунальной квартире на Кировской в бывшем доме страхового общества «Россия». Мы ездили с ней куда-то в Останкино, ни телебашни, ни многоэтажных домов там не было. Помню, тот мастер жил в бараке. Он вышел к нам в длинный общественный коридор, пропахший горелым маслом и жареной рыбой, в домашних сатиновых шароварах и разговаривал лениво и снисходительно.

— Крашено под шелк,— сказал я.

— Мне такая отделка нравится,— сказал Кузяев, улыбкой награждая мою осведомленность.

— Старомодно, пожалуй, но капитально.

— Нарядно,— не согласился он.

В комнате висели две картины, две репродукции в рамках из картона под бронзу, на одной расположились на привале три перовских охотника, на второй катил в устрашающем неистовстве девятый вал.

Мое внимание привлекла фотография. Чуть ниже она висела под картинами. Там был мокрый перрон, пассажирский вагон, какой можно увидеть теперь только в кино или вот на фотографиях, на ступеньках застыл проводник в фуражке и с флажком, а ниже стояли четверо улыбающихся парней и девушка в белом пуховом берете, сдвинутом на бок. Она тоже смотрела в объектив, как парни и проводник с флажком, и тоже улыбалась, но улыбка у нее была растерянная и грустная.

Я спросил, кто это такие и по какому случаю сделан снимок, но Степан Петрович не расслышал моего вопроса.

В дубовом кузяевском буфете на самой нижней полке за сервизной супницей, купленной в сорок шестом году и потому именуемой «репарационной» (к слову, ею никогда не пользовались), лежал старый кожаный портфель. Степан Петрович когда-то бегал с ним в техникум. В портфеле лежат газетные вырезки, грамоты, красные орденские коробки, перехваченные аптекарскими резинками. Номер «Вагранки» с фотографией паренька в темной косоворотке тоже был там.

Старый портфель лег передо мной на плюшевую скатерть, и в шелесте пожелтевших страниц, в беззвучном мелькании кинокадров программы «Время» рядом в голубой кинескопной глубине, в шуршании автомобильных шин за приоткрытой

балконной дверью пожилой человек Степан Петрович Кузяев начал рассказывать свою жизнь. В тот тихий вечер я первый раз поймал себя на том, что надо писать книгу, и поверил вдруг, что напишу такую книгу, не изменив ни одного факта и ни одной даты. Да и как можно что-то менять! Как можно сочинять человека, его судьбу и жизнь, ведь биография каждого из нас — сколько раз я говорил об этом друзьям! — зависит от невыдуманных мелочей, на которые порой не обращаешь внимания. От имени, как оно звучит; от цвета глаз, от названия улицы, на которой жил. И все гороскопы не просто наивная пустая блажь, тут еще нужно очень и очень разобраться, заявлял я в запальчивости. Кто знает, как влияют фазы луны на формирование спиралей ДНК, носительницы нашей наследственности? Ведь влияет же луна на океанские приливы и отливы... Стоит ли удивляться, что у людей, родившихся в одно время года, есть общие черты характера? В апреле — одни, в августе — другие.. Может, это от климата зависит, может, от солнечных бурь или иных космических событий, периодически повторяющихся?

Внизу возле лифта целовались молодые люди и не слышали моих шагов. Я вежливо кашлянул и бочком, бочком протиснулся мимо.

Мой «Жигуленок» стоял у подъезда под фонарем и лоснился, в темноте похожий на маленького слоненка, наигравшегося за день и прикорнувшего отдохнуть.

Я выехал на Автозаводскую. Слева осталась станция метро, давно уже закрытая. Там, над табачными киосками горели ночные огни и расплывались в лужах возле автоматов для продажи газированной воды. Затем слева же потянулись стеклянные корпуса автозавода, я проехал мимо памятника Лихачеву у второй проходной, обогнал караван поливальных машин. Меня обдало тугой струей, пришлось включить дворники.

Нет, я не собирался ничего сочинять! Теоретическую базу окончательно я подвел въезжая на Автозаводский мост. На траверзе горящего в ночи прозрачного насквозь «Универсама» я понял, что вот она открывается, великая истина: мне и в самом деле становится очевидно, что писать можно лишь о том, что имело место на самом деле. Только так. И пусть сами события, факты и фактики говорят за себя. И мне было легко в ту ночь. Крылато мне было, и творческая моя жизнь в повседневном стрекоте пишущей машинки и славе читательских конференций открывалась передо мной, залитая асфальтом, гладко укатанная троллейбусами, автобусами, расчерченная белой дорожной разметкой на три полосы — налево, направо и прямо под знак: «Начало главной дороги».

Попробуй придумай такое в чистой беллетристике, рассуждал я, сам удивляясь своей удаче: отец возил Рябушинского, а сын стал заместителем генерального директора и не

где-нибудь, а на том же заводе! Скажут: натянуто, наивная символика какая-то, скажут, и улыбочки будут кислые, вот ведь фантазер какой, зачем ему это понадобилось. Но что, если сама жизнь строит сюжет. Катит по Москве купец первой гильдии Рябушинский, он откинулся на мягкие подушки сиденья. Мелькают лужи и фонари. Ночь. А за рулем сидит дядечка в кожаной шоферской куртке с усами вразлет. Катит автомобиль, и оба седока не знают, участниками каких событий сделает их жизнь.

У Серпуховской заставы, где жил когда-то кулачный боец Чичков, пришлось долго ждать зеленой стрелки, чтоб повернуть на Мытную. Ночной регулировщик, прислонившись к своему желтому мотоциклу, с интересом наблюдал за моим долготерпением. Не было ни встречных, ни попутных. Я подумал о девушке в белом берете с фотографии. Кто она такая?

Наконец, стрелка зажглась, притормаживая, я проехал трамвайные пути, у наглухо закрытого Даниловского рынка включил ближний свет: Мытная лежала передо мной темная до конца, только где-то далеко-далеко мигали зеленые огоньки запоздавшего троллейбуса.

Было тихо и ветрено, я рулил себе и рулил, и представлял, как утром явившись в редакцию, в полукруглом холле на четвертом этаже встречу старичка Марусина, внештатного нашего редакционного консультанта по всем историческим вопросам.

В холле собирались газетные посетители. Положительные герои, сутяги, правдоискатели, кого там только не было! Полярные капитаны, штурманы ГВФ, отставные жокеи, пенсионеры-краеведы, шагавшие по местам боевой, трудовой и революционной славы. Сиживал там и Марусин, маленький, сухонький старичок в шевиотовом костюмчике, бывший доцент педагогического института. Он курил «Приму», положив мятую красную пачку перед собой на стол.

«Доброе утро,— скажет он, вежливым кивком предлагая мне сесть рядом.— Над чем трудитесь? Чем порадуете в ближайшее время годовых подписчиков уважаемого вашего печатного органа?». Я церемонно поклонюсь. «Творческий застой» — «Ай, яй, яй... Какая невосполнимая потеря для родной функциональной журналистики...» Но если Марусин, как обычно, спросит, чем в данный момент мог бы быть полезен, нужно ответить, решил я: нужна машина времени... «Машина времени? Господи, какие пустяки... И это всего лишь...— обрадуется старичок и заерзает, задергается весь в лукавом восторге и в нестерпимом желании показать, что он ценит юмор и оценил шутку.— Смею спросить: с какого момента желаете начать круиз?»

На Смоленской у светофора слева от меня остановился таксист, наклонившись на сиденье, опустил стекло: «Парень,—

попросил,— закурить дашь?» Я протянул ему сигарету. На мокром асфальте расплывались белые огни подфарников. От Бородинского моста снизу из темноты летел холодный ветер, и бетонная глыба гостиницы «Белград» казалась ледяной.

Я думал о завтрашнем дне, о том, с какого года начнется мое путешествие в историю. «С девятьсот пятого»,— скажу я старичку Марусину. «С девятьсот пятого...— Он вскинет на меня серьезный взгляд.— С девятьсот пятого»,— повторит так, будто внизу у редакционного подъезда среди других автомобилей стоит внешне нечто подобное, но по существу совершенно иное,— агрегат, именуемый машиной времени, и теперь он прикидывает, отправиться ли ему вместе со мной незамедлительно или сначала все-таки забежать на Центральный рынок, купить творога и еще — в кулинарию.

Наверное, это и называется смятением. В тот вечер я находился в смятении, а то с чего бы гнать мне мой автомобиль, мой зеленый ВАЗ-2101 по ночной Москве, думать взрослому человеку о разных фантастических аппаратах, как мальчишке, и сочинять разговор со старичком Марусиным, который давно уже принял легкое снотворное и спал в своей теплой постельке и видел тихие сны.

3

Сразу после пасхи, в начале Фоминой недели в Москву приехал отставной студент Дмитрий Дмитриевич Бондарев, Митя.

В узкой поношенной железнодорожной шинельке, в суконном теплом картузике, с пледом через плечо он прошел вдоль поезда, мимо пыльных вагонов, мимо пышущего жаром локомотива, сгибаясь под тяжестью двух тяжелых чемоданов, остановился у выхода в город. Его никто не встречал.

Был яркий весенний день. На привокзальной площади, сколько хватало глаз, колыхалась и шумела голосистая толпа. Кричали извозчики, зазывали седоков. Торговали теплыми сайками, квасом, котлетами, цветами. Букетиками из лиловых подснежников, перевязанными суровой ниткой. «Фиялки! Фиялки! Купите фиялки!..» На солнце горели церковные купола, окна, лужи, все казалось золотым, ярким, звонким, так что смотреть невыносимо, и смешно, и радостно.

Митя с улыбкой оглянулся по сторонам, вытянул из кармана плоский черепаховый портсигар. Подскочивший носильщик поинтересовался, не угодно ли барину поднесть чемоданы. Митя отказался.

Его никто не встречал, хотя несомненно должны были встретить. Перед отъездом он отбил телеграмму и получил ответ, что его ждут.

Солнце медленно скатывалось к вечеру, но ничего вечернего ни в освещении, ни в настроении толпы еще не чувствовалось. В московском воздухе пахло свежим хлебом и лошадьми. Солнечно было. И бодро.

Митя стоял, прислонившись к фонарному столбу, курил папироску. Папироска была дешевенькая, 6 копеек —20 штук, называлась «Трезвон», ну да Митя в те поры был непривередлив. Большим джентльменом и ценителем комфорта он станет позже, а тогда, накурившись, он купил у разносчика пирожок с ливером (господи, бог ты мой!), потом еще один — с капустой (час от часу не легче!) и снова закурил, это уже от нечего делать, потому что хуже того нет: ждать и догонять.

Он ждал. Он был уверен, что его встретят.

«Фиялки! Фиялки! Фиялки!» — кричали рядом.

Конечно, его должны встретить, а то бы он сразу же нанял извозчика и доехал бы до Тверской заставы, где в меблированных комнатах «Смоленск» — плата за проживание от 75 копеек посуточно — проживал великий человек, будущая гордость России, авиатор, спортсмен и красавец Кирюшка Мансуров.

Время тянулось медленно. Солнце грело плечи и спину, а ноги и руки стыли. Прошло часа полтора, никак не меньше, прежде чем странный звук заставил Митю насторожиться и вытянуть шею, вглядываясь вдаль.

Сквозь людские голоса, весеннее шлепанье и хляпанье, сквозь мокрое цоканье копыт вдруг донесся до него шум работающего автомобильного мотора, и этот шум сразу же внес в уличную жизнь четкое и упорядоченное начало.

Со стороны Москвы-реки, с раскисшей набережной яростно катил к вокзалу ярко-красный автомобиль.

Кирюшка в прорезиненном «параплюе», в шлеме и в перчатках с крагами сидел за шофера и, крепко вцепившись в деревянный руль, гнал к вокзалу. Толпа шарахалась в стороны.

Где-то грохнулся оземь тяжелый ящик, заржала лошадь, засвистал было городовой, но все это не имело уже никакого значения. Автомобиль шикарно подкатывал к ступенькам у главных вокзальных дверей.

— Митька! — издали заорал Кирюшка.— Здорово, сибирский житель, паровозная твоя душа!

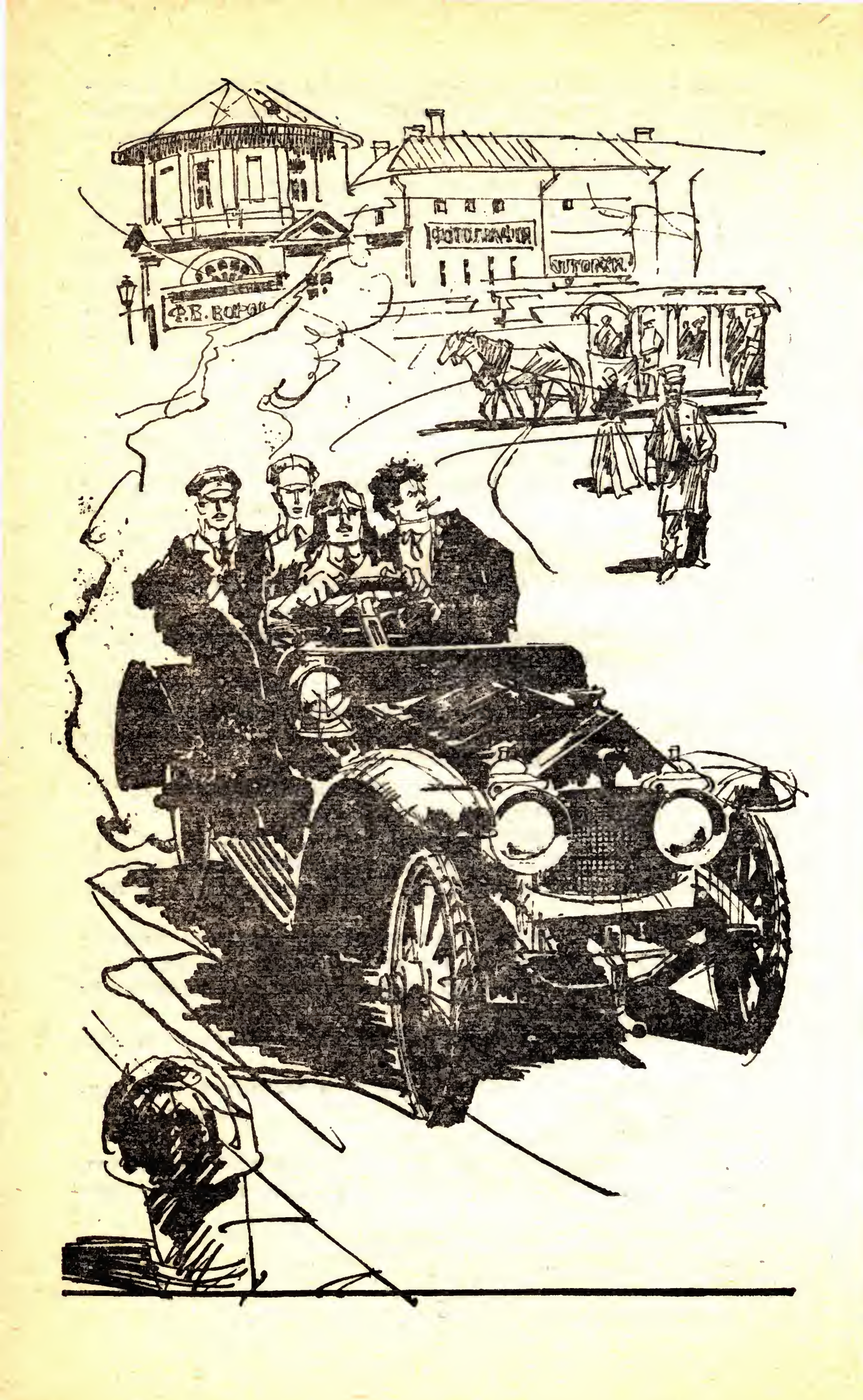
Он спрыгнул на мостовую и, широко раскинув руки, путаясь в «параплюе», кинулся к Мите.

Обнялись, расцеловались.

— Ну, ты хорош, Кирюшка, я уж тут решительно замерз, и путейный жандарм смотрит, чего стою. Того и гляди чемоданы начнет проверять.

— Пускай его! Главное, встретили!

— Лучше поздно...


ФОТОГРАФИЯ

— Какой поздно? Зато прогресс! В двадцатом веке живем! Вот познакомься — господа инженеры,— энергичным жестом Кирюшка указал на двух молодых людей, восседавших на заднем сиденье красного автомобиля.— Потеснитесь, ребята. А чемоданищи у тебя тяжеленные. Золото, что ли, привез? Давай залазь.

Митя грохнулся на жесткую скамейку, обтянутую холодной кожей. Ребята потеснились и поулыбались для начала знакомства, как того требует приличие. «Небось, Мансуров наговорил им про меня с три короба»,— подумал Митя и, откинувшись, поправил свой картуз, чтоб не слетел при автомобильной-то езде.

— Нам повезло, что мы застали вас на месте,— проговорил один из инженеров.

— У нас авто не заводился. Я предлагал взять лихача, но Мансуров ваш уперся и ни в какую...— добавил второй и поправил новенькую инженерную фуражку с синим бархатным околышем и двумя скрещенными молоточками над лакированным козырьком.

Оба инженера выглядели до неприличия молодо. Одного звали Василием Ивановичем Строгановым, другого — Сергеем Осиповичем Макаровским. Но в первый момент Митя ни имен, ни фамилий, ничего не запомнил.

Мансуров, взобравшись на шоферское место, нажал на акселератор, мотор принял обороты, загудел, и авто, рывком взяв с места, подпрыгивая, покатился.

Описали по площади широкую дугу, и дугой же поплыли купола, окна, весенние лужи. Со всех сторон ударили московские ветры. Запомнилась скорость, тряска, запах газолина, и черная старушка на углу стояла, крестилась, старая: что еще за наваждение такое, антихристов снаряд катит!

Выскочили на Садовую. Набрали скорость и через каких-нибудь полчаса ехали уже по Тверской, обгоняя желтые с красным трамваи и рессорных лихачей на дутых шинах. У заставы свернули на Брестскую, а там было рукой подать до меблированных комнат, именуемых «Смоленск».

Ворота во двор стояли открытые. Не сбавляя скорости, Кирюшка круто повернул и, ворвавшись во двор, осадил машину возле экипажного сарая.

— Приехали, ваше благородие! Вылазьте.

— Ты настоящий шофер, Кирилл! Я такой езды не видывал, вот тебе честное слово! Когда только ты выучился?

— Выучился, Митрич, выучился. Нужда научит. Зайца сельтерскую заставили разливать, а косой боялся: она шипит. Так били его промеж ушей и вот, превозмог! И еще теперь спички зажигает.

К автомобилю между тем подскочили два дерзких лакея. Подхватили чемоданы, понесли. «Кирюша, куда это они?» —

«Ничего, разберемся». И от всей этой скорости, вдруг обрушившейся на него, Митя совершенно растерялся.

Жил Мансуров в третьем этаже. В его аккуратном номере у окна, завешанного тюлем, в зеленой кадке стоял фикус. На стене ковер с русалкой. Возле печки на полу березовые дрова.

Старик половой принес самовар и еще блюдо с теплыми калачами, с маслом. «Бутылочку нам, любезный, бутылочку»,— распоряжался Мансуров. Надо было отметить встречу. Друзья не виделись год с лишним, а это в молодые годы срок.

Первую подняли за приезд. За свиданьице. После третьей оба инженера — уж как им хотелось выглядеть солидно! — но сняли-таки черные свои пиджаки и расстегнули воротнички. Разговор начался о самом главном.

Заговорили о войне, о судьбах России, и, между прочим, сказано было, что если б у нас отношение к инженерии и технологиям было иное, мы бы не имели позора Артура и Ляояна!

— Маленькая Япония сильней нас, господа, своей технической организованностью. Инженерным подходом к делу!

— Дудки! Духом она нас сильней! Мы не знаем, за что воюем.

— Как же... За концессии по реке Ййлу, пропади они пропадом. Своего леса у нас, вишь мало. Нам того кедрача подавай.

— Ельника.

— Прав старик Драгомиров — эта война наш позор. Все у нас кое-как, а двадцатый век, век инженерии! Электричество, экспресс, телеграф, телефон... Что еще назвать? Все это меняет уклад жизни, а мы не успеваем,— сказал Макаровский и вздохнул печально. Был он рассудителен и в отличие от своего коллеги, говорил неторопливо и сдержанно.

Зато его коллега Базиль Строганов обладал характером совершенно необузданным. На лекциях он спорил с профессором Бенелюбским, тихим стариком в ермолке, не слишком талантливым механиком, но, в общем-то, милым человеком, и пытался на старости лет наставить его на путь истинный, предлагая по-новому считать многопролетные балки, но при этом в весьма решительных выражениях. «Ой, боюсь!» — охал профессор, пробуя свести все к шутке. Но Строганов крыл дальше. Его тогда чуть не исключили.

Широкоплечий, с крепким затылком, стриженный под бокс, Базиль сидел, навалившись на стол, и в его татарских глазах полыхала все разрушающая решительность. Он рвался в бой.

К слову, инженер Василий Иванович Строганов был удивительно похож на писателя Куприна. Через десять лет, когда он станет знаменитым инженером и будет служить в Питере, на Невском его остановит цирковой человек, лукавый клоун Жакомино. Жакомино поклонится жене Строганова, а его уда-

рит дружески по плечу и скажет: «Саша, так нельзя... Я тебя давно не видел...» Строганов попытается объяснить, что его зовут Васей, а не Сашей, это Куприн — Саша, но бывалый Жакомино подмигнет хитро и скажет шепотом: «А дамочка первый сорт. Но ничего, ничего... Я могила!»

Но это через десять лет случится, а тогда в «Смоленске» спор разгорелся не на шутку.

— Вспомните меня! Дойдет наша вторая эскадра до японских вод,— кричал Кирюшка,— и тогда посмотрим, чья взяла! Мы — великая страна!

— Я сомневаюсь в успехе,— сказал Макаровский сухо.

— А я вообще желаю, чтоб мы проиграли эту войну!— Сам пугаясь своей смелости, воскликнул Строганов.— Посудите, господа, что может принести победа? Усиление реакции? Триумф самодержавия? Чем хуже, тем лучше!

— Ну, знаешь ли! — возмутился Кирюшка, закусывая селянкой по-бородински.— Тебя послушаешь...

— Вас всех тянет на эмоции, на романтику, а я инженер, я ищу в явлениях рациональное начало. Меня вашими красивенькими словечками не купишь! Мне дело подавай. Что даст победа?

— Мы не победим,— кисло улыбнулся Макаровский, и черные усики над его тонкой губой дернулись брезгливо.— Эта война проиграна, но неужели там, в верхах, не сделают выводов? Еще как сделают! Будьте покойны.

— Да не почешутся они! Им и так хорошо.

— Однако отношение к технике как к таковой и к инженерам должно измениться,— уверенно сказал Митя Бондарев.— Инженер у нас образованный лакей. Кушать подано — вот и вся его роль. Я знаю поручика по инженерной части, у нас же в Харькове кончил курс, сейчас служит во флоте, так он писал мне, что их с доктором хоть и пускают в кают-компанию, но именуют «березовыми офицерами». Они второй класс. А первый — господа аристократы, те чумазым делом заниматься не желают. Так вот это отношение должно перемениться.

— Сто лет!

— Нет, Базиль, жизнь заставит изменить эти взгляды гораздо скорей. Только индустрия спасет нацию.

— Вот проиграем мы эту войну...

— Да как же тебе не стыдно, Базиль, ты ж русский человек!..

— Ребята, не устраивайте себе мозговую грыжу,— отмахнулся Мансуров.— Тут сидит перед нами наш гость Дмитрий Дмитриевич Бондарев. Спросите меня, почему он приехал в первопрестольную?

— Кирюша, зачем, право,— застеснялся Бондарев. Он еще не привык к вниманию.

— Нет, нет, задайте мне этот вопрос,— настаивал великий спортсмен,— задайте, и я вам отвечу. Он приехал... чтоб встретиться... с господином...

— Нагелем! — хором ответили инженеры.

Расхохотались. Кирюшка ни капельки не смутился, только хмыкнул. Он не умел хранить тайн. Он давным-давно проболтался и сам забыл когда и как, а господин Нагель был настолько знаменитой личностью, что его имя и один раз и вскользь упомянутое не могло кануть бесследно.

Андрей Платонович Нагель, петербургский житель, издавал и редактировал журналы «Автомобиль», «Аэро», «Автомобильный ежегодник» и «Двигатель». Он был членом технического комитета Императорского русского автомобильного клуба и членом правления того же клуба. Впрочем, есть мнение, что это чуть позже, году в седьмом ввели его в тот комитет. Но уже тогда, когда Мансуров встречал в «Смоленске» Митю Бондарева, Андрей Платонович считался почетным пионером автомобилизма в России с 1897 года.

Он закончил юридический факультет Петербургского университета, работал в Министерстве путей сообщения, почти сделал карьеру, но однажды бросил он все к чертовой той матери, псу под хвост — нате, давитесь!— и с должности столоначальника сел за руль автомобиля, чтоб стать профессиональным автомобилистом и гонщиком, и шофером, и путешественником.

Беспокойная натура Андрея Платоновича требовала непрерывного движения, смены впечатлений, быстроты реакции. Все это дал ему автомобиль, самобеглый экипаж с двигателем внутреннего сгорания. Но бывший столоначальник, юрист-расстрига был не просто экстравагантным спортсменом, сторонником автомобилизации необъятных российских пространств, Андрей Платонович одним из первых понял, что надо спешить, нельзя терять ни минуты, автомобиль не просто светское баловство, но необходимость и знамение времени. «На Савраске далеко ли уедешь?» — гудел он своим глухим баритоном, и душа Мити Бондарева стыла в сладком восторге.

За три года до встречи в «Смоленске» Митю исключили из Харьковской технроложки за участие в студенческих беспорядках. Он перевелся в Томский политехнический, но и там курса не закончил, уволился в отпуск по семейным обстоятельствам и устроился помощником машиниста на железную дорогу. Тогда-то на каком-то из неведомых перегонов в жаркой паровозной будке ночью, а может быть, холодным синим утром, когда в окне белый пар клочьями летел на мокрую зелень, зародилась у него идея создания новой дисциплины, которая может быть названа инженерной композицией, или искусством проектирования сложных машин и заводов. На этом они и сошлись с Нагелем. Оба понимали, что самое главное сейчас дать

ход русской промышленности. Индустрии. Машиноделанью. Создать свои машины.

— Машину нужно рисовать, я так понимаю,— говорил Митя, шагая по вытертой ковровой дорожке от фикуса до белой двери, за которой слышались звуки обычной гостиничной жизни.— Есть законы частностей и есть законы целого. Это как в медицине, чем дальше вы отходите от общего представления об организме до отдельных его органов, а затем — до клеток, молекул и атомов, тем дальше вы уходите от живого к неживому, от чувства, от слова, от сложного прекрасного букета только к цинку, только к железу, к магнию, к элементам, растворенным в нашей крови и теряете понимание целого. Тут ведь не просто сложение частностей. Завод это не десять или двадцать мастерских, собранных вместе. Вижу прямую аналогию с искусством. Есть законы цвета и есть законы картины в целом. А в музыке? Возьмем отдельный звук. Его можно препарировать сколько угодно. Но как бы глубоко вы не изучили его, это не поможет и не упростит вашу задачу в написании оперы или симфонии. Или концерт вы сочиняете для фортепьяно с оркестром. В силу вступают другие законы. Законы складывания. Но не сложения!

— Любопытно,— согласился Строганов.— Завод — организм, это я понимаю, и машина организм... Но Россия, мужицкая наша страна...

— Так-то оно так,— заключил Макаровский, поправляя и без того аккуратный свой пробор.— Причем здесь автомобиль и уважаемый господин Нагель? Автомобиль суровая реальность, а ваши мечты на нашей дикой почве иллюзорны.

— Автомобиль — оптимальная машина! В данный момент. Она потребует энергичных усилий,— продолжал Митя, одарив Макаровского снисходительным взглядом.— Она потребует оптимизма и большого творческого здоровья. Всего того, чего как раз нам не хватает! Автомобиль как точка приложения примет в себя массу составляющих. Металлургия, химия, электротехника... При Петре Первом такой точкой оказался флот, сегодня — автомобиль. Каждое время имеет такую индустриальную точку.

Так говорил Митя Бондарев, отставной студент, помощник паровозного машиниста Виндаво-Рыбинской железной дороги и автор журнала «Автомобиль».

Его первую статью об инженерной композиции Андрей Платонович печатать не стал. Но зачитал ее вслух своим сотрудникам и вызвал юношу к себе на Литейный, 36, оплатив дорогу за счет непредвиденных редакционных расходов. О чем уж они там говорили, вряд ли когда-нибудь удастся восстановить, но службу на железной дороге Митя оставил и опять же за счет щедрого Нагеля оказался в Бельгии на заводе «Фондю», где работал знаменитый инженер Жюльен Поттера, конст-

руктор автомобилей. Это имя было хорошо известно и Строганову и Макаровскому.

— Если Жюльена пригласят к нам, здорово будет... Жюльен голова!

— Так ведь кто пригласит? Кому строить русскую промышленность? Что надо, будут покупать у иностранцев...

— Господа! Господа, я не уполномочен,— сказал Митя сдерживая радостную улыбку,— но есть предположение, что Русско-Балтийский вагонный завод в Риге собирается приступить к производству автомобилей.

— Ура! — сказал Мансуров и замахал руками, чтоб другие не начали кричать: все-таки они были не дома. Но где уж тут...

— Ура!

— Еще рано!

— Рано, поздно, но есть надежды, лед тронулся. Правление Руссо-Балта ассигнует большие суммы,— сказал Митя Бондарев.

Это было весной девятьсот пятого года в меблированных комнатах «Смоленск».

Далеко за Тверской заставой садилось желтое солнце. К ночи холодало. Из открытой форточки тянуло ледяной сыростью. Ура, кричал Кирюшка Мансуров. Ура, кричал инженер Строганов. Кричали от избытка молодой энергии и инженерного своего восторга, очень уж им хотелось, чтоб начали производить на Руси свои автомобили, чтоб дело пошло. И еще оттого кричали, что в душе-то, в самой середке, и верилось и не верилось в успех.

— Ну, наконец-то!

— Браво! Браво!

— Лед тронулся!

— Вы не представляете себе всех последствий автомобилизации! Россия станет другой страной...

Между тем, русская эскадра входила в Южно-Китайское море. Крепкий ветер поднимал тяжелую волну, черный дым из труб эскадренных броненосцев гнало в сторону, прижимало к воде. На мачтах флагманского «Князя Суворова» метались сигнальные флаги. Адмирал давал очередную взбучку.

Впереди была Цусима. Но слова этого еще никто на Руси не знал. Ни Кузяевы, ни Строгановы, ни Бондаревы... Никто. Оно еще не прозвучало во всем своем безумном ужасе. Но оно приближалось.

Цусима... Цусима... Цусима...

Старший Бондарев, тоже Дмитрий Дмитриевич, справный казак и кавалер, Георгий у него был и медаль за храбрость,

полученная при форсировании Дуная, видел сына человеком военным. Да и как иначе.

В девяносто седьмом году в ночь на светлый день Дмитрия пресвятого князя Донского приснился ему вещий сон: возник перед ним чалый жеребец дивных статей, тонконогий англичанин, и на том на жеребце, наклонясь к луке, сидел бравый есаул. Алый башлык. Грудь в крестах. «Справа по три! Сабли вон!»

По соннику лошадь — ко лжи. Но то в обычные дни, а в ангельские должно иначе, здраво рассудил Бондарев и обомлел, признав в том есауле своего Митьку! И все, с кем беседовал он в то утро и позже, соглашались, что сон сей вещий есть: не иначе быть Митьке атаманцем, служить в Питере в конвое государя, те как раз в алых башлыках. И пошел, пошел!.. Только снег из-под копыт за царским возком. Хорошо бы так! Почет да и дело казацкое. Но сын определился в студенты.

— Ну, кем ты будешь, выучившись-то? — кричал Бондарев-старший, расхаживая по своему куреню.— Кем, скажи, отцеотступник! Перекати поле...

— Инженером, папаня.

— Тоже дело для казака! Занятие определил. Чего гутаришь без смысла... Мань, послухай! Господи, помяни царя Давида и всю кротость его... Ласково те вопрос — зачем?

У них в станице не было еще своих инженеров. Агрономы были. Воспитанники Петровской академии. Уважали: ученые люди. Был доктор. Нужный человек. А инженер кто таков? Не казак, нет. Казак при сабле. Казак при пике... Готовьсь к атаки! Готовьсь к атаки... На̀ конь!

Отец не одобрял этого пути. Но — отец: деньги на учебу посылал регулярно. И гостинцы готовил с оказией сынку в Харьков. Все у серьезных людей выспрашивал, кто такие инженеры, чем занимаются в гражданской жизни и какой им определен оклад жалованья. Начал уж сердцем отходить, как ударил первый гром. Вот оно!

Пришел казак на побывку, Митьки Ланшина сын, и рисовал, какая жизнь в городах, какие там беспорядки чинят студенты от себялюбия, как идут против царя, устоев, и приводил, как в той когорте родной станичник Бондарева Дмитрия Дмитриевича сынок! Так-то вот в городах на инженера учатся... Казак, сын казака против царя! Куда больше? Но своя кровь. Молодо-зелено. Конь вон о четырех ногах, да и тот... «Митя, Митя... В какую ж ты компанию попал».— только и сказал. И простил блудного своего сына. Развел руками: «Каково накрошишь, таково и расхлебаешь. Чего уж тут, сам виноват».

Но прощеный сын вдруг объявил о женитьбе и жену взял... хохлушку! Что хуже, выбирай? Это ж как тот басурма-

нин, которому во сне кисель приснился да ложки не было, а с ложкой лег,— не видел киселя!

Сидели в вечеру на лавочке. Весенний ветер вышибал слезу. Грачи устраивались спать, рассаживались по деревьям. Солнце падало за Дон.

Эскадра шла к Цусиме. Но про Цусиму и слова еще сказано не было. Где она Цусима, японское место, кто знал...

Эх, Митя, Митя, женитьбу тебе отец не простил! На инженера можно поучиться год там или два и бросить, если что не так, и вернуться на землю в казацкое лоно, а жена на всю жизнь. На хохлушке женился... Казак...

4

Первый трамвай появился в Москве накануне нового, двадцатого века. Века электричества, клепаной стали, новых скоростей, новых возможностей и равного комфорта для всех. Трамвай и демократия, трамвай и воспитание нового гражданина — темы газетных выступлений. Возникали надежды, трамвай научит нас, русских, бытовой культуре. Господа, трамвай это не телега... И на банкете, устроенном городской Думой в честь открытия первой трамвайной линии, говорилось много слов, поднималось много тостов. Событие требовало того.

Подавали консоме Барятинский, бафер де Педро, шофруа из перепелов, соус провансаль, осетров аля Рюс на Генсбергене... А на десерт фрачные официанты с непроницаемыми лицами, в ногу вынесли на серебряном блюде торт в виде трамвая. Он был с шоколадными колесами, с шоколадной дугой, весь увитый цветами. Ура! — кричали гости и кидали салфетки. Трамвай вкатывался в московскую жизнь торжественно и солидно. Не как-нибудь.

Рельсы первой линии пролегли по булыжнику Малой Дмитровки от Страстного монастыря на Бутырки, и первый лакированный вагон, искря на стыках, посверкивая зеркальными окнами, покатил, покатил прямо в двадцатый век.

— Эко чудесно,— говорили, глядя ему вслед.— Эким фондебобером наяривает!

— Ой, господи, грех-то какой... Сказано в Святом писании, что землю железом опутают, это транвай! И по низу и по верху потянул, змей!

— Это еще не факт. Это еще нужно подождать,— отвечали.

Так или иначе, но московский трамвай никого не оставил равнодушным.

Первый всплеск трамвайного бума пришелся на начало нового столетия, когда Москва дала небывалый разворот своим фабрикам, заводам, мануфактурной, оптовой и розничной торговле. Новые отношения требовали нового транспорта. Конь медленно сдавал позиции бездушному железу. Приуныв-шие извозчики смотрели на трамвай, как на врага.

— Да чего ты зубами скрипишь, Вань, девку он у тебя что ли увел, транвай?

— Тьфу, срам-то какой! Едут все вместе. Жмут друг друга,— отвечал Ваня и дергал вожжи.

Московские юмористы вовсю взялись за трамвай. В трамвае толкались, флиртовали, прелюбодействовали, наступали на ноги, били по зубам, делали предложения... Чего только не происходило в трамвае.

До призыва на флот Петр Кузяев был живейным извозчиком. Ванькой. Кроме ванек, были еще лихачи. Но те имели кровных лошадей и экипажи в лучшем виде, за что и цены рвали с седоков — будьте здоровы! А Кузяевы ездили в Москву на заработки на своих деревенских конях. Без шику.

Отец, Платон Андреевич тоже был извозчиком. Но гужевым. Возил грузы по Рязанскому тракту и по Владимирскому и однажды на Вороньей улице во время страшного пожара, опустошившего Рогожскую заставу, сдвинул воз в триста пудов. Толпа ахнула!

Рогожская сторона лежала за Яузой, в сонном отдалении от шумного центра. Здесь жили купцы-старообрядцы, патриоты древле-преправославной веры. Не курили, не пили, боже упаси! В баню шествовали со своими медными тазами, чтоб не пользоваться общими банными шайками, те были — «никонианские». Грех какой! Но, кроме купцов, жили в Рогожской люди, профессия которых была ездить по дорогам. Может, из-за них главная улица слободы называлась Тележной. В торговые дни всю ее заставляли телегами, кибитками, дрожками, на столбах развешивали сбрую, хомуты, дуги, расписанные лазоревыми да золотыми цветами. С утра гудели на Тележной продавцы, покупатели. Трактиры, пивные, полпивные — все битком. Народу не протолкнешься. Тут же жулье шмыгает. Карманники и по возам. «Имел бы я златые горы...»

Платон Андреевич Кузяев снимал квартиру на постоялом дворе в конце Тележной на углу Сенной. Жил там народ обстоятельный, все гужевики, а хозяева — староверы. Самого звали Иринарх Капитонович. Имя такое получил в святом крещении, и принимала его мать Пульхерия, крепчайший столп древлего благочестия, гордость Рогожского богадельного дома.

В дорогу собирались без суеты. С ночи кормили лошадей сухим овинным овсом, проверяли поклажу, увязывали возы. За стол садились затемно.

Помолившись, ели щи с солониной. Затем картофель жареный. С салом. Затем гречневую кашу с говядиной. Не спеша. Затем за гречневой ели пшенную кашу с медом. Отпускали кушак. Ложку облизывали с чмоком. Вообще во всем была округлость движений. Мягко вытирали волосатый рот, икали в лапу. Лишних слов не говорили. Гужевой промысел приучал мужчину к молчаливой обстоятельности.

Сколько верст прошагал Платон Андреевич один рядом со своим возом! Метет пурга, слепит, а он идет себе в валенках, воротник поднял и хоть бы хны ему. На усах, на бороде иней. Лес при дороге весь в снегу. Вдали красный морозный закат, горит окно невидимой еще деревни, а он на воз не сядет. Ни, ни... Бережет лошадь. Своя... Идет, хрупает валенками.

Скрипит под полозьями снег, звякает застуженный колокольчик. По этому колокольчику, заслышав издали, выходит на крыльцо хозяйка постоялого двора, закрывает свечу от ветра, кланяется.

А уж там одна девка щи ставит, другая постель стелит. Бегают босые по вымытому полу. «Милости просим, сокол ясный... Заждались...»

Встречались Платону Андреевичу в его странствиях и лихие люди. Выскакивали из леса с дубьем. Глазами сверкали. «Поберегись, дядя!». Тогда брался Кузяев за рычаги. Силы был значительной, и случая такого не представилось, чтоб не довез он товара во Владимир ли, в Нижний Новгород на ярмарку к Макарию или в южные сытые земли на Воронеж, до Киева и до Одессы... И неведомо ему было, степенному, что по этим же трактам, только найдя новое словечко — «трасса», родной его внук поведет машину, именуемую автомобилем.

Гужевые извозчики считались в крестьянстве людьми состоятельными. Но кончили строительство Нижегородской железной дороги, поставили вокзал. На топкие яузские берега упал паровозный дым и опустела Рогожская сторона. Гужевой промысел захирел. Какое там никонианство? Какой грех? Диавол, дыша сатанинской яростью, смотрел на мир желтыми паровозными огнями. Теперь на Тележной улице держались только ваньки живейные. А это разве извозчик в сравнении с тем, что было? Кишка тонкая, душа хлипкая...

Сын Платона Андреевича Петр Платонович пошел в живейные. Гужевых он не застал, а в лихачи не вытянул.

Лихачи, те все больше селились на Ямских, на Бронных, в Дорогомилове, ближе к богатому седоку, а на Рогожской, на Тележной улице, на соседней Вороньей и в Хиве жили ваньки. Чуть свет трогали в город на биржу. Их еще называли — иваны́. «Эй, иваны́,— кричал веселый лихач,— с самого ранья без почина стоите?» Ему отвечали сквозь зубы: «Вались... Эко разъелся, мурло масляное... Поганец».

Извозчичьи биржи находились у вокзалов, в торговых местах, на перекрестках шумных улиц. Стояли, ждали желающих.

— Эх, прокачу, барин! Пожалте, ваше благородие...

— Дамочки, дамочки... Поберегите ножки.

— Господин стюдент, к нам прошу!

Предложения явно превышали спрос. А тут еще трамвай. Грянул по рельсам. Не было печали. Наш трамвай, мой трамвай, кого хочешь выбирай... Быстро-то как слово привязалось! Но «трамвай» — это для бумаги, в разговоре говорили только «транвай», а молодые люди из решительных называли новый вид транспорта коротко, вполне по законам двадцатого века — «трам». Я на траме, вы на траме, мы на траме! Жизнь катилась по рельсам, звякала на стыках, стрелочники открывали стрелки. К Цусиме, к Цусиме, к Цусиме...

5

Нужно было ехать в Ленинград. В Военно-морской архив, чтобы собрать документы о флотской службе машинного квартирмейстера Петра Кузяева, почитать первые телеграммы о Цусимском сражении, о гибели 2-й Тихоокеанской эскадры.

— Если б вы знали как мне хочется поехать с вами!— вздохнул Игорь Кузяев.— Все-таки интересно про дедушку узнать: что там было и как.

— Куда ты поедешь...— возмутился Степан Петрович.— У тебя что, дел нет, что ли? Вот спичка!

Инженер Игорь Кузяев высок ростом, белозуб и категоричен в суждениях. Если он сказал, что хочет поехать в Ленинград, значит, он поедет, решил я.

На работе и дома младший Кузяев носит линялые джинсы и кожаную куртку, прожженную аккумуляторной кислотой. Этот его наряд, по мнению Степана Петровича, не способствует повышению авторитета в коллективе и не соответствует общепринятым эстетическим параметрам. «Ну что у тебя за внешний вид,— сердится он.— Ты бы без предвзятого мнения в зеркало и посмотрел бы...» — «А что? Ничего»,— говорит Игорь, оглядывая себя и охлопывая.

От Москвы до Ленинграда семьсот километров, десять часов хорошей езды, если выехать засветло и не гнать, как на пожар, а ехать нормально, смотреть на окружающую природу и еще пообедать в пути в дорожном мотеле не в сухомятку, а с первым, вторым и третьим, как люди.

Поездка эта наша состоялась потому, что тема, над которой работает Игорь, требовала проверки. Нужен был большой многокилометровый пробег. В конце концов он мог поехать и в

Ленинград. Почему нет? Дело в том, что Игорь занят проблемой «чистого выхлопа». Рассказывая о своей работе, он начинает с того, что в мире в наше время эксплуатируется триста с лишним миллионов автомобилей. Представьте себе эти триста миллионов ревущих, гремящих непригнанными кузовами, шуршащих резиной больших грузовиков, лакированных лимузинов, ярких малолитражек, пожарных, санитарных, специальных машин — и вам станет понятно, что повод для каких-то там семисот километров туда и семисот обратно найден был удачно. Машины несутся по городскому асфальту, буксуют на сельских проселках, поливаемые острым осенним дождем, в Антарктиде в снегах ревут автомобильные моторы, и в Африке, где-нибудь в оазисе под пальмой, стоит пыльный грузовичок, а в радиаторе у него кипит вода. Вода из Конго. Автомобиль вошел в нашу жизнь так привычно, что мы даже как-то и не слишком задумываемся над тем, что все эти триста с лишним миллионов, где б они ни были, пожирают наш чистый воздух, засоряют наши легкие грязью, пропитывают наше сердце ядом, ржавчиной, пыльным маслом...

— Есть вполне авторитетные подсчеты, согласно которым к 2070 году кислород на земле практически кончится. Человечеству нечем будет дышать,— для начала знакомства с темой начинает Игорь Кузяев.

Не скажешь, что слишком оптимистично.

— Ну, это все из области прогнозов,— возражает Степан Петрович.— Вон в Сан-Франциско и в Токио из-за автомобильного перенасыщения давным-давно все живое должно было подохнуть, ан, нет! Деревья растут, люди живут, дышат... В свое время и про паровоз говорили, что вот курицы из-за него не несутся и лошади нервными делаются.

— А заболеваемость раком легких? Количество инфарктов в прямой зависимости от количества автомобилей!

— Да ведь никто не знает, от чего рак! Вот и валят на что придется. Вы только подождите говорить, что я старый и в силу этого не чувствую пульса современной жизни! Он, вишь, против автомобилей, а я — за. Нельзя так огульно. Я тоже грязью дышать не хочу.

— Да не против я! Менять нужно энергетику транспорта. Бензин — яд.

— Назад к природе, это лозунг не для нас. Сколько деревьев порубили на книги, на газеты? Жалко? Жалко. Шумели б на ветерку те рощи. Но человек не может без книгопечатания, без литературы. Иначе он червь ползучий, фашист самый натуральный. Мы окружающую среду засоряем, но в панику-то вдаваться не след. Я жил больше, мне есть с чем сравнить. Назад к природе!.. Это не для меня!

— Да никто тебя туда и не тащит назад,— отмахивается Игорь.— Кому ты там нужен в пещере. Но при всем при том

нельзя не согласиться, что проблема чистого выхлопа имеет не просто огромное, а, может быть, решающее значение для миллионов людей, для биосферы, для всей окружающей среды в целом.

Степан Петрович разлапистой ладонью прикрывает лицо.

— Как на пионерском сборе! Я тебя понимаю, но только придавать этой твоей проблеме первейшее место не согласен! Автомобиль, он еще последнего слова не сказал! Еще есть резерв.

Итак, мы едем в Ленинград и по пути обсуждаем, в чем же суть проблемы чистого выхлопа. Почему она возникла, почему крупнейшие автомобильные фирмы, многомощные индустриальные империи так или иначе, с теми или иными оговорками, экивоками, громогласно и скромно покашливая в кулак, признают себя беспомощными. При современном развитии науки и техники такие признания звучат по крайней мере странно.

Как же это так? Или похож автомобиль на того сказочного джина, которого выпустили из бутылки? Он выскочил и несется в резиновых туфлях с загнутыми носами, и пылит по шоссе его седая борода.

Еще темно. Мы выезжаем ровно в шесть. По радио играют гимн. Игорь включает приборы контроля, и на белую бумажную ленту ложатся первые кривые, показатели содержания углекислоты и окислов азота в выхлопе еще непрогретого двигателя.

Хочется спать. Сонливость проходит не сразу, а когда проходит, мы уже проезжаем по мосту через Канал имени Москвы, внизу под нами дымит белая самоходная баржа, справа остаются крупнопанельные башни района Химки — Ховрино, блестят холодные стекла окон. Начинается будний, серый день.

У поста ГАИ криво стоит проштрафившийся автобус с ленинградским номером, и шофер в шляпе, съехавшей на затылок, пытается переубедить пожилого инспектора. Это он зря, решаем мы. Виноват, не виноват — молчи. Закон дороги. Судья всегда прав.

Водитель автобуса между тем стоит в распахнутой куртке, в шляпе, разводит руками и со спины не дать не взять похож на ямщика.

Как ни странно, но на поверку оказывается, что все мы много о них знаем, песни поем — «Степь, да степь кругом», «Вот мчится тройка почтовая...», «Ямщик не гони лошадей...», стишки помним, картинки...

— Вы слышали анекдот про малого, который в Японию на «Запорожце» приехал? Смех... А про корову? Про корову нет?

Есть еще песни «Черны вороны, кони мои», «Когда я на почте служил ямщиком»...

— Ну, стоит мужик с коровой, голосует до базара,— начинает Игорь.— «А куда корову?» — «Да за веревку привяжем и лады»,— мужик отвечает, только просит быстрей ехать и все спрашивает шефа, как там в зеркале корова. Шеф: ничего, говорит, и ничего. Мужик просит скорости добавить. Под восемьдесят едут уже. «Ну, как там Буренка?» Шеф отвечает, нормально, бежит, только язык на сторону вывалила. «Ой, родной,— мужик просит,— добавь газку. Это она нас обгонять намерена, указатель включила».

Игорь смеется и крутит головой. А я этот анекдот по крайней мере раз сто слыхал да и в лучшем исполнении. Я думаю, какие еще есть песни и стихи о ямщиках. Ну, конечно! Эпоха целая. «Слышишь ветер в поле... Ваня громко плачет...» А дальше? Там о любви, о душевной тоске что-то. Забыл! Но ведь помнил. А часто ли мы вспоминаем о душе того парня, который, привалив к обочине, встал ногами на передний бампер, свесился в моторное нутро и возится там в спешке, до крови раздирая пальцы, испачканные машинным горелым маслом. Или стоит он сейчас у светофора, ожидая зеленого. Или гонит по трассе, современный гужевой, воспитанник автомобильной школы ДОСААФ, хозяин каких-нибудь двухсот всего-то лошадей, спрятанных под капотом его грузовика. Вот он мчит по бывшему Питерскому тракту, давно переименованному в Ленинградское шоссе, и вопрос возникает такой: похож он на того Кузяева или нет? Что у него там? В душе? Какая степь, какая метель метет, с чего надо начинать, чтоб выяснить?

Андрей Платонович Нагель, маленький лысый господин, говорил про себя, что похож на истертый дорожный чемодан.

Весь какой-то незаметный, он тем не менее был очень щеголеват и даже лих, но это замечалось не сразу.

От Андрея Платоновича пахло французским «Шипром» и газолином, усы он стриг коротко по-фельдфебельски, а во всей его маленькой, но ладной фигурке было много спокойной решительности, которая так нравится воспитанным женщинам. При этом Андрей Платонович сам монтировал и менял в пути шины, находя это занятие самым приятным в автомобильной езде, потому что оно воспитывает волю и совершенно несгибаемую стойкость.

— Нет, нет,— говорил Нагель, резко отставив в сторону стакан с чаем,— автомобиль решительным образом вступает в свои права! Желание Руссо-Балта заполучить к себе Поттера и начать строительство отечественных автомобилей на самом высоком уровне продиктовано потребностями времени. Автомобиль перевернет все и все поставит на свои места. Россия предстанет другой страной!

Собрались у Цецилии Михайловны на Сретенке, в квартире, заставленной книгами и хрусталем.

Эта Цецилия Михайловна, дама-инженер, красавица с божественной грудью и волосами цвета старинной бронзы, кончила курс в Базеле и держала у себя дома инженерный салон. Ее супруг, всегда испуганный господин, похожий на встрепанного мокрого зайчонка, был приват-доцентом, филологом, его всерьез не принимали. Супруг сидел в уголке, помалкивал.

У Цецилии Михайловны Кошелевой собирался цвет инженерной Москвы. Бывали чопорные электротехники с «Динамо», технические аристократы, шумные металлурги с «Гужона», механики с «Бромлея», сытые путейцы от фон Мекка. Она была очень хороша собой. На людях умна и воспитанна. Разбиралась в инженерных тонкостях, что, согласитесь, для женщины само по себе редкостный дар, и бредила электричеством. Химией и электричеством, потому что только химия и электричество сделают человека всесильным, а женщину освободят от унижений кухни, экономической зависимости, домашнего хозяйства и самой семьи. Но семьи в пошлом понимании отжившего девятнадцатого века. Детей будут сдавать в коммунальные интернаты, где воспитывать на казенный счет.

Одно время Кирюшка Мансуров был страстно в нее влюблен. Как-то в кабинете приват-доцента среди умных книг и гравюр в модных полированных рамках они разговаривали о возможностях воздухоплавания, и Кирюшка не выдержал.

Горела настольная лампа. За окном стыла ночь. Приват-доцент позевал, позевал, извинился и отправился спать.

— Это так прелестно летать в эфире,— шептала Цецилия Михайловна и крутила на пальце золотое колечко.

Кирюшка поднялся из своего кресла и вдруг в одно мгновение дама-инженер оказалась на ковре. Запомнились ее бедра, обтянутые тугим шелком. Кресло упало с грохотом. Задело за шнур. Лампа погасла. «Люблю, люблю, люблю...» — шептал Мансуров, целуя ее губы, глаза, волосы, пахнущие электричеством, воздухоплаванием и черт те знает чем еще.

Но не такова была Цецилия Михайловна Кошелева, дама-инженер, кончившая курс в Базеле. Она легко отстранила Кирюшку и встала во весь рост.

В окно сияла луна, качался тусклый сретенский фонарь. Но не долго. Цецилия Михайловна включила лампу. «Любимая...»

— Оставьте меня,— сказала она строго.— Вы любите во мне тело,— тут она дотронулась до своей божественной груди, похожей на торт, и на облако, и еще на что-то неземное.— Я знаю, что вам надо от меня, Кирилл Михайлович, но я люблю... мужа...

Во втором часу ночи вертлявая горничная, закусив губу, чтоб не засмеяться, подала Кирюшке шляпу и перчатки:

«Адью»,— сказал он хрипло и положил ей в кармашек три рубля. Гусар!

С той поры хозяйка инженерного салона начала называть его «мой друг» и при этом смотрела на него печально и нежно. Ждет второго штурма, но дудки, решил Кирюшка. С нас хватит!

— Там большой изыск,— рассказывал он Мите Бондареву.— Там таких людей увидишь, Митька, что ни в сказке, ни пером...

— Ну, ну. А Нагель часто там бывает?

— Не знаю. Он ведь в столице проживает. В Москве проездом. Обещал быть непременно. Решается судьба отечества. Или мы выходим на дорогу прогресса, или погрязнем в болоте. Андрей Платонович настаивает, что не будет автомобиля — не будет России. Вот такая вот альтернатива у него.

К Цецилии Михайловне они прибыли вчетвером — Мансуров, Бондарев, Макаровский и Строганов — и сразу же потерялись среди блестящих взрослых инженеров.

В душистом сигарном дыму исчез безукоризненный пробор Макаровского, нетерпеливость Строганова исчезла, а Кирюшка превратился сразу в пай-мальчика. «Здравствуйте, господин Рябушинский... Здравствуйте, ваше превосходительство. Здрасте...» Митя растерялся.

Они оказались в большой комнате с тяжелыми шторами на окнах. В центре над столом, застланным белой скатертью, парил шелковый абажур, посредством цепочек и противовесов спускаемый и поднимаемый на заданную высоту. Абажур являл собой последнее достижение в индустрии домашнего комфорта.

Вокруг стола в вольных позах, нога на ногу, с сигарами и без сидели господа инженеры, удивляя сдержанностью жестов, белизной манишек и твердостью крахмальных манжетов.

Только что у Цецилии Михайловны выступал некий исследователь индийской магии и теософии профессор Эртель, а потом как раз собирались послушать про автомобиль, но Нагель запаздывал.

То, что поведал Эртель, взбудоражило инженеров. Да и как иначе! Профессор объяснял, что в санскритском языке буква «л» имеет двадцать два различных звуковых выражения и произносил двенадцать. Получалось, что-то вроде эль, ель, оль... это ж черт ногу сломит, язык не повернуть. Ну да ладно. Негодование достигло максимума, когда инженеры услышали, что в индийской арифметике не четыре простых действия, а шесть!

— Хорошо, хорошо, господа. Давайте посмотрим. Сложение, вычитание, умножение, деление... А еще?

— Возведение в степень, извлечение корня, но...

— Это, пардон, не простые действия.

У Эртеля требовали разъяснений. «Михаил Александрович, какие еще два? У индусов? Еще?» Но до подробных разъяснений Эртель не опустился. Он говорил о теософии, об астральных оболочках, которые мог видеть только посвященный, о каких-то летающих блюдцах, о жизни до появления на свет, которую, как ни странно, многие помнят. Тут хозяйка подкинула пару вопросов насчет оккультного столоверчения и высвобождения скрытой в атомах энергии. Спор разгорелся не на шутку, но к Эртелю, так же как к господину Кошелеву, всерьез, видимо, никто не относился, страсти начали стихать. Мите показалось, что все закончилось стихами поэта Андрея Белого, пытавшегося поэтическими средствами описать взрыв атомных сил. «Уйти от событий жизни в мир каких-то амеб,— тихо возмущался Кошелев.— Как жаль, что нет с нами Тимирязева! Он-то разложил бы их на все четыре корки!»

Мите запомнились странные строчки. Какие-то все издерганные, страшные. «Сплетаясь в вязи аллегорий, атомный вес, фантомный бес, горюче вспыхнувшие зори и символов дремучий лес...» О чем это? В девятьсот пятом году...

Все сошлись на том, что лес у господина Белого слишком дремучий, и начали скучать. Горничная принесла чай и бутерброды. Митя украдкой рассматривал присутствующих. «Здесь такой изыск,— шептал Кирюшка.— Весь политехнический цвет Москвы».

Наконец явился Нагель. Вошел быстрыми шагами, тонкий и гибкий, поднял руки над головой.

Его встретили улыбками и бодрой оживленностью. Милости просим, Андрей Платонович!

У Нагеля были совершенно сногсшибательные новости. Какой там Эртель! Какой атомный взрыв! Русско-Балтийский вагонный завод в Риге собрался приступать к производству отечественных, наших русских,— наконец-то! — автомобилей. Днями было принято окончательное решение. Правление единогласно проголосовало «за».

— И пример всему дал ваш московский трамвай, господа! Разветвленная система усовершенствованных путей сообщения подняла ценность и доходность земельных владений. Спрос определился. Я уж о том и не говорю, что прибыли с трамвая покрыли ряд коммунальных нужд и избавили домовладельцев от новых обложений. Ныне прогнозируется чрезвычайный интерес к автомобильным линейкам, к автомобильным извозчикам. Будет спрос, будут заказы...

Господа инженеры встретили сообщение Нагеля с удовольствием. Было ясно, что автомобиль на пустом месте создавать невозможно. Металл потребуется, литье потребуется, станочный парк надо будет под него проектировать и строить. Работы хватит. С химической промышленности надо взять лаки, краски, резину; с электротехники — провода, лампы на-

каливания, динамо, магнето, аккумуляторы... Край непочатый, этот автомобиль! И как удачно, как прелестно, что объект такой нашелся, собирающий в себе, как в фокусе, все промышленные направления...

— Автомобиль придется в пору русскому деловому человеку. Это со счетов нельзя сбрасывать,— рассуждал Нагель.— Автомобиль не только спорт, но и современнейшее транспортное средство, меняющее весь уклад жизни. Представьте Ивана за рулем.

Митя слушал Андрея Платоновича, и в Митиной душе гремела музыка. Трубы там пели, и дрожали серебряные струны, и Жюльен Поттера в мятой кожаной куртке стоял перед глазами, смущенно теребя свою эспаньолку. Он был Митиным ровесником, но уже добыл себе славу выдающегося автомобильного конструктора.

— Спрос будет громадный! И, господа, как свободны будут русские люди, жизнь которых придется на автомобильные годы. Дорогу автомобилю!

— Это, как решат наши бюрократы. Не подорвет ли автомобиль единства России? У них ведь вопросы в таких масштабах,— сказал Рябушинский, помешивая ложечкой в стакане. Куда это еще вывезет.

— В Москве приказывают ногти стричь, так на Камчатке головы рубят. Как с автомобилем получится, никто наперед не скажет,— кивнул купец Алабин, медведеподобный господин с бриллиантовой булавкой в галстуке.— Я слыхал, что наши военные произвели в Порт-Артуре испытания...

— Быть не может. Откуда? Вранье все. Враки!

Нагель вскинул голову.

— Я надеюсь, что военные тоже внесут свою лепту. Хотя, конечно, испытания, ими проведенные, возмущают чувство справедливости. Все надежды сейчас обращены на Руссо-Балт.

Нагелю было известно, что в Порт-Артуре испробовали автомобиль в условиях полевой службы. Выбрали французскую модель «панар-левассор», а может, даже и не выбирали вовсе, просто подвернулся этот автомобильчик и начали с его помощью таскать артиллерийские орудия, ничуть не задумываясь, что в каждой пушке три тонны, а в том «левассоре» всего 14 тормозных сил. Он по артурским дорогам еле четырех пассажиров вез. К тому же ни путей, ни персонала не подготовили,— где уж в военных условиях! — но заключение вынесли категорическое: автомобиль средство ненадежное и на лошадях возить артиллерию удобней во всех отношениях.

Это мнение военных испытателей Нагель сообщил инженерам для улюлюканья. И не ошибся.

— Наши могут...

— Господа, в какой стране живем.

— Вот вам в Москве ногти стригут...

Вспорхнув со своего места, Цецилия Михайловна подошла к Нагелю и благодарила его за счастливое известие о инициативе Руссо-Балта. Затем разговор начался общий, и стало очень шумно. Но каждый считал долгом подойти к Андрею Платоновичу, пожать ему руку, сказать несколько добрых слов или просто улыбнуться. Наконец, настала Митина очередь. Нагель раскрыл объятия:

— С приездом, мой друг! Давно ли в первопрестольной?

— Только приехал,— поспешил стоявший рядом Кирюша.

— Что Поттера? Уговорили?

— Он согласен.

Как удачно начинался для Мити тот год! Это ж просто страшно подумать, как удачно! Но природа требует равновесия, так же как не терпит пустоты. Радости сменяются горестями по синусоиде или по какому иному закону, у каждого по-своему. Он об этом тогда не думал, он верил, что мелькнула ему зеленая стрела удачи. Заискрило на горизонте, заискрило, и отныне жизнь засияет воплощенной мечтой. Эх, Митя, Митя, не рано ли?

Нагель спешил в Петербург. Осенью он собирался быть в Москве. За это время Андрей Платонович должен был съездить в Ригу и выхлопотать для Мити должность на Руссо-Балте в новом автомобильном отделе, где будет работать Поттера.

— Кстати, не поступало никаких телеграмм о нашей эскадре? — поинтересовался Нагель.

Ему ответили:

— Плывут.

— Долго им еще плыть!

— Предчувствие у меня,— сказал Кирюшка,— все скоро кончится победой. Япония на грани. У нее ресурсы исчерпаны.

— Вашими бы устами!

— А в газетах есть какие-нибудь сообщения, я сегодняшних газет не видал?

— Нет. Все по-прежнему. Отдыхаем после Мукдена. Окопались. А в Питере у вас бастуют. Вот и все новости.

— Как же это далеко...

— Что далеко?

— Корабли наши.

6

В человеческом смысле у машины нет индивидуальности. У машины нет личности. Нет характера. У нее есть тип, модель, год выпуска. И в принципе, если имеется один опытный образец, то можно изготовить сколько угодно копий.

Однажды прочитал я рассказ. Фантастический. Рассказ о том, как электронно-счетная самоусовершенствующаяся машина полюбила другую машину, подобную себе. Приятно ей было, когда рядом шелестит перфокартами ее избранница, вся такая новенькая, ладная. И работалось легче, когда новенькая пощелкивала рядом своими контактами. Там была какая-то любопытная интрига, и кончалось все очень смешно, но оставалось тягостное ощущение растерянности и грусти. Жалко было ту машину, и себя жалко и хотелось не верить, что такое может быть, нелепость такая: машина машину любит и ревнует, это даже уж не фантастика, а абсурд, так я решил было, но вдруг вспомнил... Однажды со мной произошел случай, совершенно не поддающийся законам здравого смысла.

На станции техобслуживания нужно было привести в порядок автомобиль. Приехал на Варшавку. Выехав из дома чуть свет, я оказался далеко не первым. Кругом стояли такие же частники на ремонт, на кузовные работы, на техобслуживание и еще кто знает на что. И все в суете. Туда, сюда. Ничего не ясно! «Кто на мойку последний?» — «Я на мойку. Был я...» — «Вы за одиннадцать—семнадцать! За зеленой!» — «Нет, я раньше! Я за корридой». Коррида это цвет такой, раздражающий быков. Песок и кровь. — «Куда прешь? Инвалид, да? Инвалидам без очереди, а ты?» — «Я — мать-героиня»,— говорит бородатый дядя.

Наконец, в синих сумерках очередь приобретает упорядоченное движение. Падает снег. Рядом по Окружной автомобильной дороге, таща за собой белые холсты, проносятся огромные грузовики «Совавтотранса». Светлеет.

И вот помыв свою машину, я поставил ее на линию ТО.

За стеклянным барьером по этой линии медленно двигались автомобили «ВАЗ». Беленькие, красненькие, зелененькие, совсем новые и уже поездившие по дорогам, с потертой эмалью и вмятинами на крыльях. Моторы их урчали, ревели, «троили», и под высокими сводами в бензиновом чаду время тянулось ужасно медленно. На желтом кафельном полу блестели пятна машинного масла и талого снега, принесенного на ногах.

Прошел час. И два часа. И три. Я ждал. И вдруг в этом сложном гуле из тысяч составляющих услышал свой автомобиль!

Это неправдоподобно!

Совершенно этого быть не может. Но это было именно так. Отгонщик только что подкатил на сдачу мою машину.

Увидеть ее я не мог.

Я услышал.

7

Старики рассказывали, что в то утро в деревню Сухоносово прибег Кикимора болотная, божий человек Алексей.

Говорили, родился он от честных родителей в Мещевском уезде, а лет имеет от рождения — триста. Неспроста такое. Его боялись.

Косматый, нечесаный, немытый Кикимора, размазывая слезы и сопли, кричал, что наш русский флот разбит, все корабли потоплены, а доблестный христолюбивый воин адмирал Рожественский раненый, в крови взят япошками в плен, будто было ему, Кикиморе, в ночь такое видение.

На крики сбежалась вся деревня.

Покатавшись по траве, по мокрой проплешине у колодца, пошумев, подергавшись, божий человек Алексей вскочил, крутнулся на месте и на хорошей скорости по холодку, сверкая сивыми пятками поддал в Тарутино к чайной. К Савельичу. По раннему времени в чайной гостей не ждали. Мальчик Васька, Васята, седьмая вода на киселе, но Кузяев обломком стекла скоблил дощатый стол. Илья Савельевич, сощурив хозяйский глаз, пообещал за старание, как выйдет Ваське возраст, взять его в половые. Васька не знал, что с возрастом станет доктором наук, профессором государственного права и проректором университета, поэтому старался.

Было солнечно. Пахло мытым деревом, чесноком, щами. В переднем углу гудел, набирая силу, пятиведерный самовар-туляк. В простенках между окнами висели керосиновые лампы и две картины. Одна божественного, другая светского содержания, купленная хозяином исключительно по военному времени.

На первой был изображен иеромонах Серафим, совершающий молитвенный подвиг в ночное время на камне, а со второй улыбался коренастый солдатик в шинельке, перепоясанной широким ремнем, с Георгиевским крестом на груди.

Васята как раз смотрел на солдатика, завидовал ему: вот бы с Георгием в деревню прийти,— когда дверь отворилась, в залу влетел божий человек и, как стоял у порога, так со всего роста чувиснулся на пол, задергался:

— Богородица дева, спаси, помилуй!.. Пресвятая Мария!.. Топи японские... Бдите и молитеся, да не внидете в напасть...

Из хозяйской половины в исподней рубахе без порток, босой вышел сам Илья Савельевич, зевнул, подойдя ближе, слегка ткнул божьего человека:

— Ну, чего те? Ну? Дурака-то буде валять... Шатун...

Кикимора забился шибче прежнего, заголосил про морское сражение, про пленного адмирала и побитых без числа. Илья Савельевич переменился в лице.

— Баишь?

— Как бог свят!

— Откуда новость?

— Депеш давали... Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй нас грешных...

— Убью!

С быстротой, ему не свойственной, хозяин кинулся одеваться, сам заложил дрожки, погнал на станцию. Только успел крикнуть толстомясой своей дочери, выскочившей на крыльцо: «Вот те, Танька, бей япошку, бей... Шапками закидам... Эх ма...»

На станции Илья Савельевич водил дружбу с телеграфистом Калашниковым, узнававшим все новости раньше губернатора, человеком интеллигентным. К интеллигентным людям Илья Савельевич имел интерес.

Выяснилось, что известие пришло вчера. Со всего уезда сразу же набежали на станцию кликуши да юродивые, тряслись на перроне, грязные, в струпьях, как на паперти.

— Илья Савельевич, работает наш русский телеграф!

— Похоже на то.

— Жертвы большие, однако подробностей еще не давали. Официального мнения нет! Помяните, сдается мне, завоюют нас японцы. Это ж как монгольское нашествие! Не сдюжим, нет...

Они сидели вдвоем друг против друга за столом, накрытым липкой клеенкой, в узкой комнатушке с неубранной постелью.

В буфете заказали водки, холодных котлет. Станционный сторож, отставной солдат, принес в деревянной миске моченых яблок, уже закисших, и квашеной капустки.

Обычно Илья Савельевич пил помалу, по чуть-чуть и в больших компаниях только, а тут в силу таких обстоятельств решился, начал. Думал, будет легче, думал успокоиться. Во 2-й Тихоокеанской эскадре служил сын Николай, Николичка, гордость и надежа. Служить ему оставалось всего ничего. Илья Савельевич уж размышлял о сладком покое, мечтал передать хозяйство в молодые руки, чтоб самому в тиши радоваться закату жизни, сидеть на вымытом крылечке, щуриться на солнышко, нянчить внучат. Не дал господь, и как, значит, не выпить в таком ракурсе? Скажи, телеграфист, скажи, электрическая твоя душа...

— Это конец. Доигрались. Сомнение меня только одно берет: непонятно, что с Россией будет. Вот вопрос! Вот какая у меня к вам дилемма.

— Не горюй за нее. Квашня. Устоит. Колюшу мово жалко. Сынка...

— Вернется! Он частное лицо. А честь страны не вернется! Пей, отец, заливай горе родительское, плоть и кровь свою топи в вине за то, что царь Кольку твоего утопил. Он не уто-

пил Кольку, нет... Я верю. А те тысячи, что на дне морском лежат, взывают... Они взывают, Илья Савельевич, к отмщению. Пей, отец! Пей, мать! Плачь, Россия!

Телеграфист Калашников, навалившись слабой грудью на клеенку, говорил о погибели отечества, о всеобщей смуте. Илья Савельевич не слушал, жалел Колю и пил, хотел почувствовать боль его последнего часа. Сынок... Две слезы медленно катились по корлявым щекам, стекались в одну чугунную на конце носа, Илья Савельевич, хлюпнув, оттопыривал нижнюю губу, но не успевал, слеза срывалась на клеенку. Он утирался, не выпуская вилки, а тут опять уже подкатывались две слезы, съезжались в одну.

— Зверь любит свое дитя, птица, гады ползучие. А страна Россия не любит своих детей! Так вот отдать на погибель Кольку твоего да кузяевского сына. Кто из ваших еще на флотах служит? Да нет, Колька твой придет! Я диалектику даю, в широком взгляде. Поднимись, россиянин, над своим горем, подумай о горе страны, тебя родившей, тебя научившей... Ее языком ты говоришь, ее глазами смотришь на мир, так за что ж она мордует тебя и топит на дне морском за тридевять земель?

— Ой, горе нам...

Пили, беседовали до вечера, ждали новых известий, но нового ничего не поступило.

В семь часов с грохотом и железным лязгом прошел брянский курьерский. Зазвенели стаканы, вякнула, заныла тоненько мандолина на стене.

— Балуешься?

— Балуюсь,— ответил Калашников.

Илья Савельевич шатко вышел в станционный палисадник, поикал от холода, отвязал мерина, выехал на большак.

Он ехал, плакал и чудились ему вдали разные звуки, то детский плач, то лягушачий хохот. Судьба смеялась над ним, и родная Колькина душа плакала рядом холодными слезами.

Не доезжая до Тарутина, он свернул влево, на Сухоносово, чтоб увидеть Кузяевых и, может, поутешаться вместе. У тех тоже, небось, горевали по своему матросу. И еще он подумал, и испугался своей мысли, что если Петруша кузяевский вернется, а Коленька нет, то зачем же так, господи! Господи, не покарай, нечистый мутит, пожалей люди твоя... Родная кровь.

От вечернего ветра в лицо, от легкой дороги, равномерного цоканья копыт Илья Савельевич почти отрезвел и быстро нашел кузяевский дом. Подъехал. Осадил мерина. «Стой, шатун! У...»

К дороге выходила просторная кузяевская изба с сенями, чуланом, высокими воротами и омшанником, все под одной соломенной крышей.

Позади был квадратный двор, с трех остальных сторон покрытый по краям такой же соломенной крышей. Во дворе —

свиная закута, конюшня, за двором — сад, огород, конопляник и пасека. Едва угадывался в темноте сенной сарай и рядом взгорок над погребницей, куда Платон Андреевич с рождества загружал лед, и он у него держался все лето.

У Кузяевых не спали. В избе горела лампа. Илья Савельевич постучал в окно.

К нему вышел хозяин в сапогах, в картузе.

— Или куда собрался на ночь-то глядя?

— К тебе, Илья Савельевич. Слыхал, побило сынков?

— Слыхал уж.

— Может, фук все. От Кикиморы известие.

— Правда сущая. Со станции еду.

Илья Савельевич заплакал от жалости к себе за страшную свою мысль на вред Кузяевым. Обхватил голову руками.

Вышла Аграфена Кондратьевна, хозяйка, начала его успокаивать:

— Ой, батюшка, не ваше это мужеское дело плакать, наше бабское, слезки-то побереги, соленые они...

— И море солоно,— рыдал Илья Савельевич, и от слез было ему душно.

— Не страдай, не убивайся, Илюшенька Савельевич, ой, как так можно, раньше часу времени плачешь бесцельно, а ить скоко сражений было, скоко кровушки пролито, живехоньки приходили солдатики, не было того, чтоб враз всех и поколотили. Сохранит Христос, и Колечка твой, и Петенька живыми придут, утри слезки...

— Ой, Графена, ой, не могу... Я ж вашу Аннушку сватать хотел. Вышел срок — за покойника...

С Ильей Савельевичем сделалось плохо. Его внесли в избу. Уложили на коник, лавку, ближнюю к дверям, стянули сапоги, раздели, накрыли тулупом, но он трясся, как в горячке, стучал зубами и затих только под утро, выпив липового настоя, сваренного Дуней Масленкой.

На следующий день вся губерния знала о морском сражении в далеком Цусимском проливе на рубеже азиатских тех островов, где живут японцы, сидят на рогожах в раскоряку и молятся своему царю, которого зовут Микадой.

В церквях поминали погибших, пока всех вместе, имен еще не знали. Тем временем вышел приказ призвать запасных. Женатых мужиков отрывали от семьи, от сенокоса. А травы шли в тот год, будто росли не на поле, на кладбище.

То-то пропето было тягучих, устяжных песен, то-то выпито с горя и со злости. Старичок Ефимов, тряся куцой бороденкой, рассказывал запасным в Чубарове, у крыльца воинского присутствия, какие такие есть японцы. Как прыгают они по веткам вверх, вниз и зякают по-своему и хвостами, хвостами цепляются, желтыми в щетине. Шатуны... Бабы крестились. Мужики смотрели исподлобья, дуже квелились. Печалились.

Тут еще как раз пошли слухи, что в «Губернских ведомостях» начинают со дня на день печатать имена уроженцев Калужской губернии погибших, раненых и пропавших без вести в делах с японцами, и нет им числа и счета.

Аграфена Кондратьевна в те дни потеряла покой. Все вспоминала она, какой Петруша был ребеночком, какой у него был животик, как он брал грудь, и слезы сами навертывались, и ком подступал к горлу.

Утром собрала она посуду, тряпушкой вытерла стол, переоделась во все чистое, Аннушке велела, чтоб смотрела по хозяйству, сама, мол, идет в Тарутино к сестре. Аннушка по простоте поверила: «Мам, вы б штиблеты новые обули»,— но на самом деле Аграфена Кондратьевна пошла не к сестре, а к Тошке Богдановой.

Та Тошка — девка простоволоска, колдуница и порчельница, проживала на берегу Истьвы в глухом месте у Трех камней, на топком пятаку.

Под ногами жвыкала вода, желтая жаба смотрела на Аграфену Кондратьевну дурными глазами, страху, а говоря по-калужски, зляки, она натерпелась досыта, пока подошла к Тошкиной избушке, постучала в дверь, закрытую бурой рогожей.

На стук никто не ответил, но у Аграфены Кондратьевны было такое чувство, что Тошка непременно в избе, она поддала дверь плечом и вошла, творя про себя молитву во имя отца и сына, и святого духа.

У Тошки было душно, сумрачно, пахло дымом, курятником, паленым пером. Сама в белой нижней рубахе, вся бесстыдная совершенно, сидела за столом, расчесывала волосы, а в ногах у нее, свернувшись, сидела большая белая кошка.

— Доброго здоровья...

— Здравствуй, Груня,— не поднимая головы, отвечала Тошка.

— Здравствуй, голубушка.

— Какое дело ко мне? За Петрушу страдаешь?

— Ой, верно, голубушка, ой, верно. Поворожи, живой ли. Загляни туда, где он есть, сынок наш... Век за тебя...

Аграфена Кондратьевна полезла под паневу, достала из кармана в нижней юбке узелок с деньгами, начала развязывать, помогая себе зубами. Наконец развязала, положила на стол рубль.

— Мало,— тихим голосом сказала колдуница.— За рубль куда доедешь? Добавь трафилочку.

Трафилка по-калужски копейка. Но Аграфена Кондратьевна рассудила по-своему и добавила двугривенный.

Тошка откинула тяжелые волосы, улыбнулась.

— А ить знала — ко мне идешь. Петушок сказал.

И тут Аграфена Кондратьевна увидела, что в ногах у Тош-

ки совсем даже не кошка, а петух, и напала на нее настоящая зляка. У нее отнялись ноги.

А колдуница взяла деньги, посмотрела на Аграфену Кондратьевну зелеными глазами, пошла к печи.

— Так что тебе узнать у нечистой-то силы?

— Живой ли? Как он там, Петрушенька, господи, грех-то какой на душу...

— И все?

— Утешь его. Скажи отец, мать... Ждут, скажи...

— Скажу.

Колдуница зашла за печь, там раздался железный звук, будто провели чапельником по сковородке, на этом все смолкло, и Аграфена Кондратьевна без сил опустилась на лавку.

На стене отстукивали ходики. Из окна по полу пролегла светлая дорожка, и над ней сквозняком поднимало пыль.

Аграфена Кондратьевна приготовилась ждать долго: это ж Богдановой-то до Цусимы долететь и назад, дело не быстрое! А белый петух между тем важно прогуливался рядом, склевывал под столом крошки, тряс гребнем. Когда он подходил близко, она отмахивалась: «Сгинь, нечистая!» — «Чо, чо, чо? — говорил петух и смотрел круглым, желтым глазом,— Чо?»

Наконец, Тошка появилась, лицо мятое, на щеке сажа, но иначе через трубу летала.

— Как он? — охнула Аграфена Кондратьевна.— Живой?

— Мокрый весь.

— Но живой, да?

— Мокрый, тебе говорю. Иди, устала я.

Аграфена Кондратьевна ушла окрыленная. Она решила, Петруша непременно живой. Шла и все поправляла на себе плахту. Легче ей стало.

Вечером у Тошки Богдановой сидел полюбовник Тихон Бусюкин и стыдил ее:

— Ну, ты прямо дождешься! Осиновый кол тебе в грудя вобьют за колдунство твое! Ей, ей! За ворожейство. В самый раз.

— А я никого не обидела,— отвечала Тошка лениво.— Я не неволю. Сами напрашиваются.

— Откуда ж ты знаешь, что мокрый он? Может, совсем даже сухой! Ну, бабы...

— Ежели побили, то я на дне его видала. На морском лежит. Мокрый. А ежели жив, получится, скажу под дождиком стоял. На часах. Дурак ты, Тихон.

— Ох, дождешься, Тошка, соберутся бабоньки...

— Заладил. На вот лучше цалуй. Хозяин-то твой совсем плох?

— Совсем... Ох, лебедиха ты моя... белорыбица... Совсем ты меня с жизни сбила... нет мне путя другого...

— Болтай, милай, болтай... Нет ему путя. Как же! Сейчас твой помрет, ты и без гроша.

— Мне ихних хрустов без надобности,— ответил Тихон гордо и потянулся за бутылкой. Чтоб ей налить и себе.

— Оставь,— сказала Тошка, беря его за руку,— выпито, хватит. Ты лучше сообрази, что будет. Колька ежели вертается, проверку будут делать, куда подашься? В Сибирь, а? Где тебя, божоный, искать?

— На дне он!

— Ой ли? Мокрый, да. Хорошо бы так. Но прикинь-ка, голова ж тебе дана не только вино в нее опрокидывать, как будет? И я куда денусь?

Тихон запечалился.

— Я тебе совет дам. Ты Илью своего Савельича припугни. Дуже не надо, а так, без греха.

— Да как так? Чего баишь? Ох, Тошка!

— А так. Слово скажи какое глаз на глаз или топор там ему покажь, когда он ночью лежит. Он от зляки и уйдет в то царствие, больной. Вот тут ты и свободен.

— Не могу...

— Дурочка ты мой,— Тошка запустила белую руку в Тихоновы кудри, посмотрела ласково и закрыла глаза.— Глупенький... Божоный мой... От него сейчас надо высвободиться. В первую строку от него. В Москву поедем. Будем там с тобой в Москве среди народу. Свой домик заведем, детки пойдут...

— Не смогу,— всхлипнул Тихон.— Это ж грех такой, Тошенька... Грех ведь... Потом век не отмолишь.

— На себя беру. Последний, Тиша, шапец у нас. А нет, так Сибирь...

Илья Савельевич лежал, не вставая. Как привезли его тогда от Кузяевых, определилась у него странная болезнь, от которой не было ни лекарства, ни лечения.

Приезжал из Боровска доктор Гринберг, не то немец, не то еврей с тонкими и мягкими, как у младенца, волосами, начесанными на раннюю розовую плешь. Выписал микстуры. Только Илья Савельевич тех микстур не пил. Не верил Гринбергу. Говорил: «Тоже мне лекарь, из-под каменного моста аптекарь».

Узнав, что больной уклоняется от лечения, доктор обиделся и укатил.

По ночам далеко за лесами мигали зарницы, шли стороной короткие летние грозы с яркими ветвистыми молниями, с теплыми дождями. В Тарутине было тихо и душно. Ветер шумел в поветах, и от этого смутного шуршания далекие зарницы

казались еще тревожнее. Чудилось азиатское нашествие, будто шли на Калугу японцы. Ветер пах гарью. По Истьве плыли горелые бревна: то у помещика Кулагина палили имение. Смута. Смута кругом.

Приходил Платон Андреевич, садился на табурет у постели, рассказывал, что объявили в уезде о повсеместном учреждении временных комиссий. Бунтовщиков будут пороть нещадно, а то совсем народ разгулялся.

— «Указанная выше строгая мера,— читал Платон Андреевич, далеко отставив от себя печатный лист,— вызвана тем, что в некоторых местностях крестьяне, к глубокому огорчению непрестанно заботящегося о них государя императора, наслушавшись наущений злонамеренных людей, врагов российского царя, и поверив лживым их уверениям, будто земли помещиков предоставляются крестьянам... Конечно, нарушителей порядка среди крестьян немного. Громадное большинство сельского населения не верит обманным речам злонамеренных людей, хорошо понимая, что нельзя составить себе состояние посредством грабежа и насилия...»

— Это точно, сейчас не составишь,— говорил Илья Савельевич.— Коли гол, как сокол, то грабь не грабь... Возиться с палачами, не торговать калачами...

Он лежал и думал о том, какие страшные настали времена.

В городах работать не хотят, бастуют. Смертоубийство кругом. В Москве великого князя, царского дядю,— бомбой! Господи, сохрани, помилуй... Не желает народ воевать, не желает жить по-старому... Того и гляди самого вместе с чайной и магазином запалят.

Приезжали на сенокос москвичи, свои же тарутинские, кто уходил в отхожие по фабричной части, и говорили, что кругом в Москве забастовки да стачки... Стачкуют... Рабочие дружины создаются и учат рабочих армейскому строю и стрельбе.

На «Бромлее», на заводе «Вейхельга» в мастерских Терещенко забастовщики требуют восьмичасовой работы, а по двенадцать или даже по десять работать отказываются. Хватит, кричат, с нас пот давить! И когда такое было? Отрадясь от зари до зари работник вкалывал, иначе хозяин в банкроты пойдет, навару не будет, вздыхал Илья Савельевич.

А тут Платон Андреевич встретился с одним человеком, и тот человек ему такой общественный расклад нарисовал, что поджилки затряслись и сердце захлынуло в тревоге.

— Да кто ж он такой? — допытывался Алабин.— Какой партеи?

— Рабочей. Большевиком называется. Рэсэдэрэпэ...

— Это литеры! А платформа у них какая, на чем стоят?.. Не, теперь капиталу не умножишь, лютость кругом...

Платон Андреевич оглянулся, хотя рядом никого посто-

роннего быть не могло, достал из-за пазухи листок, разгладил на колене.

— Чего такое? — заволновался Илья Савельевич.

— Прокламация.

— «Ко всем рабочим города Москвы,— прочитал Илья Савельевич и обмер, и строчки запрыгали перед глазами: — ...Только наши свободно избранные представители могут защитить интересы рабочего класса. Только по низвержении самодержавия, под охраной вооруженного народа, могут представители народные установить демократическую народную республику». Господи, это что ж творится?.. Пресвятая дева спаси, помилуй... Чур нас, чур нас...

Зять привез из-под Малоярославца травоведа, синего, сухонького мужичонку с трясущимися руками и кривым блудливым глазом.

— Чего лечить можешь, лох?

— Все. Все могу, ваше степенство.

— Баишь, небось?

— Лихоманку могу, желтуху, бледнуху, ломовую, трясуху...

— Калякаешь все, не верю, лох.

Лох — это мужик, но есть здесь обидный оттенок. Травовед обиделся.

— Что богатому красть, то нашему лгать. Трава, она естественное произрастание. Чего хочешь, того не купишь, чего не надо, того не продашь...

— А это как понимать?

— Здоровья, говорю, не купишь, болезнь не продашь.

— Лечи,— разрешил Илья Савельевич.

Травовед начал варить свои снадобья. Попросил стакан вина и над тем вином говорил неясные слова. Затем заставил Татьяну снять с деревянного ведра обруч, наскоблил стружек. Обруч надел Илье Савельевичу на шею и все приговаривал: «Аптека, она убавит века... Чистый счет аптекарский — темные ночи осенние...» Стружку травовед поджег, принялся окуривать больного, запел тоненько:

— Тетка бабка, отойди от раба божьего Ильи... Тетка бабка...

Затем Илья Савельевич должен был выпить заговоренное вино и закрыть глазки.

Легче не стало. Травоведу заплатили, сколько просил, и выставили. «Иди, лох, гуляй...» А оставшуюся траву Илья Савельевич велел сжечь.

— Ваше степенство,— кричал травовед с улицы.— Ваше степенство, слышь меня, помрешь, говорю, к матери, ежели будешь так...

Ветер шевелил в открытом окне занавеску. На улице было пыльно. Вовсю светило солнце.

— Ой, папенька, что ж вы с собой деете,— убивалась Татьяна и дрожащей рукой утирала слезы.

— Зря вы, папаша, такое пренебрежение оказываете,— поддакивал зять.

Илья Савельевич смотрел на зятя сквозь. Голоса его не замечал. Думал, радуется, небось, паршивец, полагает, ему все достанется. И зачем ты, господи, на все воля твоя, определил Количке смертный час? Отец копил, дед копил, а для кого?

— Папенька, вы б медку выпили или мака пожуйте, вот он, сон-то, и сморит.

Илья Савельевич велел принести зеркало, взглянул на себя и понял: ждать осталось недолго.

— Эко согнуло. В домовину краше кладут.

Татьяна заплакала.

Дед Ильи Савельевича был пра̀солом. Умнющий был человек! Это он говорил: «Возиться с палачами — не торговать калачами». Крупную вел торговлю.

Прасолы не платили ни гильдийских сборов, ни акцизов, что облегчало торговлю, хотя, конечно, ни купеческого почета, ни купеческого гонора у прасолов не было. В церкви вперед народа не лезли, карет не покупали, но капиталы имели крупные и, случалось, одалживали губернаторам. Доставали из валенка многие тысячи. Шлепали на стол. «Потрудитесь, ваше превосходительство, пересчитайте».

Торговали всем, что под руку попадет. Увидит, бывало, дед лошадь сопатую или с запалом, купит, вылечит, продаст в три цены. Хлеб залежалый купит, с четверти по три гривны скинет, домой привезет, глядь, а на дворе уж настоящий покупатель ждет. Тут он в самый раз! Дед брал пеньку, сало, масло, битые стекла, тряпье, и все вроде по мелочи, курочка, она по зернышку, а капитал имел миллионный. Шестерых сыновей выделил, троим дочерям приданое отладил. Один из его внуков, двоюродный брат Ильи Савельевича, тоже Алабин, вышел в заводчики и коммерции советники, ворочал многими миллионами, звали его Георгием Николаевичем, и про того Георгия Николаевича в Тарутине рассказывали много удивительного. Он и в заграничные страны ездил, и свои корабли имел, и конторы по многим городам поставил и запросто беседовал с самим государем. Так-то вот Алабиных семя взросло!

Илья Савельевич ни отцовского, ни дедовского таланта по коммерческой части не унаследовал, но и по ветру ничего не пустил. Усвоил твердо: проначишь трафилку, проначишь и хруст! Денежки берег, думал, Количка приторгует в Боровске Болошевский заводец, уж и о цене не раз справлялся, а вышло — зря...

Утром Васька-Васята принес шайку с водой и расшитый утиральник. Илья Савельевич побрызгал на лицо, потер глаза, махнул: «Пошел вон!» Васька попятился, прижимая шайку к

животу, задом отворил дверь, а утиральник оставил, экий растеряха, право, а тоже Кузяев... Сродственничек... Затем дверь тихо приоткрылась, вошел приказчик Тихон, которого Илья Савельевич называл економом.

Последний год Алабин совсем отошел от дел, ждал сына, а все заботы по чайной, по обоим магазинам и оптовой торговле вел Тихон. Голос у Тихона был рассудительный, неторопливый.

— Бог помощь, Илья Савельевич.

— Здравствуй, батюшка.

— Как здоровие, самочувствие? Почивали как, хозяин?

— Чем от тебя несет? — удивился Илья Савельевич, шмыгая носом.

— О-де-ко-лон-с...

— Опять по бабам шлялся?

Економ хмыкнул, отвел взгляд в сторону, молча достал из пиджака аккуратную тетрадку, послюнил палец.

— Значит, Илья Савельич, Колобанов долгу не платит. И Симакин не платит. Ни трафилки! Говорят, по теперешним временам банкроты. Припугнул-с. Думаю, до пятницы пождем. Справлялся насчет цен: пшеница по рупь девять идет, рожь — по восемьдесят шесть, овес — по пятьдесят семь, ячмень — шестьдесят шесть...

Илья Савельевич прикрыл лицо. Ему было все равно, почем рожь, почем ячмень.

А Тихон слюнявил палец, листал свою тетрадку, перечислял разные дела, просил советов.

— Ладно, иди,— сказал Илья Савельевич.

— А как насчет Болошевых? Заводец уж больноо хорош. Что сказать?

Глаза у Тихона бегали. Был он весь издерганный, как с похмелья.

— Пьешь, небось, Тиша?

— Никак нет! Как можно...

— Иди, батюшка, иди. В другой раз поговорим.

К вечеру Татьяна привела тарутинского фелшара Кольку Шершнева. Теперь он лечил Илью Савельевича.

Шершнев тяжелыми руками искал пульс, закрыв глаза, считал удары, тихо шевеля мокрыми губами. Ать, две, три, четыре...

— Ну, молодцом! Герой! Скобелев! На пузе вот те крест! Ты еще поживешь больше нашего, ты еще силу имеешь дай бог! — Татьяна между тем накрывала на стол, и Колька косил в ее сторону.— Я те завтра лекарствие привезу. Будешь пить и, значит, через неделю в Боровск в трактир подадимся за твой капитал...— Шершнев подошел к столу, из тонкого горластого графина налил рюмку-бухарку, подмигнул Татьяне.— Всякого вам благополучия!

Выпил, закусил студнем. Вилкой его поддевал и пальцами, чтоб не спрыгнул.

— Бывало, мы с твоим папаней гуляли, ой, Тань! В молодые-то годы! Ух! Это он сейчас лежит, больным называется, вздыхает, швед, а тогда... Полштофа выквохчет, это без закуся, а с закусем кто считал! И как свое взял, глаза вытращит, опростается и сидит, как свечка перед киотом. Вот он сам! Ну а я за него песни пой!

«Дурак,— беззлобно думал Алабин, глядя на фелшара,— не пил я с тобой и не буду».

На ужин Татьяна покормила отца молочной кашей, как дитятю с ложки.

— Ваcькя́! — крикнул Илья Савельевич.— Васькя, сучий потрох!

— Зачем звали?

— Утиральник возьми, раззява!

Хотел съездить Ваське по уху, не было сил дотянуться.

— Иди...

— Илья Савельевич,— захныкал Васька,— чего Тихон Прокофьевич дерутся...

— Дерутся, значит, надо! Иди, фискал малолетний!

«Зря я на него,— решил Илья Савельевич, чуть остыв. — Тихон запросто кого хошь со света сживет». Ему сделалось жалко Ваську, но никаких мер предпринимать не стал, повернулся к окну, закрыл глаза и как будто впал в забытье. Пришел к нему тихий сон.

Илье Савельевичу снилась ярмарка в Петровском. Карусели. Семечки. Бабий визг. Цыган в красной рубахе продавал вороного жеребца. «Купи, отец мой! Глянь, какой конь!» — кричал цыган. Глаза у цыгана блестели и зубы. Цыган красный. Конь черный. Толкотня. Солнце. Слепой солдат играл на скрипке, и худой паренек, сын солдата, с картузом обходил слушателей. «Когда войска Наполеона пришли из западных сторон,— играл солдат,— был авангард Багратиона судьбой на гибель обречен...» Бабы плакали, утирали слезы. Мужики смотрели мрачно.

Как же давно это было, жизнь прошла! Сколько ж лет назад? Илью Савельевича совсем еще маленького взял с собой отец. Мать противилась. «Не думаешь, Савеля! Все б те играться с малым!..»

Домой в Тарутино возвращались ночью. Ехали лугами. Валко катилась телега. В небесах качались августовские звезды.

Илья Савельевич лежал на сене, свернувшись под отцовской поддевкой, притворялся, что спит. А отец целовал мать, шуршал сеном, говорил, тяжело глотая воздух: «Любушка моя, цветик...» Мать пугалась: «Тишь ты, тишь, малый услышит. Дай ровно сяду...»

Телегу вскидывало на колдобинах. У дороги испуганно кричали ночные птицы. Пахло сеном, дегтем. Пахло отцовской поддевкой. Отец целовал мать, прижимал к себе. «Любушка моя, цветик...»

Илью Савельевича душили во сне тихие слезы, будто в одночасье стал маленьким и теперь всю жизнь начинать наново с той ночи. Ему было покойно, тепло. Но вдруг что-то тяжелое грохнуло на лестнице. Кто-то поднимался к нему.

Он открыл глаза. За дверью слышались голоса. Кто там?

Дверь открылась. Он увидел Татьяну и белое, испуганное лицо Тихона.

— Папаня! Папаня! — кричала Татьяна.— Папаня, живой Колюшка! Живой! Письмо прислал!

Татьяна подняла лампу над головой. Сквозило, и пламя под стеклом металось.

Тихон стоял, привалившись к стене, держал в руках топор. Видно, так с топором он и бежал снизу.

— Письмо привезли... Живой он... Письмо...

У лестницы стоял испуганный Васька, Васята со сна ничего не понимал, дрожал от холода.

— Читай! — хотел крикнуть Илья Савельевич, но не крикнул. Из горла его вырвался хрип. Он бессильно махнул рукой и заплакал.

8

Что делать, если ребенок желает петь, но у него нет ни голоса, ни слуха. Как объяснить маленькому человеку такую нестерпимую несправедливость жизни? Как сказать ему, что он обделен? Его обошли, и все равно это не страшно.

Как растолковать ему, семилетнему, что талант — аномалия? Редкость. И природа раздает подарки скупо, и лежат они не в пестрых пакетах, как мандарины на елке в Кремлевском Дворце съездов. «Я буду Эдита Пьеха»,— заявила моя дочь, и я, тут надо отдать мне должное, не стал вдаваться в дебри генетики и физиологии. Я сказал: «Валяй, Катерина. Я — очень за».

И вот как-то в дождливый осенний вечер, в конце октября, пришлось мне везти дочку к Смоленской площади, где в первом переулке за гастрономом в здании какой-то школы репетировал хор, куда ее взяли исключительно из сострадания и в награду за преданность.

Ехать в тот вечер было трудно. Дождь лил не переставая. Заднее стекло запотело. Что там сзади — не видно. На мокром асфальте плыли уличные фонари. Огни в окнах, огни в витринах. А тут еще конец рабочего дня, поток машин, красный,

желтый свет. Светофоры, рекламы. Нашла время, когда петь! Ну да ладно. Я довез дочку. Она выпрыгнула из машины и, потянувшись закрыть дверь, я видел, как она бежит по лужам, маленькая девочка в белых колготках, решившая стать певицей. Пусть это будет ее единственным разочарованием, подумал я с нежностью и краем глаза заметил, как сзади к тротуару привалила машина и погасила огни.

Я закурил сигарету, затянулся и начал тихо отчаливать. Вниз по переулку потоком скатывалась дождевая вода, и в темноте поток был черный и густой, как смола. Впереди стоял грузовик, сзади — машина, которая только что погасила огни. Чтобы выехать, мне пришлось чуть подать назад. Я почувствовал легкое касание, и понял, что слегка задел за бампер той машины, но не придал этому значения: бампер для того и сделан, чтоб его задевать.

Но, отъехав от тротуара, я решил, что случилось что-то страшное. Сзади мигали в четыре фары. Дальним светом. Стой! И жали на сигнал. Уж не задавил ли я кого?

Я остановился. Машина, которую я задел, дернулась с места и встала поперек переулка, чтоб я не вздумал убежать. Встала криво. Как-то неловко. Загораживать дорогу тоже можно красиво.

Это был новенький ВАЗ-2103 цвета кислой вишни. Из него выскочил невысокий человек в куртке нараспашку. Его бледное, мокрое лицо нависло надо мной. Обычное, ничем не привлекательное лицо взрослого мальчика из обеспеченной семьи. Папа директор магазина, мама зубной доктор. Вот так.

Его лицо показалось мне зеленым в качающемся фонарном свете. Оно было страшным. Лицо убийцы. Две руки просунулись в мое окно, задевая за стекло и цепко впились в мой рукав. Кто учил его этой хватке? Кто способствовал? Папа, мама, пережитки капитализма в нашем сознании...

— Гад,— захлебываясь прохрипел молодой человек, не похожий на человека.— Морду тебе набью! Сволочь! — Он скрипел зубами, парень лет тридцати в модной рубашечке, в модных усах. Кричал:— Сейчас дам в морду! Гад... Бежать... В морду...

При очевидной разнице весовых категорий в морду не даст, решил я и вылез под дождь.

В машине, которую я задел, еще не сняли хлорвиниловых заводских чехлов. От нее, как от новой калоши, пахло краской и свежей резиной. Я подошел к переднему бамперу. Присел. На мокрой хромированной поверхности не было ни царапинки. Капли падали вниз. «Дурак»,— сказал я тому молодому владельцу, сел к себе и уехал. И было мне гнусно. «Вот она, морда собственника,— думал я.— Трактир бы ему свой, елисеевский магазин, маленький заводец мыловаренный или на худой конец фабричонку. Вот бы тогда попробовали задеть

его кровное! Вот тогда бы он себя показал. Он бы не морду, горло б лез грызть!»

Вечер был испорчен. Но в семь часов приехал художник Червинский, который иллюстрировал сборник моих очерков, привез в большой папке эскизы и долго отряхивался в передней, чертыхался: «Тьфу ты, льет, как из корыта...» Он вошел с мокрыми волосами, вытирая лицо носовым платком.

— Ох, и езда сегодня... От Смоленской ехал, у туннеля разбитого «Жигуля» видел. Прямо он его в автобус сунул. Ездит молодежь! В такую-то погоду...

— Вишневый? — спросил я, почему-то пугаясь, будто что-то зависело от меня. Я не хотел мстить.

— Вроде того. Темный,— ответил Червинский приглаживая волосы.— Совсем новехонький, еще пленку заводскую не сняли с сидений...

9

Армии в строгом уставном, в привычном, общепринятом понимании не было.

На Мукденском заплеванном вокзале, пропахшем карболкой и паровозным дымом, в шарканье подошв по мокрому перрону, пьяный солдат бил по лицу полковника.

— У, кровосос народный! Душу вытрясу, ваше высокородие! Умою ручки кровью твоей, гад...

— Да ты чего, братец, ты чего,— лепетал полковник и беспомощно озирался по сторонам.

А рядом шли на погрузку другие солдаты и офицеры в лохматых маньчжурских папахах. Никому ни до кого не было дела. Полковник плакал.

В Иркутске запасные матросы разнесли и разграбили вокзал. То же было во Владивостоке и в Красноярске. Забайкальской железной дорогой управлял стачечный комитет. Кто такой? Что такое? Ничего не понятно!

Под Читой среди ночи в дождь солдаты с винтовками наперевес остановили экспресс, идущий в Россию. Из голубых классных вагонов прикладами выгнали под насыпь всех благородных пассажиров, сели на их места и велели машинисту гнать куда глаза глядять. «Крути гаврилку! Давай ветра, механик!» И ехали, пока не вышли все пары.

Темная, слепая сила вышла из берегов, и теперь остановить ее не было никакой возможности. То, что столетиями сдерживалось под спудом, выплеснулось наружу. Открылись шлюзы... «Гад, ты меня уважаешь? В душу мою загляни, сука!» — кричал тот солдат на Мукденском вокзале. Призван-

ные в военную службу ратники второго разряда разбивали на станциях буфеты. Свобода! Свобода народу! Тиранов под откос! Драконы...

Очевидец вспоминает, как на одной станции уже за Волгой с поезда сходил денщик капитана П. Капитан вышел на платформу и, прощаясь, расцеловал денщика. «Прощай, друг. Может, свидимся». Толпившимся на перроне солдатам вся эта сцена очень понравилась. «Ваше благородие! Позвольте, мы вас на руках донесем до вашего вагона!» — «Лучше под колеса его!» — послышалось из толпы.

Под колеса, под колеса, под колеса...

Старый мир летел под колеса истории. За семафором вставало в дыму открытое всем ветрам утро русской свободы, и никто не знал, какая будет и какой должна быть эта долгожданная свобода.

— Народ, он силен, как вода, да глуп, как дитя,— вздыхал раненый офицер на нижней полке.— Господи, не дай видеть русский бунт бессмысленный и беспощадный...

Кузяев слушал офицера, пугался. В жизни творилось что-то неладное, и разобраться не представлялось возможным.

Машинный квартирмейстер и георгиевский кавалер Петр Кузяев считался лежачим больным. Во Владивостоке, как загрузили его на носилках в санитарный вагон, так он и не вставал до самой Москвы. Две недели стучали под полом колеса, доносились с перронов голоса ораторов и гул солдатской толпы. Летели паровозные гудки, и безногий офицер на нижней полке рассуждал о русском бунте.

С вечера до утра качались перед глазами желтые вагонные фонари. Три фонаря на вагон. Стонали раненые. Сердились доктора. Усталые сестры милосердия подносили воду и лекарства.

Говорили, что в Москве беспорядки, стрельба и пожары. Говорили, бастуют фабричные, побросали работу, а студенты требуют свободы, переворачивают трамваи, рушат телеграфные столбы, и чем все это кончится, начальству неизвестно. Появилось новое слово — «граждане». Граждане матросы, граждане солдаты, граждане офицеры. Не единожды повторялось со вздохом: «Вся Россия поднялась на дыбы. Сейчас бы нам гражданина Петра Великого, много ли наш суслик может...»

Жизнь катилась в другом направлении. Позади была Цусима, морская служба, учебный отряд, школа машинных квартирмейстеров, котлы тройного расширения, но начинать надо было с самого начала.

...Петр Кузяев призывался на коронную службу в девяносто восьмом году. Во дворе Чубаровского волостного присутствия новиков — так называли новобранцев — построили в две неровные шеренги. «Ванька! Косачев... Люба моя...» Род-

ственники совали лядунки с сивухой, с боровским лиловым первачом; пьяный дядя Сеня Сорокин, служивший кондитером у Филиппова, рвал гармонь: «Ах ты, так-перетак, турок трах-тах-тах вылазь в! на! так-перетак...» — и воинский начальник, торжественный и подтянутый, ходил вдоль строя, комкал за спиной белую перчатку. «Подравняйсь! Подравняйсь, братцы...»

Вокруг вкривь и вкось, как попало стояли распряженные телеги, и два солдата с унтер-офицером из тех, которые должны были сопровождать чубаровскую команду, наблюдали, будто со сторонки, курили в кулак, посматривали со снисходительной грустью.

— Ах, д куды ж вы, миленькие... Ах, д на каку таку погибель люту гонят вас,— завопила черная старуха Абалкина, наипервейшая крикуха и плакальщица.

Мать вытягивала руку, крестила сына и все шептала вещие слова, чтоб был он цел и невредим во пути, во дороге. В чужих краях, в родных, на воде, на беседе и в пиру. Аминь!

— Ах, зачем вас гонят на туретчину... За моря, за горы, за сини воды дунайски! — надрывалась Абалкина. И хотя все знали, что никуда на туретчину никого не гонят, смолкли. Это был ритуал такой, так полагалось провожать в солдаты. Лучше на проводах переплакать, чем на поминах.

Наконец, воинский начальник, решив, что пора, решительно поправил фуражку, взял руки по швам.

— Сми-рна! Шагом...

— Петруша! — крикнул отец и пошел рядом со строем. Сестры Аннушка и Авдотья держались за мать, а она поднимала руку, искала его и крестила. Отец должен был сказать что-то важное. Но у него ничего не находилось.

— Петруша... за богом, значит, молитва, за царем, значит, сам понимаешь, служба... как дед, как я... за веру, отечество...

— Сторонись, сторонись,— распоряжался унтер-офицер и легонько отстранял отца.— Дайте путя. Сторонись...

Чубаровская команда тронулась не в ногу и не разом. «Ах, вы, Дуни, ах вы, Мани, ах вы, ласточки»,— запел было Колька Алабин, но его не поддержали.

Все это было как во сне, и вспоминалось легко и сладко. А под вагоном скрежетали колеса, и паровоз пыхал в ночь снопами горячих искр и по снегу вдоль дороги летело желтое вагонное окно.

Накануне, как сообщили газеты, «сибирским поездом Московско-Курской железной дороги проездом с Дальнего Востока в Петербург через Москву проследовал курьерской скоростью бывший командующий Тихоокеанской эскадрой вице-адмирал Рожественский со своим штабом, возвращаясь из японского плена».

Кончилась карьера бородатого адмирала. На вокзале не было высших чинов и войск для встречи не выстроили. Не за что, решили, и не до того.

В Москве на Пресне шли уличные бои. Рабочие дружины разоружали городовых, и другой адмирал, назначенный московским генерал-губернатором, принимал в Белом зале генерал-губернаторского дома на Тверской депутацию от городской Думы.

На столь важный пост был назначен тоже решительный малый, патриот отечества, адмирал Дубасов. Откашлявшись, он заявил хорошо поставленным командирским голосом, что принял новое назначение, как принимают боевой пост. Именно так по-солдатски — «как боевой пост». Может, и в самом деле имел он дипломатические способности и не зря откомандировывался в свое время для разбирательства гульского инцидента. Ну, да это уж невесть когда и было... Будто в другом столетии, столько воды утекло за полгода.

Московский обыватель, какой месяц находившийся в растерянности, на следующий день мог читать в газетах, прислушиваясь к грохоту на улицах, что «твердое, властное слово генерал-адъютанта Дубасова произвело сильное впечатление на всех присутствовавших и вызвало большой подъем духа», но газетному тексту не верил. Не чувствовал ни сильного впечатления, ни большого подъема.

Света не было. Водопровод не работал. В Москве по снежным переулкам, клацая подковами по мерзлым булыгам, на рысях пролетали казачьи разъезды.

Подвозили артиллерию. И артиллеристы на городских площадях заиндевелыми тесаками срывали крышки со снарядных ящиков.

...Последний раз по всему составу из конца в конец лязгнули буфера и сцепки. Состав дернулся. Раз, другой и затих. Прислушивались. Ждали выстрелов.

— Что там? Что? — спрашивал офицер с нижней полки.

— Да не видно ни хрена, ваше благородь...

Москва встретила неожиданной тишиной, морозом, снежной пылью в вагонное окно. Чадил фонарь. Откуда-то тянуло холодом.

— Сестра, дверь закройте! Сестра...

— Барышня...

Медицинский персонал куда-то исчез. Началось недовольство. Началась ругань. Почему нет выгрузки? Что такое? Ничему, мать их, японцы не выучили! Продали нас...

Но тут по всему составу захлопали двери, заскрежетали под быстрыми шагами переходные площадки. Кузяев увидел, как в вагонный коридор вошли двое штатских в пальто с красными повязками на рукавах. Тот, который шел первым, поднял руку:

— Товарищи, в Москве революция! Состав окружен боевой дружиной, всякое сопротивление бессмысленно. Граждан офицеров просим сдать оружие!

Офицеры, ехавшие в трех классных вагонах, побросали оружие на заснеженный перрон, а рота солдат, размещенная в теплушках («8 человек, 40 лошадей»), никаких видимых действий не предприняла. Своих винтовок не бросила, но и не выставила пулеметного рыла, чтоб разогнать гражданских.

Дружинники, собрав оружие, исчезли. А было их всего человек двадцать. Никак не больше. И когда те двое шли по вагонному проходу, один остановился над Кузяевым, губы его дрогнули в улыбке.

— Рабочий?

— Трюмный машинист.

— Механик, значит. Сильно тебя, брат?

— Руки, ноги целы.

— Ну и слава богу. Отлежишься, давай к нам, в депо. В самый раз и примем. К риверсу поставим и в боевики определим. Выздоравливай, брат.

Смеркалось. Ветер гнал снежную пыль, заметал пути. Хрипел паровоз, требуя разгрузки. За тонкой вагонной стеной шумели ветры, и на перроне под быстрыми шагами хрустел снег. Кузяев терялся в догадках. Он не представлял, чего ждать и как будет дальше.

— Ваше благородие, чего следует предвидеть?

— Теряюсь,— отвечал безногий офицер.

Наконец, появились казаки и эскадрон драгун. Спешились, оцепили состав, кого-то искали, приседали в длинных шинелях, махали руками, трусили вдоль путей, цепляясь шпорами за шпалы. «Заходи слева!.. Станичники, сюды дуй!»

Офицеры из трех классных вагонов плохим строем и не держа ноги прошли в здание вокзала. Поздним вечером в санитарной фуре Кузяева доставили в госпиталь залечивать Цусиму. Здорово ему там досталось, русскому воину.

Его разбитый и полузатопленный крейсер вышел из боя.

С изувеченными надстройками, с сорванными трубами его корабль медленно погружался в море. Был приказ всем наверх. Тонем, братва! Полундра! И, выскочив из горячего машинного отделения с ошпаренной рукой, голый по пояс, Кузяев обомлел, не узнав верхней палубы. Пропала боль. Все пропало! Все остановилось в неожиданной тишине. Отовсюду нависал изломанный, обгоревший металл; по палубному настилу, забрызганному кровью, перебегали рыжие огни. Издали доносилось глухое уханье главных калибров. Уцелевшие матросы разбирали пробковые круги и спасательные жилеты. На мостике, на правом крыле, командир при всех орденах в изодранном парадном мундире благодарил офицеров за службу. Прощались. «Имел счастье, Иван Иваныч, с вами... Имел

счастье, Семен Игнатьич, с вами... Имел счастье, Илья Захарыч, с вами... Имел счастье... Имел счастье...»

В ушах звенело от неожиданной тишины. Из трех труб уцелела одна, и над ней с шипеньем поднимался жидкий угольный хвост и бессильно падал по правому борту. На верхнюю палубу выносили раненых. «Чего стоишь? — кричал санитар в окровавленной форменке.— Чего стоишь? Морду побью! Вниз пошел, вниз...» И плакал.

Кузяев, как во сне, пошел вниз. Первым ему достался знакомый кочегар, обваренный паром в самом начале боя, когда разворотило магистральный коллектор. Кочегар визжал по-свинячьи. А они его тащили вдвоем вверх по трапу. И надо было сунуть ему в ухо, чтоб замолчал, и рука не поднималась. По-хорошему просили и матерились сквозь зубы. «Молчи, Федька...» Федька орал. А потом Кузяев велел себе не слушать и не узнавать. И таскал безруких, безногих, безглазых, искареженных японской шимозой, незнакомых, неизвестных, невиданных ни разу.

Дали команду всем за борт, и он прыгнул со среза, но поздно. Еще б чуть-чуть и его затянуло бы на дно вместе с кораблем в завернувшемся штопоре. Ему повезло — выплыл!

Стеной, насколько хватало глаз, стояло море. Оно поднималось и опускалось, имея в центре живую точку. Кузяева. Петра Платоновича. Машинного квартирмейстера с ошпаренной рукой. Живого человека.

От морской воды рука ныла нестерпимо. А тут еще подошли японцы. Левым бортом дали залп для острастки, и тех, кто барахтался в море, обдало шквалом. Одних легко, других до смерти. Но снова Кузяеву была удача! Его только накрыло волной и все. Японец дал полный ход, двинулся на Кузяева, чтоб ударить форштевнем, протащить вдоль борта, изрубить винтами. Но и здесь Кузяеву повезло. Живучим родился! Он вцепился в круг, и откатило его волной в сторону.

Японский крейсер не застопорив машины, не спустив шлюпок, чтоб подобрать русских, развернулся, с его кормы три раза крикнули: «Банзай!» — и ушел, и пропал в волнах. Японцы спешили добить остатки 2-й Тихоокеанской эскадры. Кузяев сам выплыл на берег. Подгребал одной рукой, и ребята подталкивали. А потом был Сахалин и Владивосток. Доктор в морском госпитале прикладывал к его груди ухо и слушал, слушал Кузяева и выражал удивление.

Санитарным поездом его доставили в Москву и там положили в палату, где помещались раненые по нервной части, имеющие попадания в череп и спинной мозг. Нашли у Кузяева вмятину в нервной системе. А рука у него к тому времени совсем зажила.

Русско-японская война закончилась Портсмутским мирным договором. В Москве же война продолжалась и в той чи-

стой офицерской палате, куда положили Кузяева как георгиевского кавалера. Рядом с ним оказались жандармский подполковник, упавший с лестницы, казачий сотник, контуженный камнем в голову, два пехотных поручика Кока и Владя, сподобившиеся на Пресне, и городовой Сущевской части Перфильев Степан Тимофеевич, который о своем ранении рассказывал со слезами.

С Перфильевым вышло совсем неудачно. В турецкую он под Плевну ходил и ничего, а тут в Каретном ряду от своих же, от православных не уберегся.

В ту ночь стоял он на своем участке аккурат напротив дома, в котором проживал их высокопревосходительство большой генерал Акимов. Перфильева поставили специально у того дома в связи с беспорядками.

Заложив руки за широкую спину, Перфильев прохаживался по панели, шевелил пальцами в вязанных жениных варежках, чтобы не застыли пальцы, дышал крупным носом, поглядывал в окна генеральской квартиры. Под фонарем сыпал мелкий снег.

Генерала Степан Тимофеевич, можно сказать, и не видел ни разу, а последний раз в генеральскую квартиру поднимался на пасху. Прошел по черной лестнице, кухарка Шура вынесла на подносе рюмку водки и серебряный рубль. Перфильев брал рюмку левой рукой, затянутой в белую нитяную перчатку, галантно оттопырив мизинец. «Покорнейше благодарим!» Опрокинув, крякал, выпуская из себя горячий воздух, на жаргоне московских городовых это называлось «хлопнуть пташку». И в этот же момент его правая лапа по-кошачьи мягко, но энергично накрывала рубль, все само собой, как ружейный прием на счет ать, два. В полиции Перфильев служил пятнадцатый годик...

Время было позднее, у генерала давно погасили свет, только внизу в швейцарской у Филиппыча мерцал огонек. Как раз туда и собирался Перфильев, чтоб обогреться. Но в это время в «Аквариуме» закончился митинг, по Триумфальной к Каретному с песнями двинулись внутренние враги.

На душе Перфильева сделалось нехорошо. Муторно сделалось и тускло. «Господа,— гаркнул он строго,— господа, прошу не нарушать! Р-ра-зойдись!» И так это он решительно, так раскатисто начал, что осмелел. От своего голоса осмелел, много ли старому воину надо. К тому же он заметил, как в окне на втором этаже сдвинулась портьера и сам генерал, их высокопревосходительство, испуганно смотрит вниз. Перфильев почувствовал способность к решительным действиям. «Разойдись! Стрелять буду!» Он скинул в карман варежку, ухватился за кобуру, чтоб вытащить револьвер и выстрелить для острастки, но не успел. Народ, митинговавший в «Аквариуме», был вооружен.

Одной пулей Перфильева ранили в ногу, второй — в голову, еще б немного и совсем жизни бы лишили, но подоспели казачки, взяли врагов в нагайки, отбили Перфильева, положили в сани и отвезли в больницу, а оттуда — в Лефортово.

Но самое обидное состояло не в том, что отныне для Степана Тимофеевича Перфильева, не годного к службе, начиналась другая жизнь на пенсионе без приварка. Этого он еще не почувствовал со всей очевидностью. Он не мог взять в толк, как же так, почему их высокопревосходительство боевой генерал Акимов, видя все в окно, даже не поинтересовался, как он, Перфильев, уличный постовой, живой ли? Ни швейцара вниз не послал Филиппыча, ни кухарки, пока он лежал в крови на затоптанном снегу. Ведь за него же человек животом рисковал! Всегда верой... всегда правдой... жена, дети... Перфильев всхлипывал. Офицеры отворачивались. Не могли видеть его слез. Жалели.

Утро в Лефортовском госпитале начиналось с того, что старик служитель выносил ночной ушат и желал господам доброго здоровьица. Кузяев на всю жизнь запомнил лефортовские утренники. Бывало, еще не рассвело, за окнами ночь, в коридоре топят печи, и, как откроют дверь, березовое пламя высвечивает то кусок стены, то кусок казенного одеяла, красный свет ложится пятнами на сонные лица, блестит в глазах, на стеклах.

Служитель тем временем вносил железный таз и кувшин с водой. Умывались по старшинству. Первым подполковник, затем Перфильев (его жалели), затем господа офицеры, и когда очередь доходила до Кузяева, воды в кувшине оставалось, чтоб ополоснуть глаза, и все.

Затем следовал завтрак и врачебный осмотр. Смотрели раны, назначали процедуры. И только после этого, выставив в коридор наблюдателя (все того же старика служителя), офицеры закуривали, а делать это в палате строго воспрещалось.

Курили, стряхивали пепел в судно, и рассуждали о судьбах России. Говорили о политике, о манифесте, о новом губернаторе и выборах в Думу.

— Нет прежней Москвы! Былого москвича нет,— шумел подполковник, вращая круглыми глазами.— Что было, вышло. Ныне московский житель нечто совершенно иное, господа.

— Совершенно верно,— соглашался сотник.— Вы, Аркадий Филаретович, в корень глядите.

— Гляжу и вижу: нет уж той Москвы! А был центр сугубого нашего патриотизма, сугубого очага чисто русского направления мысли, а главным образом — чувств! Все гибнет. Мутят же воду обожравшиеся купцы, эта сволочь мордастая Рябушинские, Морозовы... На их денежки все деется. И оружие покупается, и газетенки издаются.

— Либералы!

— Царя свалить желают, чтоб самим править.

— Золотые ваши слова, Аркадий Филаретович.

— Вы мне льстите,— рокотал подполковник и рисовал страшные картины, что будет и как, когда царя скинут. У Кузяева леденело в груди. Это ж на что замах, на самого помазанника божьего... Господи, сохрани и дай сил!

Сколько времени прошло с тех пор, сколько воды утекло в реках, в морях, в московском том водопроводе... Лежал матрос в госпитале, слушал, о чем говорят господа офицеры, и вспоминал.

Флотская служба началась в Петербурге на Васильевском острове. Новобранцев, вымытых, остриженных и переодетых выстроили на плацу флотского экипажа. Сыпал серый петербургский дождь. Стояли мокрые кирпичные дома. Новобранцы ежились в не пригнанных еще бушлатах, переступали с ноги на ногу, а ветер с Невы приносил пароходные гудки, запахи горелого угля, манильского каната, дегтя.

Вышел боцманмат с серебряными лычками, кондриками на погонах, поправил дудку на груди. Важный боцманмат, грудь вперед, усы закручены, пятки вместе, носочки врозь на ширину ружейного приклада, вот так. «Сми... р... на!»

Мимо по плацу проходили матросские взводы. Каждый со своей песней. И строгий лейтенант вскидывал к козырьку ладонь в белой перчатке, приветствуя строй. «А полторы копейки день, а куды хочешь, туды день, да и на шило, и на мыло, и чтоб девочкам хватило...» Ать, два... Лейтенант опускал руку, зорким взглядом провожая последнюю шеренгу. Но тут уже подходил новый взвод, и белая ладонь снова вскидывалась к козырьку. «Ах, цумба, цумба, цумба, Мадрид и Лиссабон...» Здорово шли матросы! Рука вперед до пряжки и назад. Кузяевская душа рвалась в восторге туда к ним, чтоб с песней и в ногу, но сколько еще нужно было пройти до того.

Был учебный корабль, чугунные кронштадтские мостовые, дробь-атаки, дробь-тревоги, минные учения, артиллерийские учения, новый Либавский порт, балтийские штормы. «Ходи веселей! На начальство гляди веселыми глазами!» Миноносцы, броненосцы, паркетные полы в квартире кавторанга Синельникова, человека недоброго сердца, к которому попал Кузяев на втором году службы в вестовые. Все надо было пройти. И он прошел.

У того кавторанга было две страсти — море и взбалмошная женщина Людмила Павловна. Имя ее на вздохе.

Сам кавторанг был давно немолод. Бороду и усы подкрашивал так называемой венгерской пастой, а на голове

носил шиньончик натурального цвета и походку имел нервную.

Говорили, что Синельников богат, доходные дома у него в Кинешме и в Оренбурге, а жену он, можно сказать, купил, заплатив долг за ее отца. «Вы меня полюбите,— будто бы сказал он ей.— Я постараюсь заслужить ваше чувство».

Первый раз Кузяев увидел Людмилу Павловну, когда одетый во все новое, представившись ее мужу, выходил из его кабинета, а она сидела в гостиной за белым роялем. Ноты ей переворачивал племянник кавторанга, гардемарин Володя, безнадежно влюбленный высокий молодой человек с гладко приглаженными волосами и юным прыщиком над губой.

— О, какой миленький матросик. Подойди ближе. А ты, однако, бука...

Она была во всем белом. В белом платье. В белых открытых туфлях. С тонкой шеи спускалась на грудь белая жемчужная нитка. И духи ее пахли большими белыми цветами из неведомого сада. Ее руки стекали вниз на колени. Зеленым и красным вспыхнуло колечко на пальце.

— Ты, наверное, инородец, голубчик? Неужели я такая страшная?

Она была прекрасна. Кузяев лишился речи. Кузяев никогда не видел таких женщин. Так близко.

— Людмила, стоит ли тебе смущать его,— строго сказал кавторанг.— Можешь быть свободным, голубчик. Возьми в экипаже свои вещи и возвращайся. Кухарка покажет твою постель.

Что входило в обязанности вестового? Много разного. Он должен был чистить мундир; по весне выносить во двор легкие шубки Людмилы Павловны, хранившие запах тех цветов, и зимние шинели ее мужа и выбивать на солнце; каждый день ваксить башмаки, дышать на кожу — хы, хы — и тереть луком, чтоб глянец был зеркальный, ровный. Мягкой тряпкой Кузяев стирал пыль с книг в кабинете кавторанга, бегал в лавочку за провизией, потому что кухарке Анюте и так хватало работы: гости, родственники, капризы Людмилы Павловны. « У меня сегодня мигрень, что ты там грохочешь, дура?» — «Простите, барыня».

Он любил, когда хозяева уезжали в театр, а Анюта уходила к своей главной товарке, служившей на той же должности у контр-адмирала Фризе. В кабинете кавторанга, усевшись на кожаный диван, Кузяев рассматривал тяжелые книги с картинками на плотных листах, переложенные папиросной бумагой.

Чего только не было в тех книгах! И пароходы, и пестрые бабочки, и листья разных растений. Первая книга, которую он прочитал, была о море, о больших парусных кораблях и английском адмирале Нельсоне.

Нельсон удивил Кузяева и внешним своим видом и флотоводческим талантом. Он о нем думал, спускаясь с кожаным ридикюлем в лавку и натирая полы. И много лет позже вспоминал, как старого знакомого. «Вот был в Британии адмирал, я тебе скажу, Иван Алексеевич»... Ну да не надо вперед забегать.

— Доставались кудри, доставались русы старой ба-а-бушке ча-сать,— пел Кузяев, протирая хозяйские книги. Пел и сам не замечал, что поет.

— Петр,— позвала его как-то Людмила Павловна,— поговори со мной, мне скучно.

— Есть!

Он стоял перед ней в рабочей робе, в мягких домашних шлепанцах.

— Ну, так что ты молчишь?

— Виноват!

— А вот что ты сделаешь, Петр, если я возьму и поцелую тебя? Каприз у меня такой.

— Не знаю,— сказал он, испуганно оглядываясь.

Она засмеялась.

— Возьму и съем тебя. А то достанутся кудри старой бабушке чесать. Посмотри на меня. Или я не хороша?

— Есть! То есть так точно!

— Что есть, что так точно? Откуда ты такой взялся, медведь?

— Из Сухоносова...

— Ну, ладно. Иди, занимайся своим делом.

Однажды он натирал пол в гостиной. Скрутил ковер, всю мебель сдвинул в угол. Старым веником размазал по полу мастику, дал мастике подсохнуть и принялся растирать жесткой щеткой. Двигал ногой. Раз, два, раз, два... Людмила Павловна вышла из спальни и от нечего делать смотрела на него. Он чувствовал ее взгляд, стеснялся. Штанины у него были закатаны выше колен, рубаху он скинул и старым полотенцем на ходу утирал пот с живота, со спины. Здорово работал.

— А ты чего сегодня не поешь? — полюбопытствовала Людмила Павловна.— Я велю мужу, и он прикажет тебе петь.

Кавторанг приехал домой поздно и спал. По всем расчетам выходило, что он должен проснуться к обеду. Никак не раньше. Но тут почему-то он выглянул из спальни, выглянул и взорвался. Маленький, в синем шелковом халате с кистями на поясе, он кинулся по мокрому паркету прямо к Кузяеву, сорвал с его плеча полотенце и полотенцем, полотенцем затыкал ему в лицо.

— Обнаглел! В доме женщины! Ты как одет!

— Виноват!

— Бардак устроил! Иди в портовый бардак! Людмила! Я! Мы! Не позволю! Черт возьми...

Вечером с вещами Кузяев вернулся в экипаж.

В канцелярии дежурный фельдфебель, старый служака и философ, встретил ухмылкой:

— Из-за барыни, небось, списал?

— Не могу знать!

— А чего тут знать, не ты первый, не ты последний. Их высокородие дюже ревнив. Она молодая, ей подавай, да подавай, а в нем уже того пара нет... Ну ладно, иди в роту.

На следующий день Синельников отошел. Понял, что погорячился, но в вестовые Кузяева не вернул, а сказал, глядя в пол:

— Ты это, значит, Петр, не держи на меня... Бывает, знаешь, в сердцах. Может, чем помочь могу?

— Ваше высокородие, имею желание в школу машинных квартирмейстеров. Подсобите.

Синельников подсобил, и стал Кузяев специалистом по корабельным машинам. С тех пор они больше не встречались.

Потом, уже в двадцатые годы, Кузяев узнал от Анюты, бывшей синельниковской кухарки, что самого расстреляли в восемнадцатом, а Людмила Павловна в самый разгар нэпа вышла вторым браком за крупье из Сестрорецкого казино. Белый рояль свезли на Выборгскую сторону в пролетарский клуб, приделали к крышке проушины для висячего замка, чтоб был порядок, и, когда крутили кино, на рояле наяривал тапер. Но это вечерами. А по утрам дети рабочих разучивали на нем гаммы. Больше кухарка ничего не знала.

И опять надо поворачивать назад, возвращаться в Лефортовский госпиталь в девятьсот пятый год. Лежал там раненый матрос, вспоминал свою жизнь, и сколько бы ему лежать — совершенно неизвестно, если б вдруг в одно прекрасное утро не прикатил в Лефортово друг Коля.

Коля, плечом поддав в белую дверь, вошел в офицерскую палату. «Никак здеся, а?» — спросил, щурясь. Следом за ним еле поспевала начальница над сестрами милосердия. «Ну, куда же вы... Куда? Вам же русским языком!»

— Земляк! — заорал он.— А я тебя, Петруша, почитай, ищу по всему городу! Да отстаньте вы, мадам, сродственник он мой, вам же сказано! Живой! Живой, господи... Пардон, господа, пардон...

Коля сразу взялся за дело. Пошел к самому главному доктору. Привратнику сунул полтинник. Подавись, крыса! Кастеляну — двугривенный. На, держи! Той самой начальнице над сестрами попробовал положить в кармашек трешницу. Пожалте, кобыла старая, нам не жалко. Начальница обиделась до обморока. «Ах, что вы... Ах, что вы...» Но Коля не растерялся, продолжал шуметь, врал, что они с Кузяевым двоюродные братья и добился-таки своего. Сразу после обеда старик служитель принес одежду.

Николай помог одеться, сбегал в кладовую за рундучком и по широкой каменной лестнице под руку вывел Кузяева к подъезду, где стояли легкие санки, и кучер в архалуке, отороченном лисьим мехом, мерз, подобрав вожжи.

Уселись, запахнули медвежью полость.

— На Якиманку,— приказал Николай.— Пошел, давай!

— Куда едем-то?

— А к дяде. Дяденька тут у меня объявился. Из всех Алабиных самый Алабин. Георгий Николаевич — первой гильдии купец!

— А ты?

— А я? При его особе ныне состою для поручений,— важно сказал Николай и спрятал лицо в бобровый воротник.

10

Или вот еще история. Сугубо автомобильная. Специально для этой книги. Ее можно пропустить, а можно и прочитать для общей автомобильной подготовки.

Был у меня один знакомый. Наглец и хвастун. Я его не уважал и не ждал от него ничего путного и терялся при встречах с ним, испытывая непонятное чувство тревоги. Но однажды настал такой день, когда многое переменилось.

Как-то въезжая на площадь Маяковского и намереваясь сделать левый поворот на стрелку, чтоб ехать по Садовой, мой коллега зазевался. Рассказывал он что-то сидевшей рядом спутнице или просто отвлекся — неизвестно. В последний момент он попытался взять руля влево и, нажав на все педали, чего делать не надо, передним бампером ударил мирно стоявший впереди новенький «жигуленок», еще без номеров.

Над площадью в жарком чаду шарахнул упругий и совершенно неповторимый звук двух соударяющихся автомобилей. На асфальт посыпались красные и желтые осколки заднего фонаря. Идущие слева и справа машины сбавили ход. Водители завертели головами. Из пострадавшего «жигуленка» выскочил танковый полковник, мужчина высокого роста, совершенно обезумевший от неожиданности. Коллега понял, что дела плохи.

Он открыл дверцу. Он встал на непослушные ноги. Асфальт был мягким. Он стоял в самом центре площади. И в самом центре внимания. На него смотрели. Откуда-то уже подходил регулировщик, на его запястье болтался полосатый, черный с белым, жезл. Ну? — глазами промолвил полковник, у него еще не было слов. Ну? И тогда мой коллега открылся в совершенно неожиданном свете. Он развел руками и сказал:

— Какое счастье, товарищ полковник, что вы не на танке!

И речь идет не просто о самообладании или о какой-то натренированной автомобильной находчивости. Это шире. Это — об отношении к жизни и к разным жизненным ценностям. Всякое случается на дорогах.

11

Сани подкатили к железной ограде, за которой сквозь заснеженные деревья виднелся высокий дом с освещенным зеркальным крыльцом. От ворот к дому вела расчищенная дорожка, усаженная елками.

Из дворницкой на растоптанных ногах выскочил сторож, начал отпирать ворота. Загремел железом. «Давай, шевелись,— торопил Николай и дергал, дергал рукой в перчатке.— Давай...»

Мягко подкатили к крыльцу, и Кузяев понял, что в этом большом доме его ждут. Появились какие-то люди, без слов подхватили на руки и, тяжело дыша, понесли по лестнице наверх. Там в чистой комнате с круглой железной печью в углу его положили на кровать, на тумбочке подле зажгли электрический ночник. Смеркалось.

Появился доктор. Маленький, худенький человечек с черной бородкой клинышком, в золотом пенсне на шнурочке. Доктора звали Василий Васильевич.

— Вот так-так,— сказал он и посмотрел по-птичьи боком,— вот так-так...

Маленький доктор двигался рывками и говорил басом. Он потер руки и приступил к осмотру. «Лежите смирно, мой герой, дышите ровно...» Николай стоял в дверях.

— Через месяц-другой будешь здоров,— заключил доктор.

— Крепкий у нас народ! — крякнул Николай.

— И не говорите! Сутки на пробковом круге пробарахтаться в море — это следует суметь!

Доктор выписал лекарства и велел пить настойку из десяти трав, которую принесла хозяйка дома Надежда Африкановна, тихая женщина, жена того неведомого Георгия Николаевича, из всех Алабиных самого Алабина.

Хозяйка дрожащей рукой перекрестила Кузяева и ушла следом за доктором, а Коля, усевшись напротив на венский стул, начал рассказывать необычную историю своего знакомства со знаменитым дядей.

Вернувшись с Дальнего Востока, он остановился в Москве, накупил гостинцев для отца, для сестры и всех родствен-

ников, никого вроде не забыл, и в последний день перед отъездом в Тарутино двигался по улице Якиманке, держа курс к Москва-реке. На Кремль ему захотелось посмотреть.

Шел он себе тихо, спокойно, когда его обогнал черный лакированный автомобиль. Впереди сидел важный, усатый шофер, а за ним в стеклянном купе пожилой господин, откинувшись на кожаные подушки, курил толстую сигару и щурился.

Авто, сбавив скорость, остановился перед воротами в железной ограде, хрипло крякнул и тотчас же у ворот засуетился человек, начал отпирать. Затем еще раз крякнул, вздрогнул, присев на задние колеса, и покатил к зеркальному крыльцу.

Николай остановился из любопытства. Постоял бы так и пошел, но рядом пропитой мещанин в мятом пиджачке, изжованный весь, сказал злобно: «Чудит Алабин... Мильонов ему некуды девать...»

— Какой такой Алабин? — заволновался Николай и дернул мещанина за рукав.

— Че пристал? — возмутился тот с испугом и дыхнул устоявшимся перегаром.— Мы тя не трогаем, ты нас не трогай...

— Какой Алабин, спрашиваю? Я тоже, может, ту же фамилию ношу.

— Ну а я Романов! Повыше твово, отпусти руку-то. Этот Алабин Георгий Николаевич — наипервейший мильонщик. Пусти, а то ребят крикну!

Николай разжал пальцы. О том, что у него есть дядя Георгий Николаевич, московский купец он знал. Отец говорил и дед. Но никто вроде бы этого родственника в глаза не видывал, и как он выглядит, где проживает, было неизвестно. Николай задумался, и в тот осенний вечер вдруг осенило его, словно светлый ангел весь в одеколоне стукнул перстом в лоб.

Николай, как ни в чем не бывало, уехал домой в Тарутино. Отец на радостях устроил такой пропой, каких не видывали. «Сделаем кишку слепую зрячею, эх! прикрепим к ней лампочку висячую, эх!» — орал Шершнев. А Тихон лез ко всем целоваться и все кричал, что он убивец и по этой причине на зимнего Николу в храмовой праздник при народе полезет в осел, то есть в петлю.

Николай тем временем обдумывал свой план. Отмылся, выспался и утром невзначай начал намекать Илье Савельевичу, что есть у него в Москве дельце, оставшееся еще со службы, и коль выгорит оно, перепадут большие денежки.

Илья Савельевич сначала и слышать ничего не хотел, но, подумав, решил, что коль приступил сын с места наскок к коммерческим делам, то останавливать его нельзя. Может, в

нем купеческий раж взыграл, дедовская та кровь! Давай, сказал, сынок, только скорей назад ворочайся. И поехал Николай в Москву.

Там он привел себя в надлежащий вид, волосы напомадил, усы закрутил и, переодевшись во все флотское, с боцманской дудкой на груди, подкатил к знаменитому дому на Якиманке.

В воротах вышла задержка. Сторож не открывал, говорил, не велено, но Николай просто сунул дураку в зубы, на флотах это называлось «дать зубочистку», и подъехал к крыльцу.

Старый лакей в позументах смотрел на него с удивлением. Кто такой? Откуда и зачем? «Извольте выдти вон, господин матрос»...

— Доложи хозяину, племянник из Тарутина пожаловал! — сказал Николай мрачно и скинул бушлат на руки тому лакею.

Старик встрепенулся, хотел что-то сказать, но Николай подошел к зеркалу, плюнул на ладошку, пригладил чуб, чтоб лежал волной.

— Давай двигай, кобел бесхвостый! Недосуг мне.

Лакей поспешил наверх. На каждой ступеньке оглядывался и делал лицом гримасы. Боязно ему было.

— Давай, давай!

По причине нездоровья, выражавшегося в инфлюэнце, Георгий Николаевич находился дома, сидел у себя в кабинете и читал английского автора Макалея «Историю Англии».

— Из Тарутина? — удивился он.— Племянник, говоришь?

— Матросик. И сердитый жуть...

— Сердитый... Матросик... Из Тарутина...— Георгий Николаевич пожал плечами.— Ладно, зови. Господи, родственников только и не хватало...

Он указал племяннику, куда сесть. Сразу же отметив про себя, что парень он не робкого десятка и глазищи наглые. Сказал с усмешкой: «Значит, ты мой племянник? С какой стороны, объясни, только чур не врать». И Николай начал рассказывать про отца, про Тарутино, где все Георгия Николаевича уважают и часто о нем говорят. Вспомнил деда прасола.

Дядюшка слушал внимательно, не перебивал и вдруг оживился, велел позвать жену и старшего приказчика Аполлона.

— Мы тарутинские,— шумел Георгий Николаевич.— Мы Калужской губернии, Боровского уезда. Вся наша фамилия из тех мест! Не какие-нибудь мы... не немцы... Алабины Россию понимают... Дай я тебя, племяш, обниму. Африкановна, смотри, какой молодец. Люби его...

В тот же вечер Николай был представлен гостям как племянник из родных мест, где дед гнул спину в нужде, где отца

пороли на конюшнях, чтоб Георгий Николаевич — ведь Гришкой же он был поначалу! — поднялся до таких высот.

— Господа, прошу любить да жаловать! Племянничек наш Николенька Алабин, матрос и кавалер. Экий герой, а!

Откуда мог знать Николай, что прибыл на Якиманку очень кстати. Самое было время вспоминать свои народные корни, искать жилочки от земли. После Цусимы все надежды обратились к народу, к тому духу, который превратил удельное княжество Московское в великое государство. Не поднялся на войну русский народ! А поднялся бы, так от Японии и пыли бы не осталось на лоне вод!

Именитые гости оказывали Николаю всяческое внимание и лишний раз удивлялись оборотистости Георгия Николаевича. Было ясно, что по Москве пойдут разговоры, о том, что Алабин, несмотря на капитал, от родной земли не отрывается, живет ее заветами, весь плоть от плоти российский человек.

Георгий Николаевич пользовался в московских деловых сферах определенной репутацией. Он был богат. Но не настолько, чтоб входить в первую десятку или даже в первую сотню семейств, составляющих цвет и гордость купеческой Москвы. Говорили, что он масон и больших степеней. Но это не проверено.

В молодости он много путешествовал, плавал в Америку и караванным путем через Иран добирался в Индию. Там болел холерой. А, может, просто расстройством желудка, иди проверь. Несколько лет жил в Англии и в Англии чуть было не женился, это точно, но вовремя представил себе на миг, как встретят его миссис в Замоскворечье. Вася Рябушинский рассказывал, что на личико была она смазлива, при этом, конечно, политес, то да се, обучена, но отличалась худосочностью корпуленции, и Георгий Николаевич понял, что из-за ее фигуры будет ему конфуз в купечестве и, возможно, убытки в деле. Он попечалился, с горя запил было на британских на тех островах, но одумался и потом всю жизнь мучился, а находясь в плохом расположении, изводил свою Надежду Африкановну, урожденную Крашенинникову, вечными попреками, вспоминая ту англичанку. Она б и дом вела как следует быть, и от пирогов изжоги бы не было, и в великий пост семь недель, начиная с чистого понедельника, трескали бы не одни грибы! Прости, господи, грехи наши... Прости и помилуй.

Николаю дали комнату во втором этаже, окружили заботой и лаской, все хорошо, но была одна непонятность. К столу его не звали. Кормился он вместе с приказчиками и служащими конторы, которая помещалась во флигеле, что стоял на заднем дворе.

Николаю такая субординация показалась обидной, но по здравому размышлению он пришел к выводу, что дядя не

иначе как имеет намерение познакомить его со своим делом, ввести в курс изнутри, и успокоился.

Главный приказчик Аполлон Сериков был косеньким, волосы расчесывал на прямой пробор, а подбородок брил до синевы, демонстрируя свою аккуратность. Он имел прозвище «Соловей-Разбойник», поскольку у того тоже, как известно, один глаз смотрел на Киев, другой — на Чернигов.

— Милостивый государь,— говорил разбойник, усевшись в Колиной комнате,— дядюшка ваш Георгий Николаевич поручил мне заниматься вами, однако, поймите, сударь, беспорядки в Москве, экспроприации кругом, мы в конторе оружие держим, на полицию надежды никакой, и в этом смысле, сударь, вам не повезло, и свозить вас некуда, и показать нечего, так что не обессудьте.

В жарко натопленной конторе сидели служащие, скучно скрипели перьями, скучно стучали на счетах. Николай забрел туда от нечего делать. Его не выставили, но и радости особой не показали. «Смотрите, если угодно...» А чего было смотреть, все как везде, если б не одна диковина. Николай увидел и обомлел. У окна, выходившего в закиданный снегом тихий переулок, стоял на треноге вороненый германский пулемет.

Увидев, что племянник растерялся, служащие захихикали, ощерив прокуренные зубы. «Наш своего просто так не отдаст»,— пояснил Аполлон и был в его словах и еще какой-то скрытый смысл, потому что служащие глядели на Николая нагло и без уважения.

Больше он в контору не ходил и при первой же встрече сделал дядюшке намек относительно своего будущего.

— Человек я молодой, в деревне какая наука, борову хвост вертеть да девок щупать, а флот не в счет, там ведь чему учат, как что не так, в морду хрясть — и вся арифметика, битте дритте?

— Разумно...

— Вы бы мне какой совет дали, родная все ж таки кровь. Как дальше быть, к какому разумному делу притулиться...

— Побудь у меня, не спеши. Не чужие мы, это ты верно заметил. Время придет, я тебя пристрою. Есть тут у меня кой-какие планы.

— Хоть бы намек сделали.

— Разумно. Ну что ж. Есть у меня план... как Россию перевернуть.

Николай вспомнил вороненый пулемет и обомлел. Мысли закружились вихрем, сердце екнуло, обдало Николая холодом, он взглянул на дядю и понял, что тот не шутит. С таким не шутят.

О том, что Кузяев лежит в Лефортове он узнал случайно, встретив в Охотном ряду знакомого дальневосточника. Тот

только прибыл сибирским поездом и божился, что в санитарном вагоне ехал у них Кузяев.

— Да что я, Кузяева не знаю? Его, как с поезда сгрузили, так значит, и поволокли в госпиталь.

В тот вечер Георгий Николаевич пребывал в хорошем настроении, он столкнулся с хмельным племянником в коридоре, пожелал с ним побеседовать, и трудно сказать почему, но в разговоре упомянуто было имя Кузяева.

— А до флота кем он был? — поинтересовался дядя.

— По крестьянской части. И в Москве у вас в ямщиках.

— Бог мой,— обрадовался дядя,— из ямщиков в машинные квартирмейстеры! Вот оно знамение времени. От Савраса до машины — наш русский диапазон, и все надо превозмочь.

— Петруша головастый,— подтвердил Николай.— Сильную имеет сообразительность по машинной части. Я тоже в квартирмейстеры вышел, но строевым. Строевые, они главней, Георгий Николаевич. Строй — главное дело. Без строя, я вам скажу, никакая машина не двинется!

— А ты его давно знаешь?

— Кого?

— Друга своего машинного.

— Кузяева-то? Да с мальчишества. С энтаких годов. Вместе и гуляли, и все, и играли, и вот служить пришлось от Кронштадта до Цусимы.

— Так привез бы его сюда. Вдвоем веселей будет,— сказал дядя и тут же отдал распоряжение Аполлону Серикову, чтоб встретили.

— Слушаю-с,— сказал Аполлон.

Первые дни Николай занимал больного друга веселыми разговорами и успокаивал: «Ты домой не торопь. Отец, мать здоровы, нам того же желают, слава те, господи, за месяц не проскучатся, коль семь лет ждали».

По словам Николая выходило, что у Кузяевых все в порядке. Как приехал он в Тарутино, то до пропоя зашел в Сухоносово, со всеми покалякал, всех успокоил, не пришлось только свидеться с Аннушкой, она как раз к бабке уехала на богомолье.

На ком желает поженить сына Илья Савельевич, было хорошо известно. По этому поводу и переговорили и выпили достаточно. Но при всем при том представить Николая своим родственником, мужем Аннушки, Петр Кузяев не мог.

Если отец так решил, Аннушка перечить не станет, смирится, Платона Андреевича дети побаивались, да и на деревне начнутся пересуды, это хуже гнева родительского. Но только все равно не мог Петр Кузяев поверить, что и в самом деле все уже решено.

В парнях Колька Алабин считался вроде как непутевым. Умнел он медленно и не сразу. Многие считали его скрытным.

Веселый, разухабистый, свой парень нараспашку, как начнет травить, глазищи вытаращит, ну дурачок дурачком, а то вдруг умней умного. Кто с баталером в дружках? Кому лишняя чарка? Алабину. Кого офицеры на словесности в пример ставят? Опять его. Как повесили Кольке на погоны кондрики, драться не дрался, но с матросов драл по три шкуры.

В Москве он переоделся в черный пиджак, брюки купил, как у главного приказчика, черные в полоску с искрой, по груди пустил серебряную позолоченную цепочку с брелоками в виде дамских ножек, надел крахмальные воротнички и галстук повязал цвета персидской сирени. На улице встретишь такого, ну, барин барином. Адью и пардон, и больше ничего не скажешь. И разговоры у него начинались все о барских делах. «В России,— говорил,— все теперешние беды оттого проистекают, что нет у нас уважения к купечеству! Купец, он общество кормит, обувает, одевает, а его поборами морят, развороту не дают. Государь это понимает, он за нас! Ему весь ландшафт министры мутят, дворяне, стюденты...»

Но вскоре все эти разговоры Николаю наскучили, и он с утра уходил в город, там пропадал до вечера, а вернувшись на Якиманку, непременно придумывал какую-нибудь историю. То он помогал тушить пожар, то видел цыгана с медведем, и медведь тот у Рогожской заставы («Вот-те крест святой!») посреди улицы задрал одинокую барышню.

— Народу... Кровищи... Мамаша ейная ревмя, жених ревмя.

— Дак ты сказал одинокая. Откуда жених?

— Жених? — Другой бы смутился или начал вывертываться, но только не Колька Алабин.— Может, не жених... Может, сосед. Молоденький такой. Весь ревмя!

Так они беседовали в тот вечер, когда к ним в комнату неожиданно вошел Аполлон Сериков.

— Орлы,— сказал Сериков строго,— сам желает вас купечеству показать.

Николай развел руками:

— Раз приказ, так мы завсегда!

— Галстук оставьте. Велено явиться во всем флотском.

— Являются черти. В военной службе — прибывают.

— Умный...

— Так уж какой есть. По вашему приказанию прибыл квартирмейстер по строевой части,— шумел Николай, влезая в клеши.

Пока одевались, Аполлон цаплей ходил по комнате, сухими пальцами поглаживал синий подбородок.

— Чтоб все было в натуральном виде, как на смотру! — нашел на подоконнике огрызок сигары, понюхал.— Господи, так ить это мухобой! А я-то грешным делом думаю, чего это у вас вонь эдакая стоит, думал портянки...

— Я за нее двугривенный отдал.

— Вольно́. У нас для гостей по пяти рублев берут. Гавайские. А эти, которые вы изволите, классные надзиратели да фельдшера употребляют. В Лефортове.

— Мне они по крепости в самый раз. А от гавальских твоих в утробе першит,— не сдавался Николай.

Разбойник устало улыбнулся и больше не проронил ни слова. По красной лестнице они спустились в парадный коридор, застланный коврами, впереди вышагивал Аполлон, величественный, как адмирал на шканцах. Николай поддерживал Кузяева под руку, тот только начал вставать и шел не твердо.

Издали услышали они шум в гостиной. Там играла музыка и кто-то не то командовал вполголоса, не то кричал с пьяной радости во все штатское не обветренное горло.

Днем у Георгия Николаевича собрались какие-то господа, говорили много и шумно, обедали второпях, затем опять спорили и курили, курили. К вечеру, слава богу, разъехались, остались только свои — доктор Василий Васильевич, Сергуня Рябушинский и Вольф. Но у Надежды Африкановны было такое предчувствие, что еще кого-то ждут.

Надежда Африкановна боялась мужа и трепетала. За тридцать лет супружества она привыкла к его причудам. И вывертам на Ирбитской и на Нижегородской, Макарьевской ярмарке, к англичанке привыкла, которой ее попрекали всю жизнь, но последние годы стало совсем тяжело.

Георгий Николаевич одним из первых в Москве устроил у себя в доме электрическое освещение, газовые трубы велел убрать, а в газовые рожки, такие уютные, ввернули лампочки. Керосиновые лампы снесли в чулан. А уж были среди них такие изысканные, с матовыми цветными колпаками, с висюльками и хрустальными резервуарами для керосина. Деспот, одно слово, пустодомник. По мнению Надежды Африкановны, Георгий Николаевич был самодуром похуже папеньки, царствие ему небесное, пухом земля. Если б не кураж, не стал бы он за тридцать пять тысяч — это ж с ума сойти! — покупать абсолютно бесшумный автомобиль американской фирмы «Олдсмобиль». Были «олдсмобили» и русской сборки, шутники в купеческом клубе называли их «олдсмогилами», но Георгий Николаевич выписал себе настоящий, американский, обкатанный за океаном, пароходом доставленный во Владивосток, а оттуда по железной дороге под брезентом в Москву.

Тогда же он заказал из Питера «шофэра» француза, которого ласкал и сажал, пропахшего газолином, со всеми за стол.

Эти чудачества были неприятны, но не слишком страшны. Однако вскоре до Надежды Африкановны стали доходить слухи, что супруг ее затеял новое предприятие, от которого, возможно, попадет в банкроты. Уж больно, говорили, рисковая затея ему засветила. Чем рисковая, она не знала, муж и в лучшие-то времена не посвящал в дела, но догадывалась, что Георгий Николаевич потерпит банкротство на паровозах. Она сама слышала, как он сказал, транжир ненасытный, поднявшись с синим хрусталем в руке: «Паровая машина, господа, паровоз и пароход вытянут Россию из хлябей и дебрей и поставят ее, толстопятую, на столбовую дорогу прогресса!» Ну, в своем ли уме человек, на старости лет такие слова говорить...

Надежда Африкановна в байковом платье стояла у окна в своей спальне, когда к дому подъехал большой автомобиль, свет его фонарей слепящими полосами мазанул по фасаду, попал в ее окно. Она зажмурилась. Господи, еще едут!

Автомобиль, сбавив ход, развернулся перед крыльцом. Из него вышли два господина, Георгий Николаевич, разгоряченный, спустился к ним с крыльца. Боже мой, зима, снег кругом, это ж государя так встречать, а он, небось, вылез к своим механикам! Без роду, без племени, зачем...

Надежда Африкановна спустилась вниз распорядиться с ужином. А гости шумно прошли в гостиную, потирая озябшие с мороза руки.

Жена не знала, что в тот день Георгий Николаевич принял окончательное решение строить первый русский автомобильный завод. Не мастерскую, нет, и не отдел при существующем машиностроительном предприятии, а именно завод.

Проект предусматривал выпуск до 10 тысяч автомобилей в год в перспективе. Вся техническая сторона рассмотрена самым тщательным образом, завод должен был иметь литейную мастерскую, кузнечную, токарную, сборочную и кузовную. По предварительным подсчетам, следовало нанять 15 тысяч работников и около 50 инженеров. Тип автомобиля еще окончательно не выбрали — по этому поводу имелись различные мнения,— но это Алабина ничуть не волновало. Предстояло заинтересовать правительство, прозондировать почву в Петербурге в министерстве путей сообщения и, главное, привлечь солидных пайщиков. Капитал требовался немалый.

Все бумаги с расчетами были переплетены в два тяжелых тома — все от альфы до омеги — и уложены в английский портфель, черной кожи «бокс». Портфель был счастливым.

Вечером того дня к Алабину пожаловал издатель и редактор журнала «Автомобиль» Андрей Платонович Нагель. Была договоренность побеседовать с ним весной, в прошлый его приезд, но беседы не получилось. И вот сейчас было вдвойне

приятно при начале огромного дела видеть у себя дома такого признанного автомобильного авторитета.

— С добрым зажиганием, Андрей Платонович!

— С добрым зажиганием, Георгий Николаевич. Привет вам с хладных невских берегов и вот прошу познакомьтесь — Бондарев Дмитрий Дмитриевич, вы его уже видели весной на Сретенке.

— Очень приятно. С добрым зажиганием...

Георгий Николаевич окинул Бондарева быстрым взглядом. Так вот какой он, этот автомобильный вундеркинд, вокруг имени которого уже плелось столько небылиц!

Высокий, с тонкой шеей и белозубой улыбкой, Бондарев выглядел не старше двадцати пяти, черные, воронова крыла, волосы гладко зачесаны назад, под тонкими усами розовые губы. Совсем мальчик.

— Много о вас наслышан, любезный Дмитрий Дмитриевич. Но об этом потом. С мороза прошу рюмку водки... У нас попросту. Аполлон!

— Слушаю-с.

— Вели, чтоб доставили из буфета все в самом лучшем виде!..

Нагель приехал в Москву на автомобильное предприятие «Дукс». Он и весной туда приезжал по рекламным делам.

К «Дуксу» Георгий Николаевич относился без уважения. Да и в самом деле за что? Андрей Платонович восторженный человек, служитель муз, так сказать, мог ошибаться, а Георгий Николаевич все свои чувства проверял со счетами в руках. Ему было известно, что «Дукс» не приспособлен выпускать автомобили. И то, что за прихоть вдруг! Производство строилось на выпуск велосипедов. Затем начали делать штучно автомобили паровые, на одном из которых глава «Дукса» господин Меллер проехал по Кавказу и Крыму, преодолевая всяческие препятствия, среди которых, как отмечалось в журнале Андрея Платоновича, поездка на вершину Ай-Петри была не самая трудная. Но одно дело один автомобиль и совсем другое — два, десять, тысяча автомобилей! Это уже совсем разные задачи. Один — одно качество, два — другое. Объем проблемы иной.

— Ваше здоровье, Андрей Платонович, и всяческих вам успехов.

— Тронут и желаю вам того же.

— Дмитрий Дмитриевич, прошу...

«Неужели умный Андрей Платонович не понимает, что «Дукс» дышит на ладан. А, может, понимает? Взгляд у мужика умный и хватка, чувствуется, будь здоров»,— думал Алабин.

— Иван Федорович Вольф... Сергей Павлович Рябушинский, друзья нового спорта и транспорта... Василий Василье-

вич Каблуков, терапевт и скептик, но в высшей степени порядочный человек...

С некоторых пор «Дукс» перешел на бензиновые автомобили в 8, 12 и 16 лошадиных сил, выпускал, как писалось в рекламе, фаэтоны, лимузины, купе и омнибусы. Много было шума, но кто-кто, а Георгий Николаевич, патриот двигателя внутреннего сгорания, отлично знал, что «Дукс» накануне финансового краха. Еле-еле сводит концы с концами.

— Ставить на автомобиль никто из серьезных людей не хочет. Опасаются всяческих неожиданностей: дело новое, непроверенное. Но, с другой стороны, опять же непонятно, почему французы и англичане так богатеют на этих самобеглых экипажах.

— И в Америке Генри Форд, еще вчера безвестный механик в промасленной блузе, на каждый вложенный доллар получает три доллара чистой прибыли!

— Да, надо шевелиться и смотреть в оба, чтоб момента не пропустить подходящего,— сказал Сергуня Рябушинский и легким жестом поправил бороду.

Георгий Николаевич не случайно пригласил Нагеля. Этот деловой и решительный человек мог быть полезен если и не сию минуту, то в будущем. С прессой при всем при том следовало устанавливать доверительные и вполне приятельские отношения. Алабин мог выделить на автомобильное производство весьма крупные средства, но хорошо понимал, что без всесторонней подготовки трех рублей с рубля не получишь, хоть тресни.

— От меня повар ушел, господа. Прекрасный повар! Я его у Юсуповых переманил. Спрашиваю: чего ты уходишь, Никифор Аникеевич? Мнется. Ну, скажи, чем тебе плохо было? Он руками развел. Георгий Николаевич, говорит, из двух морковок трех не сделаешь. У князей да графов, у них легче, а у вас глаз да глаз.

— А из рубля три?

— Можно, но тяжко...

Вольф засмеялся. Было понятно, что он в нетерпении. Его следовало заинтересовать не в лоб, а исподволь. Не спеша дать послушать умных разговоров, не спеша втолковать, что автомобильное производство умножит его капитал, ввести в правление. Мешать Вольф не будет, но денег даст, если выгодно.

Сергуня Рябушинский, в профиль похожий на молодого орла, сидел на Якиманке с самого утра и при обсуждении проекта был сдержанно внимателен. На Сергея особых надежд не возлагалось, но он мог заинтересовать брата Степу, который хоть и был моложе, но считался оборотистым парнем и смотрел, говорили, сквозь землю: видел, где и на чем можно подзаработать. Вдвоем они вполне сумели бы расшевелить

самого Павла Павловича, главу торгового дома, тут бы дело пошло!

— Наш журнал,— говорил Нагель, подняв салфетку с колен и кладя ее перед собой на стол,— каков бы он ни был сыграл за три года своего существования довольно крупную роль, которую мы и имели в виду, основывая его. Он распространил понятие об автомобиле.

— Мало распространил,— вздохнул Георгий Николаевич.

— Нет, почему же так,— из вежливости попробовал засомневаться Иван Федорович Вольф.

— А потому! Ты все-таки конный выезд держишь? Кучер у тебя, тройка орловских, экие павы, я видел, как ты подкатывал. Нет чтоб автомобиль купить!

— А в самом деле, господин Вольф, почему бы вам не купить автомобиль? — оживился Нагель.— Удобно, экономично. Я понимаю, для серьезного человека в некотором смысле экстравагантно, ну да это скоро кончится. Мы отстаем даже не в производстве, а в отношении к автомобилю. Для обывателя он непонятный курьез, но почему наше мнение формируют обыватели? Опыт Англии, Франции, Соединенных Штатов Северной Америки подсказывает, что деловому человеку автомобиль необходим. Мы пытались расшевелить правительство и заинтересовать его в строительстве автомобильного завода.

— Вы имеете в виду Руссо-Балт? — показывая полную свою осведомленность, поинтересовался Алабин.

— Руссо-Балт особая статья. Выделены значительные суммы для развития его автоотдела,— отвечал Нагель.

— И господин Поттера, получив приглашение, прибыл в Ригу?

— О, с Жюльеном Поттера произошло много экстраординарного. Выбор пал на него потому, что он имел опыт и сотрудничал в бельгийской автомобильной фирме «Шарль Фондю, Вильворс, Брюссель». Поттера спроектировал для Фондю шасси с четырехцилиндровым двигателем, его-то и хотят взять за основу для первой модели Руссо-Балта. Ему пообещали совершенно неограниченные финансовые возможности и было дано указание не останавливаться перед затратами для производства самого лучшего автомобиля! Но с оговоркой, что все комплектующие детали, кроме магнето, свечей зажигания, шин и шарикоподшипников, должны изготовляться на заводе в Риге.

— О ля-ля! А сам-то Поттера где?

— Лежит в постели простуженный,— ответил Бондарев.

— Это и для меня новость,— всплеснул руками Нагель.— Как так, Дмитрий Дмитриевич?

— Приезд Поттера пришелся на самый разгар политических беспорядков. Он прибыл в Ригу по двинскому льду. На

железной дороге была стачка, и ко всему ходят слухи о эпидемии холеры в Прибалтийском крае.

— Сохрани Христос! Холеры нам только и не хватало. Дмитрий Дмитриевич, вы знакомы с Поттера?

— Да, мы виделись в Брюсселе. Прекрасный конструктор. Но что значит один человек?

— Моря утюгом не нагреешь,— вздохнул Рябушинский.— Вы правы.

— Надо заинтересовать правительство! — пылко воскликнул Нагель.

Георгий Николаевич хитро прищурился:

— Ну и как? Заинтересовали?

— У нас в Санкт-Петербургской управе до сих пор вырабатываются особые правила для автомобильных извозчиков и никак выработаться не могут, а вы толкуете про государственный завод, изготовляющий автомобили. Я вас правильно понял? Благодарю. До сих пор автомобили, отдающиеся напрокат, подводились под категорию обыкновенных извозчиков, и такса для «форда», к примеру, устанавливается такая же, как для сивой кобылы. Нелепость этого очевидна всем, кроме наших бюрократов. Автомобиль не может работать за 60 копеек в час. Он в этом час пройдет вдвое большее расстояние, чем лошадь, да и бензин дороже сена. Но автомобиль везет вдвое больше седоков, чем извозчик. Кроме того, норма скорости в десять верст...

— Ох уж наши господа столоначальники, министры, генералы статские, не матерь, чернильница их родила!

— Моря утюгом не нагреешь...

— Днями фон Мекк заявил, что в Москве тоже появится большое число автомобильных извозчиков,— поспешил показать свою осведомленность Иван Федорович, хотя он этих слов достопочтенного председателя Московского автоклуба не слыхал. Кто-то где-то говорил, он прослышал и ввернул вроде бы кстати.

— Побольше слушай этого дурака! — рассердился Георгий Николаевич.— Сидят, заседают у себя на Новинском, думают, от их говорильни Русь автомобильной станет. Дудки! Попробовали на Тверской, у Триумфальных ворот, в доме Гиршмана, гараж сделать, цену назначили значительную, механиков выписали и все равно горят ясным пламенем. Все в трубу! Все! А вы желаете, чтоб они завод строили. Как бы не так! В «Московских ведомостях» в наших рубрика появилась — «Зверства автомобилистов». Лошадь в сторону шарахнулась. Зверства! У дамы шляпа слетела. Опять же зверства! В России в нашей или сразу всем автомобиль дай, тогда поймут, или никому, чтоб шуму не было. А то кричат, что им без интереса, а сами зверства придумывают. Вот такая ситуация. А начинать все равно надо. Как быть?

— Тяжело,— согласился Нагель.— Что было и то заглохло. Лейтнер, Бромлей, Лесснер, Скавронский... Построили по одной, по две штучки каких-то уродов и на этом, кажется, остановились. Остался только «Дукс».

— И «Дукс» прогорит! Непременно!

— Не думаю, Георгий Николаевич, хорошо дело поставлено.

— Поживем, увидим. Попомните мои слова. И Руссо-Балт со своим Поттера тоже в убытке будут. Автоотдел — пустое. Нужен завод автомобилей, сугубо автомобильное предприятие,— заключил Георгий Николаевич и уставился на Бондарева. Ему интересно было, что скажет юное светило, гений нарождающегося российского автомобилизма. И чего он такое совершил, что о нем слава такая?

— Это верно, в наших верхах не понимают еще всех выгод автомобиля,— согласился Бондарев.— Бюрократия не может подхватить новой идеи. Им еще долго надо объяснять, что автомобиль — такое же важное и необходимое средство, как телефон, телеграф, экспресс...

— Ваша неточность,— засмеялся маленький доктор.— Телефон — это чтоб инструкции выслушивать и начальственное мнение, по телеграфу приказы передают и жандармские распоряжения, а экспресс государю необходим, чтоб за сутки из Питера в Ливадию. Найдите в этом кругу роль автомобиля, и вы со щитом!

— Главная роль автомобиля в том, чтобы ускорять движение товаров между заводом и складом, фабрикой и магазином. Труд одного шофера заменяет труд нескольких ломовых. Наступает век автомобиля, и обидно, что такой очевидный факт надо доказывать.

— Придумайте, как на автомобиле пушку возить или как с его помощью демонстрации разгонять, и вас поймут,— веселился доктор.

— Утюгом моря не нагреешь,— печально повторил Рябушинский.— Когда во всем мире лошадей на клей изведут, тогда наши встрепенутся.

— Дмитрий Дмитриевич,— Алабин повернулся к молодому человеку и положил руку ему на плечо,— слышал я, что занимаетесь вы искусством, называемым инженерной композицией. Вами сей термин и вводится в употребление. Где намереваетесь вложить свой труд? На Руссо-Балте?

— Да он еще курса не удосужился кончить,— сказал Нагель.— Ему еще инженерный диплом получать. Ну а потом на Руссо-Балт, я думаю. Они б и сейчас его взяли, но диплом необходим. В правлении могут не так понять...

— Разумно. Но мне диплома вашего не нужно. Дорогой Дмитрий Дмитриевич, приезжайте ко мне на неделе. Покалякаем о том, о сем, о наших автомобильчиках. У меня, у старо-

го, тоже кой-какие мыслишки имеются, и вопросики к вам будут. К девочкам вместе съездим. Ха, ха, ха... Давайте, хоть завтрашнего числа...

— Завтра я уезжаю в Харьков защищать диплом,— отвечал Бондарев.

— Эка неудача! Однако, может, повремении с отъездом? О том, что век автомобиля наступает, вы верно поняли.

— Ой, рано еще, рано,— простонал Рябушинский и смолк.

Тут подал голос Иван Федорович Вольф, уже охмелевший и потому смелый до дерзости.

— Я буду покупать автомобиль,— сказал он.— Я куплю хороший автомобиль, но я не знаю, какой выбирать. Я читаю рекламу, господа, все хорошо, господа, а в жизни окажется не все хорошо, я знаю.

— Абсолютно верно! — обрадовался Нагель.— В одной из наших газеток днями промелькнуло сообщение о том, какие иногда попадаются за границей замечательные автомобили. Будто бы недавно сооруженный автомобиль для герцога Эльского есть вершина комфорта в новомодных механических экипажах. Мотор шестидесятисильный, может развивать ход в 80 верст в час — это легко и в 125 верст при крайнем усилии.

— Возможно,— сказал Бондарев,— такие автомобили уже есть.

— Нет, Дмитрий Дмитриевич, вы извольте только послушать. Автомобиль герцога способен поднять шесть пассажиров. Двое все время будут находиться неприкрытыми на одной скамье с шофером, а для остальных четырех имеется под съемным тентом комфортабельный салончик.

— Шик, блеск!

— Пардон, это еще не все. Дозвольте закончить. В салончике легко поворачивающиеся во все стороны кресла-модерн, два столика, один откидной, другой складной и зачем-то еще, видимо, для старой бабушки герцога — кресло-качалка. Минутку внимания, это тоже не все. По желанию пассажиров салончик может быть разобран по частям, уложен и спрятан под ногами автомобилистов. Ать, два, и с этого момента все шестеро оказываются на открытом воздухе, а сама машина принимает вид торпеды.

— Я бы хотел посмотреть, что же будет с этими стеклянными стенками при скорости в 125 верст в час? — полюбопытствовал Рябушинский.— Интересно также, куда денется кресло-качалка? И бабушка герцога в нем?

Нагель засмеялся, при этом его коротко постриженные усы ощетинились и лицо приняло совершенно разухабистый вид.

— То-то и оно, но бог с ней, с бабушкой. У нас в верхах читают и диву даются: вот он, Запад, вот он, уровень техники! Чужая слава принимается на веру. В газетке напи-

сано: отделка всех внешних частей и корпуса представляет собой верх законченности в мельчайших деталях, а механизм мотора — последнее слово науки и опыта. Карбюраторы же, коих два, сооружены из самого упорного сплава. Побудительной силой служит бензин.

— Побудительная сила — бензин? — переспросил Вольф, придав своему лазурному взгляду умное выражение.

— Побудительная сила — пятак! — воскликнул Андрей Платонович, бывший столоначальник, бывший чиновник министерства путей сообщения, и встал.— Вот что губит нас, господа! Побудительная сила к написанию таких и подобных опусов. Автор пишет просто так, дабы заработать. Редактор печатает: надо ж что-то печатать! Читатель читает. А верховные бюрократы, как вы изволили выразиться, вздыхают и разводят ручками. «Что вы хотите от отсталой страны? Мы бедны талантами».

— И тем не менее надо начинать!

— Вот-вот!

Тут все заговорили энергично и громко. Вспомнили министра внутренних дел Плеве, который накануне Цусимы выговаривал военному министру Куропаткину, что тот не знает внутреннего положения России, из которого вытекает, что для удержания революции нужна «маленькая победоносная война». Допрыгались, умники! Вспомнили Сашку Безобразова, гвардейскую сволочь, отставного кавалерийского полковника, занявшегося коммерцией и получившего от корейцев лесную концессию по реке Ялу. Покровители выхлопотали ему субсидию в два миллиона рубликов и преобразовали концессию в «Русское лесопромышленное товарищество», куда пайщиками вошли сам государь — раз, царица Мария Федоровна — два, Плеве, адмиралы Абаза и Алексеев, стратеги морские, и другие того же ранга! Лучше б те деньги и чины пустили бы на автомобили, глядишь, и никакой войны не было бы, да и не надо!

Вспомнили всердцах, что наши морские силы на Тихом океане называли тихими силами, и зачем было соваться — вопрос. Не прошли мимо великого князя Николая Николаевича, который при объявлении войны собрал поставщиков армии и встретил заслуженных купцов словами: «Только не воровать, господа!» Ну где ж это видано, в какой Англии, в какой Франции...

— У нас генералы шибко умные, да и как иначе? Чтоб на должность пролезть, несомненно нужен талант. Но чтоб с должности той департаментом или армией командовать, другой талант предъяви! А его-то и нет! Откуда двум вместе взяться талантам, когда один редкость?

— Это как жена-красавица, верная мужу. Не бывает! Или, или...

— Затеяли маленькую войну...

— О, это да,— обрадовался Вольф. Будучи оптовым поставщиком интендантского ведомства, он имел крупные убытки.— Почему товар берут у Кнопфа? Почему Вольфу конфуз?

— Успокойся, Иван Федорович.

— Нет! Я хочу справедливость! Я сын отечества и слуга престола...

— Ну, понес!

— Я не понос! Как вы смеете, господин Рябушинский!

— Иван Федорович, да ты не понял. Успокойся, милый. Сергуня тебя уважает. Верно, Сергуня?

Андрей Платонович смотрел на все это с веселой улыбкой. Наконец, он вынул из жилетного кармана золотые часы, подарок Петербургского автоклуба на трехлетний юбилей издаваемого им журнала, поддел золотую крышку. Часы показывали без четверти десять.

— Пора,— сказал Андрей Платонович, ни к кому в отдельности не обращаясь, и встал из-за стола. Его начали было уговаривать остаться: время беспокойное, не резон ехать на ночь глядя, кругом баррикады, боевики, казачки пьяные, подстрелить могут за здорово живешь, да и есть губернаторский запрет: нельзя частным лицам разъезжать по ночам.

Но Андрей Платонович стоял на своем, у него был какой-то пропуск, и он верил в удачу своего Билликена. Шофера его так звали, или он так называл свой автомобиль никто не понял.

— Вот вам, Иван Федорович, еще одно преимущество нового транспорта,— сказал Рябушинский, желая показать Вольфу, что ничего против него не имеет.— Покупайте автомобиль, будете ездить по ночам.

Иван Федорович не понял, смешно это или не смешно, и поэтому нахмурился.

Внизу лакей подал Андрею Платоновичу широкую шубу, а Бондареву железнодорожную шинельку. И пока Андрей Платонович, подойдя к зеркалу, заматывал кашне, Георгий Николаевич ловко подхватил Бондарева за локоть, заговорил жарко и вкрадчиво:

— Надо нам с вами потолковать. Очень надо. Как будете в Москве, в любое время, ночь — за полночь, милости просим...

Нагель, замотав шею, подошел к Алабину и вынул из кармана маленькую костяную фигурку чукотского божка.

— На память. Примите. Это родной брат нашего Билликена. Известно нам, во всех автозаботах бог Билликен усердно помогает. Вильям Шекспир. Из его сочинений. Бог Билликен...

Бог Билликен сел на ладонь Георгия Николаевича. У бога был рот до ушей и маленькие веселые глазки.

В гостиной стоял невообразимый шум. Иван Федорович рвался петь русские народные песни, а Сергей Павлович Рябушинский пытался изображать адмирала Бирюлева.

— Разобьем япошек по первое число! — кричал он, выпятив живот и по-адмиральски решительно двигая вытянутым указательным пальцем.— Сотрем с лица земли и с лона морей сотрем!

— Тихо вокруг, сопки покрыты мглой,— наливаясь кровью, выводил Вольф и требовал внимания.

В Московском купеческом клубе Иван Федорович Вольф славился пением русских народных песен. Голос Ивана Федоровича, сильный и решительный, как гудок на его Дорогомиловском кожевенном заводе, способствовал тому, что слушателям в первый момент казалось, будто он вовсе даже и не поет, а сердится. На себя, на жизнь, на ворюгу-приказчика. Но при этом в его лазоревых глазах, опушенных редкими рыжими ресницами, сияли такие прозрачные слезы восторга, что московское купечество могло слушать Ивана Федоровича хоть до второго пришествия.

— Вдруг из-за туч блеснула луна, могилы хранят покой...

Георгий Николаевич сел рядом с доктором.

— Василий Васильевич, как думаешь, лет десять еще поживу?

— Георгий Николаевич...

— Знаю, знаю... Сейчас скажешь, что я еще богатырь, что я еще дуб могучий и до ста лет мне еще... До ста мне не нужно. Я хочу русский настоящий автомобиль увидеть.

— Ну, так это как раз через сто лет. Страна наша полна бедности и предрассудков, а вы толкуете о фабрикации автомобилей. У нас в деревне лечатся у знахарей, у нас десятки миллионов неграмотных и самая высокая в Европе детская смертность. Ничего у вас не выйдет, фантазеры вы все!

— Э, нет, Василий Васильевич. Бог даст, я за три года такой заводец поставлю, что пальчики оближете. Людей деловых найду...

— Вот-вот, людей. В этом как раз проблема. Инженеров вы найдете. Бондарев не один. Таких, как он, уж много народилось, а вот попробуйте моего Игната шофером сделать. Он кобылу-то в грязи содержит, каждый день пьяный, того и гляди опрокинет. Едешь к больным, крестишься.

— Лодырь он у вас!

— Почему лодырь. Он такой, как все. Однако при автомобильной скорости, если он погонит автомобиль на сорок верст в час, надежды никакой.

— Бе-ле-ют кресты,— пел Вольф и мотал головой.

— А потом, где механика взять, чтоб содержать автомобиль в полном порядке? Это ж должно появиться целое гаражное сословие. Мой же Игнатушка каждый год уезжает в де-

ревню к петровкам на сенокос, а в Москву возвращается только к успению. Это когда с посевом окончит. Право, какой из него шофер.

— Разумно. Но такие люди уже есть. Аполлон!

— Слушаю-с.

— Аполлоша, поднимись-ка к нашим героям и приведи обоих при форме там, при крестах, медалях, чтоб полный парад.

— Слушаю-с.

— Я вам, Василий Васильевич, нашел человека. Он у вас вначале кучером будет и то, думаю, пора вам Игната уволить, пьяницу. А мой протеже будет в самый раз. Мишель его подучит, и он с облучка пересядет за руль.

— Спасибо, конечно, но верится с трудом...

— Эх, друг мой, Василий Васильевич, мне б деловых людей заинтересовать...

— Ну а Рябушинские?

— Неясно еще. Все зависит от того, как Пал Палыч. Этот гусь молодой еще, шуршать не может. Денег у него нет. А братья без твердых гарантий не дадут. Крепкие ребята. В правительстве же на автомобиль и не проси, не до того. Государь изволит манифесты подписывать, эвон какую кашу заварили.

— Помню, я еще моло-душкой была...— начал Вольф, багровея.

— Георгий Николаевич, только как на духу, растолкуйте мне, вы и в самом деле верите, что России нужен свой автомобиль?

— Он ее спасет. Только он и никто другой. Мы завязнем в наших просторах. И уже завязли. В критическую минуту мы не сможем подвести ни продуктов земледелия, ни предметов промышленности. У нас армейские части двигаются пешими переходами. Растут города, нужен транспорт на каждый день.

— А железные дороги? Смотрите, какое строительство железнодорожное!

— На паровозе далеко не уедешь. Это не на каждый день. Паровоз всем нам повседневных коммуникаций не сокращает.

— Извиняюсь, конечно. Но аэроплан? Или цеппелин?

— Все так. Но мы по земле ходим, не летаем, нам наземный транспорт подавай... Нация может успешно существовать только при определенном развитии транспортных средств. Знаете, в чем главная трагедия черной Африки? Коня у них не было! Зебра в упряжку не годится, а слон африканский в отличие от индийского не приручается.

Георгий Николаевич потянулся за лимонным кружком, посыпанным сахарным песком и молотым кофе. В честь непопулярного государя, царскосельского суслика, эта коньячная закуска называлась «Николашкой».

— Выпьем, доктор,— предложил Алабин, но выпить не успел. Вежливо приоткрыв дверь, Аполлон Сериков вводил в гостиную двух высоких матросов.

— Прошу, господа.

— Вот они, наши герои! — Георгий Николаевич поднялся навстречу, расправил плечи.— Милости прошу к нашему шалашу. Племянник рядом со мной сядет, а уж вы, Василий Васильевич, приласкайте своего будущего шофера.

От неожиданности Вольф перестал петь. Аккомпанировавший ему Рябушинский ничего не понял. Он резко обернулся. Он уставился сначала в широкую спину Вольфа, затем, но не сразу — на вошедших и потерял сходство с молодым орлом.

Гувернантка Софья Карловна Дикгоф, добрая женщина, говорила ему в детстве, что когда он удивляется, то делается похожим на маленького воробышка.

Сергуня встал, одернул бархатный пиджачок, обшитый шелковой тесьмой, как у актера. Он был очень пластичен.

— Здравия желаем! — гаркнул Николай раскатисто. Весело у него получилось и лихо.— С далеких морей по вашему приказанию прибыли!

И сразу же потянулся к рюмке.

НА ПЯТЬ ХОДОВ ВПЕРЕД

Часть вторая

12

По данным Московской городской думы, в Москве в 1905 году было 155 автомобилей. Много это или мало, трудно сказать, да и не ясно, с чем сравнивать, какой масштаб выбирать.

В 1905 году родился старший брат моего отца дядя Леша. Он и сегодня молодой. Он погиб летом сорок третьего на Мурманском направлении и, когда пришла бумага из Сокольнического райвоенкомата, наша бабушка Вера сказала, что это ошибка. «Леша такой хитрый,— сказала бабушка. Она хотела сказать «умный».— Леша такой хитрый, он еще вернется». И строго поджала губы, кто, кто, а она-то знала, что Лешу не могли убить. Нашего Лешу? Да о чем вы! Глупости какие...

Когда звонила тетя Галя, бабушка спешила взять трубку, интересовалась, как внуки Наташа, Радик, как у них учеба, и обязательно, перейдя на шепот, рассказывала, что ночью ей опять снился Он. «Он в лесу. Он в партизанах. Он еще вернется, Галя, береги детей, вот увидишь. Он был такой хитрый...»

Что отвечала тетя Галя, молодая вдова, я не знаю.

В то лето мы вернулись в Москву из эвакуации. Стояли жаркие дни. Во дворе пленные немцы укладывали асфальт. На пустыре, возле котельной, задрав в небо тонкий ствол, расположилась, укрытая чехлом, зенитка, и девушки зенитчицы в тяжелых сапогах, в белых лифчиках, сняв гимнастерки, подшивали свежие подворотнички.

Мой приятель Левка Гуревич у себя в квартире, на антресолях, нашел пакет, в котором оказались старые, царских времен, деньги с портретами Петра, Екатерины, Александра... Были в том пакете, как я теперь понимаю, и акции разных компаний, помню «АМО», три буквы на банковской хрустящей бумаге, и вот все это Левка щедро вытащил из своей коммуналки прямо во двор.

Мы швыряли те старые деньги в колодец, куда стекает дождевая вода, это была касса, мы делали из них голубей, так чтоб царские портреты располагались на хвосте, мы топтали их босыми пятками, исполняя танец дикарей, как вдруг из Левкиного подъезда выскочила его соседка, высокая тощая женщина в деревянных босоножках.

Она выскочила во двор и застыла, увидев нас, и страшная гримаса исказила ее сухое лицо. Взгляд сделался безумным. Она подняла руки, прижала к груди, но сказать ничего не могла, ни слова! Спазм перехватил дыхание. Она захрипела. Мы испугались.

Зачем она хранила мертвые деньги? Как они ей достались? Почему были дороги, давно отмененные, давно потерявшие какую-либо стоимость? Может, она надеялась, что придут прежние хозяева и для нее начнется другая жизнь? Царь вернется, которого двадцать пять лет до того свергли и расстреляли? Дворяне вернутся, капиталисты? Мы глядели на нее и ничего не понимали.

Двадцать пять лет для нее и двадцать пять лет для нас, семилетних мальчишек,— это были разные сроки. Она помнила то, чего мы не знали и не видели. Она, потерявшая мужа в гражданскую, а сына-студента — в сорок первом в ополчении, помнила силу этих бумаг и верила в какую-то ею же придуманную сказку, которая не могла сбыться, но в которой те бывшие ценности играли какую-то роль. А мы их топтали и орали «Ура!» Мы царя не знавшие и частной собственности.

Я пытаюсь вспомнить лицо Левкиной соседки, и мне грустно, и эта грусть возникла после того, как моя жена однажды нежданно, негаданно открыла мне еще один масштаб времени. Второй масштаб. Исторический. Первый, тот измерялся двадцатью пятью годами. А второй...

Моя жена — художница, она занимается народным творчеством — кружевами, вышивкой, набойкой. Ее интересуют лакированные подносы и деревянные матрешки. Она современный человек, иногда меня пугает ее прокуренная женственность и резкость в суждениях. Но если ей надо, все это отмывается, как желтые никотиновые пятна на ее пальцах. Она может быть девочкой и мамой, и чужой тетей, когда не в настроении.

Как-то она летала на север за рисунками старинных кружев. Старушку они какую-то на Печоре разыскали.

Я встречал ее в Быкове. Туда прибывал их самолет.

Мы вышли из здания аэровокзала. Я нес ее чемодан, а она прижимала к груди альбом. «Как поработалось?» — спросил я, отмечая, что в самолете она успела привести себя в порядок, причесалась, накрасилась. «Великолепно!» — воскликнула моя жена, не замечая моего взгляда, и тут же, раскрыв

4 Зак. № 928

альбом (клокотало в ней все!), начала показывать рисунки кружев. Елочки, лошадки, снежинки там были, все сохраненное в первозданном виде с языческих дохристианских времен!

Десять веков назад плели эти узоры при лучине, при коптилке. Соседка перенимала рисунок у соседки, бабушка учила внучку и так до наших дней.

Оказывается, есть и такой вселенский масштаб — десять веков — и это реально. Вот оно! Мне стало не по себе. Мне спорить захотелось, протестовать я хотел и восхищаться, а над Быковым, гремя турбинами, шевеля рулями, как ладонями, заходил на посадку реактивный лайнер.

Сто лет, двести, тысяча...— много это или мало? Много или мало, с чем сравнивать?

Дядя Леша так и не вернулся с войны. Я его не помню. Какая-то смутная тень и выражение лица запомнилось. И только.

У дяди был собственный автомобиль «ЭМ-один», большая редкость до войны. Он носил рыжую куртку из чертовой кожи. Вспоминают, что был лих, любил песню про Каховку. Пел: «Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути». И когда пел, стучал по столу.

Сохранились фотографии. В его глазах какая-то приобщенность к тайне, мне неведомой. Или это просто отражение того промелькнувшего дня? Отблеск живого потока на равнодушной фотобумаге? Одна капля времени. «Спешите жить...»

Я думаю о моем дяде и о той девушке в белом пуховом берете, сдвинутом на ухо лихо и трогательно. В одно время они жили. Одно время диктовало им свои законы.

Она сфотографировалась с четырьмя парнями на мокром перроне у вагона. В ее улыбке загадка и беззащитность, и спрашивать неудобно, кто она такая, не хочется ошибиться и быть назойливым не хочется.

13

Двумя укатанными полосами проспект вырывается на последнюю прямую, четко означенную светлыми башнями новых домов, высоких и одинаковых. Светится вдали синий указатель: как сворачивать на Окружную дорогу, мигает на железобетонной фонарной опоре под незажженным еще фонарем желтый круг с красной окантовкой и цифрами посередке. Ограничение скорости 50... 50... 50... Там пост ГАИ и конец города. Оттуда дуют по утрам холодные ветры и приносят забытые запахи скошенной травы и проснувшегося мокрого леса. Однажды утром Игорь Кузяев услышал, как где-то дале-

ко-далеко кричал петух. Слышал и не поверил. Подумал, по радио.

С двенадцатого этажа линия горизонта теряется за лесистыми холмами. Над ними висят серебряные самолеты, а проспект, превратившись в шоссе, пропадает из глаз, огибая земную выпуклость, и несется дальше в сизом бензиновом чаду. Город выбрасывает из себя автомобили, как ускоритель — электроны. И летят они все вместе светящимся облаком. Ближе, ближе... Совсем близко. И вот уже оказывается, что кто-то идет впереди, кто-то чуть сзади, и законы этого летящего облака сложны и неясны.

Мы живем во времени, и оно диктует нам свои законы. Время в стиле деловых бумаг, время в покрое наших пиджаков и брюк, время в отношении к женщинам, к детям, к скоростям передвижения и взглядам на жизнь. Прав тот профессор, который обнаружил, что нынешние студенты гораздо проще усваивают квантовую механику, чем их ровесники двадцать или тридцать лет назад. Это тоже законы времени. Его вкусы и симпатии. Идеи охватывают нас исподволь. Идеи и скорости.

«Спешите жить! Скорость 80 верст в час!» Это заголовок из пожелтевшего журнала за 1907 или 1908 год. Он набран шрифтом, как билеты во МХАТ. Начало века... Но зачем так далеко? Игорь помнит, как ездили на дачу в сорок девятом. Как же это казалось быстро, когда стрелка спидометра подбиралась к 80! И шофер сидел, вцепившись в руль, и отец одобрительно покачивал головой, чувствовал себя лихим человеком, и мама пугалась, просила ехать медленней.

Автомобиль изменил нашу жизнь, показав новый масштаб скоростей и новый стиль жизни. Жизни в движении. Автомобильное колесо истории крутится вперед, и летят навстречу белые километровые столбы, и бьют в лицо запахи горячего шоссе.

«Спешите жить! Спешите жить! Спешите, милостивые государи...»

Однажды глядя на своего трехлетнего сына, Игорь Кузяев понял, что автомобиль, настоящий или игрушечный, для современного ребенка — лошадь и щенок, и тот Петя-Петушок, кукареканья которого он не слышит. «Ррр... р... р... р...» — это совсем так, как ку-ка-ре-ку... Живая оркестровка игры, уже не вещь, не слово, а первый термин. Ритм времени.

Для Платона Андреевича, праведника, гужевого извозчика и кузнеца, живым окружением были лошади, и жизнь наполнялась связанными с ними звуками и запахами. Лошадь, сено, деготь... Скрип колес, бренчание мятого жестяного ведра, подвешенного над задней осью, беспокойство медного колокольчика под расписной дугой, золотой и лазоревой. Как можно без него? В далеком пути радио тоже включают не

для того, чтобы слушать, вдаваясь в каждое слово, а чтоб был фон, потому что в дороге нельзя быть одиноким. Тяжело одному.

Платон Андреевич любил лошадей, тройки и троечные бега по льду Москвы-реки от Москворецкого до Большого Каменного моста. «Эх, не выдай, родные! Эх, ма...» — кричали ездовые. И пошел, и кажется, от злой судьбы сейчас улетишь, только дай крылья расправить за спиной.

Игорь Кузяев ездит неторопливо, то что шоферы называют — «с натягом», и на прямую переключает только после семидесяти. Платон Андреевич таких скоростей не знал. Но только ли в скоростях дело?

...Каждый год после рождества объявляли в городе о рысистых бегах. На льду Москвы-реки огораживали для бегущих лошадей круг, строили беседку, то есть трибуну, и в беговые дни с раннего утра десятки тысяч москвичей галдели на обоих берегах, ожидая начала.

— Милай! — кричали.— Милай, не выдай!

— Дави его, дави, кукиша!

— Взгляньте, взгляньте, барин, английских кровей коняги!

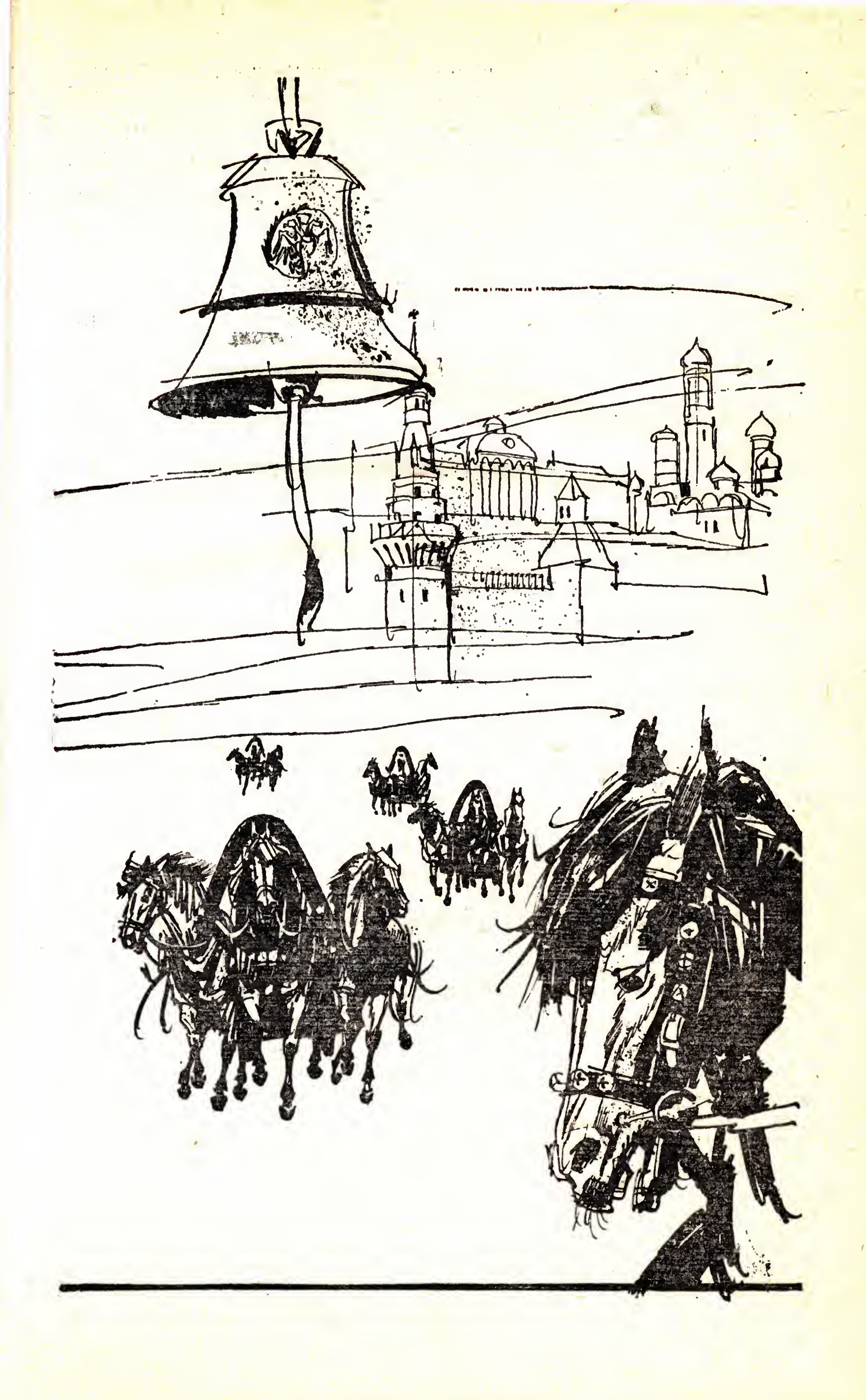
Славилась орловская тройка купца Караулова, бравшая призы зим пять кряду. И резвостью вышли те кони, и упряжью. А стати какие! Хороши были лошади пожарные московских частей Арбатской и Сущевской, там брандмайоры были любители, и еще ставили на тройку отставного гвардейца ротмистра Харлампиева. Сам он сидел в беседке у барьера, слуга подносил ему стакан теплого рому. Снег хрустел под полозьями. Морозно золотились кремлевские купола. Оркестр военной музыки играл на льду «Камаринского мужика» — ах ты, бу-бу-бу кама-рин-ский мужик, а бу-бу-бу-бу камаринский мужик... А на Рогожской заставе, в Хиве или на Вороньей улице, жил гужевой извозчик Лаптев, крестьянин Саратовской губернии. Кузяев был с ним накоротке.

Однажды не выдержал Лаптев, стронул свою тройку на лед к пусковой черте.

— Глянь,— закричали на берегу,— это ж какого завода кони? Гы...

Кони у Лаптева были свои, домашние, а сбруя мочальная, такую в пути подвязать легче, чем ременную, и санки обычные — розвальни. В беседке смеялись. Румяные дамы закидывали головы. Лошади били копытами, просили ходу. Ударил первый звонок, второй... Тройки встали к черте. И третий прозвенел. Пошел!

Кони сорвались с места. Звери-кони! Птицы-кони! Шеи-лебеди! Только охнули оба берега в стон, и заныло сердце, и подкатило к горлу. Где вы, наши... Первой шла карауловская тройка. Потом другие, и в самом хвосте в снежной пыли



мотался Лаптев. Куда ж сунулся, простофиля? Смеху-то, смеху... «Будет знать, такой немазаный!» — «Саратовский, говорят...» — «Учи его, Москва!»

Прошли половину пути — полторы версты. И тогда Лаптев, надвинув глубже свой треух, взмахнул кнутом и крикнул лошадям заветное, чтобы выносили, детки. «Не выдай!..» И никто не понял, что же произошло в следующий момент. Снежный вихрь винтом пронесся по реке, и мужицкая тройка, коренник — рысью, пристяжные — галопом, обогнав всех, пролетела призовой столб. Ударил медный колокол, дернули за веревку. Ни одной тройки не было ближе тридцати саженей от победной черты! Никого не пустил Лаптев «во флаг»! Казалось, лед обрушится от криков с берегов. Оркестр грянул туш, но слышно ничего не было. Ротмистр Харлампиев в расстегнутой шубе вздевал руки к небу, нагонный ветер-свежак рвал его белую сорочку, показывал розовую грудь. Дамы махали муфтами. На мостах кричали «ура!». И гарнизонные кремлевские солдаты на заиндевелых кремлевских стенах кидали вверх шапки.

Все это видел Платон Кузяев и рассказывал длинными зимними вечерами у себя в Сухоносове. «Да... были люди в наше время...» — приговаривал и кряхтел. А потом дядя Михаил Егорович пересказывал с его слов.

Надо было ехать в Сухоносово! Там жили родственники, бабушки, дедушки. Трудилась в колхозе внучка Дуни Масленки, и у той внучки в сундуке среди старых родственных фотографий, под картиной, писанной местным сухоносовским художником трактористом с МТС Ваней Дроздом, среди материных юбок, вылинявших панев, плахт и каких-то суконных, ситцевых кусочков, лоскутков лежали перевязанные бечевкой письма машинного квартирмейстера Петра Кузяева. Письма из Носси-Бэ...

Решили ехать в начале августа, сразу после возвращения из Ленинграда, но вдруг Степану Петровичу пришлось немедленно вылетать в командировку. Срок перенесли. Затем на меня навалились редакционные дела, освободился я только в сентябре, но и в сентябре выехать не смогли, и как-то вечером Игорю Кузяеву пришла во всех отношениях удивительная идея.

— Сухоносово никуда не уйдет,— сказал он,— поехали со мной на испытательный автополигон в Дмитров! Ведь смысл вашей книги, как мне видится, не в описании сухоносовских рассветов и закатов.

— Так-то оно так,— отвечал я,— но надо колорит тот представить. Обстановку. Я ж не холодный сапожник.

— Вы рассуждаете, точно археолог, который по одной кости пытается представить всего саблезубого тигра или еще кого, я не знаю.

— Это уведет меня в сторону,— твердо сказал я, а вернувшись домой, задумался и, глядя в телевизор, решил, что я и в самом деле не знаю людей, для которых автомобиль — профессиональная повседневность, такая же неотъемлемая часть жизни, как тройка для саратовского мужика Лаптева.

Время гудит автомобильным мотором. Дренькают стекла в окнах. Крутящий момент времени рвет тормоза. И вперед! А если хочется остановиться? Выехать из ряда и встать у обочины, шагнуть с резинового коврика на живые ромашки. Остановиться просто так, без дела, без видимой цели. Или просто посидеть в гостях. У друзей, которые никуда не спешат. Посидеть под зеленым развесистым шелковым абажуром, как у бабушки,— теперь уже и нет таких. Но все не получается никак. Надо заранее созваниваться, сговариваться...

Извечно считается, что будущего нет: оно еще только будет, будущее, а настоящее, с одной стороны, так стремительно, с другой стороны, так привычно, что невозможно сравнивать сегодняшнее со вчерашним в больших масштабах. Мы еще не знаем последствий и заранее не можем дать исчерпывающих оценок происходящего. Реально только то, что было: прошлое, настоящее, будущее — все вместе один след, и забытое прошлое рвется торпедой к борту белокрылого фрегата вашей наивной мечты.

Прошлое не мстит. Это неверно. Прошлое напоминает. И гудят острые торпедные винты, и стелется по морю кипящая пенная дорожка. Ближе, ближе... Лево руля! Полный вперед! Только так. Ничто, кроме прошлого, не подскажет, куда держать путь. Оно дает траекторию. Жизнь — сложная вещь. Но интересная. Будьте капитаном своего корабля. Поднимите воротник. На мостике так дует. И краем глаза из-под козырька смотрите туда, где пропадает след той, выпущенной в вас торпеды. По этому следу судить: будет взрыв или промажет судьба? Утешаться заранее можно лишь тем, что, по Эйнштейну, господь бог хитер, но не злопамятен.

Испытатель грузовых автомобилей Манучер Сергеевич Сергованцев родился в Персии.

Его отец работал шофером в советском посольстве и однажды в городе Тегеране на шумном базаре в пестроте красок и звоне медных тазов встретился с персидской красавицей Коброй-ханум.

Все было, как в сказке: Сергованцев ни слова не знал по-персидски, Кобра-ханум не знала по-русски, но, как пишется в балетных либретто, молодые люди полюбили друг друга.

Кобра-ханум оставила родных, приняла советское гражданство, уехала в столицу первого пролетарского государства, а потом — на Волгу, в город Горький, где ее муж и оба сына — Манучер и Аман — стали работать на автозаводе.

Ехали в Дмитров на испытательный автополигон, за рулем сидел Манучер Сергованцев и рассказывал о своей жизни.

— Имя мое Манучер,— рассказывал он,— по-персидски значит «талисман». У них там таких имен, как у нас Петя, Вася нет. У них каждое имя — предмет или понятие. К примеру, можно назвать ребенка... автомобилем.

— Девочку так не назовешь,— сказал Игорь.

— Девочку, конечно,— не сразу согласился Манучер,— но для девочек другие есть имена. Девочка может быть Дорогой, Березкой. Плохо разве? Дальней дорогой... Искристой дорогой...

— Искристой дорогой,— хмыкнул Игорь.

Перед отъездом он говорил мне, что Манучер Сергованцев отличается «автомобильным» складом ума, в суждениях нетороплив, побеседовать с ним интересно и полезно, но прежде всего следует обратить внимание, как он водит свою машину, свою старенькую «Победу» цвета «кофе с молоком».

Ровесники манучеровского автомобиля, такие же «победы», давным-давно пошли в металлолом. Остались музейные экспонаты да редкие реликтовые экземпляры, громыхающие по дорогам современности слабым напоминанием того радостного автомобильного племени «побед», родившихся сразу после Победы сорок пятого года. Как они были прекрасны! Сколько надежд будоражили! Но вот пришло время, и они вымерли, уступив трассу молодым. А «старушка» Манучера и не думает стареть. Мотор он ей заменил. Сердечко. Всю ходовую часть отладил, лонжероны сделал из легированной стали. Чтоб ржа не ела. Ну, конечно, чехлы завел приличные. «Я автомобильный человек»,— белозубо смеется Манучер.

За рулем он сидит кулем, то есть спокойно. Руки у него безвольно расслаблены, и во всей его широкоплечей фигуре ленивая кошачья мягкость, позволяющая в любое мгновение сразу же отреагировать на любую дорожную непредвиденность. Он профессионал, в его манере нет блеска многоопытных частников, для которых езда, в общем-то, отдых. Он работает. И манера его работы внешне неприметна. «Мое дело рулить»,— говорит он. И рулит, точно выдерживая свой курс, без азарта и без напряжения. Стрелка на спидометре застыла на отметке «90» и не дрожит.

— Смирная у тебя машинка,— говорит Игорь.

— Проверенный аппарат... Не первый год вдвоем.

— Легко бегает.

— Так отладил. Что ей не бегать, дурехе.

Я присмотрелся к тому, как ведет Манучер свой автомобиль, и очень скоро понял, что за рулем виртуоз. На забитом шоссе гремели навстречу тяжелые самосвалы, дымили автобусы, лихачили молодые солдаты, а Манучер ехал себе и ехал, вроде бы никого не обгонял, а получалось, что он впереди.

— Манучер Сергеевич, объясните, как это у вас получается? — спросил я.

Эта просьба была Сергованцеву приятна. Он улыбнулся, блеснув золотым зубом, сказал:

— Это опыт,— интонация его голоса предполагала, что слушателям ясно, опыт не божий дар, а дело нажитое, приобрести его может каждый, хотя это совсем не так просто. Подумав, он решил пояснить: — Мне рассказывали, когда Ботвинник играл со Смысловым... Это не вы, Игорь Степанович, мне рассказывали? Ну, в общем, кто-то травил, неважно. Суть в том, что Михаил Ботвинник думает на пять ходов вперед. Я так не умею. Ни в шахматы, ни в шашки. Дуб. Зато на шоссе я думаю за три автомобиля, не считая своего. Свой я веду само собой. Даю пример: вон, глядите, впереди дурачок хочет левый поворот делать и начал перестраиваться, а назад не смотрит, и что там творится, не соображает, а зря. Сейчас ему самосвальщик врежет и будет прав. Хотя, может, и не врежет. Обойдется. Мы же тем временем, что бы у них там ни вышло, будем держаться слева и проскочим, пока они разбираются. Для себя я всю эту обстановку не формулирую, но вы спросили — я сказал.

Кузяев обернулся ко мне, со значением прикрыл глаза, кивнул, вот, мол, я обещал, теперь набирайтесь ума, еще не то услышите.

На Дмитровский автополигон мы попали в неудачный день.

Накануне бесцветным осенним утром на скоростном кольце голубой «форд» — его сравнивали с нашими автомобилями того же класса — сбил лося.

Мы выехали на скоростное кольцо. Мягкий ветер врывался в машину. Манучер увидел темное пятно на асфальте. След лосиной крови. Притормозил.

— Лося жалко,— сказал.— «Форд» черт с ним, он железный, его отрихтовать, покрасить — и он как новенький, а лось — живое существо. Я лосей люблю. Едешь, они иногда к шоссе выходят, нюхают воздух. Они на пловчих похожи. Как будто батерфляем плывут.

Проехали по скоростному кольцу. Объяснили, что скоростным его называют потому, что тут можно держать ту максимальную скорость, на которую рассчитывается автомобиль. Таких дорог у нас не строят или строят, но мало и, по мнению Манучера, это тема для серьезного разговора. Он сидел за рулем, некоторое время молчал, а потом вдруг начал спо-

рить с воображаемым дорожным начальником, от которого многое зависело.

— Ну вот,— говорил Манучер и энергично щурил правый глаз,— вы хотите, чтоб автомобиль строили для дороги? Пожалуйста вам. Какой хотите? Чтоб по деревьям лазал? Можем и такой.

— С лапами, Манучер. С лапами...

— И что нам нужно?

— Время,— поспешно сказал я потому, что большой дорожный начальник был лицом воображаемым, и надо было поддержать разговор.

— Нет,— обиделся Манучер,— дело не во времени! Главное — деньги. Кажется, мы деньги бережем: плохая дорога дешевле. Однако разве мы не знаем, что на плохую дорогу идет дорогой автомобиль. И металла на него много, и ремонта на него много... Логично?

— Логично.

— Ну, ты, Манучер, философ!

— Мы строим автомобиль для дороги, они у нас в любых погодных условиях ходят и география любая, а надо строить дороги для автомобиля, вот тогда будет порядок, Игорь Степанович. Другой подход. Ну и вот еще ваша проблема чистого выхлопа. Хотя, конечно, воздуха нам пока хватает. И какого. Страна большая. Моря кругом и леса — источник кислорода.

Чуть погодя без всякого вступления Манучер сказал:

— Я хотел быть летчиком. Я с детства мужик оригинальный, тянет меня на скорость. Я когда в войну служил в Уральском танковом корпусе, у нас капитан, командир батальона, все говорил: «Манучер, персидский твой бог, не газуй ты так, это тебе танк, а не «шевролет», это боевая машина, а ты из нее рекорд давишь, угробишься...» Не прав капитан — пока живу.

Мы съехали на «булыгу», и двадцатый век для нас кончился. Мы ехали по пыльному почтовому тракту, и «Победу» цвета «кофе с молоком» трясло, как ямщицкую телегу. Треньками стекла, скрипели пружины. Стучали зубы. Здорово доставалось нашим предкам!

Звонкие булыжные мостовые давным-давно свое отжили, но в программу автоиспытаний обязательно входит пробег по «булыге». Для автомобиля нет ничего страшней.

— Не нравится ему. Не любит...

— Интересно, грузовики-иностранцы, как правило, таких испытаний не выдерживают, разваливаются,— сказал Кузяев.— Летят у них крепления, летят рессоры, и, в общем, очень приятно смотреть, как наши скромные грузовики, не такие красивые, не такие яркие, дают фору пижонам-иностранцам. Увидите.

— Я легковых автомобилей не уважаю,— сказал Манучер,— целый день его крутишь — никакого впечатления. Я грузовик.

Мне пояснили, что испытателей легковых автомобилей называют легковиками, а те, кто испытывает грузовые,— те грузовики. Манучер — грузовик.

Принято считать, что в легковики на красивую жизнь идут люди перспективные. Молодые. Длинноногие любители галстуков и одеколонов. На легковых ездят институтские заочники или те, кто собирается пойти учиться. Сыны заводского начальства тоже идут в легковики, у легковиков душистая работа. Их любят девушки. То, се, трали-вали, от и до.

— А у нас работа — грязь да тяжесть,— говорит Манучер.— К нам идут забубенные, которые эту работу ни на что не променяют. Мы ямщики.

— Ты патриот,— подтвердил Кузяев.

И чтоб я понял суровую душу настоящего грузовика, тогда же они решили познакомить меня с Федей Корольковым, которого Манучер считает самым своим перспективным учеником и гордится. Манучер у него наставник.

Федя оказался невысоким молодым парнем в стареньком шевиотовом пиджачке, на котором все пуговицы были разные и одна военная. Такие пришивают на шинели.

У Феди тяжелые руки и серьезное лицо, на нежной, почти девичьей щеке родинка. Феде двадцать пятый год, но он уже шофер-испытатель самого высокого, седьмого разряда. На полигоне его уважают с тех пор, как он вместе с опытным испытателем Пагиревым на двух грузовиках через тайгу и таежные хляби прошел без дорог до Владивостока. Всю трассу первым пришлось идти Феде, потому что пожилой Пагирев жалел машину. Много лет до того он был обычным шофером-эксплуатационником, автобус водил, бензовоз, таскал кирпичи, бочки, ящики, и многолетний шоферский опыт приучил его жалеть технику. Беречь ее. Холмик там или колдобинку объехать. На подъеме скорость переключить. Да и как иначе! Для эксплуатационника это важно. Шел же Платон Андреевич Кузяев рядом со своим возом. Шлеп, шлеп валенками. Сколько верст отмахал, а на воз не сядет, бережет лошадь. Тут тот же подход.

Но перед шофером-испытателем другие задачи. Манучер говорит, что испытателям жалеть автомобиль нельзя. Он сплевывает на сторону. «Дрожанье рук...» Когда же требуется превосходная степень, он добавляет: «Дрожанье рук, дрожанье ног...» Это уже вроде как бы с похмелья человек или с большой радости. На полную катушку Манучер выдает в исключительных случаях: «Дрожанье рук, дрожанье ног, судьбы дрожанье!» Это он стихи однажды услышал, всех слов не запомнил, но ритм потряс его шоферскую душу. «Дрожанье

рук, дрожанье ног, судьбы дрожанье...» Тут ему увиделся большой смысл. А вообще-то к стихам он не очень. Он любит полонез Огинского, брат Аман играет на аккордеоне, и нравится ему, как Валя Леонтьева ведет телевизионную передачу «От всей души». Несколько раз Манучер плакал. Честное слово. «Судьбы дрожанье»,— заключает он.

Нет, испытателю жалеть автомобиль нельзя.

— Как ты его проверять будешь, если в тебе жалость? Противоречие! Иду на подъем, мотор, как организм, ему тяжело, он задыхается, а я ж не зверь. Рука сама тянется, а ты нет! Нет, нет... Зубы сжал вот так вот и еще ему по газам. Иначе ничего не выяснишь.

Когда-то давно Манучер тоже имел жалость к автомобилям, а вот Федя Корольков родился, барбос, испытателем! Он сидит за рулем, выражение лица у него равнодушное. Жалости вам никакой! «Барбос! — говорит Манучер с восторгом.— Дрожанье рук!»

Испытатель Корольков держится очень прямо, не сутулясь, походка у него летящая. Он очень следит за своей внешностью, и разные пуговицы — это для шика. Он специально ездил в Дмитров — брал у Манучера машину — и купил себе черные индийские полуботинки, совершенно негнущиеся, на что Манучер сказал: «Теперь ты, Федя, джаз — эстрадный парень» — и Федя долго смеялся, мотал головой: «Вы скажете, Манучер Сергеевич, это даже смешно, мы ж с вами их загодя видели. Вы мне и присоветовали».

— Вот, Федя, какое дело. Ты садись. Тут писатель хочет с тобой побеседовать,— начал Манучер спокойно, без улыбки, так, чтобы Федя сразу же понял, что Манучеру беседовать с писателями — дело привычное, а теперь и Феде пора привыкать и ничего в этом особенного нет.— Я рассказывал, что жалости в тебе нет. Ты это подробно объясни.

— Что я объясню? — удивился Федя.— На словах ничего не скажешь, надо на трассу выходить.

И ранним утром следующего дня, позевывая и поеживаясь — солнце еще только-только выкатывалось над желтым лесом, и шоссе было темным от росы,— мы с Федей выехали на трассу.

Пробеги до Владивостока по бездорожью бывают не часто. Обычная работа Феди Королькова — гарантийные испытания, сравнительные испытания, проверка нового электрооборудования и нового «чистого двигателя», над которым работает Игорь Степанович. Как-то было у него задание при скорости в 80 километров — спешите жить! — сорвать протектор сначала у передних, потом у задних баллонов. Испытывалась новая модель резины.

Его грузовик набирал скорость и резко выходил на бровку, где кончается асфальт и начинается обочина. Асфальтовая

кромка режет резину лучше, чем наждак, и удержать машину с мгновенно срезанным протектором на шоссе почти невозможно. В последний момент, когда уже ясно, что летишь в кювет, надо откинуться назад, упереться ногами в пол, застланный резиновым ковриком. И еще надо успеть сжать зубы, чтоб не откусить язык.

В какое-то мгновение возникает ощущение невесомости, машина выскальзывает из рук, как кусок мокрого мыла. И кажется — все!

Следом за Фединым грузовиком шел «газик» с заводскими представителями. Представители подъезжали, когда Федя уже вылезал из кабины, стоял, постукивая ногой по переднему левому баллону. В придорожном лесу пели птицы, и ветер от проезжающих машин срывал кепку.

— Ну как, живой-здоровый? — спрашивали сверху.

— Живой.

— Ну, давай наверх и начнем. Закончим, пока не жарко.

И снова новенький грузовик с надписью «Проба» на обоих номерах задом вылезал из кювета на шоссе, набирал скорость, подкатывал ближе и ближе к кромке.

— Это страшно? — спросил я.

— Не без того,— солидно признался Федя.— Страх надо перебарывать.— И привел несколько примеров из истории Великой Отечественной войны. Потом он сказал, не отрываясь от дороги.— Вы с Манучером Сергеевичем побеседуйте на эту тему. Вот ему приходилось! Он испытатель со стажем. Он вам свою автобиографию рассказывал? Его биография не совсем простая.

— Рассказывал,— ответил я и проникся вдруг уважением к самому себе,— рассказывал, как же. Он мне даже тайну одну обещал открыть...

Это я, пожалуй, насчет тайны сказал зря. Федя прореагировал на «тайну» гораздо энергичней, чем можно было ожидать.

— Ты смотри,— сказал он,— а я и не знаю. Мне он не говорил.

И, вернувшись с трассы, испытатель Корольков первым делом поспешил к Манучеру.

Манучер сидел у себя в комнате в белой шелковой майке, чертил на оранжевой миллиметровке диаграмму и изредка в задумчивости почесывал карандашом волосатую грудь.

Он выслушал Федю. Угостил меня «Беломором», протянув открытую пачку, а Феде не протянул, потому что нечего ему, молодой еще, и, закурив, сказал:

— Вы себя первым делом успокойте. Какие тайны? Кто говорил? Я говорил? Что мы с вами, в средние века живем? Пиковая дама. Тройка, семерка, туз... Я вам про Ботвинника рассказывал, как он думает на пять ходов вперед? Рассказы-

вал. Федя, это никакая не тайна, тут все дело в опыте. Опыт нужно уметь набирать, ну и, конечно, чтоб голова на плечах варила...

— Я понимаю,— сказал Федя серьезно и подвинул Манучеру пепельницу.

14

Благословенная калужская земля со всеми своими лесами, лугами, пахотными полями и выгонами кормила скудно. Не раз отмечалось, что по своему географическому положению, качеству почв и малоземелью сравнительно с народонаселением, принадлежит она скорее к числу бедных, чем достаточных губерний России. Почвы все больше были суглинистые, «ископаемых произведений», таких, как каменный уголь, железная руда, нефть, в калужских пределах не определялось. Из промышленных занятий известно было приготовление рогож и кулей, трепание пеньки, выделывание овчин и кож, копание колодцев (особый промысел) и делание мостовых.

Издавна крестьяне из близлежащих уездов и смежных губерний шли на заработки в Москву. У каждой местности были свои излюбленные ремесла и занятия. Так, тверские мужики занимались сапожным делом, ярославцы, бойкие на язык, большей частью определялись в трактирщики и лотошники, торговали моченой грушей, квасом; косопузые рязанцы считались знатными портными и картузниками; владимирцы — плотниками и столярами, понимали резной узор, делали колеса. Сбил, сколотил, вот колесо, сел да поехал, эх, хорошо... Это про них.

Расторопные калужане в поисках средств к существованию отправлялись пёхом в самые дальние края империи. Возводили здания в Петербурге и Одессе, арендовали землю в царстве Польском, кормили Варшаву ранним огурцом и редиской «пуговкой». Жиздринский и Козельский уезды растили мужиков-рудокопов. С первым снегом, сбившись в артели, отправлялись они в темные донецкие шахты, чтоб скопить на житье и к петровкам вернуться домой. А Боровский уезд, Чубаровская деревня Сухоносово гордились своими гужевиками и ваньками.

В город уходили, как в рекруты. Не на радость. Город пугал многолюдьем, злым начальством — городовыми да дворниками. «Куды прешь, деревенская рожа?!» И метлой, метлой... Город пугал громадами кирпичных домов. Пугал укладом своей городской, не деревенской жизни. Пугал обманом. На фабриках обманывали сельского человека. В почлеж-

ках обманывали. В городе ели хлеб, не снимая шапки! Шельмовали в кабаках, в чайных, в увеселительных заведениях, где красивые бабы — каждая барыня!...

Города боялись. И городу завидовали. Там жили, не трудясь, в городе, разные мазурики, телигенты, внутренние враги. Над царем там смеялись, бога там не почитали, а жили, нам так не жить! И мужичка к себе ни-ни. Брезговали мужичком.

Городу не верили. В городе было все иначе. Жизнь была дома. В деревне. А здеся сон, обман, на время забытье... Пела шарманка, на трех ногах. Глядели кухарки из открытых окон. И усталая птица попугай тяжелым клювом, как нос у кавказца, доставала билетики на счастье. Сыпал дождь по железным крышам, в мокрых переулках носились ветры. И, если уж на то шло, в ненавистном, страшном, каменном городе разрешалось и своровать, и пырнуть ножом в спину, не взяв на душу смертного греха. Все, как во сне. На время забытье... Вернешься домой, на землю отцов, и отмолишься в родном храме. Можно ли в того бога веровать, который не милует? Прости, господи, люди твоя.

Георгиевский кавалер и машинный квартирмейстер Петр Платонович Кузяев знал, что едет домой на побывку. После семилетней службы, войны и ранения вполне полагалось повидать родных, отдохнуть, а затем следовало опять собираться в город на городскую жизнь. Земля не кормила.

Имея познания в паровых котлах тройного расширения, Петр Платонович высказывал намерение устроиться механиком на завод «Бромлей» у Крымского моста, как двоюродные братья Петр и Михаил, первые сухоносовские металлисты. Однако судьба распорядилась иначе.

Доктор Василий Васильевич Каблуков, потирая сухие ладони, предложил ему в тот вечер, когда их с Колей представили гостям, быть у него кучером за 25 рублей в месяц, при условии, что он будет учиться на шофера и, получив диплом, отработает доктору все затраты на обучение. Кузяев согласился, да и как можно было пропустить такое?

Настал срок, Илья Савельевич прислал в Москву лошадей, четверть водки, настоенной на злом перце, чтоб Колюшка с другом не проскучились в пути.

Выехали затемно, улеглись в санях, заснули, а проснулись уже за Московской заставой. По укатанной дороге сытые алабинские лошади тянули шутя, только пофыркивали да швыркали хвостами. Скоро как раз показалась вся белым бела большая деревня Чертаново. В утреннее небо неслышно валили печные дымы, скрипел под полозьями чистый снег. «Придержи, дядя,— попросили возницу.— Без спеха нам». Выпили по махонькой, закусили мерзлым пирогом и, стряхнув крошки, снова прилегли. Дорога стлалась за горизонт, сани

катились мягко. Светлое солнце, как моченое яблоко, схваченное морозом, поднималось над лесами, пополам разрезанное. Ныли на ветру зубы. Проехали деревню Битцы.

Через много лет автор этой книги будет ездить сюда на станцию техобслуживания. С трудом он обнаружит остатки той деревни, занесенные снегом, и то лишь потому, что на Окружной дороге у моста, по которому гремя металлом и бликуя стеклами катит Варшавское шоссе, увидит синий указатель — «Битца». Теперь это совсем Москва.

Завтракали в Бутове, в чайной. Обедали в Подольске, а там, отмахав еще двадцать верст, решили заночевать в Лукошкине.

Настроение у Николая было скверное. Дядя Георгий Николаевич никаких родственных чувств не показал. Положил руку на плечо: «Ну, с богом».— И вся нежность. И трость подарил. Это при таких-то капиталах!

Николай уже не думал вернуться в Москву, зажить у дяди, получить в его деле должность и показать преданность. Теперь он думал о свадьбе.

Если б с дядей повернулось иначе, он бы, пожалуй, повременил с отъездом, хоть отец и настаивал. Но поскольку Георгий Николаевич не пригрел, надо было самому определяться в жизни.

Дорогой говорили с Петрушей о женитьбе, о том, какие бывают бабы и какой когда нужен маневр.

— Мы тебе невесту из купеческих дочек поищем,— рассуждал, дыша морозным ветром.— Фигуристая будет и с приданым и чтоб диферент на корму. Хошь болошовскую Феньку?

— Да ну тебя.

— Чего ну? Георгия повесишь, герой героем, кто ж откажет-то. В России живем. Фенька она сладкая. Я видел... Ох, небось, по любви скучает.

К кому должен был свататься Николай Алабин, было делом решенным. Илья Савельевич выбрал для сына кузяевскую Аннушку. Само собой можно было найти в окрестностях невесту богаче, но тут был особый резон. «В купечестве одним капиталом дело не пойдет»,— говаривал бывало Илья Савельевич и вспоминал деда прасола, который учил, что надобно иметь в своей местности расположение. «Водиться с палачами — не торговать калачами...»

В каждой деревне есть свой непутевый дурачок, шут гороховый, свой пьяница, сизый, свой чудак и обязательно — свой праведник, без которого ни деревня, ни село не стоят. Таким праведником был Платон Андреевич Кузяев, отец цусимского героя. Хозяйство у него считалось не слишком богатым, но по всем статьям крепким, семья работящая, а самого Платона Андреевича, сухоносовского кузнеца, уважа-

ли за мудрый подход в понимании жизни. Он не пил вина, не баловался табаком. Ни разу, на удивление всего общества, не сказал некрасивого слова, к черту там, к дьяволу или к матери туда, сюда, был набожен, но в меру, не святоша какой-нибудь морда свечкой и всегда — в пользу ли себе, во вред — за правду! Случалось, ездили к нему советоваться чужие мужики аж из Мещевска, и в кузне у Платона Андреевича собирались соседи, садились кружком, слушали.

Породниться с Кузяевыми было давней алабинской мечтой. Отблеск славы праведника Платона Андреевича пришелся бы Илье Савельевичу как нельзя кстати. Николка это тоже понимал.

На ночлеге в Лукошкине обоих женихов заели клопы. Делать нечего, встали среди ночи, запалили лампу, переоделись во все флотское. Решили ехать. Чего ждать? Петруша кресты повесил, медали. Волосы тут же пригладил лампадным маслом, помокал пальцы перед образом. Усы закрутил по-боцмански.

Сонный хозяин сидел в исподнем на лавке, смотрел растрепанный, кашлял. Мигала лампа. Храпел возница. Его потолкали, а он просыпаться не желал. «Вставай, дядя, царствие небесное проспишь!». Куда там! Так и просидели в избе оставшиеся полночи одетые, как на адмиральский смотр, оба в клешах, в черных бушлатах с серебряными кондриками на погонах. Хозяин их рассматривал, то на одного, то на другого косил глазом. Потом, наверняка зная, какой будет ответ, но предчувствуя завтрашние лукошкинские разговоры, спросил шепотом, кто главней... солдат или матрос.

Утром хозяйка проснулась ставить самовар и тоже таращила глаза, пятилась в сени задом.

Домой тронулись чуть свет, и в Сухоносово въехали в середине дня. Заслышав их колокольчик, по белой улице понеслись навстречу мальчишки. Открывать рогатку на околице спешили. Заскрипели двери, отворялись фортки, и бабы прилипали лицами к холодным стеклам, плющили носы. Кто едет?

Подкатили к кузяевским воротам. Петр Платонович, скинув тулуп, по снегу, весь черный, гибко поднялся на крыльцо.

— Кузяев приехал! Кузяев! — кричали.

На растоптанных ногах спешил сосед дядя Иван, заткнул цигарку за ухо и крякал от радости, а жена его, оставив ведра, уже срезала путь по сугробам через улицу от колодца.

— Кузяев приехал! Кузяев!

Залаяла собака. «Полкан!» — послышался голос отца, и на крыльцо вышел сам Платон Андреевич.

Николай в санях смахнул набежавшую слезу. Платон Андреевич обнял сына. Но рядом уже стояли люди, и сквозь слезы Платон Андреевич видел их лица. Лица плыли и дер-

гались. Он понимал: настала важная минута. В рассудительном крестьянстве любят торжественность. Надо было сказать что-то такое, что запомнится внукам и детям и там дальше, кто пойдет, а потому, отстранив сына, праведник спросил твердо:

— Значит, побили вас японцы?

— Значит, так.

— Как полагаешь, отчего такой позор всем нам и нашему оружию?

Ответа, пожалуй, и не требовалось, но сын ответил на крыльце же:

— Я полагаю, виноваты во всем внутренние враги и наши генералы.

Соседи одобрительно загудели. Золотые слова! Генералы, во, во... В самый раз генералы да внутренние враги в городах... Они! Внутренних врагов уничтожить, а генералов заменить к матери!

— Кузяев приехал! Кузяев! — кричали по деревне. И сухоносовский пьяница Иван Тимофеевич, по прозвищу Ермак, сизый с похмелья, уже двигал в подшитых валенках по улице, размахивая початой бутылкой.

У Алабиных задумано было пить три дня. Тихон привел голосистых баб, пели песни. Илья Савельевич говорить уже не мог, только улыбался. Сидел, вытирал мокрые усы. Чайную закрыли. Не до того. Съехались родственники, тетки с мужьями, дядья с женами. Пели, надрывались:

— Эх, Хаз Булат, да уда-а-лой, ох, бедна сакля тва-а-я...

Одна из тех баб, что привел Тихон, согнав старичка родственника, села рядом с Николаем, навалилась грудью, смотрела туманно. Глаза у нее были большие, бесстыжие. Тихон на другом конце стола подмигивал, старался угодить молодому хозяину.

— Тебя как звать-то?

— В крещение Еленой, а так, как желаете, кавалер. Можно Анастасией...

— Красивая ты...

— Вы скажете...

— А муж твой где?

— Да в городе. Подался в отхожие...

— Красивая ты,— Николай робко взял ее за руку. Ладонь у нее была жесткая, но выше запястья начиналась другая плоть и, обнаружив это, он замер. Спросил:

— Ты чья будешь, Елена?

— А зачем вам знать, кавалер?

— От мужа украду.

— Ох, чего захотел! — засмеялась.— Да я сама хочь сей-

час! Да помани какой дяденька, сей секунд и убегну. Нашел от кого красть, от мужа-то... Ой, смеху с вами... Рассказали бы чего?

— Я в морях плавал,— сказал он.

Заезжий музыкант, косматый, с безумными глазами, дожевав кусок и вытерев губы, взял на колени гармошку, заиграл кадриль. Первая фигура — «Зимогорка»! Объявили. «Ходи, д сени, ходи, д печь, а хозяину негде д лечь...»

— А в морях бабы есть? — спросила она.

— Не... На кораблях женщин не положено.

— Оно и видно. Боязливый вы, кавалер...

Объявили вторую фигуру. «Эх, полоса ль моя, полосынька...» Дядья ударили сапогами в пол. «Эх, полоса ль моя, непаханая!» А когда стало совсем шумно и дымно и уж посуду начали бить, а Тихон кричал: «Будем танцен! Будем танцен, мадамы и господа! Танцен — приказ генерала!» — она сказала, жарко дыша ему в щеку: «Может, пойдем куда, кавалер?»

На третий день разъезжались сонные, зеленые с перепоя. Икали, целовались троекратно в засос. У... у... у...

Отец слег в середине второго дня, лежал наверху, стонал. Васята в тазу мочил утиральники, клал ему на голову, чтоб не дай бог не помер.

Николай пошел в баню, отстегался веником, сидел пил чай и чувствовал себя необыкновенно сильным. Он был весел, решителен, перед ним открывались неясные, но заманчивые горизонты. И тепло ему было в душе. Он вспоминал ту женщину. В сером утреннем свете она одевалась в его комнате, он глядел на нее и удивлялся перемене, совершающейся перед ним. «Я тебя от мужа уведу»,— сказал он, еще весь во власти над ней. Просто так сказал. Она улыбнулась устало. Куда? Зачем? «Я баба рожалая,— сказала она, тихо наклоняясь над ним и целуя.— Увести меня нельзя. Поиграть можно...»

К вечеру, надев новенький полушубок, крытый зеленым сукном, он отправился в Сухоносово. Шел, не предполагая, какой ему будет конфуз. Он прихватил с собой бутылку польской водки с винтом на пробке и приготовил, что сказать Платону Андреевичу, ставя на стол свой гостинец. «Откуда водка?» — скажет непьющий Кузяев.— «Дык ведь как положено...» — скажет Николай, и это будет намек, что на сговоре всегда так.— «По мне и не надо бы ее, да... надо»,— вот как он выразится, и Кузяев, понимая, что не чужой человек в дом пришел, а скоро зять, будет доволен.

— Бог помощь. Хозяевам полное наше уважение,— сказал Николай, входя в кузяевскую горницу.

Вся семья в полном сборе сидела за столом. Обедали. Николай сдернул шапку, перекрестился на божницу. Друг Петруша в форменке при крестах сидел по правую руку от отца и показывал, как в Японии едят рис.

— Заходи, Колюшка, гостем желанным,— засуетилась Аграфена Кондратьевна, поставила на стол чистую миску.

Николай скинул полушубок, сел рядом с Аннушкой. «Здорово,— сказал ей отдельно, поудобней устраиваясь на лавке.— Здорово, красавица».

Аннушка была высокая, тоненькая, под белой кофточкой чуть угадывалась грудь. Совсем девчонка. А ну как бабой станет, глядишь, и тоже нальется, подумал Николай и сравнил ее с Еленой. Ну, да та была царица, и эта прутик вербный.

— Значит, жрут они ентот рис вот эдаким макаром,— продолжал Петруша.

— Господи!

— Повадно им...

— А самый ихний царь — тот ложкой, говорят, как мы. И генералы ихние и дворяне, те тоже ложками.

— Оттого имя Самамурай.

— Ага...

Николай взял Аннушку за локоток, чтоб побеседовать, но Аннушка нахохлилась, взглянула сердито, поднялась резко и ушла к себе за занавеску, оставив на столе, на клеенке лужицу щей. Николай провел по лужице пальцем. Нескладно-то как все получилось!

Возникло некоторое замешательство, хотя конечно, разговор не прекратился. Сделали вид, что никто ничего не заметил. Вышла девка и вышла. Приспичило сороке.

Чтоб не показать вида, Николай рассказал, как у них на корабле возник пожар и как он отличился. Пламя трещало и рвались патроны на орудийной палубе. За занавеской должна была слышать его Аннушка и выйти должна была, но не вышла к герою!

Николая выслушали, порадовались, что все так удачно сложилось, Платон Андреевич поинтересовался, сколько команды было на корабле, и затем все начали подниматься из-за стола, крестясь. Николай поблагодарил за хлеб, соль, попросил Петрушу зайти в Тарутино, сказал с утра, есть дело, будто он для этого и заходил.

— Анна! — крикнул Платон Андреевич, едва дверь за гостем закрылась.— Анна, подь сюда, кошачья дочь, и сказывай, зачем грубость такая с твоей к нему стороны? Зачем в тебе наглость, они сватов засылать будут...

— Перестарок несчастная... Век те в девках! — грустно сложив губы, начала Аграфена Кондратьевна.— Чего долу смотришь? Чего смотришь? На отца смотри, он тебе отец...

— Не пойду за Кольку! Пыткой не заставите!

— Пыткой заставим. За кого отец-мать велят, за того пойдешь. Это ж Полкану на смех. За мерина за сивого, если родительская воля! Скажи-ка, Полкан? — Кузяев потрепал пса по уху.— У, Полкаша... Полкаша... Скажи ей...

— Глупая она. Как есть наиглупейшая,— сказала Аграфена Кондратьевна.

Платон Андреевич пальцем, похожим на слегка погнутый болт, поскреб затылок:

— Хватит баить! Придет утро, как раз за мерина и выдам.

А в это время Николай Алабин, доблестный моряк императорского флота, шел по сухоносовской улице и казнил себя, допытываясь, какой в нем изъян. «Ну что ж во мне такого?— шептал он.— Что я не так сказал, или морда у меня смешная, как у того жвачного верблюда?» Холодный ветер леденил его щеки.

Темнело. Он вышел за деревню, чуть не увяз в снегу у пожарного сарая. Постоял, прислонясь к бревенчатой стене, закурил. Отшвырнул подвернувшийся под ногу снежный ком, плюнул и пошел за рогатку в поле. Там сразу подхватил его ветер, он пригнул голову. Его понесло. И когда перед ним внизу у самой Иствы возникли два окна, желтеющие в снегу, понял, что попал в дурное место. Татьяна говорила о молодой колдунице Тошке Богдановой. Это как раз и была ее избушка. Он догадался.

В синем вечернем свете избушка казалась совсем маленькой. Из трубы мирно подымался дым. Но уж ясно было, что нечистый расставил кругом сети. Между прочим, другой бы струсил, повернул бы назад, но только не Коля-Николай, доблестный матрос! Он был опечален девичьей жестокостью. Но с утра был смел. Решительно крякнул, плечом поддал дверь, и в клубах пара, задев в сенцах звонкое ведро, ввалился в избушку.

— Хозяевам наше полное уважение!

Колдуница в платке, накинутом на плечи, сидела за столом, ела гречневую кашу.

— Иль не рада гостю? Что молчишь, красавица?

— Зачем пришли?

— Побеседовать. Дай, думаю, приду. Скучно в сельских краях.

— Уходите иль неведомо вам, что грех?

— Ведомо. Почему нет? Нам все ведомо, давай зови своих чертей! — гаркнул.— Имею желание посмотреть.

— А ведь могу,— облизывая ложку, ответила колдуница. Она встала, легким движением поправила волосы.

Николай увидел, что она молода, в теле, даром что с нечистой силой знакома, такую вполне полюбить можно. У нее был высокий лоб, на щеках ямочки, голос негромкий и глаза стыдливые. Взглянет и тут же в смущении отведет взгляд.

— Не боязно?

— Нашла чем пугать! Садись давай на помело и поедем давай на Канарские на острова. Знаешь Канарские острова?

Она подняла руку, улыбнулась, и было в ее улыбке что-то зловещее, он потом это часто вспоминал, а тогда ударило его таким нестерпимым желанием, что дух захватило.

— Могу и на острова...

— Напугала! Эко напугала! На меня адмирал Того, японец, шестью эскадренными броненосцами шел, там главный калибр знаешь? Двенадцать дюймов, во! И то ничего, живой, а ты помелом пугать! На помеле оно, может, и удобней.

Николай засмеялся; подошел к колдунице совсем близко, заглянул в ее глаза и закачало его на волнах, и захлебнулся он, только мотнул головой, в отчаянии в каком-то ухватился за берег. Обнял за плечи. Хороша-то как девка! Выноси, океан-море, золотые облака...

— Пустите,— сказала Тошка, и не думая вырываться.— Пустите, ведь хуже ж будет, сами знаете.

Откуда-то из-под стола с кудахтаньем вырвался белый петух, метнулся в угол. Николай и не взглянул на него.

— Энтот, да, твой черт? Напугала...

— Пустите, вам же говорят. Щекотно, сударь, пустите... Ой, нельзя же так, право...

— Нет уж, можно.

Николай еще сильней прижал ее, выхватил из кармана на груди бутылку водки, чтоб не мешалась, дотянулся, поставил на угол стола.

— Шубу бы скинули, сударь.

— Убежишь?

— Куда ж бежать в своем дому?

Не убежала.

А между тем, придя в себя, Илья Савельевич на неделе имел с Платоном Андреевичем генеральную беседу насчет понимания жизни и продолжения алабинского рода.

Сидели в чайной, как раз в красном углу за почетным столом, где сиживало волостное начальство — исправник, писарь, ну, еще учителя пускали — пили чай с вареньем из крыжовника и пневматическим способом выфыркивали косточки из зубов.

— Это там, в городах смута, а в крестьянстве нельзя,— говорил Илья Савельевич, деликатно поворачивая к свадьбе, но Платон Андреевич помалкивал.

— Род надо продолжать, фамилию,— внушал Алабин,— детки пойдут, внуки, нянчить будешь заместо Полкапа.

— Ладный пес. Ты только взгляни, Савельич! Полкаша, ух, Полкаша...

В округе знали меделянских собак, мордашей, овчарных, но этот Полкан, еще щепок, был много крупней! Лапы комком, грудь тугая! Молодец, Полкан!

Полкан завозился под столом.

— Пес-то ничего,— вздохнул Алабин, глядя под ноги,— однако полагаю, есть дела поважней собачьих. Что уж так она противится? Чем ей Колюха мой плох?

— Поневоле, как говорится, мил не будешь. Мы крестьяне, а вам купеческую дочь надобно бы.

— Поживется — слюбится, так-то оно мудрей! И опять, какая ж тут неволя, Платон Андреевич? Поучи девку вожжами. Девка, что мерзлая шуба, побьешь, помнешь, она мягче.

— Небитая она у нас. Поздно. А у купеческих и стати иные и приданое...

— В крестьянство пойдет, муж научит. Эвон Тимофей-пожарник бабу свою за стреху одной вожжей подтянет, подол задерет и отхаживает — в лучшем виде. Очень натурально!

— Как поставит себя.

— И то, конечно, верно. Жена мужа почитай, как крест на главе, муж жену береги, как трубу на бане... Эх ма, грехи наши.— Алабин шлепнул ладонью по столу.— А если сватов зашлем, как будет?

— Повремени, Илья Савельевич,— сказал Кузяев и, возвращаясь к себе в Сухоносово, всю дорогу думал, правильно ли поступает Аннушка или нет. О том, что девку не следует неволить, присоветовала ему свояченица Дуня Масленка, с мнением которой Платон Андреевич очень считался. «Она ж и под венцом отказаться может! Если в голову вобьет — не выбьешь. Окаменеет!» — «Скажешь, бабий ум... Под венцом дело решенное».— «А вот и нет!» — охнула Дуня и, прямо-таки трясясь, рассказала, как одну девку в селе Угодский Завод просватали за отставного солдата безногого. С войны пришел. Она противилась, та девка. Отец вожжами отходил. Братья следили, чтоб руки на себя не наложила. Грех такой! Повезли в церковь с женихом. Он на своем костыле скрып, скрып... А как священник, отец Василий, спрашивал, согласна ли девка женой стать, она на колени грохнулась пред аналоем и на весь храм вопила: «Не хочу!»

— Господи, позор какой! — охнул Платон Андреевич и, решив, что молодые совсем разбаловались, раньше такого не было, строго-настрого приказал Аграфене Кондратьевне к Аннушке не приставать.

Умная Дуня Масленка тогда же издали и тихонечко начала намекать, что пора-де оженить Петрушку. Невеста на примете есть. Дело крестьянское, надо жизнь жить, надо детей рожать, три друга — отец, мать да верная жена, так что все обдумано, девка первый срок.

— Чья будет? — поинтересовался Платон Андреевич.

— Комаревская.

— Комаревская... А родители кто?

— Пузанова Василия Яковлевича дочь...
— О! — сказал Платон Андреевич и посмотрел на Дуню с уважением.

Село Комарево с Пятницкой церковью на холме затерялось в калужских трепетных лесах на десять верст к северу от Сухоносова. Другой уезд, как другое царство, и дорога непрямая, так что сухоносовские ухажеры редко наведывались в те места. Говорили, комаревские девки чудо ядреные, на овсе вскормленные. Славилось Комарево своими ранними овсами.

Сеяли там как только обогреется земля, чтоб воспользоваться весенней водой, в изобилии сбегавшей в овраги и озера. В поле выходили, когда трубила весенняя лягушка и зацветал дикий цикорий. Ранние овсы всегда лучше удавались что соломой, что умолотом.

Еще растили в Комареве ячмень. Ранний сеяли в первой половине мая, поздний — в начале июня, когда цвела калина. Рисковали, потому что поздний ячмень хоть и удается много лучше раннего, но должен успеть дойти зерном до первых осенних утренников, тут и полдня пропустить нельзя.

Но еще отличалось Комарево от иных близлежащих местностей разными чудесами. Рассказывали, что один тамошний охотник убил волка, стал снимать шкуру и увидел женщину в кичке и паневе. Он удивился, но еще больше удивилась его баба. Крестьянин бабу свою побил до смерти, а на место происшествия прибыл пристав второго стана Тарутинского уезда, он-то и подтвердил наличие нечистой силы, и никто после не усомнился.

В Комареве шалил Змей летающий, там где-то в сарае лежал в трухлявом сене потерянный неразменный рубль. Один комаревский парень полюбил русалку и встречался с ней с Троицына дня и до Петрова, пока русалки странствуют по земле, качаются на деревьях или разматывают пряжу, которую крадут у крестьянок, ложащихся спать без молитвы. Понимая, что нельзя отвлекать читателя, надо все-таки рассказать и про злого духа, по крайней мере дважды посетившего те края в девятьсот шестом году.

Одна комаревская девушка в бане за дорогой гадала о своем суженом, для чего поставила два прибора и свечу, и села ждать, громко вызывая жениха песней. В полночь явился жених, поужинал с невестой и пригласил ее ехать к венцу. Это несомненно был злой дух! Девушка, поняв, с кем имеет дело, сказала, что у нее нет подвенечного платья. Дух в одно мгновение доставил платье. Тогда девушка стала находить другие препятствия, посылая жениха то за одним, то за другим, пока не настал рассветный час и не запел петух. Жених

исчез, а вещи, им принесенные, остались, и девушка рассказала о случившемся своей подруге. Та тоже решила выманить у нечистого подарки, но дорого за это заплатила.

Настька Пузанова, которую собиралась сватать Дуня Масленка, была девушкой молчаливой и серьезной. Ее отец, Василий Яковлевич, служил у текстильного фабриканта Кудрявцева сначала в мальчиках, но, показав усердие и сноровку, стал приказчиком, потом старшим приказчиком и управляющим фабрикой. Его отправляли учиться не куда-нибудь, а в Берлин и там его считали за важного господина на улице Унтер ден Линден.

В Комарево он приезжал на своей тройке в лакированных сапогах-бутылках, в суконной тонкой поддевке поверх красной шелковой рубахи. На груди Василия Яковлевича горела фунтовая цепь червонного золота. Он всю деревню одаривал подарками, а на Пятницкую церковь жертвовал без счета.

Акулина Егоровна в слезах выходила навстречу, в пояс кланялась мужу, помогала выйти из рессорного экипажа, каких в Комареве не видывали, и гордилась.

Дома Василий Яковлевич отдыхал недолго. В светлом чесучевом пиджаке, в белой панаме ходил с детьми в лес по ягоды, а вечерами беседовал со священником, с отцом Паисеем о парламентаризме и основах банковского кредита.

Злые языки говорили, что Василий Яковлевич живет в городе как барин, давно бы мог перевести семью туда или купить все Комарево, но стесняется показать деревенскую жену в свете. Для этого есть у него содержанка какая-то барынька, бабенка удивительной красоты. Анжела.

Может, и так, но только стряслось горе. Василий Яковлевич нежданно заболел душевной болезнью, в один год спятил, и хозяева Кудрявцевы ничего лучшего не придумали, как отправить его больного этапом, под охраной инвалидных солдат пешего в Комарево.

Его привели летним вечером. За казеновский лес садилось солнце. Гнали стадо, и мягкая пыль золотилась над дорогой. Василий Яковлевич босой, растрепанный стоял посреди улицы у своих ворот, смотрел безмятежно, кланялся прохожим, щебетал по-птичьему: «Гутен морген... Гутен морген...» Акулина Егоровна вышла открыть ворота, чтоб впустить корову. Увидела его, закричала. «Васенька... Василий Яковлевич, что ж с вами исделали в купечестве?»

Священник, отец Паисей, в воскресенье прочитал проповедь о судьбах людских. В Комареве Пузанова уважали за прошлые дела, за доброту, всем миром собрали деньги, и зимой по первопутку с провожатыми отправили в Калугу, в лечебницу, где он и умер.

Остались три дочери и сын Иван. Настька была старшей, а Ивану шел пятнадцатый год.

Можно было сразу слать сватов, по родительскому желанию, как женили отцов, дедов, но кто его знает, какие пошли времена, рассудил Платон Андреевич. Вдруг и Петруша запротивится, возьмет пример с сестры? Начали размышлять.

Начали размышлять, и Дуня Масленка, сморщив пухлый носик, предложила такой изощренный план, что Платон Андреевич только диву дался и даже назвал ее Кутузовым! Ну, Кутузов одно слово, и все!

Молодые ухажеры ходили с гармошкой по соседним деревням, сами искали себе невест, какая приглянется. Родители тоже присматривали. Все просто. А для взрослого жениха надо было придумывать маневр.

Наученный Масленкой как-то вечером Платон Андреевич повел разговор о том, что хорошо бы подстроить двор, да и печь хорошо бы переложить. То да се. Хозяйство. Опять же подходящего леса нет, тю-тю. И печного кирпича по нынешним временам дешево не возьмешь. Тпру с этим делом. Слово за слово, Дуня как раз и вспомнила, что в соседней волости есть село Комарево, туда-де и следует ехать. Будто бы там торгуют лесом и печным товаром. Чудные просторы!

Однако у Масленки были сомнения, в самом ли Комареве торговля или в Тростье, или даже в Покрове, она посомневалась, но поскольку это все рядом, ехать следует все-таки в Комарево, кстати, у Дуни там знакомый дом, где можно остановиться.

Чтоб не откладывать дела надолго, с утра Петрушу отправили в путь.

Он нашел Акулину Егоровну, но странно, та ни про какую торговлю и слыхом не слыхивала. Моргала маленькими глазками, силилась вспомнить, раз Дуня сказывала, но ничего, хоть убей, вспомнить не могла. «Дык ить торгуют, сокол ясный,— говорила в растерянности и теребила край платка,— дык как есть без нужды, сироты, вот Василий Яковлевич помер, царство небесное...»

Начали расспрашивать соседей, совсем запутались. Кто-то что-то слыхал, кто-то говорил, будто и в самом деле, но точно никто ничего не знал. Так вот и пришлось Петру Платоновичу пробыть в чужом доме три дня. А осенью, как собрали урожай, в тот год было двадцать копен на десятину, Дуня поехала сватать Настьку Пузанову.

Акулина Егоровна, увидев Масленку в новых лаптях с цветными оборами, в красной плахте, сразу все поняла, засуетилась, занавески на окнах одернула, ногой выгнала в сени кота Анафему, Ванюше приказала, чтоб сидел смирно.

— Бог помощь,— сказала Дуня весело.— Спорина вам в руку, дорогие хозяева. Здрасте, батюшка Иван Васильич... Здравствуйте, матушка Акулина Егоровна, давненько я вас не видывала.

— Здравствуй. Садись, гостьей будешь,— ломающимся голосом отвечал Иван Васильевич, вынимая палец из носа. Он был единственным мужчиной в доме, ему следовало выдавать старшую сестру. Знал.

— Спасибо вам. Не знаю уж, садиться, нет ли...

— А чего ж не садиться? Садись да сказывай, чего хорошенького. Мало ли чего есть...

— Не с бездельем, с дельцем пришла.— Дуня села, сложила руки на животе, заулыбалась. Пока все шло складно, лучше не бывает.— У вас есть товарец, у меня купец, как бы нам, хозяева, поторговаться?

Настька, замешкавшись было в сладкой девичьей дреме, при этих словах мигом выпулилась из избы. Ей крикнули в спину: «Куда, девка?» — но она не ответила. Полагалось не отвечать: так бабушка учила и мама, и подруги рассказывали, как что делать, когда приедут сватать.

— Ну, матушка, какого купца сулишь нам? — усаживаясь удобнее, продолжал Иван Васильевич, совсем как мужик.

Акулина Егоровна всхлипнула. Умненький-то какой! Дуня вскинула пухлый носик, посмотрела строго: плакать еще не полагалось — рано.

— Да вот Платон Андреевич Кузяев желает посватать дочку вашу за сынка, так и просил сходить к вам. Что скажете?

— Надобно подумать об этом,— солидно ответствовал Иван Васильевич, не понимая, чего Петр Платонович, герой и квартирмейстер, нашел в Настьке, и в то же время радуясь.— Дело такое минутой не обдумаешь. Или как?

«А ведь и в самом деле умник! — восхитилась Дуня.— Вот ведь молодец! Как хорошо парня выучили». И зажурчала:

— Как не подумать? Подумать надобно, не без этого... Когда на ответ-то?

Иван Васильевич посмотрел на мать: он не знал, какие назначать сроки. Дуня ждала вежливо и покорно, наклонив прибранную голову.

— Ну... Побывай эдак денька через два-три,— неуверенно начал Иван Васильевич, но мать одобрительно закивала, и он продолжал уже с прежней уверенностью.— Подумаем, посоветуемся с родней, у девки спросим. Побывай...

На этом торжественная часть сватовства кончилась. Дуня насыпала Ивану Васильевичу пряников, он побежал на улицу сообщить ребятам, что Кузяев, георгиевский кавалер, Настьку сватает, а Акулина Егоровна, бледная, с поджатыми губами, принялась бодрить самовар.

За чаем, чтоб не ездить лишний раз, запросто договорились, какое за Настькой будет приданое и сколько клади должен дать жених. Договорились, что берут Петра Платоновича

к себе в дом и назначили день пропоя. И только Дуня уехала, Настьке велено было идти в избу, садиться выть. «Вот дуре счастие-то привалило...»

Выть полагалось с причитаниями две недели каждое утро и каждый вечер до самой свадьбы. Но Настька выла плохо. Ничему не выучили! Слез мало, бабки говорили — молока не будет; сидела, улыбаясь, кидала по одной слезинке в час. «Ох, девка, нет в тебе проку!»

Акулина Егоровна, отчаявшись, совсем уже без ног, вся издерганная, позвала соседку Машу Тобажуеву. Маша села рядом, прижала тоненькую Настьку к теплой груди, вздрогнула всем своим телом и завыла. Завыла так, что со всей деревни начали сбегаться посмотреть.

Баню как раз уже вытопили березовыми полешками, распарили смородиновый лист, кваском полок обдали, повели невесту с песнями отмывать в душистый пар. «Ходила я, горькая, ой да во теплу банюшку, смывала я, несчастная, девичью красоту...»

Затем полагалось отвести невесту-сироту на погост к могиле отца, но Василия Яковлевича похоронили в Калуге, поэтому решили вести невесту прямо в дом. Там Маша Тобажуева упала на пол, забилась, закричала страшным голосом: «Расступися, мать сыра земля, ты откройся, гробова доска, встрепенись, родимый батюшка, благослови свою Настасьюшку великим благословеньицем родительским во чужие людишки...» И тут Настька заревела, да так, как от нее никто не ожидал.

В это время Иван Васильевич в новой рубашке, причесанный на прямой пробор, получал последние указания от матери. За свадебным столом он должен был сидеть на месте отца и говорить Петру Платоновичу родительское слово: «Люби, как душу... тряси, как грушу... дурных речей не слушай... Понял?»

— Ага. Мам, а почто говорят — и дура жена мужу правды не скажет?

— Господи, ну и тупён! Сдам в город, сумнеешь.

— И Настька врать будет?

— А чего ей врать? Честная, небось.

— А я видел, она с Филькой целовалась, вот Петр Платонович от нее и откажется.

— Молчал бы, глупый! Ой, тупён! Запомни: люби, как душу... тряси, как грушу... дурных речей не слушай...

У Кузяевых тем временем зарезали кабанчика, двух баранов. В погребнице на розовом льду лежали обезглавленные куры, печь топили с утра до ночи, Аграфена Кондратьевна с двумя соседками варила, жарила, мяла свадебную снедь. Со-

сед дядя Иван, пьяный до непонятного состояния, у себя в бане варил самогон. Там гудело и клокотало и в пыльном оконце вспыхивало синим цветом. Ему стучали, а он не откликался.

Уж две недели, как был составлен реестр, кого приглашать. Отписали в Москву всем родным, братьям, дядьям и племянникам. В первую голову — металлистам Петру Егоровичу и Михаилу Егоровичу, хранителю кузяевской родословной. (Это он много лет спустя будет рассказывать на даче в Малаховке внуку Игорю о доблести дедов и прадедов.) Отписали их отцу Егору Андреевичу, обер-кондуктору Московско-Брянской железной дороги. Крестный невесты дядя Устин Копейкин, двоюродный брат Акулины Егоровны, не поленился, сходил в Макарово, предупредил тетку Дарью Егоровну, чтоб сама прибыла и отписала мужу.

Платон Андреевич сидел с реестром в руке и со стороны видел себя как бы военачальником.

— А Константина Иваныча не забыли? — спрашивал голосом, каким должен был справляться фельдмаршал Кутузов о прибытии резервов.— Одним словом, так... А кто ж дружкой будет?

Ему ответили, конечно, Колюха Алабин! Кто лучше Колюхи скажет гостям, за что пить и чего желать молодым? А кто лучше проедет впереди свадебного поезда рядом с женихом?

Петр Платонович пошел в Тарутино, но Николая там не оказалось. Говорили, будто он оставил отцу какую-то записку и уехал. Некоторую ясность внес пьяный Тихон. Тихон плакал, рассказывал, что днями вызвал его молодой хозяин, сказал, давай, Тихон Прокофьевич, посчитаем, как у нас что. Тихон достал свою тетрадочку, но Николай Ильич в записи вникать не стал, взял Тихона за грудки и прошипел, прямотаки как змий: «Милый мой, хотишь, засужу?» — «Это в каких смыслах изволите?» — «На каторгу желаешь? Ныне прихоть у меня такая. И?» Тихон начал вырываться, но Николай Ильич, подумав, сказал: «Вот что, гони-ка пять тыщ! Это меньше будет, чем ты тут нароскошничал, и катись с богом на все три-четыре стороны. А если нет...»

Тихон жмурился и пьяным голосом повторял те слова: «Знаешь, как Балтика шумит? Могу спустить...» Он поторопился, принес деньги, сколько говорил. Николай сунул их в карман, не считая и, оставив отцу записку, исчез. «Вот те раз, я ж ему из уважения...» — скулил Тихон и бил кулаком по столешнице. Звякал пустой графинчик, из стопки выплескивалась водка.

— Васька, скажи буфетчику, пусть еще нальет! Тихону, скажи, Прокофьичу!.. Ух, гадюка, как же ты меня продала...— стонал Тихон, и пьяные слезы текли по его щекам.

Свадьбу праздновали без Коли-Николая. Уехал друг. А Илья Савельевич пришел. Грустный и торжественный сидел одесную рядом с Платоном Андреевичем, из строя вышел с седьмого стакана, и в общем-то неожиданный отъезд молодого Алабина никого не удивил. Куда как больше разговоров вызвало другое событие, совпавшее с кузяевской свадьбой: из Сухоносова исчезла, как сквозь землю провалилась, колдуница, простоволоска Тошка Богданова.

15

16 июля 1907 года автомобильная Москва встречала князя Боргезе.

Итальянский князь мечтал на автомобиле за шестьдесят дней совершить путь в 13 тысяч верст по бездорожью от Пекина до Парижа, или, как писалось в газетах, «соединить столицу небесной империи с современным Вавилоном».

«Автомобиль князя до осей увязал в мягкой китайской грязи,— сообщали репортеры,— и, чтобы его вытаскивать, приходилось впрягать в него целые полчища кули (китайских носильщиков). Однако князь, несмотря на все препятствия, продвигался очень быстро, так как, выезжая часа в четыре утра, останавливался на ночлег не ранее 7—8 часов вечера, выгадывая таким образом если и не скоростью, то продолжительностью хода».

На 47-й день своего путешествия князь в прорезиненном «параплюе» по пыльной дороге, сбавляя скорость на поворотах и разгоняя ленивых кур, подъезжал к Москве. В Богородском знаменитого путешественника ждали члены Московского автоклуба, все в ботинках с крагами и в клетчатых кепи.

Наблюдатели на колокольне крикнули: «Едет!» Толпа подалась вперед. «Едет! Едет!» — замахали с ближнего поворота потные махальщики. «Ура!» — грянули члены Московского автоклуба. Ярко светило июльское солнце, в пыльной траве по обочинам тихо качались желтые придорожные цветы.

Оркестр, доставленный к месту встречи на автомобилях, вскинул трубы. Блеснули медные тарелки, капельмейстер, улыбаясь Цецилии Михайловне, взмахнул легкой рукой.

Она стояла нарядная, торжественная, в узком кружевном платье, подчеркивающем изыски ее фигуры, и прижимала к груди букет дивных цветов, задернутых от солнца белым тиком.

Георгий Николаевич в слезах, локтями и руками распихивая любопытных, добрался до автомобиля князя и, вскочив на подножку, обхватил князя за шею. Князь продолжал раскланиваться. «Ура! — кричали кругом.— Ура и виват!» Алабин

расцеловал Боргезе троекратно и, стоя на подножке, кинул вверх свою кепи.

— Ура, господа, знаменитому путешественнику! Может, его приезд даст понять власть держащим, что автомобиль не иллюзия...

Алабину не дали говорить. Ура! Виват! Польщенный князь прижимал руку к груди и кланялся. На его запыленном лице сверкали черные глаза.

Вечером автоклуб давал банкет в «Славянском базаре». Перед каждым прибором к салфетке был приколот серебряный автомобильчик, милый сувенир, приготовленный специально к этой встрече. Георгий Николаевич говорил речь. Помня свою неудачу в Богородском, он начал проще:

— Дорогой князь! Дорогие гости! Дамы и господа! Несколько коротких минут внимания. Мне и не только мне хочется сказать, что герой московского дня — автомобиль. От стен недвижного Китая до потрясенного Кремля он промчался вестником грядущей новой эры в области передвижения. Сказочный колобок, который и от дедушки ушел, и от бабушки ушел, воплотился в хитрую машину из железа, стали и меди. Замешав на бензине, спек его заморский мастер, посыпал, как солью, винтами, полил маслом — и новый колобок покатился по горам, по долам, на край света, и при виде его гневно заржала сивка-бурка, вещая каурка, почуяв в нем опасного соперника. Покамест автомобиль не очень страшен лошади, но дело это ведь молодое, а автомобилизм быстро развивается, растет не по дням, а по часам, и, пожалуй, не особенно далеко то время, когда самодвижущийся экипаж завоюет мир, как завоевала его швейная машина. Достоинство этого способа передвижения достаточно выяснилось. С легким зажиганием, господа!

Так торжественно встречая князя, Московский автоклуб преследовал определенные цели. В конце концов надо было расшевелить правительство, обратить внимание верховных бюрократов на то, что автомобиль превратился в надежное транспортное средство. Вон итальянцы по 13 тысяч верст отмахивают за 60 дней и хоть бы хны. А мы не чешемся, не создаем заинтересованности в деловых кругах, не направляем автомобильного мнения в обществе. Налоги на автомобили ввели, дышать нечем, а в газетах — «зверства автомобилистов». 1907 год на дворе!

Однако плохо ли, хорошо ли, энтузиасты автодела в Риге, заручившись поддержкой членов правления и директоров Русско-Балтийского вагонного завода, внушали конструктору Поттера не останавливаться ни перед какими финансовыми затратами для производства самого наилучшего автомобиля.

Руссо-Балт не был специально автомобильным заводом, это огромное предприятие выпускало железнодорожные ва-

гоны, сеялки, станки, паровые котлы, и готово было взяться за многое, лишь бы был серьезный заказ. На автомобили заказов не было, но время заставляло глядеть далеко вперед.

Стояла сложная задача по определению и подбору необходимых станков, обеспечению сырьем, разработке технологии для производства шестерен, алюминиевых отливок для картеров двигателя и коробки передач, поковок шатунов, осей, рам. В Риге готовились изготовлять автомобильные кузова высшего качества, создавалась медницкая мастерская для производства фонарей и радиаторов. В автоклубе говорили, что морем завезли туда какие-то неведомые станки для изготовления автомобильных колес. Это ж на какую скорость расчет! Ежели на 80 верст в час пустить, рассуждали, качество потребуется не тележное! Однако все эти новости вселяли в душу Георгия Николаевича чувство чего-то поспешного, к чему хоть и следует относиться серьезно, но ревновать не стоит. Автомобиль для Руссо-Балта был одним из многих направлений, в будущем, возможно, одним из тех китов, на которых стоял Руссо-Балт — железнодорожный вагон, сельскохозяйственный инвентарь и, может быть... автомобиль. Может быть, потому что еще не определился спрос и не было крупных государственных заказов. Впрочем, и малых тоже не было.

Базовой моделью, которую сконструировал Поттера исключительно для Руссо-Балта, была машина с 4-цилиндровым двигателем рабочим объемом в 4,5 литра, с двусторонним расположением клапанов, трехступенчатой трансмиссией, карданной передачей и толкающими штангами у заднего моста. От этой модели ждали много. Но автомобильный отдел не автомобильный завод. Сколько машин собирался изготовлять Руссо-Балт? Сто, двести, тысячу штук в год? На какие объемы рассчитывались его мощности, это было тайной.

Так или иначе, но к предложениям Бондарева, приехавшего в Ригу уже с инженерным дипломом и самыми лучшими рекомендательными письмами от Фондю и Опеля, отнеслись не то чтобы равнодушно, скажем,— осторожно. Директора и устроители Русско-Балтийского вагонного завода понимали, что автомобиль — дело новое, возможно, с будущим, но кидать деньги на ветер не собирались. Сейчас их вполне устраивал отдел по производству штучных автомобилей, а все эти планы строительства целого завода, разговоры о массовом производстве, о создании сотен и тысяч автомобилей казались преждевременными.

Для начала Бондареву поручили заняться конструированием и изготовлением опытного образца сноповязалки по идее изобретателя Джунковского. «Вы родились в станице,— сказал усталый директор, их превосходительство, ведавший производством работ.— Вы как сельский житель понимаете

всю важность и возможный спрос на такую машину. Отнеситесь к предложенному вам заданию, как к экзамену. Знаете ли, все эти ваши инженерные композиции...— директор сделал элегантный жест, одновременно плавный и порхающий,— все это крем-брюле, блан-манже, а вы нам покажите для начала, как инженерный хлебушек собирают».

Известия о том, что руссо-балтийцы начали серьезные автомобильные дела, просочились в московские сферы. А тут еще Боргезе прикатил. 13 тысяч верст — цифра впечатляющая! Совершенно неожиданно Георгий Николаевич получил письменное приглашение от Павла Павловича Рябушинского, предлагавшего встретиться и обсудить возможные варианты.

Алабин понял, о чем речь. Ох, как не давали покою те три доллара чистой прибыли, которые получал Генри Форд на каждый вложенный доллар! И нашему теляте так же бы, а...

Утром на Якиманку приехал Сергей Павлович, подвижный, веселый, подмигивал цыганским глазом, но никаких намеков про автомобиль не делал. Поехали за город. Рябушинские решили провести деловую встречу по-тихому, не у вас, не у нас, а на нейтральной территории, и это было существенным предзнаменованием: случайные свидетели в больших начинаниях всегда ни к чему.

Ехали поездом в жарком купе, обитом красным плюшем, пили теплую сельтерскую — тьфу, гадость! — говорили о всяких мелочах, о певичке мадмуазель Нанá, утонувшей в шампанском. Нижегородские купцы купали. Вспомнили Максима Горького, восходящую знаменитость. Об автомобилях ни слова, хотя Георгий Николаевич взял с собой черный портфель кожи «бокс», в котором хранились все автомобильные расчеты. Сидел и поглаживал портфель горячей рукой.

На сонной станции у выхода с перрона их ждала тройка орловских рысаков, и кучер с интеллигентным лицом скучал на козлах.

Покатили лесом, наполненным птичьим гомоном и запахами горячих сосен, выехали на крутой берег Москвы-реки. Стороной шла гроза, и вдали клубились густые матовые облака. Выехали на песчаную дорогу и увидели идущих навстречу энергичного Павла Павловича и большого рыхлого Степу, младшего из трех братьев.

Будущий председатель Всероссийского союза торговли и промышленности, директор-распорядитель товарищества «Рябушинский и сыновья», председатель совета Московского и председатель правления Харьковского земельного банка Павел Павлович в чесучевом пиджаке, как у доктора, и в соломенной шляпе шел, прутиком сбивая цветы. На солнце сверкало его пенсне. Степа тяжело следовал чуть сзади.

Расцеловались. Павел Павлович поинтересовался, как здоровье Надежды Африкановны, как дела, и, взяв Георгия Ни-

колаевича под руку, повел в лес. Кучеру он сказал: «Можете быть свободны, Альберт Захарович». И добавил довольно длинную французскую фразу. «Мерси»,— сказал кучер Альберт.

— Это студент из Петровской академии, у нас летом служит,— пояснил Павел Павлович.— Жара какая, сил нет...

— Барометр на бурю показывает,— сказал Степа, вытирая лоб большим белым платком.— Хоть бы дождиком прыснуло, дышать нечем... Желаете ополоснуться с дороги?

Георгий Николаевич и Сергей отказались, а Степа ушел и вернулся через некоторое время в полотняных брюках, в белой рубашке «апаш», сел в плетеное кресло, сидел и приглаживал мокрые волосы.

Вначале говорили о жизни вообще. О том, что все государственные средства идут на строительство флота и этих безумных чудовищ «дредноутов».

— Стоимость каждого порядка 30 миллионов золотом,— сказал Сергей.

— Заказы попадут казенным заводам.

— Или уйдут за рубежи!

— Или уйдут за рубежи... Но великая держава существовать без флота не может. Да и с этими дредноутами Россия приобретает больший вес как союзник. Военные считают, что судьбы мира будут решаться на море.— Павел Павлович поманил к себе незаметного человека, все время державшегося в стороне, и прошептал ему что-то. Незаметный человек тут же исчез.

— Видите ли, эта логика экстремальных ситуаций,— продолжал он.— Но перед Россией стоят повседневные задачи. Боюсь только, дорогой Георгий Николаевич, что вашим начинаниям в правительстве одобрения не предвидится.

Нет, автомобиль еще не был назван! Речь шла о неком абстрактном начинании. Но все понимали друг друга, да и как иначе! Встретились, чтоб обсудить важные вопросы, а то стали бы терять время, прогнозируя, на что пойдут казенные деньги: на флот, на дредноуты или на черта лысого, не все ли равно.

Вошел незаметный человек. Он был серый, как пыль. Как ненастный день. Как настроение в понедельник после похмельной недели. Он был абсолютно серым! Положил на стол перед Павлом Павловичем тетрадку в красном сафьяновом переплете, Павел Павлович отпустил его едва заметным взмахом ладони, и он исчез. Дематериализовался.

— Россия — удивительная страна. Или всем все или никому — ничего! Дорогие варяги, приходите нами княжить, а то передеремся. Все желаем в цари! Петька Ваське ни в жизнь не уступит! Так и в этом вопросе. Вы правы, в России или сразу всем подавай автомобиль или никому!

Тема была названа.

— Я давно слежу за вашими автомобильными начинаниями, дорогой Георгий Николаевич.— Павел Павлович снял пенсне, подышал на стекла, протер замшей.— Если начинать большое дело, то нужно заранее знать емкость рынка. Будет ли на автомобили спрос в населении — вот вопрос.

— Будет! И несомненно.

— По всей вероятности...

— Вот видите, «несомненно», «по всей вероятности», а мы с вами люди деловые, мы не в сенате и не в синоде, нам не к лицу словеса пустые разводить. Давайте прикинем, что почем...

Павел Павлович открыл сафьяновую тетрадку, Алабин увидел черные столбики цифр — рубли, копейки, тысячи, миллионы, но вместо того, чтоб начать о деле, Рябушинский опять же ушел в сторону.

— Идеи витают в эфире. Идеи вокруг нас. Россия всегда мечтала о самодвижущемся транспорте. Кому из вас известно о самобеглой коляске Леонтия Шамшуренкова?

— Очередная новация русского новаторства?

— И да и нет.

— Не знаю,— честно признался Георгий Николаевич, сразу же поняв, что старший Рябушинский навел уже кой-какие справки о печальном опыте русского автостроения.

— Так вот, этот самый Шамшуренков более десяти лет сидел в тюрьме. Жену он свою порешил или просто был уездным разбойником, нам неведомо. Но очевидно, что своим изобретением он надеялся заслужить помилование. И что вы думаете? Коляска его была построена в остроге, там же испробована. Изобретатель получил награду пятьдесят рублей и... снова отправлен в каземат.

— Похоже на правду,— улыбнулся Степан и пухлой ладонью пригладил волосы.

— А я б его отпустил! — загорелся Сергей.— В самом деле, при такой бедности талантами...

Павел Павлович остановил его.

— Леонтий Шамшуренков был типичным механиком-самоучкой. Крестьянином, отнюдь не инженером, но крестьянином, наделенным характерными свойствами многих наших русских изобретателей. Часто и в большинстве своем все они люди выдающейся фантазии и инициативы при полном, подчеркиваю — полном незнакомстве с предметом. Полной неосведомленностью о том, что было сделано ранее и что свершается их современниками.

— Осмелюсь акцентировать ваше внимание на другом,— оживился Алабин.— Из вашего рассказа следует, что в острог он попал до изобретения самобеглой коляски, а не наоборот.

— Все так. Но автомобиль потребует целого сословия шоферов, вот я к чему клоню. Сословия механиков, дорожных мастеров и прочих специалистов. Где вы их возьмете, когда менее прихотливая в этом смысле железная дорога бедствует?

— Мне это кажется второстепенным.

— Не знаете вы своего народа, милостивые государи! Не знаете! Мужик наш темный, забитый. Мужик эгоист, весь в себе. Широта души, размах — это все протест. Это не каждодневно. Это как всплеск, а потом опять в болото. Сидит себе на печи, пускает ветры в потолок, и ему необходимо, чтобы все любили его за душу, за помыслы, за благие намерения... Очень нужен ему ваш автомобиль!

— Очень!

— Не уверен. В простом народе нет у нас тех людей, которые смогли бы принять вашу идею на свои плечи.

— Надо начинать!

— А кто спорит, что не надо? Надо, но автомобильное предприятие будет убыточным. Наши бюрократы ни субсидий, ни заказов от казны не дадут, а состоятельные люди предпочтут покупать иностранные марки. У меня все данные по автоотделу Руссо-Балта...— Павел Павлович погладил раскрытую тетрадь, кисло улыбнулся.— И что вы полагаете? Работают в убыток.

«Ну и хват,— подумал Георгий Николаевич,— откуда ж он данные по Руссо-Балту достал, ведь берегут же их, как зеницу ока! Ловок...»

— Если начинать автомобильное предприятие, надо создать акционерный капитал. И капитал значительный. Кто рискнет, назовите солидные имена.

Тут, пожалуй, Павел Павлович был прав. Алабин начал говорить об энтузиазме, о распространении мелких акций, но на значительные суммы, однако слова его не получили конструктивного воплощения, тем более, что серый человек позвал к столу.

— Самое важное сейчас не пропустить время! А время, оно эвон как подпирает! — волновался Алабин.— Итальяшки да французики двигают автодело вовсю...

Степан одобрительно кивал головой. Говорили, что из всех братьев он самый рисковый. Поняв, что Павел Павлович осторожничает, Алабин обращался теперь к нему.

— Военные дадут заказы. Куда они денутся? Их списывать не резон. Есть данные, что вот-вот начнется формирование двух автомобильных рот. Да и то надо учитывать, автомобиль придется впору деловому человеку — промышленнику, инженеру, доктору... В сельской местности богатые селяне...

— Полноте, свет мой, у нас в городах-то дорог нет. Царь-колокол есть, Царь-пушка есть, а дорог нет!

— Автомобиль пробьет себе дорогу стальной грудью! Все увидят его выгодность, начнется прокладывание автомобильных путей сообщения.

— И в этом вопросе тоже нельзя терять времени,— вставил Степа.

— На Руссо-Балте в Риге достигнуты определенные успехи, и списывать их нельзя. Но Руссо-Балт не автомобильное предприятие, вот почему он не может быть серьезным конкурентом для тех, кто широко подойдет к этому вопросу!

— Хорошо,— Павел Павлович кивнул.— Я обязуюсь рассмотреть все без предвзятого мнения. Сергей не раз говорил нам, что у вас имеется полный проект со всеми техническими и финансовыми обоснованиями. Ознакомьте нас, и не будем пороть горячки. Время еще есть. Материалы при вас?

— К вашим услугам.

— Вот и лады. Не обязуюсь управиться за день, два, но через неделю, полагаю, мы сформулируем наш ответ. Сегодня лишний раз я убедился, что вы из всех торговых людей наших наипервейший патриот техники.

— Скромно соглашаюсь. А слова ваши, Павел Павлович, то, что вы сказали в адрес русских механиков, когда вспоминали этого Леонтия Шамшуренкова, обидные слова меня покоробили.

— Извольте миловать, если так. Виноват.

— Помнится, батюшка ваш Павел Михайлович был со мной по делам в Петербурге и там рассказывали нам притчу про крестьянина и камень. Припоминаете? Если нет, я напомню, не боясь отнять времени. Значит, случилось это в Санкт-Петербурге при сооружении памятника Петру Великому, что в Александровском саду. Будто бы от подножного камня, в силу неосторожности или по какой иной причине, был отколот огромный кусок. Его следовало убрать, но недоумевали как. Немцы разные, большие искусники да инженеры ученые предлагали всевозможные проекты, но выговаривали значительные суммы, коих в смете не предусматривалось. Допустим, до двух тысяч просили.

— По тем деньгам...

— Камень тяжелый, надо погрузить, вывезти, платформу надо изготовить, лебедки подъемные.

— Взорвать надо было,— посоветовал Степа.

— Так это ж известная история,— усмехнулся Павел Павлович,— припоминаю чего-то...

— Обломок следовало раскаливать на огне и поливать ледяной водой,— заволновался Сергей.— От разности температур в монолите образуются трещины.

— Видимо, предлагались и такие решения. Но опять же затраты: калить его, воду студить. А тут случился проезжий мужик, дурак дураком. Послушал, что умные люди говорят,

какие планы строят, и предложил свои услуги. Взялся убрать камень не за две тысячи, а за двести рублей.

— И убрал,— подтвердил Павел Павлович.

— И убрал,— согласился Алабин.— Боюсь соврать, но кажется в одну ночь. Сродственника вызвал, вдвоем работали.

— Не иначе распилили, а?

— Это пускай немцы пилят, они кропотливые. А наши те шапки скинули, на руки плюнули, выкопали ямку. Камушек туда скатили. Сверху засыпали, ну а лишнюю землю, надо думать, увезли. Вот русский подход!

— А ведь ловко! Насмешили вы, Георгий Николаевич.

— Я не смешить хотел. Притча эта нравится мне за то, что отражает чисто русский подход к делу. Нам придется создавать автомобиль по-своему. И люди найдутся, и сила, уверяю вас. А нам автомобиль этот нужен, как никому другому. У нас необозримые пространства, нам транспорт нужен, иначе задохнемся. Снабдите автомобилями Сибирь, Украину, центр наш, дороги пробейте до Урала, на север, на юг — и перед вами другая страна.

— Это интересно,— ласково перебил Павел Павлович и взял гостя за локоть.

Больше об автомобилях они не говорили. Погуляли по саду, вспомнили общих знакомых, пили на террасе чай, а когда начало смеркаться, Сергей проводил Алабина до станции, но в Москву вместе с ним не поехал.

В поезде, откинувшись на мягком диване, Георгий Николаевич перебирал события дня, усмехался.

Проводник принес керосиновый фонарь. Светлый мазок отразился в вагонном стекле и поплыл, поплыл, покачиваясь. Далеко в полях еще светилась на закате желтая полоса, гудел паровоз, вагон скрипел натяжно. Георгий Николаевич усмехался. Особенно веселила его изысканность Павла Павловича, вкрадчивость голоса и манер. Он вспоминал белый соус в соусниках с неведомыми гербами, упругую крахмальность салфеток в вензелях и стол «по-простому» на пять хрусталей. Избаловались парни, думал он, и намеревался как-нибудь при встрече рассказать, как обедал основатель дома Рябушинских дедушка Михаил Яковлевич, торговавший в холщевом ряду. Тот копейку берег, не выжмешь. Идти в трактир дорого и в деле заминка, ждал разносчика.

Разносчик пробирался вдоль ряда, тащил в корзинке под ватным, обсаленным одеялом, чтоб не застыли, щи с требухой и кашу. А под мышкой у него зажаты были деревянные миски. «Обед горячий... Горяченький... Ка-а-му обед, степенные»...

Брал первый Рябушинский на гривенник щей, хлебал с присвистом. Пустую чашку ставил на пол, ее облизывали рядские собаки. К слову, чашек тех вроде бы и не мыли вовсе.

Только вытирали полотенцем, которое лежало поверх одеяла. А серебро, гербы, хрустали — это все потом появилось. Не сразу.

Сын Михаила Яковлевича Павел Михайлович тоже не с серебра ел, хотя капитал имел миллионный. Устраивал ткацкую фабрику, мануфактуры скупал, вместе с братом Васей, тем «самым пронзительным Рябушинским», которого уважал Алабин за коммерческий талант, получил первую гильдию, поставил дом на загляденье всей Москве и строго блюл древлепреправославное благочестие. Никонианской веры не признавал.

Он не пил, не курил, осетрину на пару и соусов разных не кушал. От первого брака имел шестерых дочерей, всех их поместил в Благородный пансион, потому что на пятидесятом году добился развода, женился второй раз на восемнадцатилетней красавице Александре Степановне Овсянниковой, дочери того петербургского мукомола, которого известный судебный деятель Кони назвал самодуром-миллионщиком. Мельницу он там свою поджег из каких-то коммерческих соображений, ну да не о том речь. Выйдя за Рябушинского, Александра Степановна родила ему девять сыновей и семь дочек.

Четверо детей умерли во младенчестве.

Они уже совсем не походили на деда и прадеда Яшку Рябушинского, монастырского крестьянина Калужской губернии, начавшего мелочную торговлю. К тому времени, когда Алабин собирался соблазнить братьев автомобильными горизонтами, Рябушинские владели банками, газетами, фабриками, лесными угодьями на севере России, издавали журналы, у них был многотысячный штат служащих — в конторах, правлениях, лабазах и редакциях. Был строжайший бухгалтерский учет, конторские книги, векселя, руководящие пакеты акций, а восемь родных братьев — Павел, Сергей, Владимир, Степан, Борис, Николай, Михаил и Дмитрий — считались в обществе людьми образованными. И светскими. Куда больше, Павел Павлович издавал декадентский журнал «Золотое руно» и заявлял в полный голос: «Мы сочувствуем всем, кто работает для обновления жизни, мы не отрицаем ни одной из задач современности, но мы твердо верим, что жить без Красоты нельзя...»

Летом пятого года на квартире старшего Рябушинского собирался торгово-промышленный съезд. Павел Павлович представлял «либеральную группу», добивавшуюся активного вмешательства в политическую жизнь страны. Говорил речи, поднимал глаза к небу, призывая в свидетели всевышнего, и, по мнению собравшихся, несомненно был златоустом торговой и финансовой Москвы. Красиво говорил. Красиво! Может быть, именно репутация «современного человека», держащего

руку на пульсе событий, заставляла Георгия Николаевича искать поддержки старшего. Ведь стоило Павлу Павловичу только пальчиком, мизинчиком пошевелить! И деньги бы нашлись, и пайщики. Георгий Николаевич уповал на убедительность своих материалов. Недели было вполне достаточно, чтоб Рябушинские прозрели. Но события развивались гораздо быстрей.

Дня через два или три Георгий Николаевич случайно встретил Павла Павловича после заседания совета директоров банкирского дома братьев Рябушинских. Павел Павлович был возбужден.

— Нами командуют феодалы. Все их ухватки абсолютно феодальные! Можем ли мы в таких условиях проявить творческую и созидательную работу? — спрашивал он и сам же отвечал.— Нет и еще раз нет! Мы купчишки, торгаши, мы люди второй сорт. А элита они, бездельники петербургские, титулованные хамы...

Георгий Николаевич позволил себе поинтересоваться, как Павел Павлович нашел предложенные ему материалы. Начал ли знакомиться?

— А... Вы про автомобили,— вздохнул Рябушинский.— Всему свое время, дорогой Георгий Николаевич.

Это еще был не отказ и даже не намек на то, что отказ вот-вот последует, но Алабин понял, Павел Павлович не загорается и никогда не загорится идеей автомобилизации России, поэтому ничуть не удивился, когда на Якиманку приехал Сергей и привез все документы в черном портфеле кожи «бокс».

— Не убедил?

— Да ведь как сказать, Георгий Николаевич... И хочется и колется и папа с мамой не велят. Вот... Попробовали выяснить обстановку, и получается, что автомобили гораздо дешевле покупать за границами, чем изготовлять самим. Вся таможенная политика ориентирует нас на это...

— При связях Павла Павловича!

— Нет, таможенные тарифы никто пересматривать не будет. И какую-нибудь августейшую особу получить в правление не удастся: новое дело. Сегодня в моде, а завтра?

— Вот и надо начинать!

— Да я-то понимаю,— вздохнул Сергей.— Мне-то вы чего доказываете? Но разве можно забывать, в какой мы стране живем? Ах, да что я вам талдычу! Павел Павлович сказал, пусть он, то есть вы, ищет единомышленников, которые согласятся сорить деньгами. Только это расточительство, так он сказал, а расточителей следует не поощрять, а брать под опеку! Передай ему, велел, что наше мнение окончательно.

— Ну, спасибо, утешил ты меня, старого.

— Да не я это, Георгий Николаевич! И Степа тоже считает. Процент прибыли низкий!

Домашние решили, что Георгий Николаевич заболел. После отъезда Сергея Рябушинского он заперся у себя в кабинете и приказал никого к себе не пускать. Аполлон сидел на стуле у дверей и, тревожно закатывая глаза, прислушивался, что там за дверью.

Позвонили доктору Василию Васильевичу, сообщили, что с самим плохо, и доктор приехал, подошел к дверям.

Алабин открыл, и удивленный доктор нашел его вполне бодрым.

— Так-с, так-с... Как спали?

— Да ничего, спасибо.

— Жара сегодня в городе невыносимая. Печет с утра, ну, вот и думаю, дай-ка я к вам заеду.

— Хитришь, Василий Васильевич.

— Ну, хитрю,— сразу же признался доктор.— Может, случилось что?

— И не знаю, как сказать. Видимо, этого и следовало ожидать, я дурак старый в грезах жил. Процент прибыли низкий! Вот диагноз, доктор. Заплати на рубль больше — и все тебе будет. А с низким процентом не суйся... Это ж до чего мы доживем при таком подходе. Не хотят вперед глядеть.

— Нет, что-то случилось!

— Случилось не случилось, Рябушинские отказались в деле участвовать!

— Тю, тю, тю... Неужто и в самом деле? Господи, вот бы никогда не подумал! Вот сюрприз! Сторонники прогресса...

— Рано, говорят.

— Совершенно верно. Не созрела...— Доктор покачал головой, пощелкал ногтями, что свидетельствовало о некоторой растерянности, подошел к окну, открыл настежь.— Георгий Николаевич, извините меня,— сказал решительно,— но я в чем-то с ними согласен! Формулировка точная...

— В чем? С Рябушинскими?

— Да, да, да... Сто раз да! Георгий Николаевич, вы и в самом деле полагаете, что автомобиль изменит Россию? Сделает людей богатыми и счастливыми? Бьюсь об заклад, но это не так! Помню вы доказывали мне, что Крымскую войну...

— Ну, доказывал!

— Позвольте, позвольте, я не кончил. Крымскую войну мы проиграли, потому что не строили паровых кораблей. Или строили, но мало. А парусный флот к тому времени отжил свое. Вы полагаете, что имей мы тогда достаточно этих пароходов, так Севастополя мы б не отдали. Это при государе Николае Павловиче? А ну-ка, подумайте хорошенечко.

— Сто раз думано и передумано.

— Нет, нет, у меня еще вопрос. И вы стоите на этом мнении после Мукдена и Артура, после Цусимы? Неужели вы и ныне возьметесь доказывать, что беда, дескать, в том, что мы опять чего-то не строили или строили, но опять же не так, как следует строить.

— Разумно.

— Разумно, да ведь не слишком! Машина сама по себе ни паровая, ни электрическая, ни бензиновая, никакая другая дела не изменит. Где вы найдете на Руси нашенских мужиков, московских, тамбовских, саратовских, а не из Парижа выписанных, влюбленных, как выражается ваш Бондарев, в двигатель внутреннего сгорания? Таких нет. Мы страна нищая талантами, мы отстали от цивилизованного мира, и виновато в этом самодержавие. С него надо начинать, а не с машины!

— Браво, доктор! Но с машины тоже надо начинать. Спохватятся, когда время выдвинет другую задачу, и тогда кого винить будут? Царя, поляков, извечные козни коварной англичанки или свою тупость, свое тупорылие?

— Людей где возьмете? Нет их! Людей нет!

— А ваш Кузяев?

— Кузяев исключение из правила!

— Вот видите, исключение. Вы как те наши сановники, которые твердят, что нельзя мужику свободы давать, иначе порежут друг дружку. А вы попробуйте. Как же так можно заранее говорить, что будет в будущем, ничего для будущего не делая?

— С революции надо начинать!

— Живите сто лет, доктор! Но пусть на вашем прекрасном памятнике выбьют золотыми буквами: «Кроме своего, других мнений для него не существовало».

Доктор нахохлился, он знал за собой такой грех, но грехом не считал, а напротив — добродетелью.

— Нет,— сказал он раскатистым своим басом.— По-настоящему великой державой мы станем только тогда, когда научимся любить не машину, но человека! Уважать личность, считаться с ней, с ее мнением и правами...

— Так ведь я не спорю, доктор. Вы ж в распахнутые ворота ломитесь. Машина — это машина, а человек — это человек. Кстати, ваш Кузяев выдержал шоферской экзамен?

— Да, и уже диплом получил.

— Вот видите! А как ваш ландолет?

— Еще не прибыл, но ждем со дня на день. И все-таки я резервирую свое мнение. У нас не может быть своих автомобилей,— сказал доктор устало и был очень доволен, что последнее слово осталось за ним.

НЕ ПОВЕЗУТ ПОЭТА ЛОШАДИ...

Часть третья

16

Наконец позвонили со станции, сообщили, что автомобиль прибыл и надо его забирать поскорей, потому что нарастают пени.

Наняли две парные подводы. Автомобиль был запечатан в огромный деревянный ящик. С платформы его стаскивала артель грузчиков. «Раз, два, взяли! Еще взяли...» — орал красный артельщик.

Доктор совершенно разволновался. Проверил по дубликату номера в накладной и номера на ящике. Возникло желание распечатать автомобиль тут же на станции и домой приехать своим ходом, но мотор был в разобранном состоянии, да к тому же ни масла, ни газолина под рукой не было.

Погрузили ящик на две подводы поперек, медленно поехали на Самотеку, к Цветному бульвару. Каждый встречный считал долгом поинтересоваться, что за диковинный груз.

— Что везете? — кричали.

— Пианину!

— Ну, дела! Слона везут. Наш подох!

— Убили нашего.

Ящик сгрузили во дворе у конюшенного сарая, в котором отныне должен был быть гараж. Начали распечатывать вдвоем, Кузяев и дворник Федулков. Доктора, чтоб не мешался, отослали в дом. Некоторое время он сидел там тихо, потом не выдержал, открыл окно, начал давать советы.

— Петр, да не бей же ты так! Ведь помнется.

— Василий Васильевич, я обучился, с какой же стати так,— возражал Кузяев.

— Федулков, нельзя так доски отрывать! Дорогая ж вещь! В самом деле...

Наконец, автомобиль распечатали и доски, из которых был сколочен ящик, убрали. Автомобиль предстал во всем своем великолепии. Синего цвета, с зеркальными стеклами, отражав-

шими летнее московское небо. Обитый внутри серой замшей и отделанный грушевым деревом, автомобиль выглядел великолепно. Ни у кого в округе такого не было!

Это был городской автомобиль известной французской фирмы «Морс» в 50 тормозных сил с шестицилиндровым двигателем и карданом.

Петр Платонович накачал шины, промыл баки — водяной и бензиновый. Пока разбирал принадлежности и запасные части, дворника сгоняли в аптеку к Ферейну за бензином. Бензин, именуемый газолином, процедили через замшу. Смазали все трущиеся части.

К тому времени сдержать доктора уже не представлялось возможным. Он вышел из дома, ходил вокруг автомобиля, гладил его, восхищался качеством окраски, открывал дверцы, садился в салон и проверял, как пружинят сиденья.

— Как ты думаешь, Петр, это долговечная модель?

— Поживем, увидим. Так-то вроде с резервом сделан.

— Мне тоже кажется, с резервом.

Автомобиль достался доктору случайно. Он присматривал себе машину поскромней, но так случилось, что господин Крюммель, владелец фабрики экипажей и автомобильных кузовов, представитель фирмы «Морс» в Петербурге, устроил выставку. Все экспонаты были распроданы, кроме этого. В этом был дефект: не хватало летнего кузова. Конечно, к машине такого класса непременно полагался сменный кузов, но Георгий Николаевич, приметив этот недочет, смекнул, что Крюммель уступит «Морса» за полцены. Так оно и вышло.

Доктор выложил пятнадцать тысяч, сколько-то добавил Алабин в счет будущих докторских гонораров, и вот автомобиль стоял на Цветном бульваре.

На высоком заборе висели соседские мальчишки, во все глаза наблюдали за диковинной машиной, канючили:

— Дядь, а дядь, ну, погуди... Дядь...

Доктор в который раз нажимал на резиновую грушу сигнального рожка, автомобиль рявкал, и странный незнакомый звук вспарывал тишину. Прохожие у ворот оборачивались... Удивлялись...

К вечеру все было готово, ток соединен, педаль отжата, Кузяев повернул ручку пуска, и мотор ожил.

Доктор тут же пожелал ехать кататься по вечернему городу, но Кузяев его отговорил, сославшись на то, что мотор должен некоторое время проработать вхолостую.

Доктор неохотно согласился. В ту ночь он, кажется, не спал.

На следующий день слух об автомобиле доктора докатился до Новой Божедомовки, до Селезневки и Долгоруковской улицы, приходили оттуда любопытные, просили Федулкова впустить глянуть одним глазком.

— Барин не велит,— сурово отвечал дворник, вдруг проникшийся уважением к своему барину, которого раньше ни во что не ставил. И сам Федулков как-то даже возрос в собственных глазах.— Куда прешь? Ведь не велено ж, говорят!

Доктор жил на бойком месте. Дом его стоял в глубине зеленого двора, спрятавшись за другие строения. Из окон второго этажа виден был Цветной бульвар. Два раза в неделю на бульваре играл военный оркестр, по вечерам гуляла чистая публика. Справа, на Садовой, гудел неугомонный, толкучий Сухаревский рынок, слева была Труба, Трубная площадь, где по воскресеньям устраивали охотничий торг, торговали собаками, золотыми рыбками, голубями, петухами, курами. Весной продавали рассаду, саженцы диковинных произрастаний и семена. Сюда ездили за живым товаром любители природы со всей Москвы.

Весной в праздник благовещенья, когда принято было выпускать птиц на волю, случалось видеть в трубной толпе суеверных грабителей, раскаявшихся карманников, горьких пьяниц, решивших бросить все в этот день, протискивающегося купца можно было увидеть. Такие задабривали бога, смиренно выворачивали карманы, цену давали не торгуясь и тут же выпускали купленных птиц. Надеялись, что грехи так же улетят. В щебете, в запахах весеннего бульвара и гомоне шумной толпы. То-то бы хорошо!

В день благовещенья в утреннем радостном беспокойстве доктор выносил на балкон клетку с зябликом. С утра дворник специально отдирал с балконной двери замазку и бумагу, выдергивал из щелей вату, напиханную на зиму: «Лети, птица,— ласково говорил доктор.— Лети...» — И верил...

Как и договаривались, сначала служил Кузяев у доктора в кучерах, алабинский механик Мишель учил его управлять автомобилем. Через полтора года Петр Платонович сдал экзамены при Московском автоклубе, получил шоферской диплом, представил в городскую управу две фотографические карточки при медицинском свидетельстве, подписанном Василием Васильевичем и удостоверяющем, что Кузяев обладает нормальным зрением, таким же слухом и крепкой нервной системой. На автомобиль выдали номерной знак.

Было это жарким летом 1907 года. Палило солнце. По бульвару летел тополиный пух. В кинематографе на углу звонили к началу сеанса. Шумела Сухаревка.

Первая неделя ушла на показ автомобиля. Доктор без устали ездил по знакомым. Пили шампанское, чтоб хорошо ездить. Возили дам на пикник в Сокольники. Дамы восхищались быстрой ездой и пели песни. Петр Платонович объяснял господам устройство автомобиля.

Через неделю решено было достроить гараж и выкопать рядом кладовую для бензина. Пришлось вызывать братьев.

Они все так же служили на «Бромлее», старший Петр Егорович — кузовщиком, средний Михаил Егорович — маляром, а младший Вася-Васятка учился на обойщика.

Братья снимали комнату в переулке на Шаболовке. Окно выходило в огород. На подоконнике стояла банка, куда сливали спитой чай. Там лениво покачивался толстый чайный гриб.

Хозяйственный Петр Егорович выращивал в городе ранние огурцы и все уговаривал квартирную хозяйку завести корову. Та сомневалась. Сошлись на козе.

Братья жили дружно, по праздникам навещали Петра Платоновича и непременно приносили с собой гостинца. То лукошко клюквы, то кувшин козьего молока, то морского жителя, стеклянную игрушку в виде чертика, на голове которого была пипетка. Когда на пипетку нажимали, морской житель не стыдясь пускал из себя струйку, за это его еще называли банкир Зингер.

Братья обещали быть к семи. Петр Платонович вымыл автомобиль, протер замшей и, ожидая родных, сидел рядом с дворником на бревнышке у ворот. Курили, беседовали.

— Это что ж за времена пошли,— жаловался дворник.— На Божедомке Фильку Косого ножичком пырнули. Татаре, говорят, сказано деньги не поделили. Крали, крали и на вот.— Дворник высморкался, приложив палец к ноздре.— Полиции нет. Навалилось времячко...

— А чего Филька говорил?

— А чего говорить, мертвый, сказано. Отошел в царствие небесное.

— Вот те на! Тревожный момент.

— Ворона кума. Тревожный... Теперя, как в темный час на бульварде караул кричат, я с места не стронусь, вот те крест! Фортку, значит, отворю, рыло высуну, кричу: «Иду!» Вот он я, а сам еле жив. Жутко дело.

Дворник был мал ростом, конопат. Зимой и летом носил валенки и теплые портки, жаловался на простуду в костях. Доктор его лечил, но войти в сторожку не мог, уж очень там был дворницкий дух.

У соседей за забором вовсю дымил самовар. Дым стлался смолистый, шишечный.

— Откель столько шишек Маркеловы берут, ума не приложу.

— Воруют в окружающем пространстве.

— Ой, правда? — глаза дворника блеснули.— Шуткуешь? Все бы шутить молодым. Пойду, что ли, ворота замкну. Ох, лень наша матушка...— Дворник покряхтел, кивнул на автомобиль, торжественно блестевший в закатном свете.— Вот они

живут... Деньгу некуда девать. Это ж мужику всю жизню работать да работать. А наш-то тьфу и вот! Вот бы барином родиться...

— Он доктор. Считай, сколько лет учился.

— Учился,— передразнил дворник.— А ты что, не учился?

Кузяеву такая постановка вопроса была приятна.

— Ну, учился...

— А сколько жалованья тебе?

— Для начала семьдесят пять рублей на каждый месяц.

— А ему?

— Я не знаю,— уклончиво отвечал Кузяев.

Некоторое время посидели молча. Пахло самоварным дымом. На бульваре играла военная музыка. Была суббота.

— Чего ж ты с такими деньжищами делать будешь? Запьешь? Ну, житуха! Слушай, Петр Платоныч, а сынка моего можешь в ученики взять!

— Если парень с головой, так и поучу. Отчего ж не поучить,— солидно отвечал Петр Платонович.— Это можно.

Тут как раз появились братья.

Шли по старшинству, первый Петр Егорович, крепкий, рослый, служить ему пришлось в крепостной артиллерии, за ним вышагивал шустрый Михаил Егорович, шел и все крутил головой, косил по сторонам, а уж сзади вприпрыжку поспевал Васят-Васятка в новом темно-синем картузе с лакированным козырьком.

— Привет, православные!

— Бог помощь!

— А ты смотри, Василий, автомобиль какой красивый, точно архиерейская карета!

— Дядь Петь, прокатишь?

— Прокачу.

Дворник со всеми поздоровался за руку, а Петр Платонович расцеловался.

В гостинец братья принесли три фунта ореховой халвы. Федулков поспешил ставить самовар.

Осмотрели гараж. Не спеша все измерили. Прикинули, где рыть яму для газолиновой кладовки, посмотрели заготовленные материалы.

— В самый раз,— заключил Петр Егорович.

— А вот и не,— заспорил брат Михаил, шмыгая носом.— Связку как иделать? Стреха поверху-то пойдет, долбежки много, эвон глянь... а тут о... тама нет и айн, цвай, драй... распор куда иденем... в карман, а?

Ему попробовали объяснить, потом плюнули, пусть говорит, и он начал растолковывать свою точку зрения дворнику. Дворник его сразу же поддержал, они стояли вдвоем в сторонке, махали руками:

— Ну вот ведь, все загубят...

— Рази так?!

— Ох, люди, сказано... Лю-ди! Загубят!

Между тем два Петра — Петр Платонович и Петр Егорович — все вымерили еще раз, решили субботы не портить, а начинать с утречка. Сложили принесенный инструмент в гараж, на руках вкатили туда автомобиль и отправились на Трубу «в пизок», был там такой трактир под названием «Встреча веселых друзей».

По дороге Петр Егорович не спеша рассказывал, как меняют артиллерийские стволы и какие отдают команды, когда неприятель вот он, рукой подать, а времени в обрез.

— Пер...р...вая орудия! — Петр Егорович поднимал тяжелую руку,— Паа... врагам отечества...

Васятка смотрел на него, открыв рот, а Михаил шел сумрачный, делал вид, что сердится и не слушает.

В трактире мест свободных почти что и не было. Дым стоял коромыслом. У буфетной стойки усталый хозяин подсчитывал выручку и зорко взглядывал из-под тяжелых век на гостей: как что? Носились угорелые половые. Кипел засаленный самовар и вдалеке в чаду красной точкой теплилась лампадка перед образом в золоченом окладе.

Братья остановились на ступеньках, сверху прикидывая, куда можно сесть. Тут их и заметил хозяин, определил, что люди самостоятельные, мигнул подвернувшемуся половому. Тот мигом согнал пьяненького дедушку, грустившего у окна, сорвал с руки полотенце, обмахнул стол. «Пожалте, любезные. Что прикажете?»

Приказали водки. Штоф. И пива. Три графина, на закуску рубца и свиного студня с хреном.

— Горошку моченого не забудь,— капризничал Михаил Егорович,— и энтих, как их... Сушечек с сольцой, о!

— Будет исполнено.

— Давай, двигай!

Не успели осмотреться, как половой появился с нагруженным подносом, расставил все на столе и пожелал кушать с аппетитом.

— Может, пригубишь с нами? — предложил Петр Егорович.

— Не имеем права-с,— отвечал половой, пятясь.— В добрый час!

Наполнили по первой стопке. Васятке налили пива.

— Не учись, гренадер, на старших глядя!

— Ну, начали с богом!

— Рассыпчатая, мамочка...

Рядом в зале играли в биллиард, резали со всего плеча от двух бортов в лузу, и гул стоял и грохот, как в машинном отделении на крейсере первого ранга, когда давление пара двести пятьдесят фунтов, никак не меньше, и гудят поддувала, и

дрожат мелкой дрожью пароприемные коллекторы, а наверху, над броневой палубой, вроде бы уже началась пристрелка и показали калибр.

— А у нас, братья, сегодня в мастерской человека в самый раз арестовали,— сказал Михаил Егорович.— Мастер говорил, пропагатор. Я не знаю, мое дело сторона, а чудно!

— Не ори. Такие дела. Тихо давай: политическая креда.

— Да я и даю тихо,— оглядываясь, продолжал Михаил Егорович.— Сказывают, против царя, вот и креда.

— Вот те фунт!

— Шуму... Ну, маляры промеж себя дают объяснение: в пятом годе на баррикадах выступал. Боевик. Чтоб свобода всем, требует.

— Один был?

— С сотоварищами, ясно. Одному на такое куража не хватит.

— А чего им нужно? Чего недостает в жизненных стремлениях?

— А чего, а того, хотят они всю землю, значит, крестьянству, фабрики, заводы — это цеховым, царя скинуть, заместо его правительство исделать и, значит, новую жизнь начать.

— Ну, затеяли!

— Не выйдет. Без царя нам нельзя: смута подымется. Как же так: на Руси-то да без царя? Конфуз весьма крупный,— вздохнул Петр Платонович.

И тут в разговор вмешался меньший Вася.

— А я слышал, у нас говорили, есть страны, где царя выбирают. Там поцарствовал три года или сколько, слазь. Другого сажают.

На Васятку цыкнули. «Сиди тихо. Хуже того нет с малолетками в трактир ходить».

— Половой! — крикнул Михаил Егорович.— Половой, принеси нам для мальца чая. И сладкого чего.

Тему переменили и, выпив еще пару стопок, Михаил Егорович начал рисовать, как было бы хорошо, скопив денег, открыть свою мастерскую по ремонту экипажей.

— Петя отрихтует, я покрашу. Васята, бог даст, на обойщика выучится, обобьет. Возьмем учеников. В подмастерья из своих сухоносовских определим старательных, ну и жизнь пойдет!

Петр Платонович сомневался в реальности этого плана, но поддержал брата добрым словом.

— А чего,— сказал,— подумать надо. Я заказчиков наберу, знаешь сколько? Сколько хотишь. Доктор мой шибко важная птица.

— На тебя, Петруша, надежда,— польстил брату Михаил Егорович.

— Не подведем! За нами не станет. Разливай! — приосанился Петр Платонович.

— Уши б мои не слушали, глаза б не видели,— засмеялся Петр Егорович.— Да вы что, братаны, в своем уме? — Он вынул из кармана серебряные часы, взглянул, сколько времени, для верности поднес часы к уху, идут ли.— Что вы раскудахтались? Спой нам, Васятка, так-то лучше будет. Видал, хозяева выискались, капитала на трафилку, а понта на косуху. Повадно им спьяна. Давай «Шумел, горел пожар московский...» Как там дальше-то?

— Дым рассти...и...лалси да по земле...

•

Николай Алабин, так неожиданно исчезнувший из родных мест, поселился в Марьиной роще. Сначала снимал этаж — комнату и кухоньку у «отставной камелии» Елизаветы Филаретовны Грибенбах, а после смерти отца купил домик поблизости от марьинского рынка и завел, по общему мнению, жизнь бомонтную.

Он говорил, что желает открыть мануфактурную торговлю, а пока присматривается, что почем и стоит ли начинать дело в Москве.

Иногда ездил он по разным адресам, пил помаленьку, играл на биллиарде в знаменитом марьинском трактире «Золотое место» и мучился от любви к невенчаной своей жене Тошке Богдановой, сухоносовской колдунице и порчельнице.

Другой раз до того доходило, что пугался: а может, она в самом деле заворожила меня? Колдуница не колдуница, а вполне могла от нечистой силы чего перенять. И леденело в груди.

Тошка была загадкой. Вроде все так и все не так. Вчера одна, сегодня другая, а какая будет завтра — полная неясность.

В округе жила публика разношерстная, заношенная. Были мещане, мастеровые, лавочные приказчики, говорили, что обитают рядом фальшивомонетчики, делают бумажные деньги, склеивают из двух половинок так, что видны все водяные знаки и достоинства, торгуют видами на жительство.

Сдружился Николай с приказчиком Яковом по фамилии Жмыхов, тот снимал квартиру через улицу. Был высок, худ, зубы имел лошадиные и, когда ел, на скулах у него ходили тугие желваки. При этом Яков прилично играл на гитаре и водку пил в любых количествах, не пьянея. Милое дело смотреть!

— Хо, хо,— говорил Николай,— ты как тот японский бог.

— Яков Наумыч молодцом,— объяснила Тошка и потупила взгляд.

При этих словах Яшка тут же дернул еще стакан и выдохнул теплый воздух. Ху...

В тот вечер сидели, играли в лото. А когда разошлись, Николай набросился на сожительницу, сразу накаляясь до верхних пределов.

— Ты чего перед Яшкой вертишься? Ведь честной женщине так совестно! «Яков Наумыч молодцом...»

— Так то честной.

— Во ведь что говорит! Я что, по-твоему, кутенок незрячий? Что я?

— Глупый.

Она сняла платье, кинула в угол. Зевнула. И уже он понимал, что сейчас они помирятся, что бы он ни кричал, и эта зависимость от нее злила до невыносимости. До удушья.

— Стерва! Убью!

— Не убьешь, не жена.

— Чего, спрашиваю, на Яшку пялишься?

— Ласковое слово и кошке приятно.

Она сидела на кровати, стягивала чулки, медленно и лениво, чтобы он смотрел на нее и кипел.

— Змея! — и еще он назвал ее козюлей, это тоже змея, но сильно ядовитая. По-калужски.— Стерва!

И почему эта девка, эта дешевка имела такую власть над ним, почему он зависел от ее рук, ног, от ее розового тела. Он привез ее в Москву, устроил житье, как барыне, накупил всего, одних платьев сколько! Десять штук!

— Стерва!

Он боднул головой и, со всей силы грохнув дверью, сбежал вниз.

Нет, он выкинет ее завтра же. Утро вечера мудренее. Даст двести рублей или даже хватит полтораста и скажет: катись куда знаешь. Все! Больше нет сил! Спалила ты меня всего, Тошка, скажет он. Пепел во мне. Не могу. Давай порознь, так лучше.

Ночевал он во дворе в сарае. Гремела цепью соседская собака. С живодерни тянуло кислыми шкурами. В черном дверном проеме высоко-высоко качались холодные марьинские звезды, там где-то была написана его судьба.

И откуда он мог знать, бывший матрос, строевой квартирмейстер, купеческий сын и внук, что судьба его сложится неведомо, что будет он офицером, сапожником, миллионщиком, первейшим в Москве богатеем.

Но сколько всего случится до того! Мог ли он знать, заглядывая наперед, что жизнь приведет его к автомобилю, к машине, это ж курам на смех! И такие превратности выпадут на его долю, что марьинское житье покажется тихим всплеском в бархатном пруду, утренним ветром, сдобным блинным чадом на масленицу.

— У зараза! Зверюга,— Николай скрипел зубами и грозил кулаком.

Проснувшись, он выпил чаю в «Золотом месте» у Бориса Ильича, взял рюмку горькой английской водки, чтоб взбодриться, а потом вдруг пришла ему мысль поехать к Петруше Кузяеву, проведать. Он тут же, у «Золотого места», нанял лихача, покатил на Самотеку к Цветному бульвару.

Косматый дворник в валенках сказал, что Петра Платоновича нет.

— Барина повез по больным.

— Эх ты,— сказал Николай,— неудача-то какая! Ну, передай ему: Николай Ильич заезжал, велел кланяться.— И сунул дворнику двугривенный.— Может, заеду еще ввечеру.

Домой он вернулся, уже во всю сиял день. На рынке рядом заканчивали мясную торговлю. Начинался обед. Солнце стояло высоко.

Надо было подняться наверх, к Тошке, к козюле ядовитой, сказать спокойно, так, как он и надумал, ворочаясь в сарае без сна. Давай по-хорошему... Решительно проскрипели ступеньки под его ногами. Распахнул дверь. И застыл.

В комнате стоял полумрак. Из-под сдвинутой занавески от окна до двери легла золотая полоса и в этой полосе светилась ее рука.

Она лежала в постели под атласным голубым одеялом, вся в тепле. В жаре даже. Перед ней на венском стуле блестела круглая жестянка с цветным монпансье. Она протягивала руку, брала по конфетке, кидала в рот.

— Ну вот,— начал он захлебываясь, чтоб сразу выложить все.— Дело решенное. Давай, Тошка...

Она посмотрела испуганно. И такой неподдельный был ее испуг, что он осекся на чуть-чуть. И почувствовал, что пар-то весь и вышел!

— Николюшка. Пришел, сокол? Что ж ты себя мучаешь, божонный мой, лапа ненаглядная...

— Змея,— сказал он, не трогаясь с места.— Козюля ты подлая.

— Сам не веришь, что баишь. Иль не уважила тебя? Любила не так? Бедненький ты мой. Совсем извелся, лапа. Подь, подь ближе... И сядь, не съем...

— Ну...

Коля подошел, сел, а после того ввечеру ехать к Кузяеву раздумал. С того дня начался у него новый медовый месяц. Укатил он с Тошкой на гуляние в Нижний Новгород, там у еврея купил ей за три тысячи браслет червонного золота с зелеными камнями, как раз ей под глаза. Они любили смотреть на эти камни при свече, и он просил ее не снимать его на ночь.

Осенью к Петру Платоновичу приехала погостить жена. Он встретил ее на Брянском вокзале у вагона. Настя была одета по-деревенски, но нарядно. В новой кофте, Дуня Масленка сшила, в новом цветном платке, купленном на ярмарке в Угодском Заводе. Сразу начала рассказывать деревенские новости. Шла по перрону, держась за локоть мужа, и говорила, говорила.

Петр Платонович подхватил Настин мешок, и еще был у нее деревенский сундучок с висячим замком.

— Ох, и набрала...

— Мать тебе припасов наготовила, проскучился, небось, в городе, ой, Петруша, народу-то сколько, вон, гляди, барин какой важный...

— Кондуктор.

— Петруша, ты не спеши, а то затеряюсь, не сыщешь.

— С полицией сыщем.

— Что говоришь... Мама велела: деньги спрячь, а то как поедешь, не спеши, Петь...

Он вывел Настю на площадь, мощеную крупным булыжником. Усатый городовой у вокзальных дверей с удивлением смотрел, округлив глаз, как он подсаживает ее в шикарный ландолет. На Насте была длинная цветастая юбка, на ногах черные штиблеты с резинками. Чулки она надела вязаные, домашние, чтоб не застудиться в дороге. Ей говорили, в вагоне ветер гуляет по полу.

И хоть езда быстрей 25 верст в Москве была запрещена, Петр Платонович решил показать Насте настоящую скорость, нажал на тугой акселератор. Ландолет загудел во все свои пятьдесят сил, вздрогнул и покатил, дымя газолином и подпрыгивая на неровностях. Заныли рессоры.

Настя бледная сидела сзади, забившись в угол барского дивана, смотрела затравленно.

На Садовой Петр Платонович сбавил ход и помахал Насте рукой в черной перчатке с жесткой крагой, но Настя ничего не видела.

— Напужалась, небось? — спросил, когда приехали, и пожаловался, чтоб жена знала.— Вот такая жизнь городская. Несешься, сам куда не зная.

Первым делом жена навела в комнате порядок. Федулков притащил ей кипятку из докторской ванной. Тряпок принес для протирки. Вечером сели пить чай за выскобленный чистый стол. На окне уже висела занавесочка, в шкафчике стояла вымытая посуда — сковородка, кастрюля и две миски.

Пили чай с домашним вареньем. Закусывали поросячей жареной колбасой, попробовали браги, сваренной сухоносовским соседом дядей Иваном, большим мастером. Акулина Егоровна отправила зятю пирогов и двух запеченных курей.

Дворник пил шестую чашку. Совсем расслабился. Пот с него катил жемчужный, как в бане.

— Кушайте, кушайте на здоровье,— приглашала Настя,— вот ветчинка домашняя, Платон Андреевич послал. Своего приготовления.

— Да,— наконец вымолвил дворник: нашел силы,— женщина в дому радость! — И на этом отключился. Его под руки вынесли во двор, положили на лавочку.

Мысль свою Федулков закончил только на следующее утро.

— Жена в дому радость,— сказал.— И счастье жизни мужчины. Про это нам очень надо понимать, а мы отнюдь. Я вот как супругу схоронил, пухом ей земля,— дворник перекрестился мелким крестом,— так прозрел. А до того жил без понятия, как царь Саул.

Слова эти очень понравились Насте.

— Ты с ним дружбу води,— говорила она, лежа рядом с мужем на узкой его койке.— Он самостоятельный и с понятием. Не его ж вина, что жену схоронил? Один мужчина жалкий будет. Ни постирать, ни прибрать некому. Я больше всего старичков одиноких жалею. Знаешь, Петруша, лучше, когда муж сначала умрет, а жена потом...

Настя гостила в Москве две недели. Петр Платонович сводил ее в цирк, показал воскресный торг на Сухаревке. Насте понравилась Сухаревская башня, которую почему-то все москвичи называли Сухаревской барышней и шутили, что пора ее обвенчать с Иваном Великим. Еще Насте понравилось гуляние в Сокольниках: люди все такие чистые и, видно, верующие в бога, прилично себя вели, никто не дрался и пьяных почти не было. Жизнь в городе приглянулась Насте обхождением и тем, что соседей много, есть на кого посмотреть и поговорить.

— Но я б здесь, Петруша, не жила,— сказала.— Все дома лучше, и ты, как хозяйство поставим, вертайся сразу.

— Деньги большие шоферам дают.

— А что в тех деньгах? Счастье в тех деньгах?

— Ну, не скажи. Счастье...

И наверное, тогда подумал Петр Платонович и решил, что с женой ему повезло: душевная. И, готовя гостинцы для деревенских родственников, купил для сватьи, Дуни Масленки, часы с кошкой. Когда пускали маятник, та кошка вертела глазами туда-сюда. Много лет спустя автор видел эти часы в Сухоносове. Они еще ходили. Только кошка глазами уже не двигала, что-то там сломалось у нее внутри.

Когда стали провожать Настю на вокзал, оказалось, что придется ей везти два мешка и тот деревянный чемодан. Стояли во дворе, обсуждали, как половчей все увязать, мешки на плечо, один спереди, другой сзади, чемодан в руки. Тут как раз и случился доктор. Он вышел из дома проводить гостя —

важного господина — и, увидев нагруженную Настю, сказал тому господину:

— Вот она, участь русской женщины! «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет...»

— И не говорите,— сказал господин, окидывая Настю быстрым таким вороватым взглядом, очень обидевшим Петра Платоновича.

— Вот что, Петр,— встрепенулся доктор.— Возьмешь автомобиль и довезешь жену. Что за азиатство, в самом деле...

— Городская машина,— возразил Петр Платонович,— она по проселку абсолютно не приспособленная.

— А ей как, жене твоей, по проселку? — вскипел доктор.— Ты о том подумал?

— Ой, да не труд совсем, я ж и тяжельше носила,— зарделась Настя.

— Где уж! — доктор сделал строгое лицо.— Бери автомобиль, я тебе решительно приказываю!

Надо было отказаться наотрез, но Петр Платонович представил, как подъедет на ландолете к отцовскому дому. Шикарно-то как подъедет! И попутал его лукавый, хоть заупрямился бы он, прошло время, да ушел бы гость, Василий Васильевич, пожалуй, и остыл бы. А тут стал в позу, вези и никаких!

Петр Платонович крякнул, пошел отмыкать гараж. Осень стояла тихая, по утрам дороги еще не подмораживало и дождей не предвиделось.

— Я тебя на весь завтрашний день отпускаю,— уже в воротах крикнул доктор и вышел со своим важным гостем на улицу.

Выехали ночью, Петр Платонович запустил ацетиленовый генератор, по Москве ехали с зажженными фарами, а как добрались до Битцы, стало светать и можно было убирать огни.

Ландолет «Морс» напоминал карету, тем более кузов на нем стоял зимний. Пассажиры ехали в салоне, а шофер восседал впереди, как кучер на облучке, с обоих боков открытый. Сзади было опускающееся окно, чтоб хозяин мог на ходу дать шоферу распоряжение, куда ехать, и впереди тоже было стекло от ветра и от дождя.

Как выбрались из Москвы, Петр Платонович посадил жену рядом с собой. Утро стояло тихое, желтые березы качались под ветром. Так ехали они, объезжая колдобины и ямы. От деревни к деревне недобрым лаем встречали их ошалелые деревенские псы, в неистовстве вывертывали нутро и передавали дальше, как эстафету.

У Подольска обогнали они зеленый почтовый фургон. Форейтор протрубил вслед.

— Поспевай, почтовые... Держись, Настя!

Уже свернули на Тарутинский большак; Петр Платонович зазевался, колесо хряпнуло в яму, в автомобиле что-то

лязгнуло и загремело, Кузяев убрал скорость и, выжав тормоз, соскочил на дорогу.

Французская техника не выдержала русских дорог. Как оказалось, лопнула муфта, которой кардан крепится к остову машины.

Петр Платонович как был, ничего не подстелив, не скинув кожаной шоферской куртки, полез под автомобиль. Кардан безвольно свисал вниз, и ехать дальше не представлялось возможным.

Все-таки он достал из инструментального ящика молоток и два болта со съемной скобой, попробовал приспособить, но тут же и вылез, отряхиваясь.

Испуганная Настя сидела на обочине, прижав к груди руки.

— Отъездились.

— Ништо, Петруша, ништо... В деревню вернешься... Проживем,— лепетала жена.— Люди ж живут... Дом продадим, корову, мама разрешит, заплатим твоему все... Не горе, Петруша, не горе...

— Ладно! — Он сел рядом, закурил и надо ж такое, из-за поворота появился дядя Иван.

Дядя Иван случалось неделями не просыхал, но отличался живостью ума и безграничной доброжелательностью, когда был трезв.

— Из-з-за острова... а... на стре...е...жень,— запел он, раскидывая руки.— Здрасте вам, Кузяевы! Чего сидим?

Долго объяснять не пришлось. Иван был мужик артельный. Тут же распряг, телегу откатили на обочину.

— А кому нужна, ежели мне без нужды? Вернусь, цела будет.

Подцепили автомобиль за постромки, покатили. Всю дорогу Иван держал под уздцы, шагал важный и строгий.

Выручил отец Платон Андреевич. Он слазил под машину, все осмотрел и, подумав, пошел искать подходящую железяку.

За огородом был у него сенной сарай, пуня, а рядом сарайчик поменьше, куда он складывал разные железные предметы, которые ему попадались и, на сколько позволяла фантазия, могли пригодиться в кузнечном деле. Через некоторое время он вернулся, снова кряхтя слазил под «морса», поерзал на боку, почмокал и велел разжигать в кузне огонь.

К обеду все было готово. Тем более поломка оказалась простой, но Петр Платонович, ясно, об этом и не заикнулся, поскольку отец очень расшумелся.

— Кто есть наипервейший мастер? — веселился отец.— Заводи! Едет! От так! Кто покойному Ивану Семеновичу гамбургскую молотилку до ума довел? Мы. Кто Липутину, барину, коляску выправил? Скажи, Полкан? Счастью не верь, беды не пугайся, сынок! Выручим. А барину своему ничего не

говори, нипочем не узнает! Кузнецу, что козлу, везде огород.

Хоть и время оставалось, но везти Настю в Комарево Петр Платонович уже не решился, там дорога была неровная. Там могли быть сюрпризы. Тот же дядя Иван, вернувшись с телегой, потоптавшись на месте, согласился за рубль доставить Настю в лучшем виде. А Петр Платонович, отобедав с родными, тронулся в Москву.

Он выехал на большак, когда уже начинались тихие сумерки, по-калужски — сутески. На закате разливалось печальное осеннее золото, было тихо, но Петр Платонович боялся дождя, знал, что если польет, то застрянет он надолго. Ему же не терпелось скорей добраться до Самотеки, вымыть автомобиль, протереть полировочной пастой «Афродита» и загнать в гараж. Он знал, что доктор сейчас места себе не находит, простить не может своего куража перед гостем. Не было б гостя, Настя поездом бы уехала!

Странный был человек доктор Каблуков. С одной стороны, Петр Платонович его уважал — доктор, а с другой,— можно сказать, относился с улыбочкой: при всем при том был он какой-то несамостоятельный. Все это осложнялось еще и тем, что доктор любил спорить и спорил, что с генералом, что с дворником Федулковым на смерть. Спорил, как под Плевной стоял! Ему свое надо было доказать. Вынь и положь! А как на самом деле было, его не интересовало. Главное, отспорить. Будто от этого потом все будет так, как ему хочется.

Петр Платонович спешил в Москву, но гнал не шибко и уже понимал, что будет скучать по Насте, по всему тому уюту, что она навела в его комнатенке, по стираным рубашкам, по чистому исподнему. Прачкам не наотдаешься. Настькиного супа ему будет не хватать. Привык за две недели. И по ее голосу будет скучать и робким ее ласкам. Она верила, что, скопив денег, муж вернется в деревню, а Петр Платонович уже догадывался, что обратной дороги нет и написано ему на роду до гробовой доски возиться с железными механизмами. И не сейчас это началось, так что уж поздно. Был флот, был учебный отряд, и разве он мог забыть первое утро на кронштадтском рейде. Солнце, крепкий ветер. Море играло и было зеленым, как бутылочное стекло. Паровой катер с медным ободом на высокой черной трубе зарывался носом в белую пену и лез, упрямо лез вперед, раскачиваясь на волне и стуча машиной.

Он стоял, обеими руками ухватившись за качающийся леер, смотрел во все глаза на черные броненосцы, застывшие на якорях, и удивлялся новому открывающемуся ему масштабу.

Их борта были тяжелы, надежны. На их мачтах трепетали флаги. Ветер рвал брезенты на мостиках и рострах. И в тот

миг, когда катер, сбавив ход, подваливал к флагманскому «Князю Суворову», крестьянская кузяевская душа охнула и обмерла в сладостном восторге на всю жизнь.

Скатившись по гулкому трапу в горячее и душное корабельное нутро, он увидел, как в полутьме, пропахшей горячим машинным маслом, ходят вверх-вниз, матово поблескивая, поршни главной машины, и остановился пораженный. По пояс голый матрос, трюмный машинист с жестяной носатой масленкой в руке, показался ему, всегда смотревшему в корень, главней господа бога! «И я таким могу...» Не было на том матросе ни мундира, ни крестов. И пусть! Не ваше благородие он был и не ваше превосходительство. Так-то вот! Спрятанный от всех за многопудовой сталью, он работал, и от его работы зависело самое главное: ход корабля, движение во времени и в пространстве. С того все и началось. Он тоже захотел быть главным. Поверил вдруг, что такого можно достичь.

17

Как-то в редакционном коридоре остановил меня старичок Марусин.

— Извините,— сказал тихим голосом.— Добрый день, Геннадий Сергеевич. Я имею смелость отвлечь вас. Я понимаю, но мне кажется, что я могу быть полезен. Вы слышали такое имя — Нагель?

— Нет,— ответил я.— Нагель? Кто такой?

— Мне говорили, что вы собираете материалы для книги, уж и не помню, кто говорил, и в вашем этом труде так или иначе, я понимаю, будет отражен опыт еще дореволюционного автостроения.

— Я ж вам и рассказывал! Но я не про автомобили хочу писать, а про историю,— обиделся я.

— Пардон, пардон...

Тут надо сказать, что в тот день я надел новый кожаный пиджак, еще не обмятый и нестерпимо пахнущий кожевенной промышленностью. В моих движениях была скованная сдержанность, и самому мне казалось, что я смотрю на себя будто чуть со стороны, иду пиджаком вперед, и было мне от этого неловко, но я ничего не мог с собой поделать и мучился.

— Мой папа,— продолжал Марусин, пристраиваясь ко мне и глядя на меня так, будто видел меня первый раз.— Мой папа был инженером-технологом. У нас на квартирных дверях, милая деталь тех лет, была прибита медная дощечка «Инженер Марусин». С ятью, разумеется, и с твердым знаком. Тогда инженер был большой редкостью. Начало века, надежды, мечты... Инженеры — жрецы технологий, вершители судеб,

кудесники! На инженеров взирали снизу вверх, от них ждали нового слова. И вера, конечно, была, вера, что авиация, электричество, химия — все это сделает человечество счастливым, здоровым, бодрым. Никто не представлял, что возникнут новые проблемы, что техника и ее развитие — это как цепная реакция. Одна проблема порождает минимум две новые! Но это я отвлекся. Прошу простить. Так значит, о Нагеле Андрее Платоновиче вы ничего не слышали?

— Нет. Ничего не могу припомнить...

— Прелестно! Я вам завидую, молодой человек. Сколько радостей, Геннадий Сергеевич, предстоит вам испытать, когда вы будете знакомиться с его одиссеей!

Странный он, старичок Марусин, подумал я, и запомнил это имя — Нагель Андрей Платонович.

18

Жюльен Поттера, инженер, конструктор автомобилей, следил за своей внешностью, как какой-нибудь мичман с флагманского корабля. Еще в студенчестве он отпустил себе аккуратную эспаньолку, холил ее французскими одеколонами, считая, что борода придает мужчине загадочность и спортивную решительность в стиле времени. Его черная шоферская куртка, залитая газолином и касторкой, сверху всегда была расстегнута, так чтоб выглядывал наружу тугой воротничок белоснежной сорочки и небрежно повязанный бантик фасона «Риголетто». Жюльен был нервным молодым человеком, решительным в оценках. Он полагал, что Россия, по-видимому, не имеет своего автомобильного будущего. «Русский гражданин неверно ориентирован,— рассуждал он.— У вас только царь и Лев Толстой, а все остальные виды деятельности в глазах общества не заслуживают внимания».

Бондарев не пытался как-то переубеждать коллегу. У Поттера было достаточно оснований сердиться и на правление Руссо-Балта, и на самого себя за неосторожное решение приехать в чужую страну, и на саму эту бескрайнюю страну, которую он, в общем-то, не понимал, и не хотел понять.

Ему обещали — как это у русских — «золотые горы», да? Ему обещали и полную свободу в конструкторских решениях для создания наилучшего автомобиля, а как дошло до изготовления первых моделей, оказалось, что в правлении Руссо-Балта сидят скряжистые господа, мужики, крестьяне «аля рус», хитрые, тупые, и на новое дело рубля из них не выжмешь, боятся обмана, как на ярмарке.

В период становления автоотдела, естественно, многое приходилось покупать за границей — магнето, шестерни, ша-

рикоподшипники, которых Россия не изготовляла, а таможенные тарифы на все эти детали были так высоки, что даже при беглом подсчете получалось, что много выгодней покупать за границей сразу готовые автомобили. «Мужики» выжидали.

Уже складывалось мнение, что на русском бездорожье хорош «опель», очень солидно иметь «олдсмобиль», богатые люди в обеих столицах, в Питере и в Москве, катались на «олдсмобилях». Государь император из высших государственных соображений, подчеркивая нерушимость союза с Францией, ездил на французских «делоннэ-белльвилях», огромных машинах с хрустальными стеклами и золочеными отражателями фар. В царском гараже было таких лакированных гиппопотамов что-то около дюжины, и члены правления Руссо-Балта делали выводы.

После Петербургской автомобильной выставки, на которой были представлены первые «руссо-балтики», государь пожаловал Рижскому заводу величайшую честь («авансом, господа, авансом...») — впредь и во веки веков носить на радиаторах государственный российский герб, двуглавого орла. Но конструктор Поттера был честолюбив и энергичен. Он жаждал больших почестей себе и своим конструкциям. Слава итальянского князя, так радушно встреченного московскими автомобилистами, тоже имела значение. В конце концов стояла задача удивить, ошеломить, завоевать эту непонятную страну, и он, Жюльен Поттера, должен был сделать это! Он решился.

30 мая 1909 года на двухместном «руссо-балте» Поттера принял старт в гонке Рига — Петербург, покрыв расстояние в 600 верст не просто по плохой, а по очень плохой дороге за 9 часов, показав среднюю скорость без малого 70 верст в час! И что? Были короткие сообщения в петербургских газетах, победителя снимали фотографы, дамы на Невском, приличные дамы, хлопали в ладоши и посылали воздушные поцелуи. Новых заказов Руссо-Балт не получил.

— Вашим бонзам совершенно безразлично, будет иметь Россия свой автомобиль или не будет! — кричал Поттера.— Я выиграл гонку на русской машине, оставив позади и немцев и французов! Я дал России модель для ее дорог! Но Россия не хочет! Не желает поддержать меня. Я не нужен...

Требовалась выдержка и по крайней мере деликатность, чтоб его не обидеть.

— Жюльенчик,— сказал Митя Бондарев, кладя руку на его куриное плечо.— Ты Россию не отождествляй с теми, кого назвал бонзами. Они сами по себе, Россия сама по себе. Надо выбить от правительства деньги на расширение дела. Нужна еще одна победа. И, может быть, еще одна. Надо, чтоб о нас заговорили.

— На это время требуется,— поддержал Строганов.— У нас медленно запрягают, но быстро едут.

— О чем ты, Базиль! Кто запрягает, кто едет?

— О том же я, о чем и Митька! Одной победы мало! Надо что-нибудь эдакое вывернуть... ну, я даже не знаю что, но надо!

Им стоило большого труда уговорить Поттера принять участие в гонке Рига — Петербург — Рига и организовать эту гонку, пригласив знатных иностранцев.

Старт давали ранним утром. Ночью прошелестел за окнами короткий дождь, прибил пыль, зелень в полях выглядела по-весеннему свежей.

Рядом с 24-сильным «руссо-балтиком» с синим двуглавым орлом на радиаторе у стартовой черты стояли громадный 70-сильный «опель» и 50-сильный «мерседес». Механики с воспаленными глазами последний раз проверяли моторы. Моторы ревели во всю мощь, сизый дым из выхлопных труб стлался по мокрой земле, тяжело стекая к обочине.

— Звери,— сказал Строганов и поднял воротник макинтоша, прикрывая от ветра свою борцовскую шею.— Форменные зверюги, Митька!

— Ничего, ничего...

— Только чтоб Жюльенчик не растерялся...

Утренний ветер шумел в придорожных деревьях. Судьи сверяли хронометры. Поттера был бледней обычного, но держался молодцом. Далеко за поворотом шоссе высоко в небо поднимались дымы невидимой деревни. До старта оставалось меньше минуты. Решалась их судьба. Они действительно верили, что надо обратить на себя внимание в верхах, надо привлечь пристальный взгляд государя, и все изменится. Дадут деньги, дадут заказы, автоотдел из пасынка превратится в большой завод по производству русских автомобилей. Как же медленно двигалось время! Сколько ж можно было ждать, пока раскошелятся в правлении. До чего ж осторожные тупицы там заседали! Почему свое нужно брать с боя? Свое принадлежит тебе — и дело, и успех, и слава. Ан нет! Не время было вспоминать, но, получив инженерный диплом, Митя Бондарев оказался не у дел. Он приехал в Ригу имея рекомендательные письма от Фондю, знаменитой фирмы и от Андрея Платоновича Нагеля, крупнейшего авторитета в автоделе.

По всем предположениям его должны были встретить если и не с радостью, то по крайней мере доброжелательно. Как бы не так! «Инженерная композиция... проекты автомобильного завода, все это интересно весьма и очень, но нам нужны конструкторы на повседневное дело. Нам хлеб нужен,— так ему заявили.— Хлеб, мякина, а не пирожные». И его определили рядовым конструктором, даже не в автоотдел, куда он так рвался. Для начала дали задание спроектировать и построить

сноповязалку, идею которой предложил изобретатель Джунковский, однофамилец или даже родственник того Джунковского, который руководил русской тайной полицией.

Надо было проявить понимание авторского замысла, силу воображения, реализм, предусмотрительность, чувство материала, пространства, тяжести, скорости, инерции, ощущение конструкции в целом. Требовалось доказать господам членам правления, мужикам «аля рус», что он не просто инженер по диплому, а инженер божьей милостью. Попробуй-ка докажи! И он доказал! Сноповязалка оказалась настолько удачной и выгодной в производстве и такой был на нее спрос, что его имя запомнили. Он попросил о переводе в автоотдел. Его поддержал Поттера, юный гений, автомобильный Моцарт. И к тому дню в то утро, когда двухместный «руссо-балтик» ждал старта у белой черты, он, Дмитрий Дмитриевич Бондарев, был руководителем автоотдела и первым кандидатом в вице-директоры Русско-Балтийского вагонного завода, крупнейшего машиностроительного предприятия России.

— Господа, господа...

Стартер с белым флагом занял свое место.

Первым шел «опель». Он был иссиня-черный с широким отвислым задом ломовой лошади, и шофер был под стать своей машине, такой же иссиня-черный с боевыми прусскими усами, единение их было очевидным и являло собой мощь тех семидесяти сил, помноженных на непреклонную германскую волю к победе.

— Здоров, паразит!

Мелькнул белый флаг. «Опель», качнув задним бампером, чуть споткнувшись, рывком взял с места и будто в мгновение скрылся из глаз. Потом пошли нестрашные участники. Разная европейская мелкота с претензией на оригинальность. Они не могли конкурировать с «руссо-балтиком».

Наконец, подошла очередь Поттера. Он принял старт с достоинством, без ухарства и без видимого напряжения. Поднял руку в лосиной перчатке, рапортуя о своей готовности, и опустил защитные очки. Бондареву показалось, что он кивнул в их сторону. Мелькнул флаг. Пошел!

Они вернулись в Ригу. Сидели со Строгановым в пустой кондитерской. Пили кофе с тягучим розовым ликером. Вставало дымное утро. Пахло каминным дымом и бисквитами.

— Прав, Жюльенчик, как никто. У нас царь и Лев Толстой. Герой генерал, герой писатель, а на самом-то деле настоящий герой — инженер! С тех еще демидовских времен надо было трубить! И не Онегина, не Печорина героями выставлять. Амосова, да Черепановых, да Кулибина-механика. Митя, это мы сделаем Россию счастливой. Наше дело. А не словеса, какими бы красивыми они ни были, и не мундиры... Мы подопрем серое наше русское небушко заводскими кирпич-

ными трубами, сравняем горы, высушим болота, всю страну соединим дорогами...

— Водки хочешь?

— Ты меня не слушаешь, Митя! А я те дело говорю! Мы еще дождемся с тобой, когда мужик на омнибусе повезет с базара Белинского и Гоголя! Омнибусы будут рейсировать между городом и селом, между деревней и ярмаркой. Вот точно! Это мы, инженеры, сделаем!

— Базиль, а ведь ты поэт, елки-моталки.

— Следи за жестом,— сказал Базиль и показал кукиш.— Я инженер! И, между прочим, не Белинского и не Гоголя мужик повезет с базара на автомобиле. Это я просто так сказал. Он повезет справочник, как управлять машиной. Он ему нужней. Машина будет и пахать, и сеять, и собирать урожай. Человеческие руки — слишком дорогой инструмент.

— Я тебе забыл сказать,— перебил Бондарев,— от Кирюшки пришло письмо из Киева. Они с Игорем Сикорским строят вертикально взлетающий аппарат, хотят приспособить на него 15-сильный мотор «Анзани».

— Митька, ты только задумайся, в какое мы время живем!

— Я задумываюсь. Нам бы на автоотдел хорошую субсидию от казны. Вот тогда другие песни.

— Крестись на Домский собор, чтоб Жюльенчик время хорошее показал. Главное, Митька, сейчас победить, чтоб на нас с вниманием взглянули и поняли, что наш автомобилька вышел из младенческого возраста.

Им так нужна была победа! И они ее дождались. Поттера покрыл расстояние в 1 200 верст за 16 часов 7 минут, показав среднюю скорость 75 верст в час! И снова фотографии в газетах. Цветы, цветы... Шампанское, серебряный кубок дивной работы победителю. Ура! Ура! И снова ничего!

Поттера уехал из России. Он оставил Руссо-Балт. Его место занял доктор, инженер Отто Валентин, плотный немец с толстой сигарой в зубах. Пфуй... пфуй... пф...

Отто Валентин был конструктором автомобилей «рекс симплекс», которые строила фирма «Дойче аутомобиль индустри Геринг унд Рихард» в Роннебурге. Ему предложили сконструировать мощный «руссо-балтик» с 4, 5-литровым двигателем. «Это можно, пфуй, пфуй, пф...» — сказал Отто, обсыпаясь пеплом. И чтоб этот автомобиль был простым в производстве. «Это не можно, пфуй... Из ничего нельзя сделать что-то».

Работать с Отто Валентином было нелегко, но интересно. Перебравшись в Ригу, он задумал спроектировать автомобиль-чудовище с четырехцилиндровым 7,2-литровым мотором. Начали строить. Но участвовать в гонках Отто Валентин не намеревался. «Это не можно...» Спортивная слава, цветы, куб-

ки, улыбки дам его не интересовали. И вот тогда вспомнили Андрея Платоновича Нагеля.

В автоспорте он не был новичком. На автомобиле рижского производства проехал вдоль побережья Средиземного моря 15 тысяч километров по маршруту Ницца — Марсель — Барселона — Валенсия, затем — Алжир, Тунис. Из Африки пароходом — в Рим и оттуда следовал на Флоренцию — Геную, чтоб финишировать в той же Ницце, но с другой стороны. Беспокойный Андрей Платонович на своем автомобиле выиграл Сен-Себастьянскую гонку, взяв первый приз «Кубок выносливости». Но теперь от него требовалось нечто большее.

Он приехал вечерним поездом. Легкий, в широком клетчатом пальто, в свежих гамашах и с бутоньеркой в петлице, несмотря на будний день, с кожаным саком в руке, изящный, выпорхнул из вагона. «С добрым зажиганьем, господа!» Следом за Нагелем тяжело шагал Георгий Николаевич Алабин.

Бондарев повез гостей к себе на Гертрудинскую улицу. Собралось все руководство автоотдела — Макаровский, Строганов, Отто Валентин... Сидели за полночь в густом табачном дыму. Надежда Николаевна трудилась на кухне, готовила гостям кофе, жарила котлеты. Была суббота, кухарку отпустили в деревню. Дверь в детскую занавесили одеялом, чтоб не разбудить.

— Андрей Платонович, теперь на вас все надежды! — говорил Бондарев.

— Надежды юношей питают...

— Васька, помолчал бы ты! Трепло, честное слово.

— И тем не менее, господа инженеры, есть прекрасный план. Надо привлечь военных,— гремел Георгий Николаевич.— Надо, чтоб устроили они там у себя крупный автомобильный заказ для нужд армии. Пусть закажут для начала тысячу автомобилей, и лед тронется! А тебя, Дмитрий Дмитриевич, я на неделю забираю с собой в столицу, так что с женой попрощайся, деток благослови, и двинули в добрый путь! Как говорят братья масоны: «Полночь, наступила, и час настал».

Выехали в воскресенье, вечерним курьерским. В правление пришлось сообщить запиской, что в столице определились срочные дела. Но какие — ни слова, потому что и сам не знал.

Только в поезде, уже порядочно отъехав от Риги, выпив полбутылки коньяку и посокрушавшись на отсутствие здоровья, Георгий Николаевич открыл свои карты, сказав: «Надо бить по верхам».

Он надеялся на знакомство с военным министром Владимиром Александровичем Сухомлиновым и его молодой женой. «Катька, она баба ух!» В поезде же Бондарев узнал, что, еще будучи командующим Киевским военным округом, генерал от кавалерии Сухомлинов, светский человек, муж молоденькой

красавицы, принял почетный пост председателя Киевского автоклуба. Это было необременительно и все-таки спорт. Модно. По автомобильным делам Георгий Николаевич встречался с будущим министром. Тогда крыли они в хвост и в гриву столичных судьбовершителей отечества и сходились на том, что не видят те заплывшими очами, что, в частности, пора давать ход своему автомобилю. Время пропустим, не наверстаем!

Вот почему Георгий Николаевич имел намерение встретиться с киевским своим знакомым и напомнить ему о бедственном положении родного автодела. Встреча была назначена на вторник. Министр откликнулся сразу же и принял Алабина в своей петербургской квартире.

Только вошли, в ноги бросился лохматый пес, завилял хвостом. «Азор! Азор, ко мне...» — послышался приятный женский голос, отворилась дверь, и в прихожую вошла Екатерина Викторовна Сухомлинова, молодая женщина, свежая, ловкая. Она смотрела строго и весело.

— Мы рады вам, Георгий Николаевич.

Помнит, ласточка! Помнит! Лицо Алабина расплылось в улыбке.

— Цветете, красавица моя, цветете,— целуя руки, басил Алабин.— Рекомендую, мой дорогой друг Дмитрий Дмитриевич Бондарев, вице-директор Руссо-Балта. Будущий. Вчера из Риги прикатили. На вас взглянуть, себя показать.

Появился Сухомлинов. Он был по-домашнему. Мягкая венгерка, седые усы вразлет, волосы начесаны на лоб в продуманном беспорядке, скрывающем лысину, глаза бесовские, шальные.

— А, Георгий Николаевич... С добрым зажиганием!

— С добрым, господин министр!

Сухомлинов надул пунцовые губы.

— Этот мой путь от Владимира Александровича до господина министра не дает права старым друзьям официальничать! Мы не на смотру. Ать, два! Или в военном ведомстве решились служить? Вольноопределяющимся в пору. Прекрасно смотритесь. Не правда ли, Катенька?

Сухомлинов сгреб Алабина в охапку, прижал к широкой груди, расшитой бранденбурами. Расцеловались.

Кажется, к тому времени брак Сухомлинова с Екатериной Викторовной был признан юридически. Там была какая-то длинная и очень путаная история. Бондарев слышал, будто шестидесятилетний Сухомлинов увел Катеньку от молодого мужа, киевского помещика, красавца и гулены. Грянул скандал. Муж отказался давать развод. Его упекли в сумасшедший дом, до того дошло, продержали на цепи сколько-то, а затем представили в суд документ, что застала Катенька своего первого за прелюбодеянием с гувернанткой француженкой. Француженка... Гувернантка... Это сыграло свою роль. Брак

расторгли. Но та девица, к тому времени уже уехавшая домой, прислала из Парижа в министерство юстиции официальную бумагу с гербом французской республики и сургучной печатью, утверждающую, что она... невинна. Все это попало в газеты, но не имело никакого значения. Владимир Александрович любил и был любим.

Противник огневой тактики, любитель удовольствий, как говорили о новом министре, знал о плачевном положении автоотдела Руссо-Балта, а может, и не знал, но догадывался. По крайней мере жалобы Георгия Николаевича он принял с полным пониманием. Слушал, кивал седой головой, не перебивал.

— Надо создать мнение в обществе! Надо привлечь все возможные средства! И если военное министерство даст заказ...

— Заказов не будет,— мягко остановил Владимир Александрович.— Увы, сие от меня не зависит. Нет свободных средств. Все сжирает флот.

— Это какое-то чудовище,— ужаснулась Екатерина Викторовна, показывая полную осведомленность.— Они замыслили строить для Балтики еще 8 дредноутов, не считая тех четырех типа «Севастополь», которые уже заложены. Это потребует от казны больше миллиарда! А Извольский* заявляет, что флот — весьма важный фактор при решении дипломатических вопросов, и он необходим России вне всякой зависимости от забот по обороне наших берегов. Надо думать об участии в решении предстоящих мировых вопросов, в которых Россия отсутствовать не может!

— Втолкуйте им, что вся история учит нас: флот играет вспомогательную роль рядом с сухопутной армией!

— Времена меняются. Автомобиль возник. Однако...

— Однако,— Сухомлинов понизил голос,— чего-либо сделать не могу! Совершенно! Я заикнулся на докладе у государя, а он в тот день как раз был в морской форме. Ваше величество, не след обижать верную вашу армию за счет флота! Так он ответил: «Разрешите уж нам, морякам, самим принимать решения по тем вопросам, которые касаются флота». Я сухопутный генерал, я молчу... Потомки будут считать меня дуралеем. Большим дуралеем. Но что я могу поделать? Это, разумеется, между нами... Что?

— Помилуйте, Владимир Александрович.

— Да, да, я понимаю, но так уж. Знаете ли в сердцах...

Так вот они и разговаривали о строительстве флота, о мнении потомков, и тем не менее от министра удалось добиться очень важного решения. В тот же вечер. Он согласился устроить испытательный пробег для определения штабного типа автомобиля, годного к полевой службе, и провести этот про-

* А. П. Извольский — министр иностранных дел.

бег под эгидой военного ведомства с участием самых знаменитых автомобильных марок и «руссо-балтиков». «Пусть все увидят качество ваших машин, а мы, военные, в свою очередь широко оповестим общественность о результатах». Затем военный министр, смеясь сказал, что сейчас покажет нечто занимательное, и повел гостей в библиотеку, где на ломберном столике у каминной ширмы, расписанной золотыми и зелеными павлинами, стоял огромный граммофон знаменитой французской фирмы «Патефе».

— Вот это качество, господа! Смотрите, как все сделано! Смотрите, какие ручечки и какая игла, как она крепится, извольте взглянуть... А звук какой! Французский агент* уверял меня, что это рядовая модель. Попрошу внимания! Георгий Николаевич, это специально для вас, вот если Руссо-Балт даст подобное качество...

При этих словах министр достал с полки черный диск, до отказа закрутил граммофонную ручку и опустил трубу. «Шоффэр мой милый, как ты хорош...— заревел граммофон.— Твоя машина бросает в дрожь... Ты знаешь, как направить, ты знаешь, как поставить, и внезапно полный ход даешь...»

— Ха, ха, ха...

— Господи, до чего дело дошло! Кошмар какой...

— Ну, расшалились, расшалились мужчины,— строгим голосом говорила Екатерина Викторовна и трепала Азора за ухо. Ее глаза смеялись.

Поздним вечером в гостиничном номере, облачившись в мягкий халат, Георгий Николаевич курил сигару, фантазировал:

— Я не такой уж добрый... Это я вам не просто эдакий куш кидаю. Дело стронется, я автоотдел к своим рукам приберу. Только будет это не отдел, а завод! Настоящий автомобильный завод. По твоей композиции построенный. Завтра к моему банкиру поедем... У него почву позондируем.

Бондарев верил и не верил.

За окнами лил дождь, плыли огни, в промежутках между домами небо было аспидно-черным, блестели мокрые крыши. Внизу, в ресторане пел цыганский хор, дико гремели бубны. и бледные петербургские женщины пили шампанское из высоких бокалов, щурились от яркого света. Жизнь проходила. Жизнь летела по своим каким-то законам. Мимо. Кто-то жил легко, просто. Без лишних забот, по крайней мере. А он ждал своей зеленой стрелы удачи. Когда же мелькнет, наконец! Ведь надо, как надо, чтоб хоть раз повезло, а там пойдет. Не может не пойти.

Утром Георгий Николаевич был взволнован и суетлив.

— Кто такой Худяков? — спросил Бондарев.

---

* Так называли тогда военных атташе.

— Много будешь знать, сам скоро состаришься,— буркнул Алабин и, садясь в автомобиль, кряхтя приказал шоферу: «На Гороховую!». Только уже когда въехали под арку высокого дома и развернулись у подъезда в полукруглом дворике, разъяснил:

— К богатею идем. Григорий Васильевич ждет. Ты особо не шуми. Слушай больше.— Георгий Николаевич взглянул в зашторенные окна третьего этажа.— У себя... С богом! Ты, главное, не дрейфь. Ой, грехи наши...

Вошли в подъезд. На лестнице с подоконника поднялись два господина и пряча папироски в ладонь, загородили было дорогу, но узнав Георгия Николаевича, пропустили.

В квартире пахло рогожами, кислым вином. В прихожей стоял нераспечатанный ящик, обвязанный веревками. Сам банкир сидел за широким обеденным столом, окруженный гостями, в прокуренной комнате с зашторенными окнами и внушал что-то. Увидев Алабина, поднял руку:

— Ох, ха... Тезка пожаловал. Заждались уж. А этот, что за парень за тобой тащится?

— Молоденький, но разумный,— ловко подхватив предложенный тон, объяснил Алабин.— Пущай посидит, думаю.

— Пущай,— разрешил хозяин.— А ты, Алабушка, все, небось, по своим машинным делам? Ой, таракан железный.

— По ним. Таракан, как есть.

— Ну и лады. Побеседуем, почему нет.

На нем был русский костюм: красная рубаха из тяжелого шелка, белый кушак, бархатные синие шаровары, вправленные в лакированные сапоги. Черная его борода с проседью ниспадала на грудь. Волосы были взлохмачены, глаза горели денатуратным каким-то светом. А большие руки лежали при этом спокойно, и было странно.

Худяков опрокинул стопку. Генерал, сидящий рядом, протянул ему соленого огурчика. Он кляцнул крепкими зубами, зажмурился.

— Ох, хо, хо... Мерси.

— На здоровье, Григорий Васильевич.

— А ты чего не пьешь, Алабушка? И пареньку своему налей рюмаху. Пущай пропустит в пузцо. А?

— Помнишь, Григорий Васильевич разговаривал я с тобой насчет автомобильного производства, волнуюсь шибко.

— И зря. Машина — дело не русское. Это у немца в каменных городах нужна машина. А у русского в полях, в лесах привольных что? Душа! Надо в душу смотреть.

— Ты денег дать обещался. Машина прет. Надо, чтоб понимали. Время пропустим...

— И хотелось бы через улицу перейтить да боязно, ножки промочу...— отвечал хозяин.

— Защитит. С твоими-то капиталами...

— Орел летает, да кто скажет, какую овечку выберет,— со вздохом продолжал Григорий Васильевич, и из этого разговора Бондарев ровным счетом ничего не понял.

Гости пили водку, закусывали огурцами и пирогом с мясом, хозяин ломал пирог большими по-мужицки темными руками, совал в распахнутый рот, и борода его ходила ходуном.

Чуть погодя неугомонный Георгий Николаевич снова начал про автомобили.

— Обидно мне, ведь ежели взглянуть, в русской металлообрабатывающей промышленности и имен-то русских почти нету, все — Бромлеи, Гужоны, Лесснеры, Мюллеры... Давят немцы. Это ж наш вечный с ними спор. Не сдюжим — сотрут.

— Пущай, пущай иностранцы. Немцы, турки... Все едино! Время придет — от русских, от нас, ничего и не останется. Как-нибудь потом вспомнят, что были-де такие, а их уже не будет. Тю, тю... На немца равняться надо. В рот ему смотреть. Немец — сила, купец евойный — сила. Немец умеет работать. Немец молодец.

— А мы что, не умеем? И мы умеем. Обстоятельства нужны.

— Умеем...— передразнил Худяков.—Нам сидеть любовно и тихо и в самих себя смотреть перед прущей той машиной...

На этом все кончилось. Больше Георгий Николаевич никаких вопросов ему не задавал, поерзал, поерзал на стуле и вышел, мигнув Бондареву. Уже на лестнице Дмитрий Дмитриевич поинтересовался, откуда у Худякова такие капиталы. Любопытно стало.

— Стекольные заводы... Откупщик, на вине миллионы сделал. Привлечь хотел к автомобильным делам. Не выходит ни черта! Темнит. Большую силу имеет, подлец.

А легкомысленный министр слово свое сдержал. Был устроен пробег в 2 840 верст, и два «руссо-балтика» должны были конкурировать с такими марками, как «заурер», «воксхол», «форд», чтоб показать свои качества для полевой службы.

Дмитрий Дмитриевич так перенервничал с этим пробегом и столько было разговоров, что младший Бондарев, тоже Митя, гимназист-приготовишка, запомнил все технические данные основных конкурентов. Разбуди ночью, спроси: «Митя, а у «форда» какие показатели?» Тут же без запинки рапортовал: «У «форда»? У «форда», папа, мощность двигателя 60 лошадиных сил, число скоростей — 4, передача — цепная, колеса — деревянные, емкость бака — 4 пуда и 17 фунтов. Так. Высота нижней точки над землей — 28 сантиметров, пневматики — фирма «Проводник» тип «Колумб усиленный»,

кузов — торпедо, металлический, число мест — 6, освещение — 3 фонаря керосиновых и 3 ацетиленовых...»

В Новом Петергофе участников пробега встретил сам государь. Это после 2 840 верст пути! Говорили, что у монарха в то утро было прекрасное настроение. Он хорошо спал. Позавтракал с аппетитом. Вышел на крыльцо в мундире казачьего полковника, в синих лампасных шароварах, вправленных в скрипучие шевровые сапоги.

«...Поздоровавшись с командой нижних чинов и обойдя фронт автомобилей,— как было отражено в отчете военного министерства, изданного шикарным фолиантом с золотым обрезом,— его величество изволили пропустить их мимо себя, после чего последовали в собственную его величества дачу «Александрия»... Осчастливленные столь высокой милостью обожаемого монарха, участники пробега, радостные и довольные, забыв перенесенные невзгоды, продолжали путь в С.-Петербург».

«Руссо-балтики» показали себя с наилучшей стороны. Они были неприхотливы, просты в управлении, обе машины пришли к финишу без единой поломки. Следовало ожидать, что выделят средства на расширение автоотдела. Или последует заказ. Как бы не так! Никаких выводов не последовало. Разве что высочайший приказ: «...Объявляем свое царское спасибо и жалуем как строевым, так и нестроевым, имеющим шевроны, по 3 рубля, прочим — по 1 рублю на каждого».

Министр Сухомлинов благосклонно согласился лично посетить «Руссо-Балт». Но теперь с его визитом уже не связывали ничего значительного. Все надежды обратились к Андрею Платоновичу. Нужна была крупнейшая мировая гонка и обязательно победа.

Решили, что известие о триумфе «руссо-балтиков» должно прийти из-за границы. Рассуждали: неужели чувство национальной гордости, самое культивируемое и уважаемое из общественных чувств, не заставит пристально взглянуть на новое дело, так успешно развивающееся в родной стране? Пусть первыми начнут рукоплескать господа иностранцы и сообщения последуют из иностранных газет. А наши подхватят.

Итак, начали решать, где может сразиться «руссо-балтик», чтоб победа его была триумфом. Нагель попросил тогда неделю на размышления, а через неделю телеграфировал в Ригу, что готов принять участие в ралли Монте-Карло.

— Это он просто так,— решил Строганов,— это несерьезно.

— О, о...— сказал Отто Валентин и вроде как бы лишился дара речи, выронил сигару.

— Он с ума сошел!

Ралли Монте-Карло считался самым представительным

мировым автомобильным состязанием. Он проводился в январе на французской Ривьере, когда там наслаждались тишиной и покоем и видом зимнего моря усталые светские люди со всей Европы. Автомобиль считался респектабельным спортом, и президент автомобильного клуба Монако, некто господин Антони Ногес, подчеркивая главным образом именно этот факт, сумел убедить правящего монарха княжества князя Луи, что автомобильные соревнования привлекут на Ривьеру большое число богатых туристов. Понаедут богатые англичане, шикарные женщины. Меха, бриллианты, автомобили...

В ралли 1912 года на Монте-Карло стартовало 88 машин — из Парижа, Женевы, Берлина, Амстердама, Брюсселя, Гавра, Турина и один экипаж был заявлен из Санкт-Петербурга.

Это был самый отдаленный пункт. Нагелю предстояло пройти в морозы 3 200 километров, большую часть пути по заснеженным санным русским дорогам. Нет, положа руку на сердце, Дмитрий Дмитриевич не верил в успех. Задумано все было здорово. Те светские бездельники, как сороки на хвостах, разнесли бы по Европе весть о победе русской машины. Но 3 200 километров в январскую стужу, заносы на дорогах, необходимость везти с собой черт знает сколько всего, начиная от запасных шин и цепей на них, чтоб как-то взбираться на обледенелые возвышенности. Были еще ацетиленовый генератор, который каждую ночь и на любом, даже коротком привале следовало снимать с машины и, прижав к пузу, тащить куда-то в тепло, чтоб в нем не замерзла вода, затем — электрический генератор с ременным приводом, заграничная новость, последнее достижение прикладной электротехники, но не слишком надежный, запасные бензиновые баки, масло, не густеющее на морозе... Сколько всего навалилось сразу!

Андрей Платонович выбрал «руссо-балтик» модели «С24/40». На шасси поставили специальный кузов «торпедо-родстер» с брезентовым тентом. Лобового стекла не было. Нагель боялся уменьшения видимости из-за намерзания льда, да и вообще лобовые стекла, как таковые, в те времена являлись не обязательной принадлежностью автомобиля. Шофер сидел в авиаторских очках, а под известный уже «параплюй» надевали «барана», или, говоря попросту, тулуп. («Баран» в кругу других автомобильных терминов, коротких и точных, как-то лучше воспринимался по своему звучанию.) Вместо стекла Андрей Платонович заказал брезентовую шторку с целлулоидным окошком. Шторку в любое время при желании можно было поднять и закрепить между щитком приборов и дугой тента.

С самого начала все складывалось неудачно, да и как иначе: старт дали 13 числа!

День выдался вьюжный, с ночи морозило до 30, утром спало, термометр показывал минус 22 градуса. Провожающие

прятали лица в воротники. У фотографа закоченели пальцы. Нагель и его напарник Михайлов, с которым они собирались вести автомобиль поочередно, заняли свои места. Тент был опущен. На капоте, подставив ветру вислое пузо, сидел бог Билликен, костяная фигурка, на которую никто, кроме разве посвященных, не обратил внимания. «Руссо-балтик», газанув на месте, тронулся с белого, заснеженного Литейного прямо на Монте-Карло. Было ровно 8 утра.

После первой ночевки под Псковом машина попала в буран. Это была вторая неудача. Первую Нагель скрыл. Оказывается, еще в Петербурге, заводя мотор, Михайлов заводной рукояткой сломал руку. Ему наложили лубок, но Дмитрий Дмитриевич ничего не заметил. Михайлов сел в машину молодцом. Был чуть бледней обычного, ну да это от волнения, решили.

Тот январский буран под Псковом превратил весь белый свет в снежное крошево. Не было видно ни солнца, ни дороги, Снег залеплял глаза. Ветер валил с ног. Они стояли вдвоем, насквозь продрогшие у крыла своей машины, ждали чуда. На что еще можно было надеяться? Мотор работал на малых оборотах, чтоб не застыл. Вдруг из снега возле самой машины вылезла заиндевелая лошадиная морда. На них наткнулся обоз. Это мужички возвращались из города в деревню.

— Ой,— завопил первый возница.— Кто такие? Иван! Самойла!

Выяснилось, что мужики тоже не видели пути, давно побросали вожжи, доверились лошадям. Ничего другого не оставалось, тронулись за тем обозом и проехали 90 верст на первой передаче! В радиаторе кипела вода.

Дмитрий Дмитриевич если и не называл всю эту затею с Монте-Карло авантюрой, то только из уважения к Нагелю. Другие, не менее драматические события разворачивались на его глазах. Он ездил в столицу в министерство торговли и промышленности. «Видите ли,— говорил ему важный чиновник с Владимиром на сухой шее,— мы не можем поставить вопрос о предоставлении вам заказов или вспомоществовании от казны.— Доверительно наклонялся и дышал в ухо.— А что касаемо таможенных тарифов, то мой вам совет: и не заикайтесь! Это отчень и отчень ба-а-льшая политика, молодой ч-человек».

И все-таки он написал бумагу на имя председателя совета министров графа Коковцова. Ходили слухи, что тот где-то когда-то настаивал-таки на развитии отечественного автостроения и даже назвал кого-то сомневающегося ретроградом! А вдруг? Утопающий хватается за соломинку. Он переписывал ту бумагу раз десять. Никак не меньше! Хотелось, чтоб

убедительно звучало и чтоб коротко получилось, ведь министры, как известно, докладные свыше скольких-то там страниц, двух или трех, никогда не читают. Решалась судьба не автомобиля, но страны, он так считал и это заставляло действовать. «...Гораздо выгоднее ввозить в Россию готовые автомобили, чем изготовлять их у нас...— писал он.— Несмотря на все усилия поставить автомобильное производство в масштабе, отвечающем положению единственного в многомиллионном государстве автомобильного завода, сделать это до сих пор не удалось... Заграничное автомобильное дело крепнет и развивается, в то время как у нас в России приходится думать о ликвидации этого дела».

Бумага пошла по инстанциям, а в Ригу тем временем приехал Сухомлинов. Адъютанты, помощники, надраенные сапоги, аксельбанты... «Сми...и...рна! Равнение на пра...»

Министр соизволил лично осмотреть цехи автоотдела. Осмотрел. Остался весьма доволен, посулил наградить за старания золотой медалью военного министерства и отбыл, игриво взяв под козырек. «Молодцы, гренадеры!» Кто гренадеры? Почему гренадеры? Пошутил, наверное...

Сторонник технического развития, патриот родной промышленности граф Коковцов тем временем отправил военному министру официальное письмо. Разумеется, не сам он его писал, был у него чиновник для особых поручений Семен Антонович, желтая канцелярская особь с цепкими пальцами и всегда бегающими глазами неопределенного сизого цвета.

«Милостивый государь Владимир Александрович, правление акционерного общества Русско-Балтийского вагонного завода возбудило ряд ходатайств, без удовлетворения коих, как объясняет названное правление, не может упрочиться и получить должное развитие установленное названным заводом производство автомобилей. Долгом считаю покорнейше просить ваше превосходительство не отказать сообщить мне Ваше по существу настоящего вопроса заключение. Прошу Вас, милостивый государь, принять уверения в отличном моем уважении и совершенной преданности.

Коковцов».

В одно прекрасное утро это письмо легло на стол Сухомлинова.

— Любопытно,— сказал Владимир Александрович, теребя седой ус,— нам он каждую копейку считает и от нас же требует...

Дежурному адъютанту немедленно велено было вызвать генерала Эйхгольца, спокойного и рассудительного немца, а также генерала Добровольского, знавшего многие стилистические тонкости в сановной переписке. Оба генерала явились незамедлительно, вытянулись в почтительном отдалении, де-

монстрируя хорошую выправку и одновременно всепонимающую светскость.

— Вот,— сказал Владимир Александрович, брезгливо протягивая только что полученное письмо премьера.— Рассмотреть и отписать. Сделайте ему намек, что сам и виноват. Ж... думают! Можете быть свободны, господа.

А те двое, один с поломанной, опухшей рукой, второй с кровавыми от напряжения глазами лезли вперед, чтобы добыть славу своей стране и ее автомобилю. На контрольный пункт в Кенигсберге они пришли вовремя. Минута в минуту.

Получив телеграмму от Нагеля, Отто Валентин не переменился в лице. «Это хорошо...» — только и сказал. Доктор, инженер, он приехал в Россию, зная наперед, что страна эта вроде Турции, но есть еще здесь болота и — как ее «степ», о! Русские никогда не знали ни недр своих, ни вод, в учении были ленивы и всегда много пили «шнапс», что отчасти объясняется морозами, но вообще-то зависит от национального характера. Через год работы на Руссо-Балте Отто Валентин взгляды свои пересмотрел. Как-то сказал: «У вас золотые механики, прекрасные инженеры, хорошие заводы и совершенно отвратительные министры». И сам испугался своей смелости, добропорядочный немец.

Между тем из Берлина на Монте-Карло стартовал капитан фон Эсмарх. Он шел на 35-сильном «дюркоппе» размером под стать государевым любимцам «белльвиллям», на таком же стальном гиппопотамчике тонны в четыре. Победа была у него в кармане. Капитан шутить не любил. Орднунг ист орднунг *.

Ответ военного министра Сухомлинова генералы переписывали несколько раз. То одно не нравилось Владимиру Александровичу, то другое. Наконец, окончательный вариант со всеми поправками и замечаниями лег на зеленое сукно между чернильным прибором, над которым распростер крылья серебряный орел, и тяжелым пресс-папье.

«Милостивый государь Владимир Николаевич! Русско-Балтийский завод в Риге недавно был осмотрен мною лично. Поэтому я могу с полной уверенностью просить ваше превосходительство отнестись сочувственно к ходатайству правления Русско-Балтийского завода...»

— Очень тонко! Именно «сочувственно». Да, да... У нас на крепостную артиллерию денег нет. Нет достаточного запаса гимнастерок и шаровар цвета хаки. Будто он не знает. Гусь...

---

* Порядок есть порядок (нем.).

«Переходя к частностям вышеупомянутого ходатайства, я обойду вопрос о таможенных тарифах и возмещении стоимости оборудования автоотдела, так как это ближе касается министров финансов и торговли и промышленности».

— Добровольский, вы молодец! Ловко завернули. У нас полевых телефонов не хватает. У нас в артиллерийском управлении каждый гривенник... Ну да ладно...

«Останавливаясь только на тех пожеланиях, которые имеют отношение к военному ведомству, необходимо отметить следующее: в отношении грузовиков и тракторов нужно признать, что без субсидирования определенного числа их Россия обойтись не может. Соответствующий законопроект должен быть выработан, но такой законопроект может быть представлен на утверждение законодательных учреждений лишь тогда, когда уже возникнет производство этих машин. Между тем Руссо-Балтийский завод выпустил только три легких грузовика (в 1,5 тонны), грузовозов и грузовиков (в 3 тонны) завод еще не представлял.

В заключение я не могу не отметить, что заказы ведомств, как бы они велики ни были, не могут обеспечить отечественного автомобильного производства. Фабриканты русских автомобильных заводов должны себе найти сбыт в населении.

Прошу принять уверения в совершенном моем почтении и таковой же преданности».

— Я доволен,— сказал министр и, обмакнув перо, поставил подпись.

Дорога оказалась скользкой, снега почти не было, лед и цепи, надетые на шины фирмы «Проводник», скрежетали по германской брусчатке. В придорожных пивных тихие бюргеры с трубочками в зубах провожали невиданную колесницу изумленным взглядом. Прохожие испуганно вздрагивали. За тысячу с лишним верст цепи здорово поизносились и грохотали неистово. У Гейдельберга их просто пришлось выкинуть. Выкинули, а, выехав за город, попали на сплошной лед. Машина не брала подъем.

Из пастерского дома тихая служанка принесла два совка золы. Насыпали под задние колеса. Данке шен *. Но это не меняло положения. Михайлов уперся плечом в задний борт. Нагель пытался стронуться со второй передачи. Из-под колес летели острые ледяные брызги.

— Приехали,— сказал Андрей Платонович и сел на обочину.

— Давай крестьян попросим...

* Большое спасибо (нем.).

— Ну, на эту гору нас вытащат, а дальше? Теперь по всей трассе лед.

В придорожной харчевне решили отогреться. Зашли, попросили поесть и с горя — вина.

Толстый хозяин, розовый, услужливый и чистый, вынес из кухни две тарелки жареной свинины, слазил в погреб за вином, вежливо присел рядом с приезжими господами выпить глоток. Для беседы. «Третий день нет гостей. Лед, господа. Холодно. Кругом лед».

Вино было густым, душистым. В камине горел хворост, тянуло сухим дымом и хотелось спать.

— Прекрасное вино, хозяин,— сказал Андрей Платонович, не предполагая, что повлечет за собой его похвала.— Тонкий букет.

— Не желаете ли посмотреть мой погреб? Там кое-что есть, кое-что есть для шалунов... А?

Михайлов мрачно отказался, но Нагель, чтоб не обидеть хозяина, махнул рукой. Пошли!

— Еще мой батюшка, виноградный король его звали соседи, очень понимал толк в вине...— держа в вытянутой руке фонарь и светя под ноги говорил хозяин.— Мой батюшка...

Нагель слушал рассеянно, и то лишь потому, что нужно было думать о ночлеге и ацетиленовом генераторе, который следовало тащить в тепло.

— Взгляните на эту бочку. Когда я был совсем маленьким. Три года мне было...

Нагель взглянул и увидел цепи. Цепи! Самые настоящие цепи, которыми крепят бочки, когда грузят на повозку.

— Я умоляю вас,— воскликнул он, хватая хозяина за руку.— Продайте их мне! Нет, не бочки! Цепи мне нужны! Вот эти цепи!

Надо, так надо... Почему нет? Для начала хозяин заломил самую, на его взгляд, невероятную цену. Ведь торговля это еще и повод для беседы. Можно что-то вспомнить, можно о чем-то поговорить...

— Это прекрасные старые цепи. Их делал кузнец Ганс. Я б их не продал никогда. Но вам... У Ганса была жена...

— Сколько? Скорей!

— Такое железо теперь...

Приезжий господин ничего не вспоминал и не желал ни о чем говорить. Он тут же выложил растерявшемуся хозяину деньги. А через полчаса его автомобиль с цепями на всех четырех колесах бодро взбирался на ледяную гору в конце деревни.

Владимир Николаевич Коковцов был мал ростом, видимо, поэтому он воспитал в себе, во всех своих движениях и жестах, во всех душевных порывах медлительную торжественность. «Да»,— говорил он, и в голосе его слышалось еще что-

то, неясно что, но значительное. «Нет»,— и опять тот же симфонический эффект.

Получив письмо Сухомлинова и прочитав первые строчки, как раз до слова «сочувственно», Владимир Николаевич вспомнил, что с утра у него болела печень. Он позвонил в колокольчик и возникшему в дверях секретарю приказал вызвать Семена Антоновича.

— Голубчик мой, я, право, не знаю, с чего и начать... Однако полагаю, вы сами поймете. Расшалились наши военные.

Семен Антонович выразил на желтом лице полное согласие и вот ведь как здорово все понимал! На следующий же день представил ответ. Коковцов нашел его вполне удовлетворительным, сказал: «Мда...»

«Милостивый государь Владимир Александрович! — писал Семен Антонович.— Долгом считаю уведомить Вас, милостивый государь, что представление Русско-Балтийскому заводу денежной из казны помощи могло бы быть осуществлено не иначе, как в законодательном порядке. Между тем для меня представляется сомнительным, чтобы Государственная дума охотно согласилась на воспособление частных предприятий в форме прямых выдач из государственного казначейства. Я не могу, однако, не признать, что скорейшее насаждение производства в России автомобилей имеет весьма серьезное государственное значение. С этой точки зрения Русско-Балтийский завод заслуживает всяческой поддержки, которая может быть ему оказана каким-либо иным способом. Существенное в этом отношении значение могла бы иметь выдача заводу значительных правительственных заказов. Надлежит ожидать возникновения в недалеком будущем потребности в снабжении армии новыми автомобилями...

Прошу Вас, милостивый государь, принять уверения в совершенном моем почтении и искренней преданности.

Коковцов».

Милостивый государь Владимир Александрович возмутился:

— Сколько можно! — сказал он. И еще сказал: — Черт возьми, трах, бах, бах, бах! Пошел он... Потребность, видите ли, у него возникает!

Сухомлинов покрутил в воздухе пером, написал на полях энергичным почерком: «Потребность, конечно, возникает, и надо надеяться, что министерство финансов нам не откажет в кредите на это». Выругался и дописал там же: «В канцелярию».

На этом элегантная переписка двух сановников закончилась, а «руссо-балтик» прибыл в Авиньон.

Там на контрольном пункте Нагель и Михайлов узнали, что капитан фон Эсмарх сидит на хвосте. От усталости они

валились с ног и внешне никак не отреагировали на это сообщение. Спортивный комиссар предложил Нагелю глазных капель, тот отказался, попросил тертой моркови. И когда принесли с умилением «ох уж, эти автомобилисты», налепил себе на глаза морковный компресс, объяснив, что есть в России такое народное средство.

Спали четыре часа и выехали в ночь, освещая дорогу тремя ацетиленовыми фонарями.

Ветер хлопал брезентовым тентом, они неслись по пустынным улицам, белым светом зажигая стекла в окнах авиньонских домов. Город спал, только гул их мотора нарушал ночную тишину, но им слышался за спиной ритм другого двигателя — 6 цилиндров, 35 тормозных сил,— следом шел эсмарховский «дюркопп», и железный капитан ногой в жесткой краге давил на аксельратор.

19

Бесцветная, без запаха, в высшей степени ядовитая окись углерода стекает из выхлопных труб.

Их триста миллионов. Много? Мало? Не известно, сколько добавиться еще. Через год. Через два...

Гудят автомобильные моторы, и в повседневном этом реве, на который уж и внимания никто не обращает, не слышно надсадного человеческого кашля. Человек мчится по дорогам и выхаркивает кровавые свои легкие. Привалившись к обочине, он глотает сердечные пилюли, и снова гудящий поток подхватывает его, как перышко, и он несется, чтобы не потерять времени, догнать, не отстать, успеть...

Когда-то Игорю казалось, что для уменьшения в выхлопе окиси углерода достаточно придумать какое-то более эффективное приспособление для смеси бензин — воздух. Но все, что способствует уменьшению окиси углерода, влечет за собой увеличение выброса окислов азота, а это тоже не мармелад. Он упрямо поджимает губы, и в глазах его строгость. Выбора нет.

Проблема чистого выхлопа завернулась в неразрешимое кольцо, и неизвестно еще, не знаем мы, какие потребуются для решения компромиссы.

Манучер считает, что надо сажать сады. Чтоб деревья стояли по обочинам всех дорог, общесоюзного, республиканского, областного значения. Чтоб, значит, чистый воздух шел со всех сторон в открытые окна. Озон. К тому же это и эстетически очень симпатично.

Игорь пробовал доказывать Манучеру, что все не так просто, но Манучер никак не хочет понять, что деревья кислоро-

да не добавляют. За всю свою долгую жизнь любое произрастание, и дерево тоже, дает столько кислорода, сколько потом потребует на свою кремацию. Гореть ли оно будет в печке, в костре ли или гнить под грудой прошлогодних листьев. Баланс точный. Умирающая древесина пожирает весь тот кислород, который дает живая. Зеленый друг не такой уж бескорыстный добряк.

Человечество живет в долг. Человек транжирит то, что природа создавала тысячелетиями, складывая молекулу к молекуле, песчинку к песчинке, как монетку к монетке. Всегда ли мы помним об этом?..

За последние сто лет человечество в рьяном инженерном восторге сожгло больше кислорода, чем предки наши и предки наших предков — за миллион! Костры жгли, факелы палили, сжигали города и еретиков сжигали, и все это как вздох один. То ли дело триста миллионов выхлопных труб!

Как-то одна знакомая сказала Игорю: «Тебе многое дано, Игорек, но ты ничего не свершишь. В тебе нет упорства». Это было на катке. На Патриарших прудах. Игорь писал ей стихи.

Однажды в автобусе по пути на завод Игорю нестерпимо захотелось стать лауреатом Государственной премии, чтоб в газетах был помещен его портрет и чтоб она увидела его и прочитала о нем. Девочка с косичками, торчащими из-под вязаного капора, а не та усталая женщина в белом халате под пальто, которую он встретил однажды. И узнал. И она его узнала. И не поздоровались они.

Игорь забыл ту встречу. Он помнил каток на Патриарших, снег под фонарями, музыку из двух динамиков над раздевалкой. Бодрую лирику тех лет. Бодрые песни. «Ходили мы походами в далекие края...» И горькую обиду за те слова помнил. «Разве во мне нет упорства? Во мне есть упорство! Я докажу!» Ничего не кончилось! Звенят коньки, ветер обжигает щеки, гремит музыка. Наверху проносятся машины, горят фонари, искрит трамвай... И рядом, не где-то за тридевять земель, в Москве же, горит в ночи окнами своих корпусов Московский автомобильный. В газетах печатают трудовые рапорты автозаводцев, Игорь помнит колонну новых машин в день празднования 800-летия Москвы и как они с отцом ходили на просмотр нового кинофильма «Сказание о земле сибирской» во Дворец культуры ЗИСа помнит. Он хотел работать на этом заводе, как отец, но не знал, есть ли у него упорство или нет.

Автобус, гремя изношенной трансмиссией, выворачивал на Автозаводскую. Игорь стоял на задней площадке, одной рукой держался за поручень, в другой — раскрытая газета, и надо было, чтоб на первой странице в газете был его портрет. Его фотография.

Она узнает, крикнет: «Мама, смотри это Игорь!» — и будет читать о нем, забравшись с ногами на диван, та девочка, и жалеть о своих жестоких словах будет. Пусть все начнется снова! Я остановлю время! Я, я, я... Для нее. Из-за тех ее слов, из-за музыки на катке, снега под фонарями и мчащихся мимо цветных теней...

— Вы сходите на следующей? — спросили его.

— Следующая?

— Первая проходная.

— Да конечно, схожу...

Был холодный январский день. Дворник Федулков колол дрова, чертыхался.

В тот день других поездок не предвиделось. Петр Платонович спустил из радиатора воду, смешанную со спиртом. Подошел к Федулкову, предложил:

— Давай топор. Поразмахнусь хоть... Значительное понижение температуры.

— Не,— сказал дворник, вцепившись в топорище,— вам нельзя. Вы шофер, науки учили, мы понимаем...

— Ты чего «завыкал»? Я не генерал.

— Еще, может быть, и будете, Петр Платоныч. Генерал не генерал, а, говорят, царя полковник возит.

— Так то ж царя! Давай топор.

— Не дам.

На следующий день, отпирая ворота, дворник вытянулся во фрунт, взял метлу по-ефрейторски на караул и все без смеха. Вечером он долго стучал на пороге валенками, стряхивая снег, и войдя, стянул шапку, сказал:

— Петр Платонович, хочу я вас с одним человеком познакомить.

И точно, дня через три явился господин в длинном черном пальто, в шляпе, в белом бумажном кашне, сел, как дома, шляпу кинул на кровать.

— Здравствуй, Петр.

— Здравия вам, извините, не знаю имени, отчества...

— Это не важно. Вот какое будет у меня к тебе дельце, Кузяев... Рядом никого нет? И хорошо. Значит, поскольку ты всегда был верный слуга престолу и отечеству, георгиевский кавалер, то поймешь, полагаю...— гость открыл в улыбке прокуренные зубы,— есть интересы государственные. Надо потолковать.

— Времени нет.

— Найдешь. Бед будет много иначе. Вот полагаю... Сегодня какое число? Двадцатое? Значит, завтра, чего нам откладывать, подгребай в низок к Титову. Ровно к двум часам пополудни. Хозяина твоего не будет, уехал. Вот и потолкуем. Или

деньги тебе не нужны? — Сощурился доверительно.— Ведь нужны ж? Хозяйство, одно, другое, только давай.

— У меня дела.

— Отложи.

И кто такой, чтоб так мне приказывать, терзался Петр Платонович, когда господин ушел. И все знает, и про Георгиев, и про то, что доктора не будет. Чего они с Федулковым затеяли? Не иначе «морса» хотят со двора свезти, а деньги разделить.

Федулков ходил надутый, молча, и Петр Платонович никаких вопросов ему не задал. В полвторого на следующий день сунул в голенище железяку приличных размеров — бей не глядя, не промахнешься — и отправился на Трубу в низок, где, помнится, гулял он как-то с братьями.

Половой принес пару чаю. Гостей почти не было, и того господина не видно. Петр Платонович схлебывал чай из блюдца, посматривал по сторонам. Подлетел хозяин.

— Прошу со мной пойдемте.

— Сколько тут с меня-то?

— Ой, ладно! Ждут вас. Потом, потом...

Хозяин провел в маленькую комнатку за биллиардный зал. Там сидели двое. Тот самый, что приходил, и еще один, весь наглухо застегнутый.

— Садись, Петр, господин ротмистр будет с тобой беседовать.

— Здравия желаем!

— Здравствуй, садись. Понимаешь, откуда мы?

— Никак нет, ваше высокородие!

Ротмистр расстегнул пальто, покрутил шеей, туда, сюда, чтоб видно было обитый серебром воротник жандармского мундира.

— Так вот. Решили мы тут помощи твоей просить. Помоги. Враги мутят Россию. Хотят причинить ей беды. Смотри, что кругом? Все чужим трудом хотят жить. Почитания начальства нет. Им, что генерал, что... георгиевский кавалер, им никакого уважения!

— Извести хотят Россию,— поддакнул зубастый.

— Да. Это так,— продолжал ротмистр.— Мы этих псов замечаем. Карманы их германскими да японскими деньгами набиты. Мильонами! А к тебе такой вопрос, не в службу, в дружбу, прямо-таки. Вот хозяин твой, доктор. Ездит по всей Москве. Большую практику имеет. Разные люди. Мы тебе верим, поприсмотри, кто чем дышит. Надо. Какие разговоры ведут? О чем? И задание тебе: все, что, понимаешь, заметишь предосудительное, докладывай вот ему. А он уж мне. Что особо интересное, запиши.

— Мы, ваше высокородие, деревенские. Мы к письменным выражениям особо не приученные!

— Особо и не нужно. Ты ведь в деревню письма пишешь?

— Так то в деревню.

— Разницы не вижу. Нам приветов не надо, нам отпиши, к кому барин ездил, какие вели разговоры...

— К их превосходительству генералу Ипатьеву заезжали. Могу написать, о чем говорили.

— Забавно. Но это... лучше не надо.

— К полковнику Галактионову, вашего же ведомства офицер. К нему. Могу описать. А если что в другой раз аккустически не донесется, его и переспрошу. Он же понимает службу.

Ротмистр взглянул на Кузяева: не дурак ли? Чего несет? Но тут Петр Платонович понял, что надо валять Ваньку, иначе бед не оберешься. Еще с флотской службы было ему известно, что больше всего начальство опасается не дураков даже, а вот таких слишком услужливых дураков.

— Нас эти господа не интересуют.

— Ну, вот городской голова. Еще там член Государственной думы...

— Ладно,— сказал ротмистр устало.— Можешь быть свободен.— Иди. Но все, о чем мы говорили, есть тайна. Откроешь — в Сибирь пойдешь.

— Ну, так это нам ясно. А как же...

— Можешь быть свободен!

— Рад стараться, ваше высокородие!

Кузяев повернулся налево кругом, и, поскольку была инерция, так он в роль старательного служаки вошел, что до двери, сколько там, шага три было, отчеканил строевым ать, два, рады стараться! Все остались довольны.

Петра Платоновича подмывало рассказать обо всем доктору, но он сдерживался до поры. А братьев сразу же поставил в известность, чтоб при дворнике языков не распускали.

— Ну и паскуда!

— Дракон!

— От ить пакостник-то,— возмущался Михаил Егорович,— от ить хнида... через таких люди страдают... нашел, значит, кого в компанию брать... рублики лишние... Кузяевы, они это не одобряют! Не было средь нас фискалов...— И пообещал, выпив свой стакан: — Я его, братцы, поучу. Поучу...

Зная отходчивый характер брата, Петр Платонович ничего на это не сказал, а Михаил Егорович расхрабрился не на шутку и, выйдя во двор, начал придираться к дворнику, имея явное намерение поколотить. Он и посматривал на Федулкова оценяюще и так подходил, чтобы сразу было с руки, но дворник был вежлив и даже ласков. Улыбался. Тогда Михаилу Егоровичу пришел на ум совершенно безошибочный план. Он вышел за ворота и сделал вид, что собирается ломать забор.

— Прекрати,— зашипел дворник.— Э, э...

Но Михаил Егорович, имея намерение, тех слов не слушал.

— Ребяты! — крикнул Федулков.— Ребяты, уберите его...— И тут же смолк, сбитый с ног. Рука у маляра была крепкая. Он поднял дворника, отряхнул, взял за грудки, и двинул еще раз. Дворник влетел в ворота, рухнул мешком.

— О!

Михаил Егорович еще слегка его поучил и, очень собой довольный, вернулся к братьям.

— Нашел, с кем связываться! — рассердился Петр Платонович.— Старику морду набил, эка заслуга...— И утром, чуть свет, наведался в дворницкую.

Федулков лежал на лавке, накрывшись тулупом, стонал: «Я ему покажу... Попляшет, гад! В Бутырки пойдет... Сгною...»

— Лежи. И забудь. Он, если что, своим фабричным свистнет, набегут с Шаболовки и прирежут,— пригрозил Петр Платонович.— Им это просто. Лучше помалкивай.

Дворник так и сделал. Что же касается доктора, то все-таки пришлось ему открыть глаза и вот в связи с какими обстоятельствами.

23 января 1912 года автомобиль «руссо-балтик» модели С-24/40, пройдя расстояние в 3 257 километров, первым финишировал в Монте-Карло, опередив 87 своих соперников.

Андрею Платоновичу Нагелю был вручен «Первый приз маршрутов», награда за самый длинный путь, пройденный без штрафных очков. Князь Луи вручил русскому экипажу бронзовую скульптуру работы Вольтона и еще севрскую вазу удивительной красоты, которую Нагель пообещал выставить в витрине Императорского петербургского автоклуба. Триумф был полный.

— Ничего подобного! — размахивая газетой, басил доктор Василий Васильевич.— Никто, ни один человек, искушенный в автомобильных вопросах, предсказать этого не мог! Но эта победа не даст желаемых результатов! Попомните мои слова, господин Мансуров.

— Почему? — возражал его собеседник, высокий человек, приехавший к доктору на мотоциклетке.

— Эта победа не организована правительством. Ни государь, ни иже с ним не имеют к ней ровно никакого касательства. А у нас празднуются только те достижения, кои благословлены свыше.

— Нет, но...— пытался вставить слово высокий, и ему это не удавалось.

— Поймите, Кирилл Николаевич, дорогой мой,— наступал доктор,— да вы хоть сто, хоть тысячу побед таких одержите, ничего не изменится! И почему Нагель? Кто такой? Каков

чин? Бывший чиновник министерства путей сообщения? Ату его! Вот ежели б по личному распоряжению государя... Флигель-адъютант Кутайсов... Иной разговор! И деньги бы нашлись, и заказы определились. А так подозрение: не заграничные ли это происки, автомобиль, чтоб казну нашу по ветру пустить?

Пока они спорили в доме, ничего страшного не предвиделось. Петр Платонович стоял во дворе, рассматривал мотоциклетку и хмыкал. Жидкая конструкция. Но день был солнечный. Вышли на улицу, сели на лавочку, доктора понесло:

— Технические свершения сами по себе ничего не дают. Нужны социальные преобразования! Вы говорите паровоз, вы говорите автомобиль, а я говорю — долой деспотизм.

— Василий Васильевич, вы доктор, я — инженер. Будем каждый заниматься своим делом. Оставим политику политикам.

— А это непростительно! Совершенно! Честно говоря, господин Мансуров, я не ожидал услышать от вас такое. Когда вся страна, вся Россия стонет под ярмом царизма...

Тут Петр Платонович понял, что ну ее мотоциклетку, надо уводить дворника и куда подальше, а то крутится рядом. И увел.

Вечером, узнав, что с Федулковым надо быть осторожным, доктор ничуть не удивился. «Они давно за мной следят,— сказал, гордо сверкнув глазами.— Я готов! Пусть себе. А тварь эту я выкину за ворота завтра же!» Но назавтра, подойдя к сторожке, доктор передумал выгонять Федулкова. Все-таки Федулков был жертвой. Не сам по себе он стал доносчиком. Таким его сделали обстоятельства. Вся мерзость самодержавия и социальной несправедливости.

Ну а что касается Петра Платоновича, то он с дворником ухо держал востро. Теперь он не за себя дрожал, боялся за семью. Осенью подарила ему Настька первого сына.

Новорожденного приняли в отцовскую рубаху, чтоб любил отец, и положили на лохматый тулуп, чтоб жизнь была богатой.

Первого сына назвали Степаном. Был он крепенький, с синими глазками, с лысой макушкой. Платон Андреевич первый раз за много лет нарушил свой обычай, выпил кружку Ивановой браги с изюмом, охмелел и поучал счастливую Настьку, бледную и гордую: «Один сын — не сын! Два сына — полсына. Три сына — сын!» А уж когда прощались и Акулина Егоровна, улыбаясь и кланяясь, усаживала его, размякшего, в телегу, он шутейно погрозил молодым родителям: «Рожать вам да рожать и лю́дям угрожать...»

Дядя Иван, пьяный, дернул вожжи: «Ну, пошла, застылая!» — и телега тронулась.

Через год Настька родила девчонку. Потом сына Яшку.

Потом еще одного — Фильку и расцвела. В движениях появилась медлительность, угловатость вся пропала, и в Настькиных глазах со дна всплыло чего-то такое, что Петр Платонович глянул однажды и растерялся. И откуда что взялось, ничего не ясно!

20

Уже грохнул сараевский выстрел, и германский посол Фридрих фон Пурталес вручил русскому министру иностранных дел ноту с объявлением войны.

Уже объявили по волостям и уездам царский манифест...

Война, война...

В Сухоносове под бабий плач снаряжали своих солдатиков. Пехоту и драгунов.

В Комарёве звонили в Пятницкой церкви. Дни стояли жаркие. Пахло пыльной травой, и в летнем застылом воздухе далеко за поля разносилось на разные голоса: «Последний нонешний денё... о... о... о... чек».

Калужским трактом с полной выкладкой, с котелками и скатками шли к железной дороге солдаты из летних лагерей. Приказ был — грузиться!

Двум смертям не бывать... Шагали по обочинам подтянутые господа офицеры, курили папироски, сплевывали табачную горечь. Пыль на лицах, на сапогах, на фуражках. Песенники, пригибаясь, рукой поддерживая приклады, перебегали вперед строя. Выводили молодо и бодро: «Заполз, заполз к Ду... у... не... в сарафан таракан...».

А в столице... В столице шли с молитвами к Зимнему дворцу. Несли иконы, клялись сокрушить подлого неприятеля, зарвавшегося в своем желании покорить Русь.

Ждали сообщений с театра военных действий.

Готовились к походам и битвам.

Гремели пушечные салюты, звенела оркестровая медь. «Боже, царя храни!» По петербургским проспектам шли на погрузку полки и батальоны. Шла русская гвардия, чтоб бесславно погибнуть в Мазурских болотах, и августовский ветер четырнадцатого года трепал свышевековые знамена, пожалованные за Измаил, за Бородино, за Берлин, за Париж... Под колеса гвардейской пешей артиллерии кидали цветы. «Победу России и славянству!» — кричали. «Вильгельма — на Святую Елену!»

К западным границам, где уже начались военные действия, двигалась огромная сила, полная решимости сокрушить вероломного врага, вымуштрованная, обученная, воспитанная в понимании того, что смерть за родину есть величайшая честь для солдата. Двум не бывать, одной не миновать...

Сколько раз потом повторялось это! И безвестные русские командиры, штабс-капитаны и полковники, поднимая своих солдат на германские пулеметы, не царя вспоминали и не веру. Рукой на бруствер, ногу на приступочек в скат траншеи, чтоб одним движением выбросить тело наверх. «Передать по ротам (это, если полковник): я иду в первой цепи! Двум смертям не бывать, одной не миновать... Ваш командир с вами, ребята! Вперед!»

— Приготовьсь к атаки! — кричали взводные унтер-офицеры, и свистели свистки.— К атаки...

Шла мобилизация. Прощались с женами, с родителями. Роты пополнялись до составов военного времени: 100 рядов, 200 рядовых. Возвращались в свои полки фельдфебели и унтер-офицеры в шевронах, с Георгиями, с медалями, что еще вчера висели в избе под иконами, а сегодня — на грудь, честно заработанные под Мукденом, под Ляояном, в Порт-Артуре в ту японскую войну.

Старших унтер-офицеров вместо взвода ставили на отделение, просто унтер-офицеров — рядовыми. Владимир Александрович, военный министр, что ж вы делали, выдающийся вы стратег? Кто ж должен был оставаться в тылу, обучать резервы? Тех зеленых деревенских новобранцев? Как можно было бросить все разом? Золото армии. Ну, да надеялись на скоротечность действий. Доктрина такая выдвигалась. И союзники на том стояли, и противники. Перспектива многолетней войны в окопной склизлой грязи, в дерьме по пуп, в тифозных, белесых вшах не снилась и в кошмарном сне!

По планам генерального штаба Россия должна была развернуть сколько-то там сот батальонов первого эшелона против Германии, сколько-то — против Австрии. Но из-за просчетов в подготовке, а главным образом, из-за медлительности сосредоточения — транспорта-то не хватало, железнодорожная сеть была недостаточно развита, про автомобили в свое время не думали, или думали, но ведь известно как,— с самого начала планы рушились. Россия вступала в войну — много раз об этом говорилось и тогда и позже — с прекрасными ротами, отличными полками, хорошими дивизиями и никуда не годными корпусами и армиями. Ах, Отто Валентин, Отто Валентин, доктор, инженер, какой закон вы поняли тогда в Риге! Ясно вам стало, и слава богу, что не на русского мужика надо все валить, не на серость его, пьянство и лень. В самодержавной стране все совершалось отрицательным отбором. Чтоб достичь званий и чинов, добраться до верхних ступеней той лестницы, нужны были способности. Таланты даже! Но, увы, не те, которые нужны для дела. И в военном ведомстве все тот же закон выдвигал на первые роли не самых знающих, энергичных и решительных, а тех, кто ловчее льстил военному министру. Нравилось это Владимиру Александровичу. Ну, что

уж здесь поделаешь, нравилось! От дивизии же до армии поднимался лишь тот генерал, который был симпатичен лично царю. А вкусы у самодержца какие? Вся страна считала, что Сухомлинов из начальников генерального штаба в министры попал, потому что умел за столом забавлять царицу своим остроумием. Анекдотцы рассказывал. В меру разумеется. Был лих и обходителен. Ну, настоящий душка военный!

В мирное время надеялись на кавалерию. Сильный был род войск. Уланы, драгуны, гусары в красных рейтузах, казаки... Донские, кубанские, терские... А еще были кирасиры и кавалергарды, тяжелая кавалерия, их никто не отменял. Но первые же, еще припограничные бои заставили подумать об автомобилях, и всерьез.

В начале сентября доктор Каблуков получил бумагу, подписанную военным комендантом, из которой следовало, что принадлежащий ему автомобиль «ландоле морс» должен быть незамедлительно сдан для военной службы.

— Приведи все в порядок,— сказал доктор Петру Платоновичу,— вымой, вычисти, чтоб не стыдно было...

Вечером попрощались. Доктор спустился в гараж, обошел машину, хлопнул дверцей.

— И вот что,— сказал, оглядывая гараж,— все запасные части, шины — все погрузи в него. Им сейчас это важней. А на неделе, когда торг будет, присмотри на Конной площади лошаденку, ездить-то все равно надо.

В той бумаге, полученной доктором, указывался адрес сборного пункта, и ранним утром Петр Платонович покатил сдавать машину.

За стеной кирпичного дома в переулке за Смоленским рынком выстроилась вереница автомобилей. Штук сто, не меньше. Шума не было. Настроение кладбищенское. Подъезжали, выстраивались в хвост, без расспросов. Солдаты вынесли в переулок стол и малиновое кресло, поставили возле железной ограды, помнится, садик там был, падали желтые листья. Появился подполковник и два капитана.

— Нумер 129! Автомобиль «воксхол», владелец... Владелец Капитонов!

Синий «воксхол» рыкнул и выкатился из ряда. Возле него тут же оказались фельдфебель и двое солдат. Начали принимать. А шофер стоял рядом, тыкал пальцем туда, сюда, что-то объяснял. Часа через полтора настала очередь Петра Платоновича, и тот же фельдфебель, махрой прокуренный, глаза цвета хаки, похвалил:

— Хорошо содержишь...

— Стараемся, чтоб от и до!

— Иди к нам, на него и посадим...

— Я уж погожу.

— Вольному воля.

Фельдфебель сел за руль, привычно включил мотор, а скорость сразу воткнуть не смог, поерзал на месте.

— Следующий нумер... 193! Машина «форд», владелец Розенквист!

Петр Платонович получил удостоверение, что машину он сдал в полной исправности, двинул к трамвайной остановке. Шел, не оглядываясь, и уж к площади почти подошел в горку, оглянулся.

Принятые автомобили стояли, выстроенные в линию, возле каждого суетились солдаты автороты, механики в блузах, шоферы в кожаных куртках. «Морс» стоял с краю, самый нарядный, издали видно. Петр Платонович не выдержал, вернулся.

— Куда его определите?

— Я не знаю, дяденька.

Новый шофер улыбнулся виновато, будто девку увел.

— Генерального штаба главного генерала катать будем! Легче тебе с того? — гаркнул фельдфебель.— Говорю, иди к нам, на него и посадим в самый раз! Не желаешь, жди запасных призовут. Натопаешься в пехоте.

— Мы флотские.

— Тогда наплаваешься.

— Очень вами довольны.

— Иди, давай, а то как раз офицер смотрит.

На той же неделе на Конной площади за Калужской заставой Петр Платонович купил лошадку Маруську — животное доброе и безотказное, и снова стал кучером.

Пока все было хорошо: с войны приходили победные известия и призыв был — «На Берлин!» Петр Платонович и в мыслях не имел — не было того! — что придется ему снова воевать. Но к пятнадцатому году подкатили времена, о которых политический златоуст господин Милюков на заседании Государственной думы сказал, что патриотический подъем сменился «патриотической тревогой». Заговорили в народе, а за что воюем и получалось, за то, что какой-то там эрц-герц-перц, мать его, убит! Ну, выстрелили в человека в Сараеве, город такой вроде Саратова, не у нас, ну, плохо, конечно, в живого человека стрелять, но мы-то тут при чем? Пущай сами и разбираются, оно ведь кому война радость, а кому и слезки. Ну ее к лешему! Вон уж всю молодежь в деревнях, пишут, позабирали, до взрослых мужиков добираются...

Поползли слухи о сепаратном мире. Будто в Питере какой-то князь говорил, что не след забывать пятый год и уж пусть лучше немцы нам, князьям, хвост отрубят, чем свои же мужики — голову.

Петр Платонович возил доктора на дрожках и разговоров таких наслушался, о чем доктор с разными господами говорил, досыта вполне. В автомобиле все тихо: ты сам по себе, они

сзади сами по себе, а тут за одну ездку такого подкинут, что неделю потом мозги в работе, крутят кривошип.

Говорили, что в самых верхах существует мнение, какой-то чин, генерал, может, или выше бери, в ноги царю упал и доложил, так и так, союз с Францией — несчастная наша ошибка, дружба ястреба с медведем: один в леса, другой в небеса, и обоим друт на дружку плевать. То-то французы нам снарядов не дают, у самих завались, хоть дороги ими мости шоссейные, а нам выкуси, так клади Ива́нов, бабы еще нарожают! Зато, если б с Германией мы дружили, это была бы дружба каменная! И того забывать, дескать, нельзя; в Германии-то царь, а во Франции что? Бардак! И англичанка, если пристально посмотреть, она всегда цели имела унизить Россию, козни подстроить. Там господа хитрые...

— Там министры эти английские жуть проныры,— делился Петр Платонович с братьями.— У них на уме, как нашим задом ежа раздавить.

— Васятку уж забрали, в маршевой роте топает, скоро наша очередь подойдет.

— Подойдет, подойдет, думать надо.

— Я с германским рабочим разногласиев не имею! — шарахнул Михаил Егорович.— Я за отечество, Христос спаси, завсегда! Готов! А за Бромлея, да за наших буржуев накося!

— Худой мир лучше доброй войны. Замирятся к осени, так хорошо,— сказал Петр Егорович мрачно.

— А нет?

— А нет, думать надо.

— Я с германским рабочим, я сказал, разногласиев не имею!

— Слышали. Вот что, братцы,— предложил Петр Егорович,— есть в Сокольниках снарядный завод, кто там работает, там всем броню дают. Подадимся?

— Или вот патронная фабрика, я знаю... Тоже освобождают. Я воевать не хочу! — горячился Михаил Егорович и все вскакивал с табуретки.— Мне ни аннексий, ни контрибуциев, мне вот руки мои оставь, я кисточкой вверх вниз заработаю.

Поговорили еще и решили предпринимать меры, тем более грянуло по всей Москве с оркестрами, с попами и песнями: «Война до победного конца!» В газетах писали: «Кто сказал немцу, что мы навоз? Откуда он взял, что мы вроде желатина, бульона, который приготовлен в лаборатории веков, чтобы в нем развивался мощный и стойкий микроб — Германия?» Петр Платонович обратился за разъяснением к доктору, как так, с одной стороны, говорят, мир, с другой — война.

— Это, Петя, наши толстосумы лозунг выкинули,— объяснил Василий Васильевич.— Тем, кто в Питере, царю и окружению его безразлично, кто их кормить, одевать, катать будет. Кто лечить, кто учить. А нашим Морозовым, да Гучко-

вым, да Рябушинским братьям ах как не все равно! Немец — купец их раздавит. Он качество выше даст. Он цену назначит ниже. Он лучше работает. Не ленится. Будет мир, приедет немец. Немец-доктор, немец-инженер... Они этого нашествия боятся: не сдюжат. Все во лжи погрязло! Отечество тут не при чем. В себе уверенности нет.

Михаил Егорович отправился в Сокольники, узнавать, как там на спарядном заводе, кого берут, какие условия, а Петра Егоровича откомандировали в Сухоносово с заданием посмотреть, не готовятся ли там призывать их возраст. Он уехал и скоро вернулся, но не один, а с Платоном Андреевичем.

Отец привез на Самотеку свежую солонину и материных пирогов, от всех приветы передал, но ясно было, что прибыл он не просто так, находится в волнении.

Целый день он помалкивал, посиживал на бульваре на лавочке, а вечером, как собрались братья, завели разговор насчет войны, двинул кулаком по столу:

— Выродки вы! Шкуру спасаете. Грешно, сказано, чужою кровью откупаться! Греш-но! Вы что, самоеды Архангельской губернии? От воинской повинности освобожденные?

— Мы хуже,— попробовал отшутиться Михаил Егорович, стаскивая с вилки соленый огурчик и укладывая его на тарелку Платону Андреевичу.

— Оторвались от земли, пуповину отгрызли, болтаетесь в проруби, как... Повадна городская жизнь? Не сеять, не жать. А за вас мальцы кровью будут лить? Что с Расеей станет? Что? Я вас спрашиваю?

— Ой, господи...

— А я за царя воевать не буду,— сказал Петр Егорович. И то, что сказал это он, всегда такой рассудительный, обескуражило старшего Кузяева. Если б Мишка шелапутный, он бы на эти слова и не обернулся. А тут на тебе!

— Ладно! Как знаете... Мы в турецкую живота не жалели, всю кампанию в крови! Через Дунай переправу ставили...

— А мы, отец, в японскую!

— Я Георгиев с тебя сорву! Своей рукой.

— Так я их и не ношу.

— Совесть ты где носишь? Не сын ты мне! Прокляну! Немец землю хочет взять, баб ваших попортить...

— Ну, как заговорил! Баба не захочет, так никто ее не попортит.

— Ой, горе. Выродков народили!

— Вот царю и доложите. А только что нам от войны будет,— вскипел Михаил Егорович.— Земли добавят или чего? Капитал дадут? В купцы выбьемся, деньгу гресть будем? Буржуям надо, пущай воюют. С нашей стороны — хрен им в глаз по самое пенсне!

— Мы не за деньгу воевали! Ни моря без воды, ни войны без крови...

— Так то ж вы! Вы и при крепостном праве жили. А нам хватит. Мы городские, машиной обученные, это пущай деревне мозги крутят! А мы металлисты первостатейные, мы понятие имеем...

Отец хоть и не проклял, но уехал не попрощавшись, пошел до вокзала пешком. Петр Платонович как был босиком, по-домашнему, так и кинулся за ним: «Да брось ты, отец... Прям-таки не дело...» — и до угла почти, до Садовой дошлепал босой. Но не остановил. Махнул рукой, вернулся к братьям.

Теперь оставалось попросить у доктора расчет и устраиваться в Сокольники на броню. Но, зная характер Василия Васильевича и не желая его обидеть, Петр Платонович повел разговор издали, но доктор сразу же все понял, закивал:

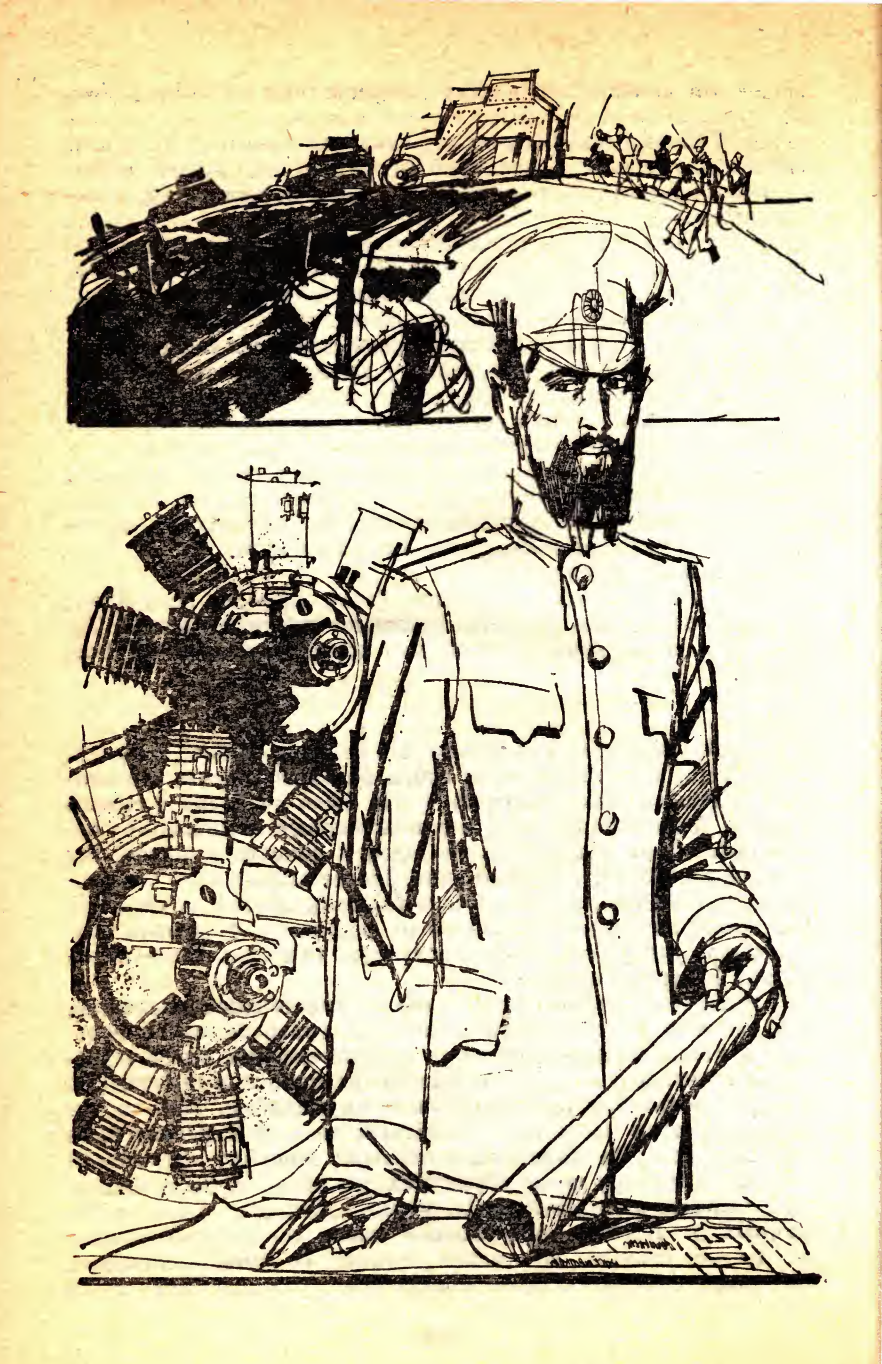
— Вполне разумно! Нечего тебе вшей в окопах кормить. Эта война позорная. Но только не надо спешить. Сокольники? Чего ты забыл в Сокольниках? Сейчас в Симоновской слободе Рябушинские автомобильный завод начинают.

— А шофера им нужны?

— Да им сейчас все нужны! Такой разворот делу дают, что куда там, пыль столбом. Война до победного конца! Ты не спеши, я все узнаю,— пообещал доктор и поехал на Якиманку.

Он был неудачником, оттого, что родился раньше времени, или оттого, что ставил перед собой большие задачи, кто знает. Он должен был проиграть, и это было очевидно с самого начала. Кого интересовали его инженерные композиции, какая сила могла подхватить его идеи и понести в жизнь. Вы витаете в облаках, говорили одни. Вы не видите всех сложностей, надо начинать с малого, советовали другие. А он знал, что огромная страна, в которой он родился и с которой связал свою судьбу — прошлое, настоящее, будущее, все,— задыхается без транспорта.

В развитии человечества, в его поступательном движении, это уж если в глобальных масштабах смотреть, самое большое значение после изобретения книгопечатания, сыграло развитие транспорта. И даже не просто транспорта, а тех средств, которые сократили повседневные коммуникации. Так он говорил. Оседлав лошадь, первобытный человек перестал быть первобытным. На каравеллах открыли Америку. Паровозом начали новую эру после скрипучих дилижансов, бесконечных путешествий на перекладных, недель, месяцев, годов, потерянных в пути в проселочной пыли, по зимним дорогам от ямской станции до ямской станции со сменой лошадей. Стальные рельсы стянули земной шар, увязали, как ремни



дорожный чемодан, определив основные направления движения, став теми железными реками, по которой гремя понесся денно и нощно ритм нового, XX века. Но железная дорога не сделала человека участником движения. Она сделала его пассажиром. А он мечтал о том времени, когда русский мужик сядет за руль автомобиля. Станет машинистом автомобиля. Шофером. И в мечтах его открывались другие масштабы. Холодело в груди, как в предчувствии счастья. Вот оно! Зажмурься и открой глаза. Летела, летела его зеленая стрела удачи. Неужели он не чувствовал времени? Мимо летела. Кому все это было нужно? Знал ли он, Дмитрий Дмитриевич Бондарев, блестящий русский инженер, что много лет спустя другой инженер, внук его шофера будет восхищаться смелостью его решений и находить в его проектах великие инженерные откровения? Да нет, конечно. Вопрос поставлен чисто риторически. Кому и что дано знать наперед? Он еще и не слышал фамилии — Кузяев и с Петром Платоновичем не был еще знаком, и внука, у того еще не было, когда синий курьерский поезд Петроград — Москва, тихо качнувшись, отчалил от перрона Николаевского вокзала.

Был март шестнадцатого года. Начало весны, слякоть, усталость, бесконечный питерский дождь. Ореолы вокруг фонарей. Мокрые носильщики. Мокрые провожающие. На соседнем пути из санитарного поезда сгружали носилки с ранеными.

Как много изменилось. Он дождался, что про автомобиль вспомнили в самых верхах. Но для этого понадобилось, чтоб русские полки дрогнули на Висле и в Галиции. Ни снарядов не подвезти, ни хлеба. И тяжелые орудия, оказалось, надо таскать на машинах, как у немцев. А не на лошадях. Искали виноватых. Кого-то стреляли, кого-то отдавали под суд. Владимир Александрович Сухомлинов, обвиненный в преступной неоперативности, во взяточничестве и шпионаже в пользу Германии, оказался со споротыми погонами в Петропавловской крепости, но автомобилей от этого не прибавилось. Правительство спешно выделило 100 миллионов золотом на покупку машин за границей. И деньги нашлись. Вот бы в свое время их да в автоотдел! Тут же Руссо-Балт получил крупные заказы. Начали строить военные автомобили с броневой защитой, полугусеничные вездеходы, грузовики для перевозки пехоты. В авиационном отделе Игорь Иванович Сикорский строил четырехмоторные самолеты «Илья Муромец». Их тоже решили изготовлять крупными партиями. Пришлось из автомобилиста переквалифицироваться в авиатора.

На него надели военную форму. Из Дмитрия Дмитриевича он превратился в господина капитана. Денщик жаловался, не везет: у ветеринара служил, теперь у инженера. То ли дело строевой барин! И выправка, и в зубы может дать.

«Илья Муромец» — отличная была машина. Четыре мотора по 150 сил каждый, восемь человек экипажа, восемь пулеметов, 37-миллиметровая пушка и полторы тонны бомб! Никто в мире таких самолетов не строил. Игорь приглаживал поредевшие волосы, вздыхал: «Мне б года три назад эти деньги отпустили б!»

Они собирали самолеты под Варшавой. И как-то прикатил к ним на дрожках военный корреспондент «Биржевых ведомостей», любопытный господин с вечным пером.

Васька Строганов накинулся на него. «Читать не могу, что в газетах пишут! Брехня сплошная. Кошмар!» Корреспондент повел взглядом по стене ангара.

— Вы строили?

— Ну?

— Чего это у вас ни одного угла прямого нет?

— Так спешка какая! И цемента нам тех марок не дают, и кирпич бракованный...

— Вот и у нас так же,— перебил корреспондент, и потом они очень смеялись, лишний раз задумавшись над тем, что развитие общества идет широким фронтом, а не отдельными всплесками в той или иной сфере.

Когда началось немецкое наступление, «Руссо-Балт» эвакуировали, Бондарев попал в Питер директором завода «Промет». Оттуда и сманили его к себе братья Рябушинские.

В конце пятнадцатого года военное министерство решило выдать заказ частным предпринимателям на строительство автомобильных заводов. Стоимость каждого определялась в 11 миллионов. Вот тогда-то на автомобильном горизонте и возник торговый дом братьев Рябушинских, фирма вполне солидная, судебными приговорами не опороченная и торговой несостоятельности не подпадавшая. Уломал-таки Степа осторожного Пал Палыча!

Купили земельный участок, начали подбирать инженеров. В Питер прикатил крепко надушенный Сергей Павлович, щурил цыганский глаз.

— А не переманить ли нам кого-нибудь от Форда? Как вы считаете? Сколько платили Отто Валентину?

— Сорок тысяч в год.

— Да, сумма немалая...— потер пальцем по кончику носа.— Господин Бондарев, я предлагаю вам сорок тысяч в год плюс сто рублей премии за каждый выпущенный автомобиль. Вам предоставляется при этом полная свобода в выборе инженерного персонала. Завод будет строиться так, как вы пожелаете. По рукам?

Он попросил три дня на размышления, и уже в конце первого не выдержал, сам позвонил.

К телефону долго не подходили. Наконец, в трубке раздался щелчок. «Да»,— сказал Сергей Павлович раскатисто.—

«Сергей Павлович, вы что делаете? Мне нужно вас видеть!» Нельзя было терять времени. Он должен был строить свой завод.

Он отказался от руссо-балтовской модели, да и в правлении ни за какие деньги не выдали бы документации. Решено было купить лицензию в Турине, выпускать полуторку «фиат». Легкая, маневренная, сконструированная специально для войны в степях Триполитании, такая машина была наиболее подходящей для русского бездорожья. Если, конечно, не принимать во внимание «руссо-балтики».

Он оставил службу в «Промете», вызвал к себе Строганова, Макаровского. Кирюшку хотел позвать. И даже имел с ним беседу. Встретились в маленьком ресторанчике с претензией на модерн. Кельнер в черном фраке в малиновой бабочке принял заказ. Развернули салфетки.

— Кирюшка, такое дело начинается! Давай к нам!

— Устал я, Дим Димыч.— сказал Мансуров.— Уж как-нибудь без меня. Мы с Игорем тоже строили проекты, собак в воздух подымали, мировые рекорды устанавливали...

— Так летает же «Муромец»!

— Это без меня. Видишь ли, Митя, человеку отпущен определенный объем сюжетности. Я свои варианты исчерпал. То же, как и вы, хотели мы внимание власть держащих обратить. Летели на огонь. Сгорел я. Пепел. Сижу в министерстве путей сообщения, езжу с инспекторскими поездками. Взяток не беру, пока. Да и не дают. Это — служба. Для души — оперетка и кордебалет. Вполне достойное увлечение для русского инженера.

— Ой, Кирюшка, трепло ты несчастное. Послушай, что говоришь. Я отдаю тебе на откуп всю механическую часть. Станки будем покупать самые современные. Весь производственный цикл построим так, что на сборку будут поступать крупные агрегаты, не по мелочам складывать...

Кирюшка поднял глаза, взгляд которых приводил в смятение столько женских сердец, потянувшись, взял Бондарева за руку.

— Я серьезно, Митя. Я устал. Для жизни человеку нужно пять условий: хлеб, жилище, одежда, работа и... сказка. Так вот, я в сказку не верю.

Принесли паюсную икру с кусочками льда. Ростбиф. Кельнер вытер запотелую бутылку и, чуть отстранившись, приступил к открыванию, налился кровью, выдергивая штопор. Это их рассмешило.

— Митька, я желаю тебе удачи на все сто! Ты ее заслужил.

— Твое здоровье.

Певичка в серебряном платье пела французскую песенку про маленького влюбленного зуава.

7 Зак. № 928

Перед Бондаревым сидел усталый человек, по виду гораздо старше своих лет, и по всему — и как он был одет, и как держал вилку — было понятно, он много видел и ничем его уже не удивишь.

— Ты меня, конечно, извини, но я не слишком верю, что у вас все получится. Мы мужицкая страна. У нас склад мужицкий. Общинный, не индустриальный. Мы не готовы. У нас не любят, когда кто-то хочет выделиться. Жить надо со всеми рядышком, а то спалят. Надо быть как все. Или никого не трогать, как я. А вы задумали удивлять. Идеи генерируете. Того еще не хватало! Подрежут вам крылья. Хрясь, хрясь и пополам. Идеи могут давать пришлые варяги... А нам нельзя. Нет пророков в своем отечестве. Давай дернем. Нет и нет пророков.

— Кирюшка, а ведь знаешь, в чем дело? Тебя женить надо! Дети пойдут,— сам не веря в то, что говорит, начал Бондарев, оживляясь.— Семья делает человека взрослым. Не чины, не дело — семья! Папа, мама не в счет.

— О чем ты, Митя? Самые преданные существа на свете — это девочки из балета. Пролетарии чувств. Целый день у станка. Годами. Аскетизм во всем. Того не ешь, того не пей. А деньги? Какие деньги, их нет. Она молода, она мечтает блистать. Театр. Огни рампы. И если ты, добрый человек, подаришь ей немного счастья, она тебе отдаст всю душу. Самые верные жены, между прочим, из балетных. Бюргеры вы толстокожие, вы считаете, раз она в театре ноги свои голые показывает, то она падшая. Верх добродетели ваши бабы, которые варят вам «щти», никому ничего не показывают, в чем я, поверь мне, глубоко сомневаюсь. И вы считаете это семейным счастьем.

Вот на этом разговоре о балетных девочках и кончилась их встреча. Правда, они еще о чем-то говорили, но несвязно. И то не запомнилось.

Эта встреча в маленьком ресторанчике оставила после себя ощущение тоски и горькой безысходности, и тогда уже вкралось какое-то чувство, что прав Кирюшка, что ничего не получится. Но разве он имел право бросить все, если был хоть один шанс из тысячи. Один. А вдруг?

Как строить завод? Какие методологические предпосылки положить в основу проекта, чтоб увязать топографию с функциями всех служб? Завод — живой организм. Двух одинаковых заводов не бывает. Как нет одинаковых судеб.

Можно считать, закладывая цифры в проверенные формулы, и получать ответы. Но нет формулы на будущее. Формула — прошлый опыт. А будущее — это интуиция, это искусство, все те огромные знания, которые спрятаны до своего часа, чтоб выплеснуться в единственно правильное решение, которое подтвердит только время.

Свою квартиру на Большом проспекте на Петроградской стороне он превратил в бюро по проектированию нового завода.

Методика работы была такая: собирались утром к девяти часам, вместе пили чай. Строганова тут же отпускали гулять. «Иди, Васька, не мешай!» Затем рассаживались по своим местам и работали.

Васька приходил часа через два румяный, взволнованный. У него наверняка была уже какая-нибудь новая идея, которую он тут же должен был сообщить.

— Господа инженеры,— говорил, разматывая кашне,— а вот как вам понравится такой вариант, если весь заводец, душу из него вон, строить одним объемом. Стремиться к этому. Все заготовительные отделы по периферии, механические наверху, а сборка — внизу. А?

— Боже ты мой,— стонал Макаровский, и его тонкие ноздри трепетали от негодования.— У него зайчик в голове! Дима, он меня сведет с ума.

— Ан нет,— возражал Строганов.— Я тут кое-что набросал. В булочной бумажку попросил, а карандашик был... Ха, ха...

— Тебе не автомобилями заниматься!

— Правильно. Я разве спорю? Я давно говорю, что происходит перетекание интеллектуальных ценностей в иные области. В радиотехнику, в электромеханику... Да, а вот предложеньице мое, Дмитрий Дмитриевич, посмотрите.

Бондарев смотрел на Васькин эскиз и находил в нем интересные решения. Начинался спор. Что-то принимали, что-то отвергали. На следующий день все повторялось с начала. С той только разницей, что какое-нибудь предложение возникало у Макаровского, а на него набрасывался Строганов. Бондарев отбирал варианты. Работали всю зиму. А в марте курьерский поезд увозил его в Москву. С ним были проекты основных цехов и общая компоновка всего завода.

С утра в окнах горел свет и настроение было вечернее. Он ехал не один. Вдруг, совершенно неожиданно, еще зимой, прикатил в Питер незаметный человек, доверенное лицо Рябушинских, некто Семен Семенович. Он привез в подарок осетра, которого, к слову сказать, все вместе и съели и потом мучились животами: здоров оказался. Этот Семен Семенович не был ни инженером, ни техником, вообще его функции были не понятны. Он тоже приходил с утра на Большой проспект, садился в сторонке, помалкивал, а представлялась возможность услужить — за сигарами сбегать на угол или в аптеку,— сразу же срывался с места. Серый и незаметный, он не вызывал к себе никакого любопытства, и скоро к нему привыкли, будто так вот он и сидел всю жизнь перед глазами, но не запомнился.

Семен Семенович тоже ехал в Москву. Он помог внести в купе чемоданы Бондарева и сразу же пропал, проследовав в свой вагон. Он ехал вторым классом, поскольку, видимо, не занимал в деле Рябушинских значительной должности.

Перед самым отправлением в купе к Бондареву вошла юная женщина в серой шляпке с зеленой вуалью. Следом шел носильщик с чемоданами, один в руках, другой на плече. За ним, тяжело дыша — толстый господин в мягкой шляпе, с огромным камнем на мизинце.

Только тронулись, господин скинул пальто, достал из саквояжа бутылку коньяка, жестянку с сардинками. Затем на столике оказался калачик, завернутый в салфетку, и рюмки.

— Дожили! — воскликнул.— Из-за военного времени нарушено расписание! Высший класс, отдельного купе не достать! А мы так спешим. Прошу разделить с нами...

— Благодарю вас.

— Стоит ли благодарить! Лизонька, сядь ближе. Тебе чуть-чуть. А уж мы...

— Я не пью...

— Фють, фють... Ай, яй, яй! Вот они, последствия сухого закона! Такой молодой человек. Мы в ваши годы глотали эту влагу бочками. Пинтами! Галлонами!

Выпив, господин принялся рассказывать анекдоты и был неутомим, как Скобелев в бою. Зато дама с ним показалась Бондареву совершенной красавицей. Неужели жена, подумал он с огорчением. Чем ее взял этот боров?

Серое дорожное платье сидело на ней, как влитое, без единой морщинки. За теплой тканью угадывалась округлость ее колен, и линия ее бедер поразила его совершенством. Вылепила же природа! Она сидела совершенно прямо, ничуть не сутулясь, и волосы, убранные на затылке в тугой пучок, подчеркивали нежность и бесконечную какую-то беззащитность ее шеи.

Проходит жизнь, скоро тридцать пять, думал он, боясь лишний раз взглянуть на нее. Если б эта прекрасная женщина знала, что вся его жизнь прошла на колесах. Почему ему так нестерпимо хочется рассказать ей про свою жизнь. И, конечно, про то, что на вокзале в Новочеркасске в зале ожидания на фисташковой стене висела картина, исполненная масляными красками. Там был изображен вечерний вокзал, часы на кронштейне у выхода в город, перрон, переходный мост над путями. Там был локомотив с зажженными белыми фонарями, вдали — толпа встречающих, а впереди уверенной походкой двигался господин в коротком пальто, обнимая за плечи молодую женщину с ярким ртом, открытым в счастливой улыбке, они только что встретились, так надо было понимать. И в годы своих студенческих странствий он очень завидовал

тому господину. Его уверенности. Его счастью. У него не было таких встреч. На вокзале, в толпе, с нетерпением, с цветами. И вот, женатый человек, отец двух детей, он снова охвачен тем же чувством безумной тоски по какой-то неведомой, несбыточной любви, и боится показаться смешным или дерзким, и так это прекрасно смотреть на женщину, сидящую напротив, смотреть и не надо ничего больше.

Полночи он не спал. Лежал с закрытыми глазами, молился горячо и искренне, как только в детстве. Молился, чтоб она была счастлива, чтоб бог сделал чудо. Ведь никогда еще ничего такого не было у него!

Утром все началось с начала. Толстяк рассказывал анекдоты и разные смешные, на его взгляд, истории, с ним случавшиеся. Допивая коньяк, полюбопытствовал:

— А вы, собственно, да, да, да, чем изволите заниматься? Я физиономист, мне кажется, вы инженер?

— Совершенно верно.

— Вот видите! Что я тебе говорил, Лизонька. Я еду в первопрестольную по коммерческим делам. Ну, а Лиза, она балетные классы закончила...

Час от часу не легче! Балерина, значит. Что ему Кирюшка рассказывал тогда?

Поезд подходил к Москве. Уже мелькали за окном дачные подмосковные станции. Дверь отворилась, и на пороге возник Семен Семенович.

Увидев его, толстый сосед сделал глотательное движение, взглянул ошалело. Семен Семенович не удостоил его вниманием, подхватил бондаревские чемоданы, потащил в тамбур.

— Извините,— тихим голосом сказал сосед,— откуда он? Вы знаете Семена Семеновича? Пардон, вы...

— Нет, я не Рябушинский.

— Я понимаю, вы, простите, мы не представились. Вы?

— Бондарев. Дмитрий Дмитриевич.

— Так, так... Бондарев? Не имею чести, но поскольку, могу надеяться, мы уже знакомы. В некотором смысле. Право, я как-то фраппирован. Еду в Москву... Племянница. Не предполагал... Лизонька, это господин Бондарев.

Она протянула руку.

— Лиза.

Поезд подкатывал к перрону, в окне появились лица встречающих. Третий класс. Картузы, платки. Второй. Шляпки, муфты. Носильщики в холщевых передниках. Медные бляхи. А вон, прислонившись к чугунному столбу, в макинтоше цвета портландцемента стоит Сергей Павлович Рябушинский с лицом, свежим от ветра, и теребит перчатку.

«Очень был рад с вами познакомиться». Надел пальто в рукава. В коридоре было тесно. Все спешили. Тамбур заставили чемоданами, тюками, картонками. Бондарева прижали к

стене. Лиза оказалась рядом. Он обернулся, почувствовал на лице ее дыхание.

— Ничего страшного,— сказал.— Надо немного потерпеть. Это сейчас кончится. Господа, скоро вы там?

— Скоро, наверно,— сказала она и посмотрела ему в глаза. И взгляд ее был спокойным и добрым. Она уже все знала. И про его скитания, и про того господина на фисташковой стене.

— Скоро,— повторила твердо и со значением, им двоим только понятным. Бесстыдно, легко и просто положила руку в серой перчатке на ворот его пальто.— Бондарев...— и задохнулась в смятении,— Бондарев, я хочу вас... видеть.

— Я...

— Я найду вас. Не надо.

Он хотел достать визитную карточку, старую, еще с «Промета». Но со всех сторон наседали на них люди с чемоданами, и дядя, вытягивая красную шею, искал их глазами.

21

У Рябушинских Кузяева посадили на «протос». Была такая автомобильная марка. Машина вполне надежная, помощней «морса» и посовременней, но Петр Платонович долго не мог к ней привыкнуть. Тупая какая-то, в поворот входит медленно, правого габарита не чувствуешь. Ко всему еще «протос» этот имел скрипучие рессоры, на всех неровностях кряхтел пружинно, не дать не взять «купеческая постеля». Так его и прозвали в гараже.

Братья устроились в Симоновскую слободу, на строительство завода. По механической части дел еще никаких не было. А пока строили навесы для оборудования, временную контору, огораживали территорию.

Для механиков и техников, которых переманили с Руссо-Балта, сняли у домовладельца Бурова восьмиэтажный дом. Инженеры жили в городе. А прочие все снимали в слободе углы.

Братья поселились у даниловского огородника, шустрого такого мужичонки, носик востренький, кукишем, глазки, как костяшки на счетах. Туда, сюда. Звали его Трепьев, а прозвище — Редькин-паша́. Редьку растил. Кроме Кузяевых, квартировали у паши еще пять душ. Сарай в дело пустил!

Петру Платоновичу с самого начала сказали, что будет он возить директора Бондарева. Но Бондарев сидел в Петрограде, и первое время приходилось возить, кого придется. То Степана Павловича, то хмурого генерала Кривошеина, потом Сергея Павловича, его шофер заболел желтухой.

Платили Рябушинские вдвое больше, чем Каблуков, но уж и цены кругом были не те. Что на рублик, что на копейку подорожало, идешь на базар — и на пятерку уже не полную корзинку тащишь, а половинку дай бог.

Наконец, как-то в марте предупредили, чтоб с вечера готовил авто: утренним поездом приезжает директор. Петр Платонович заехал за Сергеем Павловичем на Никитскую, оттуда поспешили на вокзал. Он ожидал увидеть мужчину пожилого, многоопытного. Живот должен был быть у директора, шея, голос басовитый, прокуренный. Руки пухлые в перстнях, во рту сигара. Полковником выглядывать должен был! А Бондарев оказался совсем молоденьким. Чуть выше среднего роста, тонкий, глаза острые. Носил черную бороду, но не клинышком, как доктор, а — «каклетой», усы над губой пострижены.

Господа не позавтракали, ничего, сразу приказали ехать на завод. Ну и ну, удивился Кузяев, краем глаза наблюдая за директором.

День был серый, мокрый. Но уж пахло весной.

— Вот и посмотрите Тюфелеву нашу рощу,— говорил Сергей Павлович, усаживаясь удобней.— Мы уж тут без вас соскучились. Томимся. Доехали хорошо?

— Вполне.

— Как в Питере погода?

— Все то же самое.

— Я интересовался автомобильным делом на Руссо-Балте, оказывается, ваши блиндированные автомобили хорошо себя показали в военных условиях?

— Жалоб не поступало.

— Ныне Путиловский завод взялся изготовлять броневые корпуса и ставит их на шасси «остин».

— Хорошая машина.

— Вы только подумайте! А вам сборку сериями в свое время наладить не удалось?

— К сожалению.

— Азия! Стамбул и Тьмутаракань... Но вы ведь перешли на метрическую систему и ввели строгий контроль всех деталей и готовых машин?

— Не вполне, Сергей Павлович. Стремились к этому...

— Понимаю вас, кругом трудности.

— Надо было раньше начинать. Запоздали мы, а за опоздание дорого платить приходится.

— Как раньше? Это легко сказать! Теперь мы все умные, Дмитрий Дмитриевич,— обиделся Рябушинский.— Я помню, еще лет семь назад, вы не поверите, доказывать приходилось, что автомобиль необходим России! Что он ее жизнь изменит. О чем вы! Бывало, у Алабина-старика заполночь спорили...

— Георгий Николаевич предупреждал.

— Ну, не совсем, не совсем так, друг мой. Между нами, старикан выжил из ума. Когда правительство предложило займ на строительство автозавода, он отказался! Столько было разговоров, столько слов красивых. А как дело началось, где он, Алабин? И нет его. Типичный сплав европейского прагматизма и нашего азиатского хамства. Сдвинуть Россию на дорогу прогресса посредством автомобиля мечта неосуществимая. Много другого еще потребуется.

— Кто спорит?

— Да, да, моря утюгом не нагреешь...

Ехали по Садовой к Таганке. Колыхались рядом конские морды, трамваи скрежетали на поворотах. Чем дальше от центра, тем больше было снега, а как въехали в Симоновскую слободу, то показалось, что совсем зима, кругом снег. Заледенелые сугробы тянулись вдоль домов, не белые, а будто поперченные угольным дымом. Слобода была фабричная. За деревянными домишками вставали кирпичные, красные корпуса с пыльными квадратами окон. Дымили трубы. Завод «Динамо», фабрика Цинделя, нефтесклады Нобеля... Все здесь было какое-то замусоленное, и свет не такой, как над остальным городом, и запах слюнявый. В узкой небесной просини показалось солнце, но без радости, брызнуло на слободской снег спитым трактирным чаем, и опять потемнело.

Въехали в Тюфелеву рощу. Вековые сосны стояли в снегу. Дальше пути не было. Из деревянной крашеной будки выскочил сторож, но, узнав Рябушинского, ближе подойти не решился. Стоял в стороне, таращился, скинув шапку. Ветер с Москвы-реки трепал его волосы.

— Вот,— сказал Сергей Павлович,— здесь и будет наш город заложен.

— Место вполне подходящее,— отозвался Бондарев.— В натуре даже лучше, чем на планшетах.

— Старались, Дмитрий Дмитриевич.

Вечером Петр Платонович рассказывал братьям о новом директоре, и сам удивлялся:

— Совсем молоденький! Ну, что наш Васька!

— Выучился...

— Сродственник, может,— вставил Трепьев. Он очень любил разговоры о начальстве, сидел у двери, ждал подробностей. Изнывал весь.— Племяш, может, директорский доверенный?

— Место, говорит, отличное. Строиться будет хорошо, окружная железка рядом, подъездные, значит, путя, как надо.

— Ага...

— Ну, и намеревается сразу же, как снег сойдет, земля подсохнет, давать полный разворот. Народу пригонят много.

Редькин-паша́ просветлел лицом. Защелкал глазами, не иначе соображал, сколько можно еще пустить постояльцев.

— А насчет платить говорили чего? — поинтересовался Михаил Егорович.— Жизнь ныне не в пример.

— Карасин подорожал!

— Сиди уж! Ты сейчас богатым станешь.

— Да уж...— застонал Редькин.— В чужих руках огурец...

— И вот, забыл, будут броневые машины строить. О том как раз разговор вели, но не то, чтобы завтра, а с прицелом.

— Ну, ну...

— Немцу-то надо отпор давать,— вставил Трепьев.

— Поди-ка ты, хозяин, к бабе своей, а? — посоветовали ему.

— Пускай сидит.

— Однако, скажу, Бондарев головастый, видать. Сергей Павлович перед ним ластится, все вежливо! А он зря слово не скажет. Бубнит свое и в лице строгий. Цену себе понимает!

— Небось, на жалованье брали в сорок тыщ!

— В сто!

— Иди ты в... Сорок тысяч и сто рублей за каждый готовый автомобиль! Это потом.

Все согласно закивали, но никто не представлял, какое затеяно дело и какие силы уже сдвинуты к рубежу, чтоб в один момент сразу же прийти в движение и начать.

Еще не успели сойти снега, лед на Москве-реке не сдвинулся еще, не поплыл вниз, по-зимнику, по рыжей тропке на льду ходили в слободу молочницы с Большой Тульской, звенели своими бидонами, а уж в Тюфелевой роще ударили топоры. Застонали пилы, приезжий люд с утра толпился у конторы, нанимались, показывали, кто что умеет, получали задаток, устраивались с жильем.

Об официальной закладке сообщили только летом. Там были какие-то свои соображения. Но в четверг 21 июля в газете «Русские ведомости» поместили известие о том, что в Тюфелевой роще за Симоновским монастырем, при большом стечении публики произошла закладка первого в России автомобильного завода.

Накануне, в тот солнечный, ветреный день у деревянного барака, обшитого вагонкой, где размещалась заводская контора, собрались приглашенные на торжественный молебен господа акционеры, крупные пайщики, цвет московского купечества, должностные лица.

К моменту официальной закладки строительство шло уже полным ходом. Тянули стены основных цехов. Вверху, на лесах, матерились бородатые каменщики. «Лябастру давай, сучий рот!» — кричали. Жилистые плотники в пропотелых рубахах, раскорячась, обтесывали сосновые стволы, сбивали опалубку; взблескивали на солнце затертые до серебряного

лоска лопаты, артели грабарей и землекопов корчевали пни, грузили на подводы бурый московский суглинок, и господа десятники в сапогах, в жилетках поучали: «Хватай больше, кидай дальше, пока летит — отдыхай!»

Стройка не затихала ни днем, ни ночью. Военному министерству торжественно было обещано, что первые автомобили завод АМО выпустит ровно через год, к июлю семнадцатого...

Директора правления Сергей Павлович и Степан Павлович принимали поздравления по случаю торжественной закладки. Должен был приехать московский градоначальник, свиты его императорского величества генерал-майор Шебеко, губернатор камер-юнкер Татищев, городской голова Чесноков, сосед Бондарева. Такой чести удостоился: с самим городским головой в одном парадном на Поварской жил!

По окружной железной дороге тащился маневровый паровозик «кукушка». У заводского причала на Москве-реке покачивались баржи с песком. Из Симоновского монастыря, приглушенный расстоянием, доносился колокольный звон. Звонили по поводу Ильина дня. Под ногами путался Семен Семенович. И чего это ему взбрело вперед лезть, всегда такой тихий, незаметный, а тут подменили.

Нервный был день. Работа не прекращалась. Пришла телеграмма из Дании. Там заказывали прессовое оборудование, и не все получалось, как хотели. Надо было готовить ответ, а тут привезли кирпич, и много оказалось битого. Груженые подводы стояли у ворот. Принимать отказались. Послали за поставщиком, пусть сам своими глазами посмотрит. «Не брать ни под каким видом»,— приказал. Утром звонила Лиза. «Митя, ты только не волнуйся». И обещала приехать. Он искал ее среди гостей и не находил. Его волновали результаты переговоров с английской фирмой «Де-Джерси» на поставку оборудования. Представитель фирмы стоял рядом со Степаном Павловичем, оба в равной степени толстые, оба в смокингах.

За казенный счет Рябушинские совсем не прочь были тряхнуть мошной. За океаном покупали зуборезные станки «Глиссон», которых в Старом Свете еще не знали. АМО должен был быть первым европейским автомобильным заводом по уровню своей станочной оснащенности! И корпуса строили с небывалыми новшествами, предусматривали стеклянные фонари на крышах, непересекаемые внутризаводские пути, целую систему подземных коммуникаций. Ни на «Бромлее», ни на «Гужоне» такого и в помине еще не было. Их называли американцами.

Строганов в инженерной фуражке, в строгом костюме по случаю праздника, слонялся среди знатных гостей, руки в карманы, бормотал под нос: «Один американец та-та, тара-та-та...» Пробрался к нему. «Митя, там тебя дама спрашивает. С цветами».

— Лиза, зачем цветы? С какой стати, я ж не актер... В самом деле...

— У тебя такой праздник! Ты такой счастливый, Митя.— Лбом коснулась его плеча. Ресницы. Запах ее духов. Так вот все сразу! Зачем, господи! Зачем?

— Я смотрю на тебя, ты такой счастливый...

Наверное, он и в самом деле был счастлив в тот день. Ведь что такое счастье? Это то, что было или то, что будет? А то, что есть — это что? Это жизнь. Жизнь — счастье! Так он думал, но уже через полгода стало ясно, что ничего не получится. Не может получиться!

В русские порты, в таможни поступали грузы для АМО. Шли дальним кружным путем через нейтральные страны в Архангельск, во Владивосток, в Колу. Железные дороги были забиты первоочередными военными грузами, не хватало вагонов, не хватало паровозов. Станки, за которые платили золотом, прибывали в Симоновскую слободу с опозданием, а зачастую терялись в пути. Где, что, на какой станции, поди разберись! Стройка, так бурно начавшаяся, вдруг перешла совсем в иной ритм, четко налаженный механизм проворачивал свои шестерни вхолостую.

— Полета не вижу,— говорил Степан Павлович. Он только что вернулся со стройки, галоши его были в грязи.— Я не понимаю, почему все глохнет! Мы платим вдвое больше, чем кто бы то ни было. И у нас не хватает ни рабочих рук, ни материалов.

— Еще есть время. Пока последовательность этапов не нарушается.

— Я о другом, Дмитрий Дмитриевич. Можете поверить мне, что такой апатии я еще не видел. Всем на все наплевать!

— Война.

— Оставьте. Война войной. Наши союзники работают по десять часов, приближая победу. А русский работник производит гораздо меньше, чем француз или англичанин. Мы должны работать по двенадцать часов! Но попробуйте заикнуться об этом.

— Я бы не рискнул.

— А трудности военного времени? А рост цен на кирпич, на цемент, на железо!

— Хлеб тоже подорожал.

— Распустили народ! И попробуйте заикнуться правительству, что его 11 миллионов не стоят теперь и половины. До каких времен дожили...

На бумаге и в мечтах все было гладко. А наяву выходило все не так. В России шестнадцатого года можно было подобрать специалистов мирового класса, искушенных теоретиков, хитроумных изобретателей, металлистов таких, что лучше не бывает, а дело не клеилось. Совершенно.

...Февральскую революцию встретили, как праздник. Как избавление. Летели в затоптанный снег царские портреты. Гремела «Марсельеза». Городовых били. Жандармов били. Срывали с полицейских участков двуглавых орлов. И с орденов их спиливали, и с радиаторов «руссо-балтиков», чтоб ничто не напоминало о прошлом! «Долой царя! Свобода! Да здравствует Временное правительство!»

Кончалась зима, в морозном воздухе пахло весной, солнце сияло в сосульках, и на бульварах на припеке таял снег. Студенты ходили с красными бантами на груди, офицеры — с красными бантами. «От-речем-ся-от-ста-ра-ва-ми-и-ра...» — пел Сергей Павлович, шагая на демонстрацию в засаленном кожушке. У шофера у своего, что ли, одолжил? И все погрязло в пустозвонстве, в безответственности, в говорильне. Слова, слова... И ничего, кроме слов!

Англичане задерживали выплату по займу. Военное министерство торопило с окончанием строительства. Генерал Кривошеин обиженно поджимал губы: «Дмитрий Дмитриевич, вы директор, и я вправе спросить вас со всей строгостью...» С ним первый раз и сорвался. «А идите вы, господин генерал, к чертовой матери! Вы что, не видите, что творится!» Тут еще Семен Семенович добавил вдруг: «Вам сорок тысяч платят. Немалые деньги...» Выгнал его. Вон пошел, гнида!

Летом «Русские ведомости», солидная газета, сообщили: «Машины для оборудования завода АМО уже прибыли в Россию». А 30 сентября немецкая субмарина потопила пароход «Тургай» с этими, будто уже прибывшими, машинами. Через месяц та же участь постигла другой пароход — «Барон Дризен».

Наступила осень, грязь и распутица. Не хватало ни кирпича, ни цемента. Теперь и битый и любой брали почем зря! Генерал-майора Кривошеина срочно ввели в правление. Купили с потрохами. Генерал должен был оповестить военное министерство, что работы ведутся в блестящем порядке. Прочно, красиво, чрезвычайно быстро, однако в срок завод пущен быть не может. Требуются отсрочка в полгода и новые кредиты, потому что в кузнице, прессовой, рессорной, отжигательной и литейной еще идет внутренняя отделка, кроме того, слишком много средств пошло на строительство домов для рабочих. Чур, чур, в те 11 миллионов эти траты не входили! Генерал все от него зависящее выполнил. И никому в голову не пришло проверить, почему.

Зато директор Бондарев сидел в новом шикарном кабинете за столом из черного мореного дуба. Перед ним стояли глубокие кресла шевровой кожи, скрипучие, как новые сапоги. У стены — диван, не диван даже, а целое учреждение, с полочками, с зеркалами, все по вкусу Семена Семеновича. Уж не для себя ли он, серый человек, этот кабинет готовил? Ждал,

когда наладится производство и посадят его на директорское место. А то с какой стати днем, ночью тихой сапой шастал по заводу, везде завел своих шпионов, за всеми присматривал, подслушивал. Но что можно было наладить? На АМО шли митинги. «Долой войну!» — кричали ораторы, и фабричные гудки со всей слободы покрывали их голоса сиплым, восторженным ревом. «Кончай работу! Все на митинг!»

В директорском кабинете пахло масляной краской. Каждое утро Дмитрий Дмитриевич первым делом открывал форточку. И тот, последний его директорский день начался с этого. Повесил пальто, подошел к окну.

Внизу на каменном заводском дворе митинговали. Опять! Человек в распахнутом пиджаке, взобравшись на ящик, зажигал толпу. Вскидывал руки. То одну, то другую. Грозил кулаком. «Товарищи!» И тяжелое колыханье толпы заглушало его слова. Только — товарищи...

— Семен Семенович, что происходит сегодня?

— Как всегда, господин директор.— И ухмыльнулся.— Новостей никаких. Однако, узнаю сейчас.

Что за времена навалились! Надо было сдавать первую партию в 150 автомобилей. Военные грозили судом и следствием. Положение исправил Степан Павлович. Сообразил, что можно покупать комплекты фиатовских грузовиков в Италии, цена была 11 тысяч за штуку, привозить в Москву, собирать и продавать по 14 тысяч. Выгода не слишком большая, транспортные расходы, сборка, но можно оттянуть время.

— Ловко, Степан Павлович, но...

— Никаких но. Я подписывал контракт. Юридически к нам не придраться.

— Собирать — не строить,— поддакнул Сергей Павлович.

— В добрый час.

На АМО пригнали автороту, двести с лишним солдат-механиков, распределили по заводу, на рабочих никаких надежд не возлагали.

— Надо закрыть ворота.

— Как это, Степан Павлович?

— Очень просто. Мы рассчитаем всех недовольных. В первую голову говорунов. Семен Семенович, есть такие? Говоруны...

Семен Семенович кивнул.

— Подготовьте списки. И уверяю, когда мы наберем новых, никаких «товарищей» уже не будет.

— Мы потеряем хороших работников!

— Не потеряем, Дмитрий Дмитриевич!

Толпа тяжело гудела внизу. Бондарев подошел к окну. Лицо оратора показалось знакомым. Где ж он его мог видеть? На заводе, нет? «Пущай Бондарев сюды выйдет!» — донеслось со двора.

От него все чего-то требовали! Рабочие — повышения расценок и восьмичасового рабочего дня, военные — готовых автомобилей, правление — скорейшего окончания работ и строжайшей экономии во всем, как будто он всесилен и все зависит только от его желания. «Бондарева сюды!» Закрыл форточку. Терпи, казак. «Вам же 40 тысяч платят, Дмитрий Дмитриевич...»

Сел за стол, начал готовить расчет на установку двух молотов. Бетонировать надо было фундаменты, и как назло крутилась в голове неизвестно откуда взявшаяся строчка: «Не повезут поэта лошади... Не повезут поэта лошади... Не повезут поэта лошади, век даст авто для катафалка». Вспомнил, это ж Северянин, поэт эго-футурист. Бог мой, что за придурь! Только задумался, влетел Семен Семенович.

— Господин Бондарев... Скорей, скорей!

— Что скорей? Семен Семенович, успокойтесь.

— Бунт будет! Бунт!

— Какой бунт, что вы?

— Дмитрий Дмитриевич! Неровен час. Может, уедете, а? Макаровского, Сергея Осиповича, только что на тачке вывезли. На берег и скинули там!

— За что они Сергея Осиповича?

— Скорей! Скорей! Дмитрий Дмитриевич. Он им сказал, что они, видите ли, господи, не умеют мыслить! Грозят по отношению к вам применить силу! Ну, давайте же! Выйдем отсюда...

— Это еще зачем?

— Дмитрий Дмитриевич... Господин Бондарев! Я не могу гарантировать вам неприкосновенность! Я...

— Идите, занимайтесь своими делами.

— Идут! — охнул Семен Семенович и выскользнул из кабинета.

В директорском кабинете было две двери. Одна в приемную в коридор, другая — на черную лестницу, спускавшуюся на заводской двор. Он редко пользовался черной лестницей, ему удобней было ходить на завод через проходную. Как и все.

От неожиданного шума он вздрогнул. К нему поднимались по черной лестнице. Идут! Он понял.

Еще можно было убежать вслед за Семеном Семеновичем, выскочить в приемную и закрыть тяжелую дверь на ключ. Пусть ломают! Можно было выхватить из ящика в столе револьвер, выстрелить для острастки. Это их остановило бы на время. А он бы ушел. Убежал. Спрятался куда-нибудь в коридоре, сжался в комочек. Он бы успел! Но вдруг наступила какая-то немощь. Как во сне. Нет ничего, а руки ватные и ноги ватные, и мыслей никаких, только свинцовый ужас. Идут! А ведь не верил. Его? За что?

Наверное, он плохо закрыл дверь на черную лестницу. Она открылась сразу. Поддали плечом, и она открылась, дверь, сама. Он встал. Его окружили.

— Гражданин директор, потрудитесь спуститься к рабочим! Народ говорить с вами хотит! — крикнул тот самый оратор, лицо которого показалось ему знакомым.— Масса желает с вами беседовать и получать разъясненья!

Теперь он точно вспомнил, что где-то видел его, но где? И улыбнулся, как знакомому. Улыбка получилась жалкая, не к месту. Зачем он улыбнулся?

— Я спущусь,— сказал.— Я спущусь, господа. Но только в том случае, если мне будет гарантирована неприкосновенность.

Оратор смотрел исподлобья недобрым, тяжелым взглядом, толкнул плечом.

— Ладно! Будет. Двигай давай вниз!

Его вывели на заводской двор, поставили на ящик.

— Пущай говорит!

— Крути мозги, поломой буржуйский!

— Давай его...

— Чего молчишь, кровосос? Как штрафы, дык не молчишь. Как что не молчишь!

Поднял руку. Сделалось тихо. Со стены сборочного корпуса свисал кабель. Почему не закрепили, ведь под напряжением...

— Господа рабочие! Граждане демократической России,— и откуда только слова взялись,— поймите, что ни я, ни администрация не всесильны. Давайте вместе проанализируем сложившуюся ситуацию...

— Ситуация...

— Тащи его, ребя! Улю-лю...

Ему не дали договорить. Десятки рук, будто по команде, рванулись к нему, подняли, как пушинку, понесли. Подкатили тачку, усадили с ногами, накрыли рогожей извазюка́нной, забрызганной известью. И повезли с гиканьем, с руганью до трамвайной остановки. Там скинули.

Он поднялся, растрепанный, грязный.

— Прихвость! Буржуйский подпевала.

— А ну, вались! А ну, пшел!

Какой-то дядечка, хихикая и кривляясь, сунул ему в руки пятак.

— На дорожку на. На дорожку... Хе, хе, на дороженьку...

Надо было швырнуть ему в поганую его рожу этот пятак! В морду, растянутую в щучьей улыбке. А он не швырнул. Не смог и не посмел. И табу: это ж простой народ — нельзя.

Позванивая, подкатил трамвай, шагнул на подножку. В окне увидел свой «протос», Кузяев спешил на завод. Хотел крикнуть, заколотить кулаками по стеклу. Кузяев! Но не

крикнул, не заколотил, ничего. Трамвай тронулся, мотаясь. Подошел кондуктор, издали уже смотрел с любопытством: «Ваш билет? — Он разжал ладонь, протянул пятак.— Грязным в транвай неззя, обтерлись бы, барин, раз вы пассажир».— «Оботрусь»,— сказал и заплакал, закрыв лицо руками.

Вечером у Трепьева в хозяйской половине, где жил сам огородник и его жена Дуся, собрались все постояльцы. Такое дело, слухи пошли, что завод закрывают! Паша́ заволновался.

— Выходит, зря царя скинули! Хоть какой, а все ж порядок был, не сравнить... Дилехтора, понимашь, на тачке... Дилехтора!

— Анархизма,— соглашался Петр Егорович,— анархизма, да. Настоящий рабочий такого сделать не мог. Это сезонники...

— Так и что же будет теперя-то? А? Керенского ругают.

— Иди ты со своим Херенским.

— Не дело, конечно,— продолжал Петр Егорович.— Мы резолюцию приняли, чтобы извинились перед Бондаревым, написали, что насилие, допущенное рабочими в пылу невероятного раздражения и озлобления, считать грубой ошибкой и впредь явлением совершенно недопустимым. И домой к нему направили с делегацией.

— А он?

— А он на завод возвращаться отказался!

— Видал, образованный! Видал... Насилия, кричат, насилия!

— Она и есть насилия,— подтвердил Редькин, моргая.— Как же так можно, ученого человека, науки изучал. Служащие забастовку объявили, жалованье не плачено.

— Неладно получилось,— согласился Михаил Егорович.

Помолчали. На столе тускло горела керосиновая лампа, чадила, высвечивая лица собравшихся. Тикали ходики с бумажными розами на гирях. Тик-такс, тик-такс... Время было давно за полночь. Жена огородника прикорнула в уголку, и ее плоское лицо белело в темноте.

— Ох, дела...

— Дела ох,— уточнил Михаил Егорович, сверкая глазами. Полез за пазуху, достал мятую бумагу, разгладил на колене.— Лампу-то подвинь! — приказал.— Небось, воду в карасин льешь, света нет. Ох, грехи наши, жадность наша. Читать вам буду.— И начал.— «Нам в бой иттить приказано: «За землю сгиньте честно!» За землю? Чью? Не сказано. Помещичью, известно. Нам в бой иттить приказано: «Да здравствует свобода!» Свобода? Чья? Не сказано. Но только не... народа».

— Во здорово!

— Тише ты! Дай дослушать. Читай, Миша.

— Ну, значит... Ага. Вот... «Нам в бой иттить приказано: «Союзных ради наций». А главного не сказано: чьих ради асси... асси-гнаций? Кому война — заплатушки, кому — мильон прибытку. Доколе ж нам, ребятушки, терпеть такую пытку?»

— Здорово!

— От и до!

— Лихо!

— Надо с немцами замиряться!

— Да при чем тут немец! — возмутился Паша́.— Немец-то тебе что? Дилехтора на завод вертайте!

— Сказывают, Смирнову, столяру, который большевик, на вид поставили. Зря, мол, народ относительно Бондарева воспламенял. Только и этот зря в анбицию уперся. Бумагу ему из Московского Совета прислали с печатью, все чин чином, извиняемся. Ведь в пылу невероятного раздражения...

— Я его уломаю,— сказал Петр Платонович, вынимая изо рта козью ножку.— Поговорю с ним. От нашего имени.

— За всех! Союзных, понял, ради наций...

— Объясни ты ему... Чего ж, право дело, в такое-т время?.. Ой, не думает о слезах сиротских.

— Сделаем,— пообещал Петр Платонович.

— Ты ж шофер, ты ж его права рука!

— Петя, в святцы запишем.

— Я тебя год за полцены держать буду! — пообещал Редькин.

На следующий же день, напутствуемый добрыми пожеланиями гаражных механиков, Петр Платонович поехал к своему директору, имея намерение вернуть его на завод.

Начиналось тихое солнечное утро. В Крутицких казармах, за Спасской заставой, играли развод караулов, бодрые звуки горна резали утро. Петр Платонович приосанился.

Директор жил на Поварской, в большом сером доме, напротив особняка князя Святополка-Мирского. У того князя были удивительные лошади, Петр Платонович часто на них заглядывался. Царских статей кони!

В одном парадном с директором квартировали важные особы: городской голова, генералы, внизу стоял швейцар в золотых позументах, требовал, чтоб снимали галоши. На Петра Платоновича первое время смотрел косо, принюхивался. «Ну и несет же, парень, от тебя твоей машиной. Неудобно — господа...»

Петр Платонович поднялся на четвертый этаж. Открыла горничная.

— У себя?

— У себя, Петр Платонович,— оглянулась, зашептала:— Вчерашнего дня бумагу с завода привозили, делегаты были, не вышел... Ой, Петр Платонович, что будет...

Кузяев глубоко уважал Бондарева. В автомобилях тот разбирался как бог. И хоть не любил ездить на машине, предпочитал приезжать на завод в дрожках, был у него и конный выезд, виделись они каждый день полтора года. Срок немалый.

Дмитрий Дмитриевич был человеком деликатным, слова обидного не сказал, всегда спокойный, сдержанный. «Здравствуйте, Петр Платонович». А не — Петя, не Петр, только по отчеству! Уважал рабочего человека. Здоровался за руку, садился рядом на переднее сиденье, чего другие в его чинах никогда не делали. Никогда! Непременно сзади садились и шофера, который везет, не видели. Тот же кучер, только при машине. «Пошел, Иван...»

В директорской квартире стояла мрачная тишина. Пахло душистым табаком. На вешалке в передней висело чужое пальто. У директора был гость.

В другое время Петр Платонович и повременил бы, но тут была такая уверенность, и он растерять ее боялся, что прямо двинул по коридору на звук голосов. Стукнул в приоткрытую дверь: «Разрешите...»

Дмитрий Дмитриевич сидел в качалке, прикрыв колени пледом. Лицо его было усталым, бледным. Переживает, понял Кузяев.

У окна стоял высокий господин с сигарой, костюм на нем был отглаженный, как у Сергея Павловича. От и до! Кузяев вспомнил, что видел его уже однажды у доктора на Самотеке.

— Здравствуйте, Петр Платонович.

— Здравствуйте, господин директор.

— Кирилл, это мой шофер. Спасибо, что приехали, Петр Платонович, садитесь.

— Дмитрий Дмитриевич, заводские все просят в один голос. Ревмя прямо ревут. Нельзя, понимаете, так, люди ж. Опять извиняются. В пылу раздражения вышло все. Уважают вас шибко. А то, что было, вы из головы выкиньте. Обо всех не судите, массу не смогли сдержать.

— Массу? — переспросил Бондарев.

— Массу,— кивнул господин у окна и улыбнулся невесело, показав зубы такие же белые, как его сорочка.— Любопытная формулировка, Дим Димыч. Известно определение массы, как количества вещества, как меры инерции, но в данном случае...

— И вы предлагаете, Петр Платонович?

— Вертайтесь! Плевали вы на них. Дали б кому в ухо и ничего! Вас вывели, а вы б их в оборот! Кричать надо было! Одним словом, скандалить. По матушке крыть. Ваше дело правое, и кулаком хряснули б кого, а вы... «ситуация»... Неясное слово-то, кислое.

— При чем тут слова?

— Да при том! Он — по матери, вы — по матери и на равных! Вертайтесь, смысла нет. Забудьте обиду.

— Как меня на поганой тачке, под рогожей...

— Митя!

— Нет, нет, этого нельзя забыть. Я не могу. За что мне отомстили? Что я сделал для них плохого?

— Масса не мстит!

— Ты смотри, Дим Димыч.

— Прекрати, Кирилл!

— Виноват...

— Один, два могут мстить,— продолжал Кузяев,— когда в злобе там, когда нечистый попутал, всяко бывает, а масса другое дело! Стихия, Дмитрий Дмитриевич. Шторм на море какие броненосцы швыряет, что щепки, что вас на той тачке. Извините. А только в здравом уме разве придет на ум на бурю сердиться.

— Сядьте, Петр Платонович.

— Страшная мы страна стадной своей любовью, стадной своей ненавистью.— Господин, которого Бондарев называл Кириллом, отложил сигару.

— А это как себя поставишь,— огрызнулся Петр Платонович, сын сухоносовского праведника.

— Нет, Петр Платонович, я вернуться не могу. Никак. АМО без меня. Все. Пусть будет конец. Не могу... Сил нет.

— Митя! Митя, перестань...

Нет, он не мог вернуться на завод. Кузяев этого не понимал или делал вид, что не понимает. А Степан Павлович, тот понял, и переубеждать не стал. Без слов подписал его прошение об отставке. Надо было уезжать из Москвы куда-то далеко и начинать все с начала. Он решил ехать в Харьков, в город своей юности.

Упаковывали чемоданы, посуду, подушки. С Лизой он простился в жалкой гостинице где-то на Бронной в красном кирпичном дворе. Многое он ей не сказал. Кончалась жизнь, кончалась судьба, все кончалось! И тот сытый господин с вокзальной стены с новочеркасских времен смеялся ему в лицо. Позавидовал, да? Позавидовал? Ну зачем так, господин Бондарев...

Павел Павлович, самый из всех Рябушинских философ и стратег, выступал на Всероссийском торгово-промышленном съезде. Председатель звонил в колокольчик, оглядывая алые ряды кресел.

— Господа, позвольте предложить избрать президиум съезда. Кого угодно будет наметить? Рябушинский...

— Просим!

— Просим!

— Павла Павловича!

— ...Третьяков, Смирнов, Бубликов, Дитмар...

Павел Павлович читал свою знаменитую речь, поправляя пенсне, грозил революции костлявой рукой голода.

Он закончил в высоком стиле, таком же изысканном, как его особняк на Малой Никитской, построенный архитектором Шехтелем.

— Пусть развернется па всю ширь стойкая натура купеческая! Люди торговые, надо спасать землю русскую!

Он говорил, что в стране прекрасный урожай, есть хлеб, но нет транспорта, чтоб подвести его в промышленные центры. Вот если б были автомобили. Если б в свое время дали развиваться промышленности и торговле...

— Да нам бы сейчас автомобильчиков своих тысячонку, две,— поддакнул Георгий Николаевич, находившийся в зале. Председатель потянулся к колокольчику.

Потом рассказывали, что, вернувшись на Якиманку, Георгий Николаевич сказал Аполлону, доверенному своему человеку: «Это конец. Теперь все. Доигрались!»

Будто бы через два дня его уже не было в Москве. Куда-то он исчез вместе с семьей, и никто точно не знал куда. Затем уже, много позже, стало известно, и многие умы пришли в смятение, что Георгий Николаевич Алабин успел-таки перевести немалые суммы в швейцарский банк. Аполлон же был оставлен в Москве при доме.

Рябушинские выплатили Бондареву единовременное пособие в размере 20 тысяч рублей золотом, а не в «керенках», потому что к тому времени вовсю уже ходили «керенки», не деньги — простыни прямо, сам бери, сам режь. Кусок мыла — миллион. А завтра — полтора!

Директором АМО назначили инженера Клейна, литейщика, заведовавшего литейным отделом. Служащие прекратили забастовку. Приступили к сборке автомобилей, но события разворачивались так, что ни от Рябушинских, ни от нового директора, ни от заметно приосанившегося генерала Кривошеина, успевшего еще раз успокоить военное ведомство, ничего уже не зависело. Ровным счетом — ничего.

Накатывал шквалом Октябрь семнадцатого, время небывалых перемен.

ВРЕМЯ НЕБЫВАЛЫХ ПЕРЕМЕН

Часть четвертая

22

Начиналось серое слякотное утро. Ночью выпал снег, но раскис и поплыл, закатанный троллейбусами и машинами. Только крыши вдоль Пролетарского проспекта белели кое-где, да во дворах была более-менее зима.

Еще не открывались магазины, и воскресная утренняя тишина напоминала о домашнем покое и тепле. Москвичи вставали, позевывая, лилась вода из кранов, по радио транслировали бодрую, утреннюю музыку, на кухнях над газовыми конфорками полыхали синие короны.

В пригород мы въезжали, как в другое время года, из сырой осени — в белую зиму. Деревья стояли в снегу, и шоссе, на сколько хватало глаз, слепило хрусткой, крахмальной белизной. Тем не менее наш Семен Ильич посчитал нужным заметить, что теперешние зимы, все равно не имеют ничего общего с теми прошлыми зимами в силу сменившихся природных обстоятельств, совершенно дезориентируют современного человека.

— Земная ось в результате магнитных бурь,— вздохнул он, ладонями поглаживая руль,— периодически меняет свое положение, и это влияет на смену сезонов. Возникает перепад температур.

— Все от атомных взрывов,— хмыкнул Степан Петрович.— Бабка моя настаивает, что от них.— И засмеялся, заерзал на месте.— Вот оно от всех бед объяснение!

Мы спешили в Сухоносово, в те заповедные места, где разворачиваются первые главы нашей хроники, где под снегом на тихих проселках желтели примороженные листья и бойкие петухи с утра трубили перемену погоды.

— Сеня, включил бы ты печку, что ли,— попросил Степан Петрович.

— Так включена.

— Добавь накала.

— Имеем полное римское право! Добавим. А климат похудшал. Теплеет в северном полушарии...

За окнами проносились тихие подмосковные деревушки. В белых полях гуляли ветры. Нахохлившиеся птицы сидели на деревьях и проводах.

Когда-то по этой дороге ездили Платон Андреевич и сын его Петр Платонович и Алабин Колька и Алабин Илья Савельевич. Живые люди. Останавливались на водопой, поили лошадей, устраивались на ночлег. Сто верст — путь не короткий. А теперь те же сто километров — мероприятие на полдня, как определил Степан Петрович, и, сняв кепку, молча уставился в лобовое стекло.

Собственно в родные места он ехал не вспоминать прошлое и не встречаться со стариками, знавшими стародавние времена. Он вез в портфеле полиэтиленовый пакет с черной шерстью, из которой Ванька Кулевич, дружок детства и розовой юности деревенской, ныне пенсионер по старости, обещал свалять валенки для внука Димки.

— Они, деревенские валенки, теплые. С магазинными не сравнять. Ребенку тепло и сухо,— рассуждал Семен Ильич.— Легкость в них. Галошики надел, так совсем сервис.

Степан Петрович имел намерение погулять по родным местам, но недолго, затем отобедать у Кулевича, может, даже выпить стопку коньяку (в том же портфеле вез он бутылку армянского, три звезды), а затем уехать, оставив меня для собирания материалов.

— Фамилия странная для калужских мест — Кулевич. Ванька сам с Белоруссии,— объяснял Степан Петрович.— Еще в первую мировую, когда кайзер наступал, его семья, тогда «эвакуировалась» слова не было, откочевала что ли из родных мест и осела у нас в Комареве.

— Все равно «эвакуировалась»,— уточнил Семен Ильич,— но, надо сказать, в пешем порядке.

— У них лошадь была.

— Ну, значит, гужевым транспортом. Но «эвакуировались». Нельзя сказать «откочевали»: люди от врагов уходили.

Я прислушивался вполуха. Все мои мысли были заняты предстоящей встречей. Я взял в редакции творческий отпуск на неделю и думал провести все это время в знакомстве с кузяевскими исконными местами.

Проехав Лукошкино, свернули на белый сухоносовский большак. Проглянуло солнце, леса вокруг стояли зеленые и белые, усыпанные снегом, как на цветных японских гравюрах.

— Странный климат сделался,— все еще сокрушался Семен Ильич.— Ни лета тебе, ни зимы, все, понимаете, переходный период. Межсезонье сплошное!

— Да растает оно еще все сто раз! Первый снег несерьезно,— успокаивал его Кузяев.

С разговорами о погоде так и въехали мы в деревню Комарево и остановились у крайнего дома. На крыльцо тут же вышел небритый мужчина в лыжных байковых шароварах, в гимнастерке навыпуск, прищурился.

— Ванька! — охнул Кузяев, бледнея.

— Степан Петрович,— заголосил Кулевич (а это был именно он) и, раскинув руки с кривыми, негнущимися пальцами, моргая, двинулся навстречу в валенках, латанных рыжей кожей.

Друзья обнялись. Я и Семен Ильич, испытывая чувство умиления, издали понаблюдали, как они целуются и разлаписто хлопают друг друга по спинам.

— Живой, старый черт! Иванушко, пуп земли...

— А чего станется? У нас воздух здесь. Атмосфера, а...

— Татьяна как?

— А чего ей...

— Дети как? Володя, Борик...

— А чего им...

— Давай выгрузку! Сеня, глуши мотор!

Я следом за Кузяевым вытер на крыльце ноги и вошел в дом Кулевичей.

Степан Петрович в расстегнутом пальто уже сидел за столом. У печи, согнувшись, хлопотала пожилая женщина, возбужденная и радостная.

— Проходите, гости дорогие. Милости просим...

Дом Кулевичей состоял из двух жилых комнат, или, правильнее сказать, помещений. Маленькой кухни, заполненной беленой печью, и большой комнаты, где в красном углу под божницей стоял телевизор и рядом — стиральная машина. Широкая кровать была застелена стеганым одеялом, над ней висел на плечиках, рукавом задевая за зеркало, черный шевиотовый пиджак с приколотой к лацкану медалью «За боевые заслуги».

Пахло древесным дымом и яблоками. Яблоки лежали большой горой в углу у телевизора. Звонко тикали старые ходики. За вышитыми занавесочками, за двойными рамами, переложенными ватой, посыпанной серебряными фантиками от конфет, лежала безлюдная комаревская улица, белая и спокойная, как хороший сон.

Конечно, никуда прогуливаться не пошли. Начались разговоры. Хозяин курил, стряхивая пепел в цветочный горшок. Хозяйка время от времени охала, прикрывая глаза платочком. Вспоминали. Ели куриный суп с макаронами из сельпо, пили коньяк из граненых стаканов, закусывали грибками, солеными груздями, рыжиками с луком, с чесноком и резным черносмородиновым листом.

— Сам у меня очень грибков любитель! Хорошо вышли в этот год. Попробуйте,— предлагала хозяйка.

— Тань, да выпей ты! Женское ж вино, не белое,— шумел Иван Кулевич, и подливал нам.— Пригуби.

Степан Петрович снял со стены рамку с фотографиями, удивлялся, как все выросли, как все изменилось.

— Митька-то, глянь, какой!

— Да то не Митька. То Митькин сын Валера. На границе служит.

— Ой! Время-то, время-то как идет! Летит.

— Жизнь,— рассудительно заметил хозяин.

Наконец, настала пора представить меня.

— Вот,— сказал Степан Петрович,— историка к тебе привез. Собирается писать произведение о нашей фамилии, ну и о всех событиях, которые имели место. Надо ему показать Сухоносово. Со стариками надо познакомить. Он и тебя отразит, партизанскую твою деятельность.

— Да ну!

— Вот тебе и «да ну». Погостит у тебя недельку. Примешь?

— А почему нет? — зорко оглядывая меня, удивился Кулевич.— Поможем человеку.

— Бу сделано,— подмигнул мне Семен Ильич, сосредоточенно нажимавший на грибки. Вилку он держал, как отвертку.

Поговорили о родственниках, о здоровье. Степан Петрович пошел посмотреть на Иванова кабанчика. Затем, взглянув на часы, начал сокрушаться, что пора ехать.

— Завтра у меня чуть свет прения со строительным трестом, они — одно, я — другое, подготовиться надо. Тезисы наметить, конспект отпечатать.

На эти ученые слова — «тезисы», «конспект» — Кулевичи понимающе закивали, но продолжали свое.

— Дышать тоже надо.

— Приезжали б отдохнуть.

— Так некогда, Тань. Честное слово. Вот вырвался и теперь уж не знаю, когда придется в другой раз.

Семен Ильич с явным сожалением пошел прогревать мотор. Я с Кулевичами вышел на крыльцо и долго махал рукой, пока светлая «Волга» цвета «южная ночь» не скрылась в белых полях за околицей. Мела поземка.

Пили чай, смотрели телевизор, знакомились.

Спать легли рано. Я долго не мог заснуть, все переворачивал подушку холодной стороной кверху. В окне сияла луна. Светились в темноте желтые кошачьи глаза. Было тихо и яблочно: пахло яблоками, и под жарким одеялом, уже засыпая, представлялся мне летний день, сад, высокая трава и яблоки, яблоки, яблоки...

Потянулись тихие дни. С утра мы уходили бродить по окрестностям, встречались со стариками, курили самосад, так для баловства, и слушали разные истории.

Кулевич помалкивал, он был человеком неразговорчивым, много говорить не любил, любил слушать и улыбаться.

— А за что у вас медаль «За боевые заслуги»? — полюбопытствовал я,— Вы воевали?

— Неа.

— Так за что ж медаль?

— За заслуги... Это долго объяснять.

— Ну, так объясните.

— В другой раз уж.

После завтрака как-то мы шли в деревню Тростьё. Промерзлая тропинка тянулась по взгорку вдоль полей. Снег сдуло книзу. Ноги в тяжелых сапогах скользили по льду. Мы уж несколько раз ходили этим путем.

— Вот здесь,— сказал Кулевич, останавливаясь и поворачиваясь спиной к ветру.— Вот здеся фашист всех их и положил, да.

— Кого? — не понял я. Дорога была знакомой.

— Красноармейцев тех. Восьмерых.

— Когда?

— Дома расскажу. Вернемся, расскажу. В такую ж пору. Тоже снег еще не лег. Поставили одного, второго... Я только выстрелы в избе слыхал, хорошо слышно было, а потом могилы мы им копали, да. Рубили, точней. Я ж при фашистах старостой был.

— Серьезно?

— Какие шутки. В больших чинах ходил.

Вечером, усталые, мы сидели в кухне. Мокрые портянки сушились на печи, сапоги хозяин вынес в сени, чтоб оттаяли.

Ужинали, шевеля под столом босыми ногами. Не закурили еще, но уже собирались закурить.

— Одним словом, как вспыхнула война,— начал Кулевич вдруг,— всех наших мужиков комаревских позабирали в Красную Армию. Меня тоже вызывали на призывной пункт, да, но нашли болезнь, дали отсрочку на выздоровление, и то, наверное, учитывалось, что шестеро детей в семье при одном кормильце.

В октябре месяце боевые действия начали подкатывать к столице, самолеты с черными крестами каждую ночь летали на Москву, а возвращались уж не в том строю и не все. Иван смотрел на них, задрав голову.

Боев в окрестностях крупных не происходило. Наши отходили, минуя Комарево. Несколько дней стояла в округе похоронная тишина. Жители прятали на огородах съестное. Крупу, муку, картошку. Зарывали в землю, хоронясь от чужого взгляда.

Вот тут и вышли из лесов те красноармейцы. То ли от части они от своей отстали, то ли шли с маршевой ротой на подкрепление, но оружия у них ни у кого не было. Молодые ребята по двадцать лет, под нулевку стриженые, уши топориком, москвичи.

— Ну, бабы наши ясно, да, в рев: жалко. Зляка такая берет, молоденькие, измученные. Разобрали по домам. Начали тех ребяток выхаживать, а тут как раз он и въехал на мотоциклах...

— Немец?

— Он самый. Герман. В касках. Очень солидно, скажу. Разместили у нас гарнизон, телефон протянули, выставили часовых. В военном смысле, ничего не критикую, грамотно все, да. А затем велели выбирать старосту, и все наши деревенские решили, тогда, что лучше всего старостой быть мене. «Шестеро детей у тя, Иван. Уважаем» — «Просим за всех».— «Да я ж председателем сельсовета был!» — «Да то давно было! Кулевича просим!» Орут, да...

Немецкий комендант, большая стерва, жестокий человек, посмотрел на Ивана бесцветным глазом и в башке у него под пилоткой, как арифмометр крутнулся, решил, что кандидатура Ивана подходящая.

— Гут, гут... А какой «гут», Геннадий Сергеевич? Свои придут, рассуждаю, повесят и будут правы, честное слово, да.

Дом Кулевичей в деревне крайний. За огородом ровное поле, слева дорога, прямо — лес, самое место для партизан, а потом, хоть и староста, но поставили у него в избе военную команду, десять солдат с фельдфебелем Зигфридом.

Те солдаты расположились в большой комнате, для тепла засыпав пол соломой, а Иван с женой и детками устроился в углу за печкой, нары в три ряда учредил и полог повесил.

Тем временем собрал комендант всех жителей, и те красноармейцы пришли, уж по-деревенски приодетые, во всем мужнином, чистые, отмытые. Кто-то донес коменданту, что это люди пришлые, не свои. «Партизанен! — начал орать комендант.— Партизанен!»

— В тот день их всех и расстреляли, как я вам рассказал. Вывели за дорогу и вот таким манером... И тогда я подумал, хотите верьте, Геннадий Сергеевич, хотите нет, что никогда в жизни нас фашист победить не сможет...— Кулевич развел руками. В большой комнате жена смотрела телевизор. Кипел чайник, горячие брызги падали на стол, накрытый клеенкой.— С нашим народом так нельзя! Нас не запугаешь. Пуганные. Мы этой крови и в империалистическую и в гражданскую повидали, а злость поднялась лютая, да... Чужому у нас такого не простят. Будут биться.

Вскоре установил Иван связь с партизанами. Ясно, детей было жалко, как им без отца, если фашист расстреляет, но

ведь если и свои папку копчат, не легче. Передавал Иван в партизанский отряд продовольствие. Картошку пек и лепешки — партизанский харч. Сведения о гарнизоне собирал, предупреждал о всех намерениях коменданта.

Немцы выставили у избы два пулемета, один в сарае, дулом в поле, другой в бане — на лес. И каждую ночь лежали у тех пулеметов солдаты в тулупах и валенках. Морозило в ту зиму как никогда.

Однажды ночью проснулся Иван от возни в сенях. Вылез из-под нар, припустил фитиля в лампе, глядь, а входная-то дверь, настежь, солдаты втаскивают в избу корову и ногами ее в дверь просовывают, «Господа, господа, это унмоглих *,— начал Иван. Глядит, а это совсем даже и не корова, замерзший солдат это. Он как у пулемета в сарае лежал, так и окоченел до смерти.

— Во, думаю, дисциплина дисциплиной, а дурь человеческая безграничная! Тань,— крикнул он жене,— помнишь, как немец у пулемета замерз?

— Помню,— ответила жена, не отрываясь от телевизора.

— Геннадий Сергеевич, ведь до сараюшки рукой подать! Вон он. Крикни, сменят, если замерзаешь, а энтот, как вцепился в пулемет, да так от и лежал до своего часа.

— Может, он заснул?

— Заснул? Вы немцев не знаете. Не может немец у пулемета заснуть, у него бефель **, в этом, заверяю вас с трибуны, его сила, но и его же слабина. Ведь крикни же товарищу, комераду, сменит на полчаса, отогреешься. Но нет...

В ту ночь, когда замерз германский пулеметчик, Иван Кулевич решил, что с такой тупой дисциплиной против русского духа идти нельзя совершенно.

— Иньциатива, она необходима,— говорил он заваривая чай.— Но на русскую нашу смекалку смекалка же и нужна, а они, фашисты, муштрой да злобой. Не тот, скажу, подход, да. От этого они войну и проиграли. Конечно, в стратегическом плане надо было нам с самого начала бронетанковые части применять. Клиньями его брать в окруженья. Но опыту не было... Между прочим, маршал Жуков из наших мест, да. С Угодского Завода. В Москве скорняком в молодые годы начинал и вот в маршала шагнул. Выучился. Отчаянной храбрости человек. Читали генерала Штеменко про генеральный штаб? Так он вспоминает, как Жуков в полный рост по передовой шел. Ему командир дивизии: «Пригнитесь, товарищ маршал.» А он: «В ваших советах не нуждаюсь». Да. Решительный... Нашенский, дервинь, дервинь Калуга!

---

* Невозможно (нем.).

* Приказ (нем.).

В декабре началось контрнаступление. Выбили немцев из крупных населенных пунктов, а из Комарёва они сами откатились и напоследок, уходя уж, подожгли Пятницкую церковь, где у них размещалась конюшня. Старинная была церковь, не так, чтоб красивая, но памятник.

В тот день или на следующий рубил Иван дровишки в лесу, возвращается домой, глядь, а по зимнику два красноармейца идут, разрумянились на морозе, руками дают отмашку.

— Куда спешите, ребяты? — он их спрашивает.

— Да в деревню,— они отвечают.— Старосту ихнего идем вешать.

Тут с Иваном сделалось легкое помрачение взора, но хорошо солдатики не заметили. А как в Комарево пришли, там партизаны. Красные флаги кругом, посреди улицы митинг, и партизанский командир говорит, что старосту Ивана Кулевича за его работу в тылу врага представляют к правительственной награде.

— В самый раз поспел.

— А то б повесили,— заметил я.

— Ну да, повесили! Я б дался, как же! Я ж не тот немец, что у пулемета рядом с домом замерз. Нашел бы выход.

Всего пробыл я в Комареве неделю. Насобирал материалов для хроники, сходил в Сухоносово, с внучкой Дуни Масленки познакомился, получил от нее в полное свое пользование ворох старых писем, выцветших фотографий, с облупленными краями, видел у нее те самые часы с кошкой. Про местных колдунов она мне рассказывала, про порчельников. Домой я вернулся возбужденный. Рассказал жене про Кулевича, про Комарево, пожаловался, что в редакции не дали мне еще одну неделю, а то б я уже и первую главу бы отписал.

— Представляешь, как интересно! — говорил я.— История одной семьи за семьдесят лет. Или даже за сто! Люди, события, прошлое, будущее, переплетение времен.

Теперь я вспоминаю, жена слушала меня внимательно, с доброй вполне материнской улыбкой, но у нее на уме были другие дела.

— Знаешь,— сказала она,— я совсем забыла, Савичи приглашают нас к себе на дачу. На субботу и на воскресенье в Абрамцево, давай, Гена, а?

— Я не могу,— сказал я голосом обиженного гения. Я немножко уже в роль вошел и даже вроде бы начал капризничать, и, наверное, со стороны все это выглядело малосимпатично. И я сам понимал, что делаю что-то не то, но не мог остановиться. Меня несло по инерции.

Дело кончилось легким скандалом. Я хлопнул входной дверью и, слетая вниз по лестнице, застегивая пальто, решил,

что домой больше не вернусь. Хватит с меня! В конце концов сколько можно жить с женщиной, которая совершенно тебя не понимает!

Над «Универсамом» на углу разгоралось синее неоновое зарево. Начинался тихий московский вечер. Я шел, нахлобучив шапку. Хрустел лед на лужах.

Откуда в ней эта жестокость, думал я, вспоминая усмешку жены и злые морщинки в углах ее подведенных глаз. Ну, почему она такая? Почему? Я делаю великое дело. Мне интересно разобраться, передо мной человеческие судьбы, трагедии, комедии, коллизии передо мной. Может, я один на всем белом свете собираю следы этих прошедших жизней. Разве это не интересно? Разве это не достойно уважения? Или никому это не нужно?

— Здравствуйте, Геннадий Сергеевич.

— Здравствуйте... Алевтина Николаевна.— Я поздоровался с соседкой и улыбнулся, и сам удивился, как это я такой расстроенный, такой весь не в себе нашел силы улыбнуться. Мне стало неловко. А чего, собственно говоря, я взорвался? Переплетение времен... Тоже мне возомнил себя главным судьей.

Я дошел до метро, постоял на ярко освещенной площадке у стеклянных дверей. Двери то и дело открывались, пропуская людей, очень одинаковых в слепящем свете. Меня обдавало теплыми ветрами московской подземки. Часы над кассами в вестибюле показывали без четверти семь. Надо было что-то решать.

В конце концов я мог поехать к кому-нибудь из друзей. Это имело свои плюсы, но имело и очевидные минусы. Придется объяснить, почему ушел из дома, наверняка я не выдержу, начну рассказывать подробности, а потом буду казнить себя за малодушие. Нет, к друзьям решил не ехать.

Был еще один вариант. На улице Красина рядом с Домом кино жила моя старинная знакомая рассудительная женщина, кандидат экономических наук Регина.

Со своим мужем она развелась и хотела выйти второй раз, так что попусту отнимать у нее время было нечестно, но мне некуда было деваться. Я вернулся к дому и открыл дверцу своей машины.

С первого нажатия ключа мотор взял обороты, что показалось мне хорошим предзнаменованием и обрадовало. Все-таки стоял автомобилька целую неделю под снегом, под открытым небом, и вот на тебе! Молодец! Я погладил рукой по черной поверхности над щитком приборов. Умница... Была у меня такая автомобильная ласка. Отпустил педаль сцепления. Прислушался. Мотор работал ровно. Вышел, предварительно чуть притопив ручку воздушной заслонки, щеткой стряхнул снег с крыши, с крыльев, с заднего стекла, надел дворники.

Стрелка указателя температуры чуть сдвинулась с нуля, можно было трогаться в путь. Но, подъезжая к площади Маяковского, я понял, что не хочу никого видеть и говорить ни с кем не хочу. И вообще с самого начала было очевидно, что мне просто необходимо побыть одному за рулем.

Я дождался зеленого света, выехал из ряда. Выехал и покатил по вечерней улице Горького к Белорусскому на мост, а там по Ленинградскому свернул на Волоколамку. Ехал без цели. Ехал просто так, куда глаза мои глядели, и остановился уже в Архангельском от удивительно четкой и щемящей мысли.

Я причалил к обочине, выключил мотор. Высоко над головой над пустынным шоссе тихо шумели сосны. Сквозь деревья смутно светилось желтое здание крепостного театра.

Я почему-то подумал о том, как естественно вошел в нашу жизнь автомобильный этот не единожды обруганный, прославленный, хороший, плохой, такой-сякой транспорт. Вот мне нехорошо — и я за рулем. Почему?

В каретах ездили, и на лошадях ездили, и линейки расхлябанные громыхали по булыгам, заросшим травой, и казалось, навечно. Быть другого не может. Какой поэт сказал, что железные дороги изменили весь строй и ритм русской прозы? А что сделал автомобиль, хотим мы того или не хотим? Что навязал нам, такой привычный и, в общем-то, новый. Какие ритмы открыл? По каким законам двинулось слово живой, настоящей жизни? «80 верст в час! Спешите жить! Спешите жить! Спешите, милостивые государи...»

Гости князя Юсупова, подъезжали к театру в каретах. И скрипела подножка под ногой в белом чулке, под тяжелой туфлей с алмазной пряжкой, и сытые кони косили надменным глазом, и радушный хозяин стоял на ступеньках в красном камзоле, расшитом золотом. Вот бы на автомобиль ему взглянуть! Нелепость какая! На автомобиле бы ему подъехать, на роскошном лимузине,— все-таки князь! — и встать из-за руля, поправляя букли напудренного парика. А крепостные актеры, те на маленьких «жигуленках» к служебному входу. Шварк, шварк, и тихо! Бургомистр со свистком. Тррр... «Куды прешь, Федька, на красный!» И какие бы достались нам «Записки ружейного охотника». Записки шофера бы читали.

Автомобиль. Машина. Самобеглый экипаж. Какие диктует он нам законы? Что принимаем мы и что навязывает он, оснащенный двигателем внутреннего сгорания? Так ли уж все просто: металл приучает человека к твердости, скорости — к жестокости. Кто это говорил? Было такое, говорили, и не поймешь сейчас, всерьез или так, для словца. Сколько ж лет прошло с тех слов? Как это все далеко от нас. Начало века. Испуг и восторг.

Я стоял под архангельскими соснами. Шумел ветер. Проносились мимо черные «Волги», и, натужно завывая, наплывали из-под поворота автобусные морды. Мне показалось вдруг, что я поймал ритм. Я увидел осень двадцать четвертого. Конец октября. Серое московское небо. Грязь на трамвайных остановках и шуршанье бумажного мусора в подворотнях. Управляющий Первым Государственным автозаводом... бывшим АМО, а с апреля 1923 года... имени коммуниста Ферреро, итальянского рабочего, погибшего на баррикадах классовых боев в далеком Турине... Георгий Никитич Королев спешил в ЦУГАЗ.

Как,а? В ЦУГАЗ! В Центральное Управление Государственных Автозаводов...

23

Управляющий 1-м Государственным автозаводом, бывшим АМО, а с апреля прошлого, 1923 года — имени коммуниста Ферреро, итальянского рабочего, погибшего на баррикадах классовых боев в далеком Турине — Георгий Никитич Королев, усталый, ехал домой. Ехал спать.

Холодный ветер громыхал брезентовым тентом, лобовое стекло забрызгивало грязью, и шофер управляющего Петр Платонович Кузяев то и дело вылезал из машины, протирал стекло старым полотенцем и чертыхался.

— Что хотишь, Никитич, а так как ты нельзя эксплуатировать свой организм. Совершенно нельзя! Так только одни верблюды.

— В Сахаре.

— Ну, это верблюды. Там тепло. Человек должен отдыхать, иначе нет в нем свежести.

— Это я все без тебя знаю,— огрызался управляющий, втянув голову в плечи.— Время такое. Видишь, мировой рабочий класс отстает, смотрит на нас, прикидывает: а что они, то есть мы, без хозяев могут? Соображаешь?

— Соображаю. Колено убери, за кулису взяться не могу.

— Такая, понимаешь, дислокация,— продолжал Королев, кашляя.— Наши автомобили сейчас факт не просто промышленный, но очень даже политический! Дадим автомобиль, будет Советская власть, не дадим... Туго придется.

— И все одно отдыхать всем надо. Что ж это за дело, если тебя постановлением ячейки домой заставляют везти.

— К жене.

— Я так, чтоб складно. К тете — к Моте.

— И опять смотри, Петя,— управляющий полез за папиросой,— мировой революции нет как нет. Наша задача на

текущий момент окопаться. Траншеи в полный профиль отрыть, часовых выставить, подчасков тож. И в республике нашей заняться работой вовсю, чтоб видно было всем, что без хозяев можем работать. И будем! Огня дай.

— Хватит тебе. Накурился. Ты этот табак жрешь буквально. Как верблюд.

На душе управляющего было скверно. Королев не спал третью ночь.

— Хвост вытащим, нос увязнет,— жаловался,— нос вытащим, опять не легче. Я тебе правду скажу, паровоз, громаду эдакую, проще сделать, чем автомобиль!

До назначения в автопромышленность Георгий Никитич работал кузнецом на Коломенском паровозостроительном заводе, оттого и сравнивал все: легче паровоза, значит, ерунда, тяжелей, значит, серьезно.

В начале 24-го года было принято решение начать на красном АМО выпуск грузовых автомобилей типа «Ф-15», хотя вся Москва от Каланчевки до Симоновки доподлинно знала, что у Ферреро занимаются только ремонтом. Примусы делают да зажигалки под названием «Спалим старый мир».

Со всей страны, со всех фронтов гражданской войны доставляли на АМО разбитые грузовики, броневики, простреляннные аэросани с поломанными винтами, глиссеры и даже легкие танки без гусениц. Под окнами директорского кабинета на каменном дворе валялись горы искореженного металла, ржавые шестерни, валы, маховики, лонжероны, разбитые мятые кареты. Весь этот хлам шел на запдетали, а счет был вполне революционный, определенный: из десяти разбитых автомобилей получался один вполне годный монстр. «Шасси от «форда», от «морса» морда... Ах, шарабан мой, американка...» — пели амовские автомеханики. Но не весело пели.

Зато управляющий Георгий Никитич твердо верил в инициативу масс и в то, что в скором времени многое должно перемениться. Мотаясь на жестком сиденье персонального своего «протоса», латанного и перелатанного, он об этом как раз и говорил Кузяеву. Но, кроме веры, надо сказать, была у Никитича железная хватка и жизненная сила на четыре взвода у одного. Крыл он инженеров почем зря, называл предельщиками: предельные у них теории! Народу не верят! Верят слепо в запас прочности! Шумел, кричал, но мужик был добрейший. И честный от и до. И старый мир ненавидел.

Неугомонный управляющий добился от транспортного управления Красной Армии крупного заказа на восстановительный ремонт грузовиков «уайт», а весной вырвал прямо-таки полтора миллиона на расширение завода. «Петя, я тебя целую!» — кричал. «А чего ты меня целуешь?» — «Радость какая!».— «Ну, тогда понятно. Тогда целуй...»

Уткнувшись в плечо Кузяева, управляющий заснул мертвецким сном, только широкий его каменный подбородок подрагивал.

Уездили парня, думал Кузяев и боялся пошевелить затекшим плечом.

Шебутной управляющий! Весной решил выпустить к седьмой годовщине Октября двадцать грузовиков. Его поддержал инженер Ципулин, человек мрачный, молчаливый, но много понимающий по шоферской части. Говорили, у инженера больная печень и острые камни в желчном пузыре, оттого всегда такое настроение и тусклость во взоре. Однако, несмотря на состояние здоровья, Ципулин всю империалистическую в автороте отслужил, дурных туда не брали, он-то и доказал Георгию Никитичу, что на АМО пора строить свои автомобили, и для начала наладил литье блоков цилиндров. Очень хорошо все у него получалось поначалу.

Когда подъехали к дому, Королев вдруг встрепенулся.

— Петя,— сказал,— завтрева с утречка в шесть ноль ноль подъедешь, отправимся к профессору Шергину.

— Рановато будет в шесть-то?

— Ничего, в коммуне отоспимся.

Профессор Шергин был специалистом по электропечам. В кузовном отделе уже собирали кабины, платформы и оперение первых автомобилей, а своего металла не было, печь барахлила, и заводская кузница, стыдно сказать, не имея штамповочных молотов, не могла штамповать ни передних осей, ни коленчатых валов. Вот и делай автомобиль! «Мать его в ружье!» — рычал Никитич и шлепал портфелем по хромовому сапогу.

Выручил кузнец Воскресенский. Решил на пробу отковать переднюю ось свободной ковкой. Георгий Никитич, сам бывший кузнец, подал Воскресенскому рукавицы и фартук, как облачение архиерею. Встал рядышком.

Самую первую ось Воскресенский пустил в брак, но потом изловчился и с подручным своим отковал десять осей высшего класса. Управляющий расцеловал обоих, велел выдать премию в дензнаках, а в приказе по заводу объявил благодарность от лица трудового народа всех стран! Теперь дело стояло за электропечью. В шесть поехали домой к профессору Шергину. Подняли ученого человека с теплой постели.

— Ничего, папаша, ничего,— успокаивал Королев сонного профессора,— вы в машине подремите.

В окне появилось встревоженное лицо жены профессора. Кузяев поднял глаза, и ему показалось, что где-то он видел профессоршу. Но где?

Шергин в мягкой фетровой шляпе, в перчатках, обошел печь со всех сторон, тихим голосом рассказал, какое она имеет устройство. Поднялся в кабинет управляющего, осмотрел-

ся, повздыхал, двигая взглядом по стенам, по черной мебели, по дивану и креслам, и на листке перекидного календаря начертил график, показывающий, как должен идти процесс.

Петр Платонович отвез его домой, на Мясницкую. Профессор сел не впереди, с шофером, а по-старорежимному сзади. Побрезговал рабочим человеком.

По науке все получалось просто, но печь жрала столько электричества, что в Мосэнерго запротестовали. Начальник там был парень решительный из Первой Конной. Кулаком по столу хвать: «Не разрешу!»

— Ты рот-то закрой,— сказал ему Георгий Никитич ласково. И кулаком не греми. Лампочки разобьешь, как раз света не будет. Я ж не для себя, а для таких как ты дурачков автомобиль делаю. Не будет мотора, пропадем, Вася.

Начальника звали Колей. Начальник не сразу, но смилостивился, посоветовался со спецами, разрешил пустить печь ночью, когда нагрузка на электростанции наименьшая.

Печь пустили, а беды не ждали. Профессор Шергин в печах разбирался. Но в третьем часу ночи с грохотом, как от шрапнельного разрыва, двинуло по цеху и понеслось: «Ложись, ребята!». Произошло короткое замыкание. Чего-то там не досмотрели, пришлось начинать все сызнова.

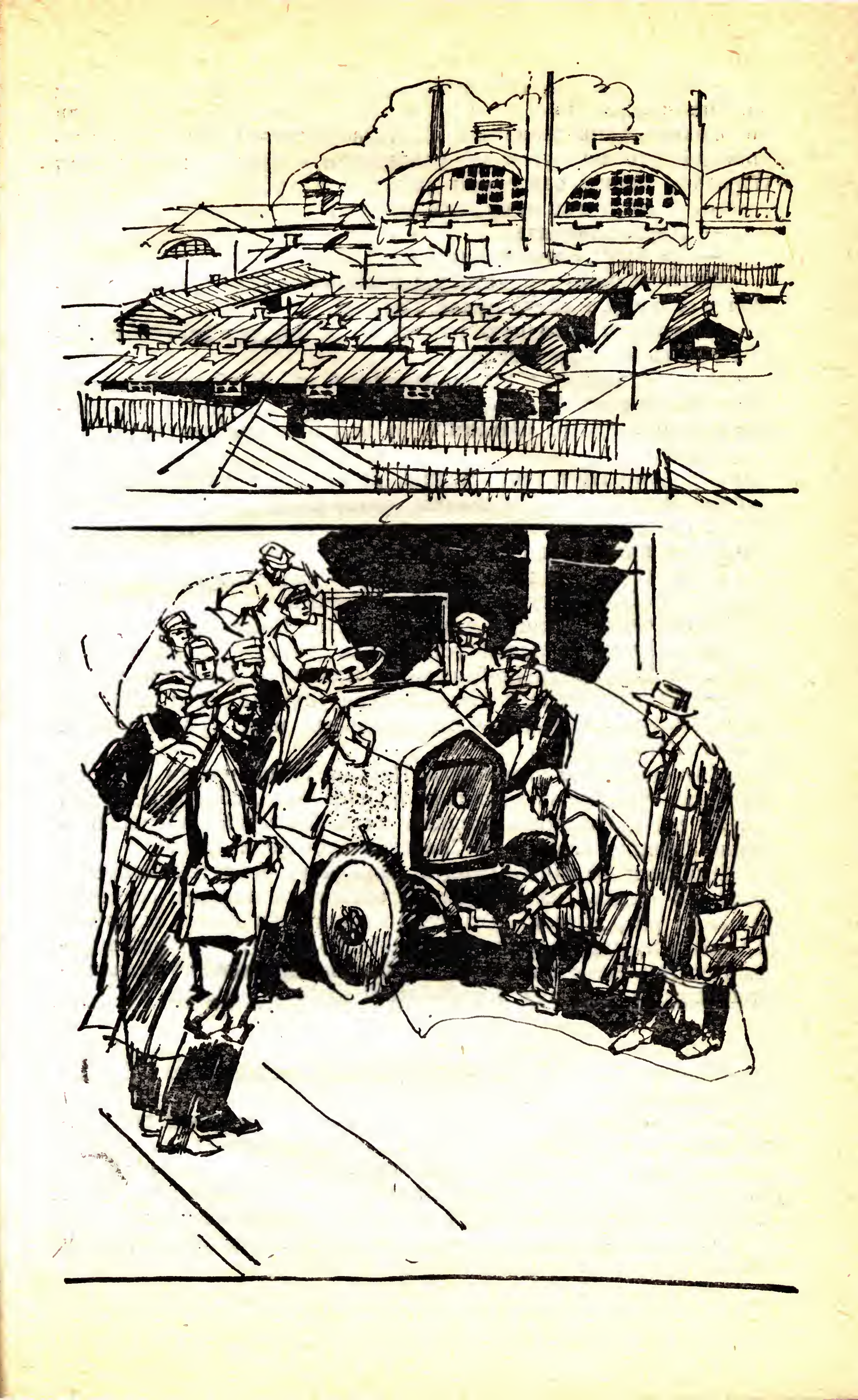
Вторая плавка затянулась. Сталь сварили только к четырем утра, и вдруг... Вот уж в самом деле, если нет удачи, иди разбирайся почему! Все было проверено, но бригадир Ельцов — управляющий тряс его за грудки, душу хотел вытрясти, называл Врангелем и Махной — не закрепил ползун стопора, и сталь ушла в яму. «Я тебе, парень, в другой раз руки вырву!» — грозил Королев. Но в другой раз все обошлось, сталь сварили, разлили по формам и качество признали наивысшим. Не случайно та электропечь называлась «Мечта»!

Теперь всю свою энергию управляющий направил на производство пружин. Новое слово у него в лексиконе появилось — «ре-лак-са-ция». Поди выговори! Тут еще начался монтаж станков «леблонд» для обточки шеек коленвала и «рецнекер» для фрезеровки контура кулачков распределительного валика. Георгий Никитич как-то сразу сник, поняв, что с его тремя ступенями церковно-приходской школы разобраться с этими станками будет труднехонько. Доверился Ципулину. Станки смонтировали и пустили.

Первый автомобиль должна была довести бригада сборщиков, где бригадиром был однофамилец управляющего Николай Королев.

— Коля, Коля,— говорил управляющий,— я тебя... Коля... заклинаю. Неужто большевики не могут творить тех чудес, что творил господь бог? Могут! И больше того!

Георгий Никитич не отходил от сборщиков. На него не обращали внимания, только иногда советовали:



— Шел бы ты, Никитич, право дело, отсюда. Ведь под руку ж лезешь!

Технический директор ЦУГАЗа Сергей Осипович Макаровский, вторые сутки не уходивший с завода, посоветовал Королеву выпить сердечных капель с мятой.

— А это потом привычки не дает?

— Дает, наверное.

— Не буду, Сергей Осипович.

Макаровский в пальто нараспашку пожал плечами, отошел в сторону, махнул рукой. Заводи!

Повернули заводную рукоятку, мотор дал вспышку, охнул и чуть было не завелся.

Георгий Никитич вытер холодный лоб. В сборочном было тихо. Ветер гнал по крыше сухие листья, швырял в остекление осенний мусор. «Заводи!» До седьмого ноября оставалось пять дней.

Инженер Ципулин, бледней обычного, рванул рукоятку. Кепка слетела у него с головы, упала засаленной подкладкой вверх. На инженерной лысине, кое-где поросшей седой щетиной, выступили капли пота. «Заводи!»

И вдруг мотор зарычал, кожух над мотором затрясся. Первый АМО-Ф-15 гудел, набирал обороты.

Макаровский вынул золотые часы. Было без пяти два.

На собранное шасси установили кабину, платформу и оперение. Закрепили по-быстрому. Залили бензина, масла.

— Ой вы, молодцы мои,— стонал управляющий, и взгляд его туманился слезами.— Алмазные вы мои, драгоценные... Солнышки, золотцы...

Уже начинало рассветать. Первые гудки плыли над слободой. Не терпелось испытать первый автомобиль. Ципулин сел за руль, слесари-сборщики всей бригадой забрались в кузов. Решили сгонять к Спасской заставе и назад.

Ципулин включил первую передачу, отпустил конус и медленно выехал из корпуса. В заводских воротах грузовик фыркнул раз, другой, выпустил из-под себя сизый махорочный дым, пружинно присел на выбоине и, крутнувшись вправо, покатил, покатил вдоль Тюфелева проезда... Управляющий махал ему вслед портфелем и шевелил губами.

Первого гудка Степа Кузяев никогда не слышал. Только сквозь сон.

Первым обычно гудели на «Динамо» за полчаса до восьми. Начинали коротко, сипло, так, будто закопченая динамовская труба со сна прочищала горло, чтоб через пятнадцать минут зареветь по-настоящему. От живота. Уууу... пу...

Самый паровитый гудок во всей слободе был, пожалуй, на фабрике Ципделя, на кобыльем дворе. Так эту фабрику

называли, потому что работали там одни бабы. Шили «шинеля».

У Цинделя гудошные машинисты гудели от души. Следили. И на «Динамо» следили, а на АМО всегда запаздывали, и гудок получался писклявый, тонкий. В котельной не торопились, тянули за реверс нетвердой рукой, позевывали. Ох, ох, ох...

За дощатой стеной соседка тетя Маня уже пела песню. Как обычно с утра. «Ах, приведи мне, маменька, а писаря хорошего,— пела соседка,— а писаря хорошего, голова расчесана...»

Гудел примус, и соседи, которым пора было в утреннюю, кашляли и шваркали по полу сапогами.

Второй гудок поплыл над слободой. Опять на разные голоса, сипло, нестройно: начали все вместе, а кончили вразнобой.

— «Голова расчесана, помадами мазана, помадами мазана, а целовать приказано»,— пела тетя Маня. Потом замолчала, стукнула в стену.

— Степа! Давай просыпайся. Пора уже.

— Слышу.

— Чего ты слышишь, вставай!

Степа вылез из-под одеяла, опустил ноги на холодный пол.

— Спишь?

— Да не сплю уж! Сапог вон закатился.

Соседка за стеной засмеялась. Посоветовала:

— Ищи, как хлеб ищут.

Стены в бараке были тонкие, все слышно. Когда муж тети Мани, черный, нахохлившийся, приходил выпивши, он ругал ее в полный голос.

— Ты фастом перед им не крути! — кричал.

— Да отстань ты,— говорила тетя Маня, и голос ее при этом был какой-то праздничный.

— Я, Манька, тя учить буду!

— Дык твоя воля...

— Что промеж вас было? Сама скажи!

— Не кричи,— говорила тетя Маня ясным шепотом,— люди услышат.

— Я те за Кузяева холку намну!

— Выдь на улицу,— приказал Степе отец. Он был дома. Степа вышел и так до конца и не дослушал в тот раз: почему за него сосед хочет наказать тетю Маню или это так трудно будить его по утрам?

Барак, в котором они жили, был крайним, стоял у самого уреза Москвы-реки, весной вода разливалась под самые окна, на две недели, а то и на месяц затопляло дрова в сараюшках и уборные. Все плыло.

На том берегу высились каменные лабазы, сараи, церкви, катила Саратовская железная дорога, к ней подступали станционные паровозные задворки, лепились красные фабричные стены с закопчеными трубами, а выше шла мощеная булыжником Большая Тульская улица, уставленная домами даниловских зажиточных ломовиков и огородников. Вниз спускались баньки, петлял к наплавному мосту пыльный проселок, осенью и весной раскисавший до полной неузнаваемости.

Снега еще не выпало. Но с утра было свежо. На лужах хрустел лед. В промерзлом воздухе слышно было, как на том берегу на высоте бьют кувалдой по рельсу.

Степа поднял воротник, шапку нахлобучил поглубже и вприпрыжку побежал в заводскую столовую. Они с отцом имели уговор на утро ничего не готовить. А когда решали, что надо бы, то все равно съедали все с вечера. К тому же отец третью ночь дома не ночевал. В гараже Степе объяснили, что на заводе аврал, готовят к седьмому ноября подарок трудящимся.

Отец заехал как-то днем, но не к самому бараку, потому что путь к нему был только по мосткам, остановил машину на дороге, сам, проваливаясь в грязи, двинул напрямую, передал деньги.

— Кормись, пока меня нет,— сказал.— И, гляди на баловство не траться. — Двинул Степу по плечу. — Твердо стоишь!

— Пап! — крикнул Степа.— А ты скоро?

— А вот устроим мировую революцию, тогда вернусь,— засмеялся отец.

И тетя Маня, оказавшаяся на крыльце, тоже засмеялась. Потрепала Степу по голове, предложила:

— Давай, парень, собери, что у вас грязное есть. Я стирку устраиваю.

Степа учился в опытно-показательной школе при заводе «Динамо», учился на слесаря. В нечетные дни занимались в школе теорией, в четные — практикой.

День начинался нечетный, это он вспомнил уже в столовой, допивая третий стакан киселя, а потому можно было не спешить, занятия начинались с девяти.

Слесарная школа, в которой он учился, занимала два помещения. Одно было в гулкой трапезной Симоновского монастыря, там вдоль сводчатых стен стояли верстаки. Монахов давно уже выселили, иконы поснимали, росписи разные закрасили, а какие не сумели, завесили плакатами по технике безопасности, но только машинное масло не могло перебить запаха ладана и кислых щей.

Теорию изучали в маленьком домике на Восточной улице. Здание школы было ветхое, с прогнившими стенами и по-

лами, к тому же отчасти еще и разобранное. Это в топливный голод в двадцать первом году, когда нечем было топить, принялись растаскивать школу на дрова. Как-то ночью нагрянула конная милиция, глядь, а под крышей мужичок сидит, стреху пилит. Ему милиционер с коня: «Слазь, это народное достояние!». А мужичок, шапкой утирая пот: «Я тоже народ...» — «Пилить-то хоть прекрати!» Еле стащили.

Перед началом занятий Степа успел заскочить в гараж. В гараже стояла суета. Бегали механики, шоферы курили в сторонке, о чем-то хмуро переговариваясь.

— А батя где? — спросил Степа, подлетая к слесарю Абрамову.

— Нет бати. За Ципулиным поехал. Авария там. Сейчас на буксире притащит...

— Подожду.

— Нет уж, давай иди учись. Без сопливых обойдемся,— сказал Абрамов и, сплюнув на пол, выругался.— Это ж надо — выругался,— чтоб так не везло! Кругом двадцать два...

24

В той неведомой книге судеб, на неразрезанных страницах, где записано то, что будет до последнего часа, этому человеку назначалось быть шофером. Но он не знал. Другие горизонты открывались перед ним, лучезарные возникали видения, так что он все равно бы не поверил, если б в свое время сказали, как будет наперед...

Московский бакалейщик Николай Алабин, по-воскресному нарядный, в брюках «оксфорд», в лакированных малиновых штиблетах «шимми» стоял у окна и через плечо смотрел, как Глафира Федоровна, самая интересная женщина его жизни, острыми маникюрными ножничками срезает с пальца случайную заусеницу.

Он не видел ее целую неделю, соскучился и теперь радовался, что весь день они проведут вместе, а если не будет срочных дел, надо позвонить Жмыхову, он останется у нее еще и на понедельник.

Со времен Октябрьского переворота прошло семь лет. Непримиримая решительность семнадцатого года сменилась нэпом, с точки зрения Алабина, вполне разумной новой экономической политикой. Появился «частный сектор». Кончился военный коммунизм, и, будто по волшебству, по мановению волшебной палочки, пооткрывались мясные, бакалейные, кондитерские лавки. Появились «культурные пивные», где отставные актрисы бывших императорских театров пели под баян заграничные песни о тавернах в шумных портах, о люб-

ви миллионеров и апашей, о роковых женщинах с глазами, усталыми от кокаина. «У маленького Джони холодные ладони и зубы, как миндаль... Та, та, та, та...» Понаехали в Москву колбасники, распахнули двери шляпные ателье и меховые салоны.

В «Аквариуме» и в «Эрмитаже» по вечерам культурно отдыхали москательщики и керосинщики с шумной Сухаревки, бакалейщики с Зацепы, охотнорядские мясники, столешниковские ювелиры, арбатские антиквары и дорогие портнихи французских мод. «Гоп ца-ца, волнует всем сердца... да, да, да...» — пели. Вышли на улицу культурные женщины в мехах, в бриллиантах. Слава тебе, господи, большевики взялись за ум!

Официально Николай Ильич занимался бакалейной торговлей. Имел патент, платил налоги, но было у него еще одно дело. Основное. Хотя кто знал о том основном? Никто, кроме него самого и Глафиры Федоровны.

Глафира Федоровна Крафт, бывшая полковничиха, бывшая стлбовая дворянка, урожденная Собакина, жила в Сокольниках, он называл ее «ваше сиятельство». Она смеялась.

Каждое воскресенье Николай Ильич ездил в Сокольники с шоколадом, с цветами, летом — с портвейном и кахетинским, зимой — с коньяком и водочкой.

Глафире Федоровне исполнилось тридцать пять. Она была еще очень свежа, коротко стригла волосы, ярко красила губы, курила длинные папиросы «Сафо» для дам и, когда прогуливалась в котиковом манто под руку с Николаем Ильичом по дорожкам «Эрмитажа» или по Петровке вниз до Рахмановского, на нее заглядывались сто́ющие мужчины.

Глафира Федоровна в синем шелковом халате сидела на диване в гостиной и улыбалась.

— Глаша,— сказал Алабин,— наш грек не мычит, не телится. Он просто исчез. И те пятнадцать тысяч тоже исчезли.

— Припугни его,— посоветовала она.— Ты много о нем знаешь. Зачем ему надо, чтоб все это стало известно фининспектору Миронову?

— Темнит он. Надо его культурно попросить.

— Попроси.

Ювелир Константин Папаянаки как-то предложил Алабину совершенно неожиданно и весьма по сходной цене койкакие золотые вещички. Взял задаток пятнадцать тысяч и растворился в неизвестности.

В его мастерской в Столешникове на дверях висел замок, а дома мадам Папаянаки, перепуганная бледная брюнетка с тяжелым пористым носом, отказывалась понимать, что происходит. «Месье Алабин, уверяю вас, я персонально ничего не знаю. Месье Алабин...»

Глафира Федоровна полагала, что Папаянаки, коварный грек, выжидает. Судя по всему, меняется политика, большевики должны пойти на уступки частному сектору, деловые люди желают иметь надежные ценности, стоимость которых непрерывно растет. Камни поднялись в цене вдвое, золото тоже. Грек боится продешевить.

Николай Ильич не спорил, он верил ей беспредельно. Благодаря ее уму, выдержке, такту и настоящей коммерческой хватке он много раз выходил сухим из сложнейших ситуаций. Нет, Глаша разбиралась в подобных вопросах.

Когда Николай Ильич потерял интерес к бакалейной своей лавке, занялся другим делом, Глаша решила, что им нужно разъехаться. «Зачем дразнить гусей?» — сказала. Он согласился. Он сменил квартиру. Жил в перегороженной комнатушке, как скромный совслужащий, и опять же, чтоб не дразнить гусей, продал свой авто. «Пежо» у него был, славный серый малыш. Не совсем серый, а скорей, благородного мышиного цвета, мягкого, как шляпа у английского лорда.

Что взять со скромного частника, бакалейщика с Николо-Песковского переулка? Макаронами он торгует, налогом его задавили. Пожалуйста, пусть агенты МУРа, мало — пусть из ГПУ нагрянут и простукивают стены в засаленных обоях, загаженных клопами еще довоенными. Они ничего не найдут. Он разведет руками и скажет при понятых: «Я чист перед трудовым народом всех стран. Я сам труженик». Сколько раз он мысленно представлял эту сцену.

Это все Глаша! Это она научила его, чем следует заниматься. С некоторых пор Николай Ильич скупал бриллианты, золото, старые книги, картины знаменитых мастеров, фарфор, бронзу. Он не собирался заставлять всем этим свое будущее жилище. Он реализовывал ценности. Глафира Федоровна свела его с концессионером господином Уилсом, собирателем русского серебра, орденов и юбилейных медалей. Был еще немец Курт Карлович, будто бы инженер из Бремена. Брал иконы, монастырские книги, любил Серова и Левитана. «Это есть добропорядочно»,— говорил. Был еще швед, господин Ериксон, англичанин Брейд и мистер Туллер, шотландский лорд, трясущийся над всем этим антиквариатом, как сухопосовский дядя Иван с похмелья. Платил в любой валюте, но всучить ему восемнадцатый век за шестнадцатый бывало почти безнадежно.

Семьдесят тысяч английских фунтов Николай Ильич хранил совсем даже не под полом и не в стене своей комнатушки. Доллары, франки, золото царской чеканки — все это лежало до поры в надежном месте, а где именно, знали только он и Глаша.

Изменилась бы политика! Дали б послабления и твердые гарантии, он завел бы для начала мелкую фабричонку, за-

водик скромненький, что-нибудь вроде АМО, не Путиловский, нет. Начал бы по зернышку, как та курочка, а там, глядишь, и другой кус к рукам бы прибрал. И третий. Он мечтал развернуться, расправить плечи, когда большевики пойдут на уступки. Перед ним возникали неясные воспоминания юности, нечеткие забытые тени. Белый нарядный дом на Якиманке, широкая лестница, застланная красным бобриком, продетым сквозь латунные прутья, скрип перьев в жарко натопленной конторе, германский пулемет у окна, и женщина из того рассыпавшегося мира гладила теплой рукой его поредевшие, ох, как поредевшие волосы, говорила ласково: «Не волнуйся. Не волнуйся, Коко. Ждать недолго. Многое должно измениться». И он верил этой женщине, сделавшей его деловым человеком, пусть тайным, но миллионером, пусть непризнанным, но богатейшим человеком Москвы!

Он готов был подождать год, другой. Ведь он не для того капитал собирал, чтоб в кабаках его тратить и певичек в шампанском купать. Он хотел уважения! Силу свою почувствовать хотел! Чтоб лакеи у дверей. Чтоб в конторе служащие вставали, когда он входит. Чтоб заводы дымили, чтоб паровозы... Его заводы, его паровозы! Эх ма... Чтоб ходил к нему в дом певец, крупный талант, бас. И чтоб пел за столом, когда он попросит. «Спой, Феденька». А почему нет? Разве не было в его жизни перемен? Думал ли он в голодном девятнадцатом году, что судьба так щедро наградит его, когда спасал Глашу? Иногда ему казалось, по крайней мере он говорил так, что все это было предначертано и определено свыше. В бога он верил? Нет, в судьбу.

Он рассказывал ей о деревне, о колдунице Тошке, об отце, о морской службе. Вспоминал Цусиму, это совсем не страшно, в его жизни была другая война. И про то он ей рассказывал, как мерз в окопах, как немцы травили его газами, как тяжелая артиллерия его обстреливала. Она слушала, жалела и плакала.

Он был прапорщиком военного времени. В восемнадцатом году вступил в добровольческую армию под белые знамена. На Москву наступал. Отступал потом. Болел тифом, валялся на деревянном диване в гулком вокзальном зале. Терял сознание. Снова приходил в себя. А рядом толкались солдаты, бабы с мешками. Винтовки, чайники, вши... Все в бреду.

Выжил. Опять воевал. Зачем? Почему? Потом его ранили. Вынесли на руках к своим ночью в дождь. Везли на телеге какие-то мужики. Сдали в госпиталь.

Он уже начал выздоравливать, ходил на костылях, поскрипывал тыр-пыр, тыр-пыр, как тот медведь, ворвалась к ним, село это было или местечко, он сразу запамятовал, банда атамана Сковородкина, который со всеми воевал — и с

красными, и с белыми, и с немцами. Все живое имел желание порубать.

В малиновых бриджах, в серой смушковой папахе атаман скакал впереди, размахивая кривой саблей. За ним с гиканьем, со свистом неслась братва, кто в чем. «Сдавайси!..»

Первым делом разнесли винный склад. Пустили в расход всех жидов. Обезумевшие от страха обыватели попрятались в подвалы. Били стекла, грузили на подводы награбленное барахло, икали с перепоя и стреляли из маузеров в белый свет.

К вечеру добрались до госпиталя. С незнакомым офицером, совсем мальчиком, Алабин спрятался под лестницей в закутке, заставленном госпитальной рухлядью — тюками с бельем, окровавленными матрацами, одеялами, кроватными сетками. Лежал ни жив, ни мертв. Ночью банда снялась и в тележном скрипе, с пьяными песнями ушла в степь. «Эх, воля, д неволя, чужа-а-я, судьба...»

В больничных халатах, без документов, без ничего в ту же ночь тронулись они с тем мальчиком на Дон. Офицером он был, драгунским штаб-ротмистром. От усталости, от боли, от страха плакал драгун навзрыд. Николай Ильич его успокаивал, перевязывал ему раненую руку и, снимая со зловонной дыры белых червей, успокаивал: «Это до свадьбы заживет. Кость у тебя цела, ротмистр».

Им повезло. Они наткнулись на казачий разъезд. И — надо ж такому быть! — офицер наклонился в седле, признал: «Карташев, да это никак ты!»

Их тут же доставили в штаб. Толстый генерал в мятом френче без орденов, с золотой часовой цепочкой из кармана в карман, приказал прежде всего накормить. И вышел, чтоб не видеть, как они едят.

Их обули, одели, выписали документы. Оружие дали. Офицеры устроили им ужин с самогоном тут же в штабе, размещавшемся в галантерейной разоренной лавке.

Хозяева, наверное, жили наверху, а внизу на пыльных полках валялись пустые коробки, мылом пахло и калошами. Сбежали хозяева. Николай Ильич постоял у конторки, за которой в торговые дни старший приказчик вел записи, и заметил в стене медную пластинку с двумя крючками, будто для того сделанными, чтоб зонтики на них вешать или трости. Усмехнулся невесело. Вспомнил: точно такая же штука была у боровского купца Болошова, он хвастался, когда отец торговал у него мыловаренный заводец.

— Господа! Господа,— кричал юный ротмистр, уже охмелевший.— Господа, мы еще вступим в Москву! Всех большевиков на фонари!

— На фонари! — гудели офицеры.

— Морем крови зальем!

«Устал я от крови»,— думал Николай Ильич, а ротмистр веселился. Он уже все забыл. Банду и белых червей, жравших его мясо. Вот она, молодость, все забыл! Он уже был доволен собой и жизнью, данной до без конца. Офицеры смотрели на него, как на героя, и он, картинно подбоченясь над столом, поднимал граненый стакан с желтым самогоном.

«Глупый мальчик. Совсем дурачок»,— думал Николай Ильич, и в мыслях был уже внизу, возле конторки, возле той медной пластинки с двумя крючками. Скорей бы спать легли! Скорей уж...

А ротмистр, охмелев, запел срывающимся тенорком марш драгунского Каргопольского полка, и господа офицеры подтянули: «Когда войска Наполеона пришли из западных сторон,— раз, два! — был авангард Багратиона судьбой на гибель обречен. Обречен!»

Был, был... Все было. И Алабин начал подпевать, хмель ему в голову ударил или просто слова знакомые... Отца вспомнил, Тарутино, застолья отцовские.

«Бой закипал и продолжался все горячей и горячей. Горячей! Людскою кровью напитался,— раз, два! — краснел шенграбенский ручей. Краснел шенграбенский ручей!»

И ручей был, и Багратион был. Все было. Все было, и кончилось все...

Спать легли поздно. Алабин дождался, когда все заснут, оделся и с сапогами в руках, чтоб не греметь, босиком тихонечко спустился вниз.

В пыльном окне желтым светом наливалась луна, качались тополиные ветки. На крыльце зевал часовой, постукивал прикладом по деревяшке. Тишина стояла бесконечная, до рассвета далеко.

Николай Ильич подошел к стене, взялся за крючки на медной пластинке, нажал. Не сразу, но пластинка поддалась, без скрипа отошла в сторону. Он оглянулся, сунул трясущуюся руку в открывшуюся нишу и обомлел. Он не ожидал, что найдет так много! На ощупь много!

Деньги там же, в лавке, рассовал по карманам. Ассигнации отдельно, золото отдельно. Все колечки, сережки, перстенечки ссыпал в кисет. Странный тот был хозяин, если держал в лавке такое. Чудак. Ну да, может, просто убрать не успел...

Надо было решаться. Николай Ильич прислушался. Офицеры спали. Было тихо. Лестница, ведущая наверх, лунно светилась резким изломом. Обулся. Распахнул окно. Решил, если что — скажу упился.

Утром он уже был далеко. Он шел на Москву.

В неведомой закопченой деревне на золото — это кому ж сказать! — купил армяк и валенки: зима приближалась, пока он шел. И чем ближе было до Москвы, тем теплей станови-

лось на душе. Все чаще и чаще вспоминал Тошку, думал, мотая головой, ждет, небось, проскучилась.

Ему хотелось тихой жизни, детей. В бане попариться хотелось до жути и завернуться в простыню, выпростав босые ноги. Он ведь о том не знал, что в Москве его не ждали. И другой там был утешитель в его доме, младший сынок Бориса Ильича, хозяина трактира «Золотое место».

Всего тех братьев было четверо. Все вчетвером и навалились на него. А она стояла в двери, как в раме, далекая, безучастная, только с постели поднятая. Уж к ночи время поворачивало, когда он пришел.

С ног свалили сразу. Здоровые ребята. Тут же на крыльце порешить хотели. Шипели: «У, гад! У, сука! Убью, гада...» А ведь он же не в чужой, в свой дом вернулся.

Били его, а он боли не чувствовал. Смотрел на нее. И мысль была, что ж ты за сволочь такая, Тоша, что ж ты за подлая тварь, если рукой не двинешь. Не крикнешь?

Младшенький Сеня, тупой битюжок, особо расхрабрился при братьях и, подрожав в возбужденье, ногой ему сунул. На вот! Это его и отрезвило. Вскочил, выдернул из-за пазухи браунинг. Хоть и военного времени, но прапорщик, научили кой-чему! Хороший был у него шпалер, перекинул в руке.

Братья попятились.

— Стой,— сказал спокойно,— стрелять по одному буду.

И перестрелял бы всех! Но она не попятилась, не охнула, не вздрогнула даже, когда блеснула в его руке вороненая сталь. Она, как стояла, так и продолжала стоять в дверях. И не было у нее ни испуга, ни удивления. Какую ж силу она имела над ним и как была уверена в силе в своей!

Младшенького очень хотелось пришить. За ножонку за его. Еле сдержался. Но поставил на колени и валенок ему к морде: «Лижи!» И тот лизнул раз, другой. «А ну давай живей, гаденыш! Чтоб в жизни ты разбирался, тварь тупая!» Ну да радости от того лизанья не было никакой. Ни тогда, ни после, в утешенье. Отпихнул в сторону, как куль с дерьмом. «Эх, Тоша, Тоша...» — только и сказал. И ушел.

Устроился у Яшки Жмыхова. Тот встретил, как отца родного. Бельишко свое дал стираное, баретки, чаек сахарином подсластил, на следующий же день привел старого марьинского печатника, рисовальщика фальшивых паспортов и видов на жительство, тот сделал Николаю Ильичу все высшим сортом, а от денег отказался.

— Чего с тебя взять,— сказал кисло,— живи на здоровьице. Все мы ныне пролетарии. Да здравствует товарищ Калинин! Хотишь, за него распишусь?

— Научился уже!

— Служба такая...

Новую жизнь начинал Николай Ильич гражданин Алабин на Марьинском рынке. Начинал, как надо.

Весь рынок был обнесен деревянным забором, и ворота были. Сторож их на ночь замыкал. Так вот в одну ночь весь забор тот исчез до последнего столбика, будто его и не было вовсе. В МУРе только диву дались: ну и шалят же в Марьиной роще!

Из ворованных досок сколотил себе будку, окантовал железом. Что осталось, обменял на кожевенный товар и начал заниматься сапожным ремеслом. Сапожники всегда нужны, что в царское, что в советское время.

На рынке и встретил он Глашу. Зимой это было. Затемно, рынок уже гудел. Прибывали хлебные торгаши, и в мясных рядах, откуда несло, как из нужника, начинали торговать студнем из костей.

Появился контуженный телефонист Федя. Мотался сонный между рядами в рваной шинели.

— Федь! — кричали ему торговки-сахаринщицы,— Федь, колбаски хотишь?

— Колбаски? — вздрагивал Федя и подносил к уху кулак.— Живот! — кричал.— Живот, колбаски хотишь? Кто говорит? Федя говорит... Даю отбой!

Сахаринщицы хохотали.

Светало. И вроде как падал снежок. У новых ворот ходил дежурный милиционер. И вдруг услышал Алабин рядом тонкий голосок:

— Лориган, Коти... Лориган, Коти...

Оглянулся, увидел женщину явно из бывших. Шубка на ней была поношенная и серый крестьянский платок.

— Лориган, Коти...

— Чего меняешь? — спросил. Тогда не продавали, меняли.

— Духи. Вам не надо?

— Нам не надо. Нашла товар.

— Лориган, Коти...

Николай Ильич сидел на порожке своей будки, не спеша сучил дратву, подшивал заказчику валенки. Жизнь у него почти что наладилась. Он уже завел нужные знакомства, потихоньку скупал краденое, жратва появилась, начал подкармливать голодных Яшкиных детишек.

Вечером закрывал будку, а та в вытертой шубке все еще ходила по рынку.

— Лориган, Коти...

— Тебя как зовут?

— Глафира Федоровна.

— Выходит, весь день без почина.

— Выходит, так.

— Кушать хочешь?

— Хочу.
— Идем со мной. Чего так мерзнуть... Я тебя покормлю. Идем.
Он привел ее к себе, накормил вареной картошкой и хлебом, старался не смотреть, как она ест, вспомнил того толстого генерала и вышел, сказал в дверях:
— Давай наворачивай. Я сейчас...— И, когда вернулся, она уже прибрала на столе, сидела, грела над печкой руки. Пальцы у нее были длинные, тонкие. Сразу видно, дворянская рука, голубая кровь. Все так, а жрать-то оно всем хочется, что белая кость, что черная...
— Спасибо.
— Пожалуйста вам.
Уходить из тепла на мороз она не спешила, но и не заискивала перед ним и расплачиваться никак не собиралась, сидела молча, смотрела на него без страха, будто он и должен был ее кормить так вот за спасибо только.
— Где живешь, Глафира?
— Где придется. У знакомых живу. Когда у кого.
— Не сладко.
Она была замужем. Ее мужа, полковника, убили еще в шестнадцатом в Карпатах. Сама она жила в Петрограде. В Москве задержалась случайно, приехала с подругой, тоже офицерской вдовой, хотели пробираться на юг — к своим. Подруга заболела тифом.
Он постелил ей у печки. Отдал свою подушку, одеяло, сказал: «Стелись»,— и вышел помыть посуду.
Когда вернулся, она рванула одеяло на плечи, охнула.
— Ну, Глафира, ты это зря... Я других апартаментов не имею. А что касаемо тебя, приставать не буду. Лягу вон в сторонку.
Лег в углу на пол. Задул лампу. Тук, тук, тук стучали часы.
— Спите, Глафира, я ведь не из тех, кто за котлету под юбку лезет.
Она ответила не сразу. Он уже засыпал, когда услышал:
— Дома меня называли Глашей.
Так вот и стали они жить вместе. И было им хорошо. Она все умела. Топить печку, «буржуйка» у него стояла, в самом деле буржуйская роскошь, железный бак с дверцей для дров и труба в окно.
Дрова все попадались сырые, промерзлые, ни огня от них, ни тепла. Утро серое встает над Москвой. Сквозит из всех щелей. Поди-ка растопи. А она умела. Раз, два и готово. Золотые руки были у женщины. Кто научил ее варить суп из селедки, жарить картошку на воде? Он спрашивал:
— Где сподобилась?
Она отвечала:

— В пансионе.

Другая бы рыдала неутешно денно и нощно навзрыд, вспоминала через слово прежнюю жизнь, а эта хоть бы хны. Стирала, шила, пол скребла, стены белила, травила клопов. Не маменька же ей все это показала, не муж полковник приучал.

— Ваше сиятельство, откуда это в тебе?

Она мыла пол, поправила рукой волосы, чтоб в глаза не лезли.

— Николай Ильич, русские бабы везде одинаковые. Что в дворянстве, что в крестьянстве. На женщинах Россия держится. Мужчины у нас, не в обиду вам сказано, по большей части непутевые...

— Ловко руки у тебя пришиты, а говоришь благородная...

— Обманываю, Николай Ильич.

И вот теперь она жила в Сокольниках, в собственном домике, учила детей музыке и хорошим манерам, а он приезжал к ней по выходным дням. Опять же, чтоб не травить гусей. В будни они встречались в других местах.

— Сдается мне, Глаша, что грек Папаянаки таким же макаром, как у меня, взял деньги у Федюшова и у Киссельгофов и хочет слинять. Как сон, как утренний туман.

— Главное, ты не нервничай, давай подумаем, что можно предпринять.

Вспомнили о прошлогоднем деле со взятками в Моссельпроме. Там Папаянаки проходил свидетелем. Свидетелем и только, но если бы следствие получило кой-какие материалы, которыми располагал Николай Ильич, коварный грек незамедлительно загремел бы на Соловки. Это в лучшем случае.

— Объясни его супруге, что обидевшись, ты не совладеешь с собой и сможешь поставить в известность заинтересованную сторону,— посоветовала Глафира Федоровна.— Это, конечно, не симпатично, но пятнадцать тысяч — достаточная сумма.

— Подлый мужик!

— Коммерция, Коко. Свои законы. Но ты не нервничай. Многое должно измениться. Ты еще меня вспомнишь, быть тебе директором-распорядителем Ново-Московского купеческого банка. Большевики должны пойти на уступки.

— Когда, Глаш? Когда? О чем ты?

— Может, уже в этом году,— сказала она весело.— Возьмут да объявят новый декрет к седьмому ноября. Четыре дня осталось. Сегодня какое? У них все разваливается.

— Не смеши меня.

— А почему нет? Восстановить не могут ничего.

— Смешно. Четыре дня осталось...

— Больше ждали.

25

Если бы за рулем сидел не Ципулин, а другой кто-нибудь, получилось бы гораздо хуже. Но Ципулин, бывший начтех автороты, несмотря на усталость, за какую-то секунду до того, как понять, почувствовал инженерным нутром, что с машиной творится неладное и инстинктивно, не убирая скорости,— на нейтраль ни, ни! — мягонько нажал на тормоза. А как нажал, тут его и понесло.

Лопнул шаровой палец рулевого управления, грузовик вильнул в сторону. Сборщиков, стоявших в кузове, свалило с ног.

Никто не пострадал. Схватили оказавшегося рядом сонного извозчика, велели гнать на завод. «Выручай родной!»

Управляющий Георгий Никитич в это время спал в своем кабинете, лежал на диване, накрывшись драповым двубортным пальто и посапывал, как маневровый на малых парах.

Сапоги он стянул, байковые портяночки навернул по-солдатски на голенища, чтоб просохли, только прилег, подоткнув пальто, тут-то и началось:

— Георгий Никитич! Товарищ управляющий, авария!

— Авария!

Королев сел, скинул на пол босые ноги.

— Георгий Никитич, все живы, но вот автомобиль...

— Макаровский уехал? — спросил управляющий, продирая глаза.

— В заводе.

— Сюда его ко мне. Машину на буксире доставить.— И встал.— Где машина?

— Уже везут. Кузяев поехал. У Спасской...

Водой из графина Георгий Никитич всполоснул лицо, вытер носовым платком, сел за стол.

Стол был широкий, черного дерева, не стол — плацкарта. Георгий Никитич давно собирался его сменить, но все руки не доходили до стола. И вообще вся обстановка кабинета сильно его раздражала. Диван, обшитый черной кожей, кресла тоже кожаные и сидеть-то в них холодно и смотреть-то нерадостно. Шкафы, стулья все из черного дуба. На столе пудовый бронзовый прибор, из которого при хозяйском-то подходе вкладыши точить. С жиру бесились, буржуи, мать их к ружье!

Вошел Макаровский с глазами красными от бессонницы.

— Сергей Осипович, чего там?

— Глупости, шаровой палец. Всю партию сейчас переделаем. Это не составляет труда.

— Сколько ж можно, то нос, то хвост!

— А вы как хотели?

— А я порядка хочу!

И тут сдали нервы у Сергея Никитича.

— Я тя научу свободу любить! Это не на Рябушинских работать!

Макаровский и бровью не повел. Сел в кресло. Закинул ногу на ногу.

— Георгий Никитич, вы это бросьте. Человек я нервный и очень сильно пуганый. И мой вам совет, бросьте свои партизанские привычки.

— Я те брошу! Я тебе так брошу! Я вам покажу...

— На «вы» перешли, это хорошо. Вот так и надо,— продолжал Макаровский, как ни в чем не бывало.— Автомобиль — сложная машина, его мало построить, его еще надо довести до кондиции.

Управляющий двинул кулаком по столу. Раз, другой. Но уже ясно было, что остывает.

— Ладно,— сказал,— вы меня, Сергей Осипович, простите, я ведь тоже... человек. Ну, что ж это происходит! Ну, что ж это такое! Сколько ждать еще можно?

— Все готово. Теперь только терпение.

В механосборочном на козлах уже собирали вторую машину, а рядом с ней третью. До седьмого ноября оставалось четыре дня.

Десятый грузовик закончили шестого ночью. Окрасили в красный цвет, цвет революции, и поставили сушить. К утру он обсох, но был липким, и, когда до него дотрагивались, на красной эмали оставались следы.

Все десять машин выстроили в ряд. Гудели моторы, из выхлопных труб вырывались клубы серого дыма. Пели шестерни в коробках передач. Шоферы ходили вокруг машин. Подкачивали баллоны, ставили зажигание.

— Ну, тронулись! — распорядился управляющий.— По машинам!

Колонна двинулась.

Соблюдая дистанцию, выкатывались из заводских ворот. За рулем головного грузовика сидел инженер Ципулин в черных перчатках с крагами. Встречный ветер рвал кумачовое полотнище, прикрепленное по борту. «Рабочий-хозяин строит автопромышленность, которой не было у капиталиста-хозяина!»

Когда въезжали на Красную площадь, оркестр в длинных кавалерийских шинелях, блеснув трубами, заиграл было «Встречный марш», но звуки его потонули в нескончаемом «ура!» и «даешь!»

Грузовики были красные, как знамя. И даже еще красней.

— Да здравствуют советские рабочие!

— Ура!!!

Вся амовская колонна, все те слесари, токари, литейщики, кузнецы, обойщики, сверловщики, инженеры и служащие конторы, счетоводы, бухгалтеры, все, кто ехал на десяти красных грузовиках, и те, кто шел следом, потому что на всех места не хватило, запели «Вихри враждебные».

— «Вихри враждебные веют над нами, темные силы нас злобно гнетут...»

Управляющий Георгий Никитич с глазами, полными слез, с учащенным сердцебиением от восторга и радости, его охвативших, пел вместе со всеми, и ему казалось, что над площадью из всех голосов громче всех его голос поднимается, забирает вверх к куполам Василия Блаженного и катится в четком ритме по зубцам кремлевской стены, как по клавишам.

— «Но мы подымем гордо и смело знамя борьбы за рабочее дело...»

Расцеловав всех, кто оказался рядом, Георгий Никитич уже за Каменным мостом сел в свой «протос» и разрыдался. Кузяев опустил боковое стекло.

— Никитич, ты это... ну... успокойся... Никитич...

— Ой, Петя, сил нет... До какого ж счастья дожил...

А между тем в заводской столовой, украшенной флагами и портретами вождей мирового пролетариата, готовились к торжественному собранию и ждали гостей из ВСНХ, Моссовета, ЦУГАЗа, Металлургтреста, Госбанка... Ждали делегаций от «Динамо», «Серпа и молота», «Красного пролетария».

— «Пусть буржуй пузырится, Коминтерн все ширится, СССР крепчает и к борьбе зовет»,— пели заводские синеблузники. И весь зал подпевал под баян:

— «Покраснел китаец, покраснел индус, я, говорит, хозяина эх, больше не боюсь!»

У заводской проходной возле десяти красных грузовиков стояла толпа, и в ртутной глубине автомобильных фонарей отражались возбужденные лица.

Вспоминали события дня. На Театральной площади, возле здания Автоклуба, когда колонна остановилась, чтобы проверить моторы и подождать отставшую машину, к ним вышли работники клуба и его старые члены, еще с дореволюционным стажем. Начались вопросы, и удивление было чрезвычайное.

— Один дядёк грузовик наш со всех сторон обошел, все клейма осмотрел, ажно под картер заднего моста подлез, гриб старый, и все не верил, что наши машины! «Какого,— спрашивал,— завода».— «С АМО!» — «АМО,— твердит,— машин не выпускает».

— А у нас, ребята, тоже один допытывался, неужто сами сделали.

— Чего один! Считай, каждый спрашивал!

— Шоферам почет! Товарищ Ципулин, сядьте за штурвал, покрасуйтесь, а мы поглядим.

— Подсади, братва, героя труда!

— Да что вы, что вы, товарищи,— смущенно отнекивался Ципулин, и розовая краска заливала его всегда бледное лицо.— Я, я, право... Я понимаю...

Парень в морском бушлате, слегка навеселе по поводу пролетарского праздника, ударил чечеткой: «Эх, яблочко, да на тарелочке, два матроса подрались за одной девочки...» Ему замахали: «Давай другую».

А в столовой на только что сколоченной деревянной сцене синеблузники маршировали, размахивая красным флагом.

— «Нет войны, но враг живет, значит, передышка, коль опять за пулемет, то буржуям крышка!»

— Хорошая песня,— сказал Петр Платонович Кузяев и, наклонившись к сыну, сидящему рядом, зашептал.— Надо тебе, Степка, гармонь купить. Куда как хорошо! Я тебе гармонь куплю...

На него зацыкали:

— Дайте слушать! В самом деле, Петр Платонович.

— Виноват, виноват...— и прошептал совсем тихо в Степино ухо: — Я тебе куплю. Вспомни мои слова!

Когда выходили из столовой, задержались у новых грузовиков. Толпа вокруг не редела. Все свои, автомобильщики. Интересно.

Степа подобрался совсем близко к первому грузовику, чуть было даже на подножку не прыгнул. Грузовик ему понравился. Высокий, со срезанным вперед капотом, с запасным колесом на дверце кабины, АМО-Ф-15 выглядел солидно, мощно. От него пахло бензином, свежей резиной и краской, и было обидно, почему тот дядька на Театральной площади не поверил, что эти грузовики сделаны на АМО.

Сразу после праздников у себя в опытно-показательной школе при заводе «Динамо» Степа рассказывал дружкам о новых автомобилях.

Дружков у него было два, Дениска Шелапут и Витька Оголец.

— Теперь мировая буржуазия присмиреет, будет ждать весны,— сказал Дениска, а Витька ничего не сказал, потому что приближались морозы, вот-вот должна была стать Москва-река и, значит, пора наступала готовиться к кулачным боям. Эти два события — новые автомобили и начало кулачных боев — наложились вместе.

Бывало, каждый выходной с утра дрались на льду симоновские с даниловскими, первых морозов ждали с нетерпением. Оттачивали приемы, чтоб не осрамиться. Учились бить «с бацу».

В тот день была теория. Сидели на Восточной улице, и школьный работник, шкраб Семин, длинный человек в сатиновой толстовке, объяснял, что такое электричество.

— Спросим себя, — объяснял Семин,— что такое электричество? И чтоб ответить на этот вопрос, мы должны вернуться в древние времена, когда первобытные люди в своих пещерах замечали, что если один предмет потереть о другой предмет...

— Слушай, Кузяев,— Витька ткнул Степу локтем.— Пощупай мускул.

— Здоров!

— Стенкой пойдем, я закопёрщиком стану.

— Товарищи! Товарищи будущие рабочие,— Семин постучал по столу сухим пальцем.— Прошу тишины.

Витька заерзал на лавке, глаза его выражали полное внимание.

— Товарищи, если потереть один предмет о другой предмет, вот я беру расческу,— продолжал Семин,— мы имеем явление электрического притягивания.

— Э, Кузяев,— шепнул Дениска глядя на Семина,— как думаешь, а можно на новый грузовик броневой корпус поставить?

— Ясно можно. О том и речь.

— А в башню пушку или пулемет. Ды, ды, ды, ды...

— Тише ты, шкраб смотрит!

Еле дождались конца занятий и, как прозвенел звонок, дообсудили все проблемы на улице. Но Степа задерживаться не мог, надо было сбегать за мясом в кооператив и еще купить гречневой крупы, отец собирался варить кашу. Утром Петр Платонович вымыл большую кастрюлю. Мыл и все удивлялся:

— Хороший анкерок. На полведра будет, а чего мы в нем варили, Степа, последний раз?

— Щи, папа.

— Щи-то щи, да отчего запах рыбный?

— Так ты в нем тельник свой стирал!

— Не, Степа, тельник я в другой кастрюле...

Степа купил мяса и крупы, и уже к бараку своему подходил, как вдруг возник перед ним кулачный боец Федор Кириллович Чичков.

Чичков работал мозольным оператором в банях на Даниловской стороне, но был за симоновцев. Когда-то еще в царские времена он и сам дрался. Про него говорили, что был он знатным бойцом, крепким рукосуем. За удар «с бацу» платили ему большие деньги. Тешил он душу у Бабьегородской плотины, у Пресненской заставы, за Лефортовым, на Ключиках. Тогда кулачные бои в Москве очень любили. Загодя в трактирах обсуждали, какого бойца куда поставить и как начинать.

К тридцати годам Федору Кирилловичу выбили все зубы, нос свернули на сторону. «У меня сикилет аш в семи местах переломанный»,— рассказывал он ребятам. А к Степе имел особое расположение.

— Ну что, Кузяев, скоро в бой подем? Размахнись рука...

— Да надо бы. Пора уж,— солидно отвечал Степа. Ему, нравилось, что Чичков разговаривает с ним, как со взрослым.

— Лед-то уже хороший. Ты, Степа, сегодня с ребятами ко мне подбегай, я вас поучу, как бить надо. В дыхало́ бей! Э, э...

Кулачный боец принял боевую стойку и резко двинул правой снизу.

— О! Эх! Усек?

— Усек.

— Приходи. А то у даниловских Кузьма-то твой шею разъел, сегодня встретил, ушей со спины вовсе и не видать. Какавом кормят.

А познакомился Степа с Федором Кирилловичем прошлой осенью. Ходил Чичков по дворам, искал работу. «Стрижем,— кричал,— бреем... Поросят... котов... скопим... Мозоли, потертости кожи... сничтожаем, лечим...»

У тети Мани был кот Салават, красавец с раскосыми татарскими глазами и розовым атласным носом. Соседка боялась, что кот пойдет однажды на свидание и его украдут, лапочку. Она выглянула в окно, крикнула Чичкову, чтоб зашел.

Выходя от тети Мани, Федор Кириллович вытирал ваткой руки, заметил Степу и спросил:

— Тебе сколько годов набежало?

— Четырнадцать.

— Будет,— уточнила тетя Маня.

— Хорошая у тебя комплектура! Слушай, хотишь я тебя драться выучу? — спросил Федор Кириллович. Так вот они и познакомились.

Степе очень хотелось помериться силой с даниловским Кузьмой. В прошлом году они оказывались в разных концах стенки, но ребята говорили, что бьет тот Кузьма первым и сразу в глаз. Ты еще только думаешь, размышляешь, а он уже хрясь! И редко кто на ногах удерживается. Сразу валились от Кузькиного кулака.

Обычно сражение начиналось с того, что на оба берега высыпала мелюзга. Клопы с семи до двенадцати. И начинали дразниться, языки показывали, фиги. «Твой папка дурак!» — кричали. Потом скатывались на середину, пробовали себя. Кто как мог. Кому-нибудь в одночасье квасили нос, начинался рев.

Петька! — кричали на берегу.— Ванька! Братана твово побили! Малолетку...

Тут уж вступали в бой кузяевские ровесники, пацаны лет до шестнадцати. Взрослые же бойцы еще сидели по домам, ели щи, беседовали о том, о другом, однако, фортки совсем не прикрывали, краем уха прислушивались: как там на берегу, что?

Старый кулачный боец Чичков, выбритый и трезвый, бегал взад-вперед, кричал:

— Эй, конопатый, ну, ну, вдарь с правой! В дыхло́ бей! Эх ты, мазила... Слабак, мама...

Если кто из врагов покидал поле боя, кричал радостно:

— К покрову побег! К покрову! — Или совсем радостно.— Здорово тебя допросили!

Чичков учил ребят, как драться, стыдил, если кто плакал: «Какой же ты русский солдат? Баба ты, сударь!» Показывал, как незаметно сунуть в руку закладку или старый пятак. Но за обман, когда он открывался, били свои и чужие без жалости и без милосердия, и сам же Федор Кириллович громче всех орал с берега:

— Так ему, Иуде искариотской! Чтоб до смертного часу помнил!

В перчатках тоже драться не разрешалось. Только голым кулаком. Говорили, что один даниловский чудак надел варежку и перед боем опустил в воду. На морозе вода застыла и пошел он крушить врагов, орудуя ледяным своим кулаком. Но обман открылся. Били одного обе стенки и хоть правило было всегда — до первой крови и лежачих не трогать, этому сделали исключение. С тех пор на льду он больше не появлялся.

Когда симоновские возвращались с победой, то пели боевую песню кулачных бойцов:

За Москвою, за рекою
Там народ стоит толпою.
В Москве кула-ки-и,
В Москве кулаки.
Стоит Чохов, да Горохов,
Еще Лосев, да Аросьев,
Чичков Федюшка...

Кулачный боец Федор Кириллович смущенно крутил головой, шмыгал кривым носом.

В тот раз мелюзга начала бой лениво. Симоновских погнали.

— Бей их, ребя! Бей автомобильщиков!

— Кузяев,— сказал Витька Оголец, скидывая пальто,— пойдем, что ли? Дениска, ты вперед не лезь. Силы в тебе нет, в тебе злость. Ты на потом!

Сбежали на лед. Из-под того берега мело колючим снегом. С ходу подвернулся какой-то даниловский, уложили отдыхать.

Степе нравились кулачные бои. Любил подраться. Случалось ему прикладывать парней и выше и старше себя. Отец этого не понимал, сердился: «Я тебя, Степка, честное слово, выпорю! Тебе глаз выбьют, тем кончится!» А он не боялся. Чего бояться, ведь все по-честному.

Он не уходил с реки, когда, побросав «польты» на руки перепуганным женам, спускались на подмогу своим жилистые

даниловские ломовики. Они не сразу выступали. Подолгу ждали, когда подойдут к рубежу призывные возраста. Жены кричали, не без гордости, однако, но для порядка, так принято было: «Лешка, Вась! Куды ж вы, господи... Кончайте драку... Что ж это...»

— Наших бьют! — неслось над рекой.— На-а-ших!

— Браты! — кричал кулачный боец Чичков.— Браты, навались!

В тот раз они врезались втроем в даниловскую стенку впереди всех. Уж и Кузьму, на ка́каве вскормленного, увидели. Страшный был тот Кузьма, шапку сбросил, глаза горят и кулачище будь здоров. И вдруг раздалось с берега:

— Тикайте, ребята! Атас! Комсомольцы!

— Вассер!

Даниловские, им видней было, к себе побежали, а симоновские оглянулись и поняли, поздно: с двух сторон окружали их амовские комсомольцы.

Степа в пылу хотел было вырваться, но взяли его крепко.

— Давай, разбойник, двигай в ячейку, шагай...

— Я не разбойник.

— Шагай, шагай. Сейчас выясним, что ты за элемент.

Их отвели в ячейку комсомола. Секретарь говорил, что нельзя бить по морде будущих товарищей по классу, на сознательность нажимал, и прямо в ячейке записали всех в секцию бокса при клубе «Пролетарская кузница», а в следующий выходной устроили на Москве-реке физкультурный праздник и выставили плакат: «Старому быту — гроб, даешь физкультуру и спорт!»

Так вот и кончились кулачные бои. Было это в ноябре 24-го года.

26

Все Кузяевы жили дружно. Виделись на заводе каждый день. Раз в неделю, как минимум, собирались по-родственному попить чайку, обсудить текущий момент, поиграть в лото, в картишки перекинуться по носам. Били всей колодой, но не сильно и хохотали до слез.

Проигравший кричал в окно с седьмого этажа: «Мозгов козлиных можно прислать?» Шутка была такая. Прохожие внизу задирали головы.

Старший, дядя Петя, был человеком молчаливым. Степа его очень уважал и побаивался. При дяде Пете хотелось говорить об умных вещах. Зато с дядей Мишей было легко и весело. Степа любил ходить с ним на базар покупать квашеную капусту.

Дядя пробовал капусту на зуб, проверял на цвет, спрашивал:

— А кочерыжку в нее покрошил? То-то и оно... Без кочерыжки не капуста, бумазея. Не скрипит и крепости нет. Маленько, меленько поруби. Ну, до следующего года, хозяин. Бывай здоров!

И в сале дядя Миша разбирался до тонкостей. Пробовал кусочек, интересовался:

— Кабанчик, свинка? Покрытая, непокрытая? Да.. в следующий раз щетинку палить будешь, мучкой потри.

— Так тер!

Дядя щурил хитрый глаз:

— Тер, говоришь? Ай, яй, яй...

— Ну, мука не та! Ну...

— Вот... Надо с сольцей, чтоб малосол был в копоти.

Дядя Петя жил в огромном восьмиэтажном доме, принадлежавшем когда-то домовладельцу Бурову. Так его и называли — буровский дом. Рябушинские арендовали его для заводских служащих и мастеров.

У дяди Пети была комната на седьмом этаже в большой квартире, где жили еще три семьи, там всегда было шумно и интересно. Там была ванная, уборная, в коридоре на стене висел велосипед, упирался педалью в стену.

Отец с дядей Мишей стояли внизу, ждали лифта, когда спустится, а Степа бежал вверх по лестнице, всегда их опережал и звонил в дверь четыре звонка.

У дяди Пети была семья. От отца Степа знал, что женился Петр Егорович поздно. Его жена, тетя Маша, первого мужа похоронила, и девочка Клава, которая всегда называла дядю Петю папой, совсем даже не его дочка.

Дверь открыла тетя Маша.

— Милости просим. Отдышись, Степа, вот ведь сердечко выпрыгнет. Снегирь, раскраспелся весь.

— Я ничего... Я бежал...

— Вижу, что бежал.

Из коридора выглянул дядя Петя.

— Привет Кузяевым. Отец где?

— Едет...

В комнате у дяди Пети пахло пирогами с вареньем и жареным мясом.

— Садитесь, гости дорогие. Обедать будем.

Девочка Клава, причесанная, с бантиками в косичках, сидела на диване, делала уроки.

В комнате стоял круглый стол, накрытый белой скатертью, а не клеенкой. Был дубовый буфет с посудой. На стене висела фотография Сакко и Ванцетти и зеркало там блестело, украшенное двумя крахмальными расшитыми полотенцами.

Всю мебель — и буфет, и стол, и стулья — дядя Петя сделал сам. Отец всегда им восхищался, говорил: «Человек он технически грамотный». Таким же был младший брат, Вася, Васятка, но сгорел в гражданскую в Крыму. О нем вспоминали со вздохами и пили, чтоб пухом была ему сухая перекопская земля.

Сели обедать, ели бульон с гренками, хвалили тетю Машу. Потом было мясо в соусе, а потом чай с пирогом.

Взрослые говорили о заводских делах.

— Я б на твоем месте,— доказывал отцу дядя Миша,— давно бы пошел на повышение! Уж и в партячейке неоднократно и давно говорят, что ты вырос, партиец, рабочий человек, пора тебе в выдвиженцы. Пора, Петруша. Я тебе говорю...

— Я командовать не умею,— оправдывался отец.— За штурвалом ничего, а как психану, то с тормозов меня сносит.

— Ты ж самоотвод себе в прошлый раз дал по совокупности нервной системы. Так и в протокол занесли!

Отец смущенно улыбался. Он боялся ответственной работы, потому что не умел командовать. Ему не нравилось повелевать и не умел он этого. Он лучше сам готов был все сделать тихо и спокойно, чем просить кого-то.

— Я понимаю, что такой подход для партийца негодный, но ничего с собой поделать не могу. Да и шоферскую работу люблю.

— Ничего, Петруша, главным быть не главное,— кивнул дядя Петя.— Делай, как душа велит.

— Видал! Старорежимное выискали название — душа. А я б на твоем месте пошел,— шумел дядя Миша.

— Ничего, ничего...

— Во тетери, во тетери! Маша, ты бы им втолковала.

— А может, ему от высокого поста радости нет?

— Радости...

— Совсем забыл! — обрадовался дядя Петя.— Вы Фильку Беспалова помните? Ну, того, который в Сухоносове всю жизнь коров пас, хвосты им крутил? Так вот, Филька теперя кондуктор! На транвае катается. Встретишь, не узнаешь. Он свою силу почувствовал, показалось ему, что он ныне после пастухов-то очень главный. Остановки объявляет, на пассажиров покрикивает. Ему от этого возвышение. И радость. Отца помнит, пороли, деда пороли, сам бывало портки на миру сымал, только улыбался. А теперя начальник!

— Ну это вы бросьте,— вставил дядя Миша.— И все равно Петруша не прав! Вон смотри, Сеньку Малочаева из кузовного на дирехтора банка выдвигают. В царское время вашим превосходительством именовался бы!

— Да и снимут его! Ведь в нем одна видимость. Он же считать-то не умеет. Если в магазин за бутылкой с посудой пойдет, запутается, а тут банк!

— Может, и управляющего нашего снимут?

— Сам уйдет. Считай со дня на день.

— Это почему? Ты скажешь, Петруша.

— Хороший Никитич мужик. Но не тянет. Нет в нем инженерной грамоты. Не разбирается в деле, как надо.

А Степа ел пирог, варенье текло по щекам и к разговорам взрослых прислушивался вполуха. Ему просто нравилось в гостях у дяди Пети. Нравилась тетя Маша, ее белые руки, нравились цветные стеклышки в буфете и то, что в чистой их комнате все стоит по местам аккуратно и уютно. Только девочка Клава смущала Степу. Она вырезала салфеточки из бумаги.

— Хотите я вас научу?

— Спасибо.

Еще у нее была тетрадка, в которую она записывала песни и стихи.

— Желаете почитать, я новые достала.

Он сидел на диване с Клавиной тетрадкой в руках и стеснялся, что занят таким девчачьим делом: стихи читает. Было ему не по себе, интересно и неловко. Вдруг как-то само это пришло, что среди девчонок есть некоторые очень даже ничего. Раньше он этого не замечал. Что ребята, что девчонки, разве что не дерутся те, да ябедничают Семину. «Товарищ Семин, а чего меня Огольцов за волосы дергает...» Шкраб стучал линейкой по столу: «Огольцов, прекратите ваше безобразие!» А тут начал замечать Степа, краснея, что говорят девчонки иначе и походка у них другая, не такая как у ребят, и красивые они.

Степе захотелось любви. Смутное какое-то чувство захлестнуло его. Начал он представлять себя взрослым, женатым человеком, и получалось, что жена у него будет такая же, как тетя Маша. Тем же движением руки будет поправлять волосы. Такой же будет стоять в их комнате буфет. И тоже будут в выходные дни пироги с вареньем, и будут приходить к ним в гости Витька и Дениска и рассказывать будут заводские новости.

Степа еле дождался лета. В деревню ехал в предчувствии необыкновенной встречи. Там уже водили хороводы, играли в горелки, в жгуты, в оленя и еще — в фанты.

Он приехал на самый сенокос. Косили всей деревней, звенели косами по трухачевским, по никитинским лугам, добирались до дальних углов.

В первое же утро разбудил его Ванька Кулевич, худой, загорелый: «Вставай, Степка, косить будем!»

Отбил косу, мать завтрак приготовила. Дни стояли жаркие. В траве гудели пчелы. Пахло медом, кашкой. Бабы в ярких платьях сгребали сено граблями. Пот струился по спине и высыхал на солнце.

— Это тебе не в городе на всем готовом,— смеялся Иван.

Работу кончали с вечерней росой. Дома ужинали. Косцов плотно кормили, да и как иначе: за день намахаешься, руки-ноги гудят и глаза сами закрываются.

Взрослые мужики валились спать, а молодежь одевалась, ребята накидывали пиджаки, брали гармошку, гармониста — вперед и шли гулять по соседним деревням — в Тростье, в Трояново, в Грибовку... Чем дальше, тем девки лучше.

Степа рассказал Ивану о городском житье, об автомобилях, о кулачных боях, и деревенский друг все понял.

Голубые Ванькины глаза, всегда смешливые, сделались серьезными. Он наморщил лоб и вспомнил почему-то, что за селом Угодский завод стоит в лесах деревня Усадьбы, а в тех Усадьбах живет Анька, первая раскрасавица, красивей которой нет во всей волости. Ее заготовитель из Калуги украсть хотел.

— Кралечка собой натурально первый сорт!

— Видел что ли?

— Один раз. Я тебе говорю, Степа, лучше не бывает.

Решили наведаться в Усадьбы. Далековато, конечно, но Иван уговорил всю компанию, и пошли вечером.

Степа взял с собой новую гармошку, отец слово сдержал, купил! И хоть играл Степа не очень, только «Дунайские волны», да еще две песни, но ради той Аньки решился.

Шел не просто так. Иван придумал хитрость для проверки Анькиных чувств. Городского парня просто полюбить, а вот пусть пастуха полюбит. Обул Степа лапти, надел старенькую рубашку и штаны не новые. Мать только охнула: «Куда ж это ты?» Но, видимо, догадалась обо всем и расспрашивать не стала.

Картуз надел Степа новенький, такой хороший картуз был, касторовый, а козырек лаковый. Но это он решил можно. Скажет Аньке, что одолжил у приятеля вместе с гармошкой, пофорсить.

В Усадьбах комаревских ухажеров встретили весело. Летом в лесах хорошо слышно.

Шли, пели: «А как ра-адная миня мать а права-жа-ла-а... ух, ах...»

Невесты успели приодеться, расселись на бревнышках у пруда. Сидели, хихикали.

Степа сразу увидел Аньку. Не спрашивая, понял, что это она. Анька та устроилась с двумя подружками чуть в стороне от всех. Над лесом вставала луна. В темноте сияли большие Анькины глаза. Светлая полоса легла на ее колени и лениво сложенные руки. Она сидела молча, но по тому, как наклонялись к ней подружки, как она выслушивала их шепот, сразу было ясно, цену себе Анька очень даже хорошо понимает. Первая девка — это чин!

Степу усадили в самый центр. Для гармониста всегда лучшее место. Заказали кадриль.

Как только начались танцы, подошли молодые бабы и женатые парни. Сами не танцевали, если только шутя, баба с бабой и в сторонке. Стояли тихо, посмеивались, лузгали семечки. Хорошо играет пастушок, старается.

Натанцевавшись, начали расходиться парочками. Накрывали девушек пиджаками, рассаживались по крылечкам, кто где. Беседовали. Прутиком чертили землю.

Красавицу Аньку никто не выбрал. Наверное, Иван большую работу провел. Подруг увели, а она осталась одна и както даже забеспокоилась: что случилось?

Они оказались вдвоем, Анька и Степа.

— Хотите я вам вальс сыграю? — предложил, подсаживаясь ближе.

— Ну, сыграй. Послушаю.

Голос у Аньки был грустный, и Степа, кроме «Дунайских волн», сыграл еще «Цыпленка жареного»: «Цыпленок жареный, цыпленок пареный, пошел по Невскому гулять» — но без аккомпанемента, потому что еще как следует не разучил.

— Нравится?

— Как вам сказать... Музыка...

Рядом в пруду ходила большая сонная рыба. Все никак не могла успокоиться, плюхала хвостом, ныряла на глубину в холод и снова поднималась наверх. В Усадьбах давно спали. Шумели леса кругом, ворочались на насестах куры.

Степа проводил первую красавицу до крыльца, предложил посидеть на лавочке.

— А зачем? — спросила она, глядя ему в глаза.

— Как знаете.

В лунном свете деревня стояла вся белая, крыши белые, трубы, деревья...

— Вы лунатиков боитеся?

— Это почему?

— Отец говорит, есть такие, по крышам ходют. Смешно.

— Придумают пастухи,— Анька повела плечами.— Тоже пастух?

— Отец-то? А мы вместе пасем.

Анька вздохнула.

— До свиданья вам. Я пойду.

Не хочет со мной дружить, понял Степа. Не нравится, что пастух. И заныло под ложечкой — за что ж так? И захотелось сказать Аньке что-нибудь обидное, открыться, что живет он в городе, что видел разных, которых с ней не сравнить. И про заготовителя калужского вспомнить, про дурака. Но он ничего не сказал. Свистнул в два пальца, чтоб ребята слышали: пора домой собираться. Больше в Усадьбы он не заглядывал. А много лет спустя рассказал ему Иван Кулевич, партизанский ста-

роста, что в сорок первом году нагрянули в ту лесную деревню немецкие каратели.

Все избы подожгли, жителей вывели к пруду и начали стрелять. Анька та стояла с дочками. Двое их у нее было.

Расстреливали из пулемета. Как дали первый залп, Анька упала на свою младшенькую и, истекая кровью, теряя сознание все гладила и гладила девочку по головке, чтоб та не испугалась, не закричала... «Все хорошо, все хорошо, доченька, лежи тихо».

И когда узнал об этом Степан Петрович Кузяев, далекий летний вечер вспомнился ему, преисполненный тепла, радости жизни, восторга юности. Захотелось плакать, как маленькому, долго и навзрыд. Захотелось повернуть все назад, начать с начала, так же неколебимо веря, что жизнь дана для счастья, для песен, для любви.

Из Усадьб он вернулся расстроенный до бесконечности. Три вечера не ходил гулять, и бабушка Акулина Егоровна, совсем старенькая, спекла ему пирожков с изюмом, чтоб не переживал и объясняла: «У девки ум, как у телки... А мужчина, он хозяин».

Лето в тот год стояло душное. Горели леса, пыль на дорогах поднимало до небес.

Как кончился сенокос, начал Степа проситься в Сухоносово, к дедушке. В другое время мать бы не отпустила, она своего свекра почему-то недолюбливала. Но тут, поскольку дошло до ее материнского сердца, что сыночка обидели, без всяких уговоров разрешила. И еще велела передавать приветы родне, кланяться бабе Дуне Масленке.

Оба брата, курносая команда, Филька и Колька, старшему — десять, младшему — семь, ударились в рев. «И мы к дедушке хотим! И мы! Возьми, Степа, с собой...» Ладно, сказал, в другой раз. Взял гармонь на ремень через плечо и пошел.

На старости лет сделался Платон Андреевич совершенным книгочеем. Раньше тоже почитывал «Битву русских с кабардинцами», «Прения живота со смертью» про злоключения Аники-воина, а тут начал читать «Правду» и крестьянскую газету «Беднота», спорил с дедом Иваном, обсуждая международное положение, и предложил устроить в Сухоносове избу-читальню.

— Нет,— говорил дед Иван,— я германца знаю! Германец на революцию не готов!

При этих словах Степа как раз и ввалился в избу.

— Степушка!

— Вспомнил, сокол...

Заворочался у печки старый пес, тяжело поднялся, завилял хвостом, узнал Степу.

— Деда, смотри какая гармонь!

— Ну, сыграй нам чего-нибудь,— засмеялся дед Иван, совсем белый старик с веселыми глазами и большим носом, густо

разрисованным красными жилками. Говорили, дед Иван когда-то очень любил пображничать.

— Давай, давай, Степан, порадуй песней.

— Отец учил. Но я не все еще умею...

— Садись.

— «Доставались ку-у-дри, доставались русы ста-рой ба-а-бушке чесать»,— запел Степа и раздвинул меха.

— Э, нет,— остановил его дедушка.— Нам про бабушку не надо.

— «Дунайские волны» могу.

— «Дунайские волны» давай.

Кончилось тем, что Степа сыграл все, что знал. Слушали его внимательно. Затем Степу заставили поужинать, а Платон Андреевич возобновил прерванный разговор.

— Дело не в немце, а в том, что Россия была доведена до революционной ситуации общим недовольством.

— Я у немца в плену жил, там народ другой. У него механизмов больше...

— А мы тоже машины строим вовсю! — вставил Степа.— Уж и план на завод спустили, и фонды, отец говорит, дали.

— Ты того, Иван, не понимаешь, что русский человек всегда честности хотел, справедливости,— не слушая Степу продолжал дедушка.

— А бога зачем отменили?

— Его никто не отменял, его от государства отлучили! Я вот как держал иконы в дому, так и держу. И крест нательный на мне.

— Отец говорит, бога нет,— сказал Степа.

— Ты слушай его больше! Ты меня слушай! Что по-старому, что по-новому, а отец главней сына!

— Старше,— поправил дед Иван со вздохом.

— Отец что, разве глупый? — обиделся Степа.— Глупей тебя, деда?

— Дожили!

— Да не глупей, нет,— отмахнулся дед.— Разные мы с ним. Я в дело каждую железку тащил, а он — слово. Словечко услыхал и уж вертит его и так и эдак...

— Эх, Платон Андреевич, ни сеялка, ни веялка живых рук заменить не может, а помощь большая. У немцев механизмы кругом...

Когда-то давным-давно это было, все Кузяевы, сыновья и дочери, жили у дедушки, в большом его доме, но поженились все, повыходили замуж, разъехались по другим деревням, жили своими семьями. Аграфена Кондратьевна умерла, Степа ее не помнил и считал, что больше всех на свете дедушка всегда любил его и Полкана. Но ему хотелось, чтоб дедушка любил и отца, поэтому еще раз похвастался гармонью, сказал:

— Смотри какая! Отец купил. Восьмипланка. Двухрядка. Русский строй. Дедушка, а ты умеешь на гармони?

— Не.

— Хочешь научу?

— Поздно,— засмеялся дедушка.— Поздно. Мы с Иваном уже старички. И Полкаша наш старичок. А ты-то ученье мое помнишь?

— Помню!

— Ну-ка? Всем рекам река?

— Е... Ефрат! — выпалил Степа.

— Всем горам гора?

— Фавор.

— Всем древам древо?

— Кипарис, деда! Лев зверь всем зверям царь!

— А всем птицам птица?

— Орел!

— Помнишь. Молодец!

— Дедушка, давай завтра в лес! Гармонь возьмем. Отец говорит, в лесу резонанс.

— Ну, что ж, давай. Только гармонь зачем? По грибы пойдем. Ивана вот возьмем.

Дед Иван идти в лес отказался. Еще посидел, поспорил с Платоном Андреевичем насчет аграрной политики и механизации крестьянских работ и, зевая, отправился спать.

А утром, едва рассвело, Степа вместе с дедушкой тронулись по грибы. Ничего не набрали почти. Рано. Но находились досыта! Выбрали полянку покрасивей, сели передохнуть, и дедушка Платон Андреевич, щурясь на раннее солнце, сказал, покашливая: «Может, и не свидимся больше, срок мой подходит...» Просто сказал и тихо. Над его головой лопотали березки. Плыли белые облака, дедушка сидел весь в солнечных пятнах, положив руку на корзинку. «Когда я твоего отца в Москву провожал, я ему то же сказал, что и тебе скажу: держи по Ивану Великому!»

Поляна покато спускалась к оврагу. Там лежало поваленное дерево. Трепетали над ним кусты бузины. Фиолетовые и красные цветы горели. «Держи по Ивану Великому!». Что хотел этим сказать дедушка, какой давал совет, Степа не понял, но запомнил.

27

Всякий раз, попадая в Москву, инженер Бондарев испытывал странное чувство тоски и радости бытия. Хотелось жить хотелось плакать, хотелось курить в какой-нибудь студенческой комнатушке на Козихе или на Бронной и чтоб было открыто окно и там вовсю светило солнце и доносились оттуда

уличный гул, скрип колес, шум толпы и московские, ни с чем не сравнимые запахи.

Он дал себе зарок: никогда не возвращаться в этот город. Но... «Невольны мы в самих себе и в молодые наши леты даем поспешные обеты...» Все верно! Именно так. Слишком поспешные и «смешные, может быть, всевидящей судьбе».

В семнадцатом году он уехал в Харьков, устроился на тихую должность в кооперативный банк. Как-то попросил жену сшить себе синие сатиновые нарукавники, чтоб не лоснились рукава, и еще — подушечку на стул. Хорошо бы из войлока.

— Уходя со службы, я буду прятать ее в стол.

— Зачем тебе, Дима, подушечка?

— Очень от геморроя помогает, Надя.

Усталость это не просто состояние. Усталость это отношение к жизни. Вспоминал или нет он друга своей инженерной юности Кирюшку Мансурова и его показавшиеся ему когда-то такими странными слова: «Я устал, Митя?!»

Можно лечь и заснуть, и отдохнуть, и проснуться свежим и радостным, но, что, например, делать с металлом, если есть такой не слишком специальный, но достаточно строгий термин — «усталость металлов, изменение свойств от воздействия испытываемых нагрузок». «Я стал другим»,— решил он, и это как будто ничуть его не расстроило. Другим, и ладно.

По стране, по бескрайним степям разливалась, неслась яростным аллюром, тяжело катила бронепоездами гражданская война. За землю. За волю. За светлую долю... Это потом пели. А тогда что он видел? Отставной инженер. Он видел и красных, и белых, и конников батьки Махно. Как-то недели две висело возле его дома через улицу черное полотнище, белые буквы: «Анархия — мать порядка!». Оркестр играл марши и мазурки, и дирижер в английском френче дирижировал, размахивая маузером.

Молчаливый инженер, проектировавший автомобильные заводы, кого мог интересовать он в такое беспокойное время? О нем забыли. Он канул в Лету. И слава богу, что забыли, что канул...

Просыпался рано утром, ел пшенную кашу. Шел на службу. В обед ел пшенный суп. Ужинал опять же пшенной кашей. Носил полотняные туфли, чистил их зубным порошком и на ночь выставлял за окно, чтоб высохли. Такая жизнь его вроде бы вполне устраивала. Без удобств, но и без особых хлопот. Настоящего дела не было. Зато можно было долгими вечерами сидеть во дворе под старым каштаном и думать о чем-нибудь совершенно несбыточном, ну, о полетах на Марс, например, или беседовать с соседом старичком Александром Ксенофонтовичем о смысле жизни и читать вслух при керосиновой лампе велимудрого дьяка Тимофеева о бедах и напа-

стях русским людям в смутное время. «Многие славные страны враждебно завидовали стране нашей, ибо многие годы изобиловала она всякими благами. Обратимся же к себе и в самих себе постараемся найти грехи, за которые наказана земля наша. Не за бессловесное ли наше молчание? Ибо согрешили мы от головы до ног, от великих и до малых, то есть от святителей и царя, иноков и святых...»

О нем вспомнили в 21-м году, в самый разгар топливного голода.

Вдруг в банк пришла правительственная телеграмма. Его срочно пригласил управляющий и, волнуясь, зачитал, что его вызывают в Москву в Главсельмаш при ВСНХ. «Дмитрию Дмитриевичу Бондареву нужен ваш опыт ждем Москве срочно». Этого он не ожидал! Кому нужен? Какой опыт? Зачем нужен?

Вдоль железнодорожных путей от Харькова до Москвы по откосам валялись разбитые паровозы, искромсанные остовы вагонов, прошитые пулеметным огнем. Ветер скрежетал ржавым железом, раскачивал оборванные провода. Стояли мертвые заводы, фабрики, сожженные дома, взорванные мосты. За пыльным вагонным окном бескрайней картиной вставала разруха. Разруха, разруха... Страшное русское слово! Кручина, старуха, краюха...

Его встречал Строганов. Бежал по перрону, раскинув руки,

— Васька! Базиль!

Старый паровоз отдувался паром. Из обшарпанных вагонов вылезали на перрон красноармейцы в серых шлемах.

— Дим Димыч! Мы тебя, как господа бога, дожидаемся! Тут такие планы, такие планы... Дай я тебя обниму.

— О чем ты? Какие планы?

В ВСНХ ему сказали, что готовится решение строить заводы по производству сельскохозяйственных машин. Тракторы. Комбайны. Массовое производство. Инженерная композиция.

— Вы оторваны от реальности. В стране нет хлеба, нет топлива...

— Будет!

— Нет денег.

— Для вашего завода найдем.

И снова: «Какие методологические предпосылки, какие технологические и строительные принципы положить в основу проекта нового, самого нужного стране завода?» И снова: «Митя, ты нужен! Тебя помнят, Митя! Страна в руинах, твоя страна, голодная, промерзшая, ждет твоего решения, инженер Бондарев, и светит тебе зеленая стрела инженерной удачи...» И встает откуда-то со дна золотым колечком ощущение счастья. Предчувствие. Лиза! Где она?

«Это зов моей Родины! — писал он.— Я построю этот завод, не приглашая со стороны никого. Достаточно будет только молодых инженеров своей, отечественной школы».

И еще одно письмо: «Дорогой Дмитрий Дмитриевич! — писали ему из ВСНХ.— Назначение Вас главным инженером Сельмашстроя не случайно. Необходимо, чтобы во время проектирования и организации работ во главе стало лицо, совмещающее в себе ряд качеств, которыми и в одиночку, право, гордился бы человек. Тончайший техник и всесторонний эрудит в Вас сочетается с талантом энергичного организатора производства; большой опыт по сооружению и реконструкции заводов и всевидящая осмотрительность при постановке и решении проблем у Вас соединяется со смелым новаторством и техническим риском...»

Он помолодел. Он снова стал Митей, седой сухощавый инженер с прямым пробором и аккуратной бородкой клинышком.

Теперь вся его жизнь целиком и без остатка посвящалась новому заводу. И однажды, совершенно неожиданно, к нему в кабинет войдет иностранец, господин Курт Корбе, инженер из Бремена, вежливо поклонится и заговорит на хорошем русском языке.

— Господин Бондарев, моя фирма предлагает вам на ваше усмотрение по весьма скромным ценам прессовое оборудование, металлорежущие станки...

Немец выглядел моложаво, спортивно. Его розовые щеки, аккуратно выбритые, туго подрагивали, светлые глаза смотрели вполне жизнерадостно, а голос звучал лениво и сыто, как и положено звучать голосу змея-искусителя.

— Я осмелюсь оставить вам проспекты.

— Благодарю. Я ознакомлюсь.

— Вот вам моя визитная карточка. Мой адрес и телефон. Можете телефонировать в любое время.

— Благодарю вас.

Гость встал и уже в дверях обернулся.

— Да... Дмитрий Дмитриевич. у меня к вам кой-какие письма. Я не захватил, они дома. Игорь Иванович Сикорский, ваш друг Мансуров...

— Где они? Живы?

— Каждый вечер я дома и к вашим услугам. Хоть сегодня. Милости прошу.

Корбе поклонился и прикрыл за собой дверь.

Игорь? Где он, создатель «Ильи Муромца»? Кирюшка Мансуров? Что с ним?.. Нет, он не мог ждать и в тот же вечер отправился по указанному адресу. Плутал в заснеженных переулках. Было темно и безлюдно. Наконец, он нашел нужный дом, прочитал на заиндевелой медной дощечке: «К. Корбе, инженер, г. Бремен. Поставка и монтаж землеройных и подъ-

емных механизмов». Звонок не работал. Пришлось постучать. Открыл сам Корбе.

— А... Дмитрий Дмитриевич! Я заждался.

Помог снять пальто.

— Милости прошу к нашему шалашу. Я волновался, уж не окоченели ли вы. Мороз буквально рождественский, костолом. Все живое попряталось... Называйте меня Курт Карлович.

Корбе говорил по-русски прекрасно, но не настолько хорошо, чтоб говорить просто. Он явно щеголял знанием чужого языка и любовался собой. Пожалуй, только это любование и выдавало в нем иностранца. А так все повадки у Курта Карловича были самые что ни на есть расейские.

Бондарев вошел в ярко освещенную комнату с высоким лепным потолком. По стенам висели картины в рамах, без рам, матово светился за стеклами стеллажей и горок фарфор и сверкал оправленный в серебро хрусталь. Все как в лавке у богатого антиквара.

— Моя коллекция,— поймав взгляд Бондарева, пояснил хозяин.

Перво-наперво пригласил к столу. Из хрустального графинчика налил стопку.

— Для сугрева души,— рассмеялся.

Стол был накрыт тет-а-тет. Выпили по первой. Без тоста. «Со свиданьицем,— кивнул Курт Карлович.— Хорошо пошла, ой... Как Христосик босыми ногами...»

В комнате было тепло. В мраморном камине за чугунной решеткой весело потрескивало желтое пламя. Наверное, еще минуту назад Курт Карлович сидел в репсовом кресле у камина, листал книгу в старинном переплете с зазеленелыми застежками. Книга лежала раскрытой рядом с пепельницей, где еще дымился нервно изжеванный огрызок сигары. Дмитрий Дмитриевич заметил это и сделал вывод, что Корбе заинтересован в их встрече гораздо больше, чем он, ждет и нервничает.

— Мы можем говорить откровенно. Разрешите повторить по единой. С вашего разрешения. Отменная водка! Поросеночка берите. Совсем молоденький. Подсосочек.

— Благодарю.

— Ваши друзья вас помнят. О, эти старые годы. Жюльен Поттера, Отто Валентин, вам о чем-нибудь говорят эти имена? Я немножко в курсе дела. Мне рассказывали о вашей службе на Руссо-Балте. Позвольте ваше здоровье!

— Вы мне льстите.

— О чем вы, Дмитрий Дмитриевич. О чем, душа моя? Друзья ждут вас с распростертыми объятиями. Господин Мур предлагает вам место технического директора его фирмы.

— Любопытно, но как рисуется господину Муру мой отъезд из России?

— Нет ничего проще! — глаза Курта Карловича вспыхнули веселым огнем.— Все продумано в деталях. Как это по-русски? От головы до пяток...

— Допустим.

— Я не змей-искуситель, а вы не Ева. Вы скорей то яблоко, которое хочется сорвать многим. Предлагайте любые условия. Я уполномочен от лица господина Мура заключить с вами контракт здесь же в Москве. Поймите, кому вы нужны в этой стране! Да, да, я все понимаю: родина, отечество, воспоминания юности, дорогие могилы, серые кресты под дождиком осенним. Но вы великий человек. Есть долг перед своим призванием, перед той божьей искрой, которая разгорелась в вас. Спросите меня: где инженер Ломоносов? Отвечу — в Берлине. Мансуров, который велел вам кланяться,— в Берлине. Игорь Иванович Сикорский работает в Америке. Он считает, что за океаном встретят вас с колокольным звоном! Но мой вам совет, ответьте согласием на предложение господина Мура.

— Любопытно. Я думал, обо мне уже все забыли.

— О вас! Зачем так... В ближайшее время вам предоставляется командировка в Европу по линии Главсельмаша...

— Это еще не решено.

— Вы не знаете, уже все подписано. Еще вчера. У нас есть свои люди, и, как видите, нам кое-что бывает известно заранее. Вы получаете все документы и через Польшу поездом или через Ревель пароходом отбываете к друзьям.

— У меня семья.

— Проще простого! Командировка длительная, вы ставите условием, чтобы с вами ехала мадам Бондарева и дети. Вам ведь не с кем их оставить? Не так ли? Кто может вам отказать? Сейчас они зависят от вас.

— Не так все просто...

— Вы о чем, Дмитрий Дмитриевич? Господин Мур говорил мне, что готов вывезти вас нелегальным путем. Если что.

— Он прав,— Бондарев усмехнулся,— я прекрасный конспиратор.

— Достаточно, что вы прекрасный инженер! Если ничего не получится с командировкой, почему бы вам не поехать с семьей отдохнуть куда-нибудь к морю. А там будет стоять в порту пароход. У капитана будут определенные инструкции. А потом, я открываю вам карты, последний раз Мур решал на совете директоров такой вопрос, как возможность вывезти вас на субмарине.

— Совсем весело!

— Если вы позволите, сегодня же вечером я буду телеграфировать в правление, что имел с вами предварительную беседу и достигнуты определенные результаты.

— Нет, это, пожалуй, преждевременно. Я тронут вниманием своих коллег, но я ведь не только инженер.

— О, да! Вы хотите сказать, что вы еще и русский инженер. Игорь Иванович — тоже русский инженер. Он готов строить аэропланы в Америке. Юрий Владимирович Ломоносов — тоже русский, но в Германии ему создали лучшие условия, чем дома, и он строит в Германии новые локомотивы. Им совсем неплохо, хотя они и не имеют таких влиятельных друзей, как Фердинанд Мур! Как Отто Валентин, как Жюльен Поттера! И нет в их биографиях таких успехов, которые связаны с вашим именем.

— Я начинаю верить, что я знаменитость.

Курт Карлович налил водки, выпил единым махом. Он явно нервничал. Комиссионные ему что ли полагались при успешном окончании дела.

— Поймите меня,— сказал он, прикладывая ладони к груди,— где могут воплотиться ваши идеи? В стране, где нет ни промышленности, ни инженерной настоящей школы, ни грамотного подхода к вопросам техники. Все потеряно! Я понимаю, я хорошо понимаю, что вы заранее тоскуете по вашей оставленной родине. Я сам люблю Россию искренне и нежно. Русскую душу, русское искусство я люблю. Но сатана меня забодай, сколько еще продержатся большевики? Нэп — это их закат. Все! Они сами расписались в своей беспомощности. Если вам будет угодно, вы вернетесь через три, через пять лет. Это если вам захочется. Но я полагаю, вы будете наезжать домой в гости. Настоящий ваш дом будет там. В данном время и в ближайшее обозримое у России нет своего технического лица. Все потеряно. И чтоб это наверстать, нужны годы и годы и, между прочим, другой режим. Свои автомобили Россия начнет строить уже не при большевиках.

— Тем не менее АМО работает.

— На АМО... Это на том заводе, откуда вывезли вас на тачке? Извините, я понимаю, вам больно. Но хотите ли вы повторения случившегося? Где гарантии, что этого не произойдет впредь? Нет гарантий. То-то и оно! Между прочим, я видел эти автомобили, эти четырехколесные ублюдки, собранные на колене при помощи исключительно только молотка и русского ключа кувалдометра.

— Главное — начать.

— О ля-ля... Вы романтик!

И почему он сразу не остановил этого иностранца? Не сказал, чтоб замолчал. Приятно было сидеть за хорошо накрытым столом, приятно, что его помнят. И этот скряга Мур готов на любые условия. Какому бы инженеру это не польстило? Слаб человек. Он сказал:

— Я подумаю.— И встал, и повел плечами, вспомнив холодный ветер на улицах, и снег, и беспризорников, гревшихся на углу под котлом, в котором когда-то варили асфальт.— Я подумаю, господин Корбе...

А собственно, о чем он должен был думать? Все уже было решено. Ему светила его зеленая стрела, и жизнь открывалась, преисполненная огромным смыслом. Что выше этого смысла? Сытость? Спокойствие? Глупости все...

— Вы говорили о письмах?

— О да, Дмитрий Дмитриевич. Вот, пожалуйста. От Мансурова одно. И почтовая карточка от Сикорского...

— Я прочитаю дома.

— Разрешите проводить вас?

По снежным переулкам вышли на Тверскую. Корбе говорил о гибели России, о всемирном хаосе разрушения, который несут большевики, об ужасе и оцепенении, охвативших цивилизованный мир. Ветер бил в лицо, колючий, снежный ветер. Мотался впереди тусклый фонарь, и казалось, что вся эта снежная круговерть сыплется из того фонаря, будто из разверзнутого жерла с безумным напором и непостижимой скоростью. Скрипела на ветру дверь. Дребезжало стекло. Снег скреб по промерзлым стенам, как наждак. С тем же звуком. Надо было скорей добраться до дома, вытянуть озябшие руки над горячей печкой и, едва начнут сгибаться пальцы, достать из кармана письма от Игоря и от Кирюшки. Он все-таки нашел в себе силы не читать письма друзей при Корбе. Ведь нашел же! Это правильно. Вспомнил теплую комнату, в которой они сидели. Картины, тусклое сияние бронзы и в передней, возле вешалки, мраморного императора Павла в треугольной шляпе с тростью. Из музея, небось, сперли, решил. Разворовывают Россию, сволочи...

— Благодарю вас.

— Стоит ли? Господин Бондарев, я...

— Не надо хлопот. Дальше я доберусь один.

Корбе приподнял бобровую шапку. Адью. Но он еще не все сказал. Он не думал так быстро расстаться. В самом деле... И с какой стати... «Ох уж, эти гении! Ох уж, эти фанатики, одержимые идеей, как же с ними трудно, знал бы господин Мур!..» — думал он, глядя вслед быстро удаляющейся от него тени. Сыпал снег. Корбе отпахнул шубу, достал носовой платок, вытер лицо. Бондарев был уже далеко. «Дмитрий Дмитриевич!» — хотелось крикнуть в голос. Но сдержался. Он решил не торопить события. У него оставался еще один козырь.

28

Разговоры о том, что Королева снимают с должности, ходили давно. Георгий Никитич и сам не хотел быть управляющим. В Автотресте его обвиняли в том, что он допускает сепаратизм, не занимается вопросами реорганизации, усложняет

трудности, нет у него технического взгляда, нет зрелости в решениях, того, сего нет, короче, крыли его по всем статьям. Он только отругивался.

— Мать их в ружье! Это я-то не большевик? Я?..

— Да большевик ты, большевик, но в автомобилях ни хрена не петришь! — кричал на него руководитель Автотреста товарищ Урываев, тоже в прошлом кузнец, но не с Коломенского, а с Брянского завода.

Георгий Никитич считал товарища Урываева мировым парнем, а потому, не соглашаясь с его критикой или отвергая отдельные детали, выработал особую манеру разговора.

— Урывай, да пойми ж ты,— рычал,— это ж они под меня копают! Спецы гады, контра среди них недобитая есть, кость я им поперек горлá! Видал, «сепаратизьм» слово придумали! Трудности усложняю... Это жизнь я им усложняю! Чтоб их всех...

— Да это не они, это я считаю, что не на месте ты, Никитич,— доказывал Урываев.— Давай возьмем режим экономии...

— Да сдался им тот режим!

— Мне он сдался.

— Я их насквозь вижу, Урывай, а ты можешь пойти в поводу. Я тебя предупредил!

— Ты меня не предупреждай, а давай-ка по-тихому, без шума уходи с завода.

— Я?

Круглое решительное лицо Георгия Никитича сделалось бледным. Четче проступили тугие желваки на скулах, и черные усы ощетинились. Нет, он за место свое не держался! Он в революцию пошел не за тем, чтоб в директорском кресле сидеть — сто раз об этом говорил на многих собраниях,— но услышать такое от своего же товарища, от друга Урывая не ожидал.

— Видишь ли, Никитич,— Урываев остановился посреди своего кабинета. Ладный, подтянутый, в зеркально начищенных сапогах, стоял, смотрел ласково.— Никитич, тяжело тебе на этой должности. Устал.

— Устал,— согласился Королев.— Но где вы найдете...

— Нашли уже.

Догадка блеснула в глазах Георгия Никитича.

— Никак Бондарева хотите снова?.. Того, который при Рябушинских? Народ спросили? Народ-то, он не захотит к старому вертаться. Большевик нужен! Рабочий человек!

— Нашли такого. А Бондарев другим делом занят. Ты его не трогай, обидели человека, он на АМО, не то что на должность,— заглянуть не желает.

— Как знаешь, Урывай. А если меня спросишь, скажу, тут нужен титан! Форменный, говорю, богатырь! Какую махину нужно поднять!

Урываев улыбнулся. Человек, которого хотел он рекомендовать на должность управляющего заводом АМО, меньше всего был похож на богатыря. Но того пришлось почти год ждать...

— Двигай, Никитич, учиться. Без инженерной грамоты в наш век далеко ли уйдешь?

— Поздно мне букварь листать! — буркнул Королев и, выходя из кабинета Урываева, тряхнул головой: дескать, с плеча рубишь, друг, не гоже так.

Урываев не стал его задерживать. Может, и следовало остановить Георгия Никитича, поговорить по душам, но управляющий Автотрестом был человеком нежным и, зная за собой такую слабость или даже недостаток для руководителя периода реконструкции и становления советской промышленности, как он считал, решил обойтись без лишних слов. Жалко, конечно, Никитича, но ничего не попишешь. Хороший он малый, свой до мозга костей, жизнь правильно понимал, если начистоту поговорить, но дела не тянул!

На АМО сменилось слишком много директоров. Заводские шутники придумали, что директорская должность на «Ферреро» временная. Все остальные постоянные, а вот эта, одна, директорская, вроде как сезонная. Сегодня — Королев, завтра — Холодилин. Чехардят директора. Непорядок.

Георгий Никитич старался все сделать сам. Сам и разом. Не было у него четкой линии. Вначале развел такую, с позволения сказать, демократию, что на его решения поплевывали с высокой водокачки. Он слово, ему станочники десять. Он десять — ему сто! Вот и блюди давай свой директорский авторитет. То он свой в доску, душа нараспашку, то вдруг надуется, как инкубаторский петушок, нервные они без матери. «Я,— кричит, — управляющий! А ты свое место знай!» И по матери послать мог запросто. На техсоветах револьвер на стол клал, когда со спецами спорил. На Королева обижались, обвиняли в сухом администрировании и в панибратстве. Любимчиков на заводе завел. Подхалимами себя окружил. На него жаловались в ЦК, писали, что перерожденец, пышет комчванством и барством, хотя Урываев, справедливый человек, понимал, что никакого барства или перерождения как такового нет. Просто не было у Георгия Никитича понимания, как руководить заводом. Ни опыта, ни знаний, ни правильного подхода. Сам догадывался, что не справляется с должностью, но очень боялся, что это другие поймут. Обидно было: как же так, рабочая власть, вот он я, рабочий, управляющим стал и не справляюсь. Не должно быть! Справляюсь.

Урываев открыл дверь в приемную. Секретарша, не вынимая изо рта папиросы, печатала на «ундервуде», щурилась от дыма.

— Фира Наумовна, Лихачев приходил?

— Нет. Не было.

— Как придет, сразу ко мне.

Высокие напольные часы медленно отсчитывали время. Холодное декабрьское солнце светилось в медной тарелке маятника. За окном, по Мясницкой, со снежным скрипом проносились санные извозчики, нэпманов везли, посмотришь, все как в старые времена. Автомобилей не видно. Трамвай есть, а где они, советские автомобили, десятый год Советской власти идет!

На заседании техсовета треста профессор Бриллинг, крупнейший спец по автомобильному транспорту сказал, что автомобилей у нас нет, если не считать тех двух тысяч иномарок, кои были завезены в республику за период с 1922 по 1925 год. По мощности автомобильного парка мы уступали таким своим соседям, как Польша и Румыния. Но подходило время давать широкий разворот автомобильному производству. Из барского баловства, из престижного аксессуара автомобиль превращался в объективную необходимость. Не было автомобильных заводов, не было автомобильного производства, но были люди, которым предстояло проектировать и строить грузовики, тягачи, автобусы пассажирские для города и автобусы для сельской местности, почтовые, санитарные, пожарные линейки, специальные моторы для севера и для южных районов. Урываев далеко вперед смотрел и верил, что задача его на данном историческом этапе именно в том и заключается, чтобы выдвигать таких людей на переднюю линию. Богатырей, титанов!

По всем параметрам Иван Лихачев подходил для АМО, и управляющий Автотрестом собирался к двум часам везти его на завод, чтоб представить амовским партийцам как кандидата на директорскую должность. Они договорились встретиться в двенадцать. Было без десяти, но Урываев полагал, что на месте Лихачова сам приехал бы в Автотрест задолго до назначенного срока. Часа за полтора. Ведь в директора ж прочат! В тридцать-то лет на такую должность!

— Фира Наумовна, Лихачев не объявлялся?

— Да нет, товарищ Урываев. Нет его.

— И не звонил?

— Нет, никто не звонил,— отвечала Фира Наумовна басом.

— Значит, как придет, сразу ко мне.

— Конечно, конечно...

Лихачев пришел ровно в двенадцать. Вот ведь часы по нему проверяй! Нашел время, когда выдержку свою показывать... Буквоед?

— Иван Алексеевич, давай, заходи.

Невысокий, большеголовый, с румянцем во всю щеку Лихачев выглядел гораздо моложе своих тридцати. «Может, дату

в документах подправил,— подумал управляющий.— Вот ведь и я, когда мальчишкой на войну стремился, подкинул себе два годика».

— Садись, Иван, закуривай.

— Я не курю.

— Может, ты еще и не пьешь? — засмеялся Урываев.

— Не пью. У меня с сосудами плохо после контузии.

— Дело мужское. Сосуды-то у тебя где?

— Не знаю. Доктор сказал.

— Верь ты им больше, докторам! — Урываев махнул рукой.— Ну как, подготовился к встрече? Там мужички зубастые, палец им в рот не клади, по локоть отхватят. Положение тебе с заводской программой известно? Вот и хорошо. Собирались в прошлом году выпустить 400 автомобилей, взяли обязательства, финплан обсудили, отрапортовали, обнадежили трест и выпустили... сто!

— Сто три, за прошлый год — сто три,— поправил Лихачев, глядя на управляющего большими круглыми глазами.

— Все знаешь! Но тут ошибочка твоя, там перерасчет был. Я ориентирую тебя на то, что положение у нас сложилось ненормальное. Автомобили покупаем за границей вместо того, чтоб делать у себя.

— Сложное положение.

— Курс взят на индустриализацию страны, а социалистическая индустриализация должна будет обеспечить ведущую роль промышленности решительно во всем народном хозяйстве. И для Москвы, в частности, путь определен, Иван Алексеевич, окончательный. Превратим Москву ситцевую, в Москву металлическую, в Москву автомобильную. Это к твоей будущей деятельности имеет прямое отношение...

— Я постановление ЦК ВКП(б) от 29 июля сего года не хуже тебя знаю,— сказал Лихачев строго.

— Ясное дело... Не хуже... Само собой...— заволновался Урываев.— А только я тебя без напутствия, согласись, отпустить от себя не могу. Как хозяйственник и как партиец... Ты, Иван Алексеевич, в своей работе должен повседневно исходить из того, что классовые враги и капитулянты внутри партии используют сложную внутреннюю и международную обстановку и борьба эта идет не на жизнь, а на смерть. Опять же безработица, оппозиция в партии, анархосиндикализм и полуменьшевизм... Троцкий воду мутит... Ты парень молодой, юный, можно сказать, в автомобильных вопросах в ротных масштабах кумекаешь. Никак не больше, прости. А теперь потребуется тебе не батальонный даже, а государственный взгляд. Авто — это сейчас главная точка приложения основной индустриальной силы. Летом восемнадцатого кто про автомобили думал? А Ленин на АМО приезжал и выступал перед коллективом. Владимир Ильич нашел время, потому

что роль автомобильного транспорта хорошо понимал. Тут тебе гражданская полыхает, тут тебе эсеры мятеж готовят, а он рабочим о производстве автомобильном говорил. О той важности, которую имеет современный авто для пролетарского государства. Для нашей с тобой республики. Вот теперь давай и подумаем, как же быть тебе, директору, как вести свою линию в луче, так сказать, тех заветов Ленина. Или будешь ты просто совслужащим, или весь твой жизненный смысл сойдется на твоей заводской продукции.

«А зачем я это ему говорю,— вдруг спохватился Урываев.— Он ведь и в самом деле не хуже меня все знает».— Смутился. Нашел время поучать! Но нежная урываевская душа была в беспокойстве: как-то встретят Лихачева на заводе. Хотелось ободрить его, сказать что-нибудь к месту, вроде того, что не боги горшки обжигают, двигай в добрый час. Но Урываев сдержался. «В пансионе благородных девиц следовало бы мне служить»,— подумал. И выругался, вспомнив большой загиб Петра Великого. Для разрядки.

На завод они поехали вместе. Трестовский автомобиль находился в ремонте, а кучер Филиппыч, наследие проклятого прошлого, по данным секретарши Фиры Наумовны, пил вторую неделю по-черному. Лошадь стояла некормленная в конюшне. Так что пришлось ехать на трамвае.

День был морозный. Кондукторша, необхватная в овчинном тулупе, дремала. На остановках лезли с задней площадки озябшие пассажиры. Кондукторша дергала за шнур. Звякал застуженный звонок. Под полом, ребристым, как дно лодки, скрежетали колеса, трамвай дергался с места.

— Вот наладим производство автобусов и трамваи сымем окончательно,— сказал Урываев, шевеля пальцами в тонких своих сапогах.— Морозильня это и сухаревская толкотня каженый раз!

— Другие трамваи надо строить. Экономичный транспорт.

— Это все старый быт. Главное транспортное направление — автомобиль.

Красное, кирпичное здание заводоуправления, начатое еще Рябушинскими, стояло недостроенное. Амовские партийцы собрались в помещении, где когда-то размещалась кубовая для строителей. Куб там стоял перегонный, грели воду.

В незаклеенные окна дуло со двора. В железной печке, раскаленной докрасна, горели сырые дрова, облитые мазутом. Шипели и постреливали.

— Товарищи,— сказал Урываев, зорко оглядывая собравшихся,— 14 декабря в президиуме Московского комитета профсоюза металлистов обсуждался вопрос о новом директоре вашего завода и тогда же в протоколе за № 116 записали:

«Поддержать кандидатуру товарища Лихачева И. А. на должность директора АМО». Вот он, товарищ Лихачев, давайте обсудим может ли он принять такой пост.

— Какие будут предложения к ведению? — спросил секретарь партячейки, поднимаясь над столом и складывая руки за спиной.— Товарищи партийцы, обеспокоенные непрерывной сменой своего руководства, мы потребовали, чтобы все мероприятия, связанные с заводом, в том числе и пересмотр технического персонала, предварительно согласовывался с бюро ячейки РКП(б). Вот перед нами товарищ Лихачев, давайте обсудим его. Разложим, так сказать, на четыре корки и сделаем выводы.

— Правильно,— зашумели партийцы, задвигали стульями.— Разложим!

— Пусть без регламента чешет.

— Выкладывай, Лихачев, биографию!

— Непорядок! С вопросов начнем...— запротестовал маляр Михаил Егорович Кузяев.— Ежели выдвиженец...

Его остановили.

— Давай, товарищ Лихачев, двигай со второй передачи,— сказал отсекр и, наливаясь суровостью от осознанного чувства ответственности, твердо сел на свой стул.— Просим.

В тот день 28 декабря 1926 года, когда управляющий Автотрестом представлял партийцам нового директора, Петра Платоновича на заводе не было. Накануне он уехал в Подольск за компрессором. Хороший там такой компрессор без дела стоял, ребята присмотрели и решили его к себе в гараж перевезти.

Вернулся Кузяев только вечером, въехал в завод, сторож ему и сказал, что новый директор ходит по цехам. И зовут нового — Лихачев Иван Алексеевич.

Невысокий, плотный, с белозубой деревенской улыбкой, новый директор произвел на своего шофера приятное впечатление. Скромный парень, видно сразу деловой.

— Отвезите товарища Урываева домой,— сказал.— А с завтрева начнем работать.

— Есть! — по-флотски ответил Кузяев.

Лихачев проводил управляющего до машины, на ходу они обсуждали положение дел в автопромышленности, и уже короткого этого разговора было достаточно, чтоб понять пролетарское происхождение директора. Говорил «шешнадцать» и «не ндравится». «Ну да это не самое страшное,— решил Петр Платонович.— Если корень у него настоящий, культуре обучим.— И вежливо, с шиком, будто за кем из Рябушинских подъехал, открыл управляющему дверцу.— Прошу». И защелкнул, будто курок взвел.

Дома Петра Платоновича уже ждали оба брата. Михаил делал вид, что сердится, что заводские дела его расстраивают до чрезвычайности, стучал кулаком.

— Молоденький слишком! Кавалера прислали. Ну, прямо как Степка наш. Чуть всего и старше.

— Бондарев тоже молоденький был.

— А этот, говорят, шоферское дело понимает.

— Увидим. Недолго ждать-то. Рыба она с головы...

— Ждать недолго,— согласился Петр Платонович, но поскольку мнения своего о новом директоре еще не составил, говорить просто так для колебания воздуха не стал. Сел хлебать суп.

— Нам строгого парня надо,— размышлял Михаил Егорович, косясь в тарелку к брату.— Чтоб дисциплинку подтянул, чтоб в тресте к нему прислушивались.

— Новая метла всегда чище метет, надолго ли?

Тут дверь слегка приоткрылась, и в комнату робко вошел сосед Игнатенков, муж тети Мани, поставил на стол бутылку и шлепнул рыбиной, перевязанной шпагатом.

— Слыхали, пролетарии, новый директор у нас?

Игнатенков тихонечко присел на край табуретки. Вообще-то в гости к Кузяеву он не ходил, но тут любопытство пересилило все остальные чувства. Он полагал, что директорский шофер уже много знает. Однако Петр Платонович молчал. Говорил Михаил Егорович, зубами вытягивая пробку из принесенной бутылки.

— Не тех... Не-а... Не тех, Игнатенков, у нас в директора выдвигают. Петь, дай посуду разлить. Рази в заводе нет своих кандидатур? Рази не найти? Вот ты, Игнатенков...

— Я чего?

— А ничего! К тому говорю, каких людей можно подыскать!

— Я ничего,— робко сказал сосед,— я смоленский.

— Ну а он тульский!

— Степа,— приказал отец,— достань из-за окна холодца, гостей угощать.

Говорили много и шумно, накурили — не продохнуть. Лампочка светила, как луна в тумане. Сосед Игнатенков все порывался что-то сказать, но дядя Миша хватал его за колено и говорил сам. Наконец, сосед прорвался, это когда уже оба дяди ушли и отец открыл окно, чтоб проветрить помещение.

— Вот шахматы,— без всякого вступления начал Игнатенков, глядя в угол печальными захмелевшими глазами.— Есть там в них сицильянская защита. Что за Сицилия? Где она? На хрен кому нужна. Но есть! А я сам смоленский. И вот смоленской защиты нет! Некому нас, смоленских, защитить. Эх, Петр Платонович, Петр Платонович...

Петр Платонович покачал головой, сказал соседу:

— Иван, зря ты мысли на меня держишь. Не враг я тебе.

— Да ведь, Петр Платонович, что такое враг?

Новый директор сразу же поставил перед Петром Платоновичем ряд вопросов, ответить на которые он не мог. Непонятный возникал человек! Вроде бы совсем простой, а вот поди ж ты, ехали утром на завод, возле Симоновского монастыря на трамвайной остановке толпились рабочие. «Тормози!» — приказал, открыл дверцу, закричал: «Ребята! Я фамилий ваших не знаю, кто с АМО, залазьте! Всех не возьму, а четверых как раз...»

Не дело, решил Петр Платонович. Таким макаром авторитет не наживешь. Хмыкнул в усы. Директор заметил. Вечером возвращался домой, обернулся, спросил:

— Дмитрий Дмитриевич так не делал?

— Как так?

— Ну, подвозил он рабочих?

— Да ведь и не припомню, Иван Алексеевич,— слукавил Кузяев— Много лет прошло.

— Хороший был?

— Что значит хороший... Толковый был. Свое дело крепко понимал. Здорово даже, а насчет подвозить, скажу вроде не случалось... Опять же времена другие, субординация и...

— Вот что,— нетерпеливо перебил директор,— у меня мысль есть, снова его на завод переманить.

— Не пойдет!

— Ты послушай, Петр Платонович. Я тут прикидывал и выходит, что надо мне с ним встретиться в домашнем каком-нибудь кругу, не иначе. Ну, приду я к нему в кабинет, секретарша доложит: Лихачев, разговора не будет. А надо бы сесть тихо, спокойно, пузыря на стол, то, другое, тары, бары, глядишь, и до дела доберемся. У тебя выход на него есть?

Петр Платонович задумался. Пожалуй, следовало бы прежде всего расспросить доктора Каблукова. Но Василий Васильевич находился в сложных обстоятельствах. Перед самой революцией он женился на милой барышне, сестре милосердия Клавдии Петровне. Года полтора назад жена ушла от доктора, и Василий Васильевич запил. К тому был еще и второй момент. Дворник Федулков стал управдомом, ходил с парусиновым портфелем, называл себя комендантом и изгилялся над доктором, как хотел. То, видишь ли, квартплата у того не плачена, то в комнате антисанитарные условия, тараканы лезут.

Требовалось поставить Федулкова на место и поговорить с доктором, тот мог вести дружбу с Бондаревым. Но вряд ли. И вдруг светлая догадка блеснула Кузяеву.

— Был у него один предмéт...— сказал раздумчиво.

— Хороший предмéт? — полюбопытствовал Лихачев.

— Дай бог всякому под пасху и под рождество. Елизаветой Кирилловной звали.

— Где она?

— В Москве. Замужем. Супруг ее профессор по электропечам. Шергин фамилия, я его на завод возил. А сама, рассказывали, предпочитает жить на даче в Пушкине.

— Откуда знаешь?

— Знаю. Так вот, видели у нее Бондарева. И если так, там на даче и встретитесь. Устрою, пожалуй. Это дело — на завод его вернуть. Разумный шаг.

— Ведь при таком спеце во всех технических задачах нипочем не запутаешься.— Вслух размышлял Лихачев.— Чего сразу не поймешь — объяснит, где надо — остережет. Проблемы немалые встают. Мужик он капитальный?

— Это есть,— поддакнул Кузяев.

— Как при хорошем начальнике штаба, Петр Платонович, полный порядок в боевых делах обеспечен. Вот такая у меня мечта, чтоб к делам его нашим лицом повернуть. Чтоб опять за свое взялся.

— Душой.

— Такое ж дело сейчас начнется! Пора за работу всерьез! Хватит ля-ля разводить.

Директор возбужденно засопел. Очень уж ему хотелось встретиться с Дмитрием Дмитриевичем, и большие он возлагал на эту встречу надежды.

ДАЕШЬ АВТОМОБИЛЬ!

Часть пятая

29

Машина движется или стоит. Она живая. Она — машина только тогда, когда она движется. Когда она стоит, она статуя, грузовая платформа, будка на колесах, дорожное купе, в лучшем случае комфортабельное, и это уже не она. Машину нужно видеть в движении. Движение ее — красота. Наш практичный век приучил нас к тому, что бесполезное не может быть красивым. И тем не менее только полезностью ничего не объяснишь. Автомобиль — это большая любовь, механизм, послушный твоей воле, мечта о любви, которой не было, но которая обязательно будет. Надо верить, что будет. Иначе тяжело.

Однажды ехал Степан Петрович на новом «ЗИСе», сам сел за руль, чтоб посмотреть, хорошо ли бежит, рулил и никак не мог отделаться от ощущения, что танцует с одной красивой женщиной. Татьяной Борисовной ее звали. Танцевал он с ней один раз в заводском доме отдыха «Васькино».

Если и в самом деле железные дороги изменили весь строй и ритм русской прозы, то что сделал автомобиль? Что внес он в нашу жизнь, какими изменениями обязаны мы ему?

Дует мокрый ветер с Балтики. На Невском падает, крутит и несется снег, слепящий, розовый и желтый в свете магазинных и ресторанных заглавий. Скромный экономист ленинградского НИИ Акакий Акакиевич покупает себе «Запорожца» и едет первый раз по Невскому... Какая буря бушует в его душе, как он посматривает по сторонам, с кем сравнивает себя?

«Спешите жить! Спешите жить! Спешите, милостивые государи...»

Перечисляя пять условий жизни — хлеб, одежда, работа, дом,— пятым условием инженер Мансуров назвал сказку. Человеку нужна сказка. Взрослый человек — все равно ребенок. Взрослость — продолжение детства. Не может человек без сказки. Не получается без нее. Так вот автомобиль как раз и

есть сказка. Машина времени, приспособление для фантазирования, иллюзия своей защищенности, скорлупка, наполненная человеческим теплом, и кем бы ни был автомобильный человек, его образ становится яснее и глубже, приобретая общепонятную, но несформулированную четкость от одного только определения «автомобильный».

В журнале «За рулем» в третьем номере за 1977 год была опубликована крохотная заметка о том, что в мае 1953 года в автобазу Минтяжпрома в Донецкой области пришел водитель первого класса некто Михайлов Григорий Григорьевич, бывший фронтовик. Его посадили на новенький самосвал ЗИЛ-585. И вот на этом автомобиле работал Михайлов больше двадцати лет и намотал 928 513 километров. Без малого миллион! И без капитального ремонта.

Можно говорить про надежность конструкции,— «автомобильная селекция», термин есть такой общепринятый: удачный попался Григорию Григорьевичу аппарат, славно потрудились московские автозаводцы, можно и так написать, но ничем, кроме огромной любви, этот миллион километров не объяснишь. Как же должен был любить свой автомобиль шофер Михайлов! Как он холил его, как берег, как лелеял на пыльных донбасских дорогах, если и на половину миллионного пробега он не рассчитан. Чем, какой чертой характера — трудолюбием ли, осмотрительностью, осторожностью, технической грамотностью — факт этот объяснишь? Ничего не получается! Есть большое чувство, включающее в себя все перечисленное, и еще много другого неназванного, неуловимого, исчезающего от неосторожного прикосновения и наивных попыток анализа с конструктивными выводами, и называется оно, это большое чувство — любовью к машине.

30

Раз в неделю, обычно по выходным дням, на Мясницкой, в большом сером доме, облицованном изразцами и украшенным пикантными извивами в стиле модерн, в просторной квартире профессора Шергина собирались гости.

Пили чай с бутербродами, играли в преферанс по копеечке и до трех и беседовали на разные технические темы. Все это в шутку называлось политехническим салоном или малым инженерным Совнаркомом. Большие там собирались спецы.

Жена профессора Елизавета Кирилловна Шергина любила гостей, и это казалось совершенно понятным: профессор был много ее старше и хотя шил себе костюмы у знаменитого Шнейдера, а зимой ходил с коньками под мышкой на Чистые пруды, вернуть молодость не мог. Увы, этого никому не дано.

По слухам, Елизавета Кирилловна мужа не любила, но такая жизнь его вполне устраивала, честолюбивому профессору нужна была красивая женщина в доме как подтверждение достигнутых жизненных успехов, показатель некого уровня, как мебель времен Александра Первого, как павловская люстра в гостиной и молодой барбизонец над камином.

Говорили, что в юности Лизонька безумно любила инженера Мансурова, красавца и кутилу. Авиатором он был и шофером. Очень был хорош собой! Там дело дошло до больших страстей: и к цыганам ездили на тройках, и к лешему на кулички, только бывало поманит Мансуров пальчиком. Большой был губитель женских репутаций. Рассказывали, будто бы, когда Мансуров уехал за границу, бедняжка Елизавета Кирилловна вешаться собралась (в молодости подобные вещи остро воспринимаются), и Дмитрий Дмитриевич Бондарев, тогда Митя, но уже вице-директор Руссо-Балта и директор АМО, вынимал ее из петли. Она на груди у него рыдала в отчаянии. Кто-то видел.

Так ли было на самом деле, нет ли, но Елизавета Кирилловна несла в себе тайну. Мужчины находили ее загадочной, а женщины — сделанной: и ходит-то она по дому, как на сцене, и говорит «сделанным» голосом, и движения у нее все заученные. Наверное, ей завидовали, но при этом и друзья и недоброжелатели признавали, что у нее есть редкий для женщины дар — Елизавета Кирилловна умела слушать.

За Шергина вышла в безысходном положении, одна-одинешенька, без средств к существованию, приспособиться к новой жизни не смогла, не в состоянии заняться общественно полезным трудом. Она была просто женщиной, красивой женщиной, кто осудит. А у Шергина как раз умерла мама, и он был остро одинок.

По Мясницкой гремел двадцатый век. Скрежетали трамваи, скатываясь на Лубянскую площадь, ревели клаксоны автомобилей.

По ночам Елизавета Кирилловна просыпалась, когда к почтамту подкатывала, тарахтя и задыхаясь от горячего своего неистовства, служебная мотоциклетка, на которой развозили по Москве телеграммы-«молнии».

Как изменилась жизнь! На Арбате в кинотеатре «Арс» шла американская кинокартина самого последнего выпуска, называлась «В тени небоскребов». В «Совкино» на Тверской показывали «Катьку — бумажный ранет» и «Индийскую гробницу». В «Правде» из номера в номер на последней странице печатали, что объявления для ищущих труда стоят по 50 копеек строка, и у Столешникова, в Рахмановском переулке, на бирже труда, рядом с гостиницей «Ампир», стояли в очередях за пособиями безработные, которым не было ни числа, ни счета.

Елизавета Кирилловна не любила город. Городская жизнь утомляла ее и нервировала по пустякам. Она предпочитала жить на даче в Пушкине по Ярославской дороге.

Супруг-профессор, занятый своими лекциями и монографиями, за город выезжал редко, и когда ему необходимо было появиться на людях с женой, звонил по телефону, предупреждая ее заранее. Отношения супругов Шергиных предполагали, что каждый имеет право на свою собственную жизнь и мелочная опека никому не нужна.

В тот день, о котором пойдет речь, Елизавета Кирилловна ждала гостей.

— Диапазон ваших знакомств, право, приводит меня в смятение,— сказал муж.— О чем вы будете с ними беседовать?

— О тайнах мироздания,— ответила Елизавета Кирилловна и повесила трубку.

За окном, за белыми березками по снежной укатанной дороге катил черный «протос», и усатый шофер, притормаживая, высматривал, куда сворачивать.

— Они едут! — воскликнула Елизавета Кирилловна, и только что пришедший со станции Дмитрий Дмитриевич Бондарев шагнул к окну.

— Быстро, однако.

— Смотри, машина та же самая и Кузяев за рулем!

Елизавета Кирилловна вышла на крыльцо, стояла, высокая и пластичная, как цапля, на ней была беличья шубка и алый шарф, как у танцовщицы Айседоры Дункан.

Сияло мартовское солнце. Слепила снежная даль. Из соседней дачи вылезли любопытные поглазеть, кто приехал.

— Добрый день, Петр Платонович. Я вас помню. А вы меня?

— Как можно... Елизавета Кирилловна,— Кузяев зашмыгал носом,— как можно...

— Здравствуйте, товарищ Лихачев.

— Здравия желаем!

В прихожей, вешая пальто, новый директор АМО локтем ткнул Кузяева — «А пре́дмет ничего...» — и смущенно потирая руки, сутулясь прошел в гостиную, большую светлую комнату, обставленную легкой дачной мебелью.

— Здравствуйте, Дмитрий Дмитриевич.

— Добрый день.

До этого Лихачев видел Бондарева только один раз на совещании в ВСНХ и то издали. Тогда Бондарев показался ему строгим и совершенно недоступным. На нем был черный, глухой костюм, темный галстук, запомнились его строгие глаза и строгая седая бородка клинышком. В Пушкино Бондарев выглядел совсем иначе. По-домашнему. И перемена была неясной. Вроде бы все то же самое: тот же костюм, тот же галстук,

только брюки вправлены в черные деревенские валенки и узел галстука чуть опущен, так что видно запонку на вороте, и это как-то сразу — валенки, запонка — все меняло, доступность какая-то возникала и простота в суровом инженере.

Начались объятия, всхлипывания. «Дмитрий Дмитриевич!» — «Петр Платонович...» — «Сколько лет, сколько зим...» Лихачев вежливо отошел в сторону, и тут Елизавета Кирилловна не оставила его вниманием.

— А я вас другим представляла,— сказала ласково.— По словам вы иначе должны были выглядеть. Накануне Нового года, в декабре Дмитрий Дмитриевич с одним германским специалистом встречался, и тот описал вас, как эдакого медведя, и голос у вас рычащий, и ручища страшная...

— Да нет, у меня рука небольшая,— смутился Лихачев,— а голос вот — баритон.

— Я бы сказала тенор.

— Это он Дмитрия Дмитриевича обидеть хотел, что, мол, на директорскую должность медведей назначают. Дураков неотесанных. Дмитрий Дмитриевич, вы не обижайтесь...

— Я не обиделся,— ответил Бондарев,— с какой стати...— И сколько раз потом, в тот вечер, через год, через десять лет, возвращаясь к первой встрече с Лихачевым, задавая себе этот вопрос, мог ли он обидеться и на кого, отвечал: нет, нет, и еще раз — нет...

Господин Корбе, известие о назначении нового директора посчитал тем последним аргументом, тем припрятанным до поры козырем, который враз все изменит. Сказал, вежливо усмехаясь в последнюю их встречу: «Господин Бондарев, можно подумать, что великая цель русской революции только в том и состояла, чтобы на место грамотных людей поставить неграмотных. О ля, ля, директором вашего завода отныне будет безграмотный мальчишка, деревенский свинопас».

Корбе предполагал, что удар придется в самое сердце, наотмашь и так, что не встать. Выразил на лице скорбящее всепонимание. «Что делать, увы, такие времена...» А Бондарев и бровью не повел. Решительный Курт Карлович не принимал во внимание, что русский интеллигент не мог презирать «свинопаса». Его из поколения в поколение воспитывали в уважении к народу, простому народу, угнетенному народу, родному народу, за счет которого избранные счастливчики и он сам получали образование, дипломы и сытую жизнь. Желябов, Перовская, безвестные герои «Народной воли», те мальчики и девочки, прокламаторы, револьверщики и бомбисты, шли на эшафот и в бессмертие, чтоб «свинопас» мог стать директором! Великие тени осеняли русского интеллигента — Белинский, Чернышевский, Добролюбов... Великие учителя той нравственности, которая не позволяла относиться к простому человеку ни с усмешкой, ни с пренебрежением.

Они знали: рухнет самодержавие, к власти придет народ. И вместе с самодержавием рухнет страшное зло, губившее Россию. Зло, которое друзья Мити Бондарева называли «отрицательным отбором». Этот отбор выбрасывал наверх к государственному рулю не лучших, а худших. Ловкачей, интриганов, придворных блюдолизов и чиновную серость. Вот придет к власти народ... Мечта. Цель жизни. Так мечтой ли пугать русского интеллигента? «Курт Карлович, вы чудак».

Курт Карлович смотрел на него совершенно осоловелым взглядом. Удар не попал в цель. Как так? Почему? И, забыв о том, что два дня до того пророчил гибель большевикам, кинул последний козырь. «Вы надеетесь на интервенцию, но ее не будет! Я вас уверяю, не будет! Есть огромные силы, которым выгодно, чтоб Россия отныне и во веки веков находилась в том положении, в каком она находится. Разрушенная, нищая страна — это не та Россия, перед которой мир трепетал! Пусть она вечно находится в хаосе и запущении — вот мечта сильных политиков, и они ее осуществят».

Что еще говорил Курт Карлович, какие комиссионные платил ему старик Мур, сильный политик, неизвестно. Бондарев вежливо распрощался, но руки немцу не подал. Нельзя было смеяться над «свинопасом». Подлец!

И вот новый директор его завода стоял рядом, смущенно переступая с ноги на ногу. У него было круглое лицо, лобастый он был, одет по-солдатски, сапоги начищены. За грубым сукном гимнастерки проступали широкие плечи, и во всей его коренастой фигуре чувствовалась сила, нетерпение и безбрежная, радостная напористость.

Сразу же начинать разговор о заводских делах молодой директор посчитал, видимо, неудобным, уселся на краешек стула, положил руки на колени, сидел, выжидал время.

Елизавета Кирилловна пригласила к столу, он и за столом сидел молча, ел бульон, заедал слоеными пирожками, одобрительно покачивая головой, чтоб красивой хозяйке было видно, что едой он вполне доволен: женщинам это всегда приятно, а сам все присматривался к Бондареву, то с одного, то с другого ракурса.

— Вы, Иван Алексеевич, спаржу хотите? — спросила Елизавета Кирилловна.

— Да я ее отродясь не ел,— сказал директор и смутился.

— Будто я ее ел,— разрядил обстановку Петр Платонович.— По мне трава травой и сытости от нее не может быть.

К концу обеда Лихачев почувствовал себя спокойней: Бондарев был человек, как человек, гонора не показывал, и все разговоры относительно его строгости и недоступности показались сильным преувеличением.

— Дмитрий Дмитриевич, я ведь к вам по делу приехал,— сказал Лихачев, дотягивая кисель из закинутого стакана.

— Понимаю, что по делу. Так просто бы не приехали.

— И так просто приехал бы, если б был знаком. Давайте на завод съездим! О вас все довольно-таки тепло вспоминают. Бондарев, говорят, в коллективе, Бондарев...

— Сукин сын.

— Нет, ну зачем же так? Сукин сын... С какой стати. Вы ж, можно сказать, с богатым, даже богатейшим опытом автомобилист и в то же время в этом смысле остаетесь не охвачены. Страна цель ставит свои автомобили выпускать, а вы на отлете. Неужто сердце ваше не щемит?

Бондарев промолчал.

— И вот я,— продолжал Лихачев, облизывая губы,— имею мысль вернуть вас на ваше детище. Радость будет и вам и нам всем.

— Нет, на завод я не поеду.

«Вот ведь упрямый,— подумал Лихачев,— козел самый настоящий, заладил! Но я тебя упрямей, я тебе докажу, я тебе...»

— Дмитрий Дмитриевич, ну что ж вы говорите! Возьмите, знаете ли, глаза свои в руки, снимите с сердца тяжелую калошу предвзятых мнений. Если мы не дадим автомобиль, что ж выйдет? Раздавят нас, как малолеток. Что с новой Россией будет? Что с первой страной трудящихся людей, скинувших ярмо, а?

— Я вас понимаю. Но вы о деле приехали говорить или агитировать меня?

Кузяев зажмурился. Не хорошо что-то получалось. Зачем так.

— А разве агитировать не дело? — выпалил Лихачев и обвел присутствующих простодушным взглядом.

Во ведь как вывернул молодой директор! Ловко! Кузяеву такой поворот понравился, даже на стуле заерзал. От и до!

Бондарев кивнул, на щеке его дрогнула тонкая морщинка.

— Если у вас есть ко мне вопросы, то давайте пройдем в другую комнату, там удобней будет разговаривать. Спасибо, Лиза, обед был превосходный.

Прошли в кабинет профессора Шергина, сели в плетеные кресла друг против друга. Обстановка в кабинете была самая профессорская: книги по стенам, над рабочим столом портрет Ломоносова, в окне сияло мартовское солнце, и небо было синим пресиним на всю глубину до астрономической бесконечности.

— Сколько вам лет, Иван Алексеевич?

— Уже тридцать, Дмитрий Дмитриевич. С ярмарки едем...

— Только тридцать. Вся жизнь впереди, ярмарка не кончилась. Вы много должны успеть. Расскажите мне, как обстоят дела на заводе.

— Честно? Честно скажу — хреново.— И опустил голову.— Извините, конечно.

Лихачев, волнуясь, поведал, что АМО — предприятие дефицитное, то есть получающее дотацию от Госплана, со всеми вытекающими отсюда последствиями: расценками, премиальным фондом и просто отношением. Не даешь прибыли, какое к тебе отношение? Плохое. Первые грузовики обходились заводу по 18 тысяч каждый. Такую дорогую машину, пусть нашенскую, советскую, но никто брать не хотел. За те же 18 тысяч у того же Опеля два грузовика можно было оторвать. Да и получше качеством. Государство назначило цену в 8 850 рублей, предоставив заводу возможность расширить производство.

— Нам бы такой подарок пятнадцать лет назад,— вздохнул Бондарев.

— Так Госплана ж не было! Царь был. Вот увеличим производство...

— Надо менять модель. АМО-Ф-15 безнадежно устарел. Тяжелый он, цветных металлов на него много идет, маломощный, центр тяжести высоковат. И хоть конструкция отработанная, частности дела не спасут. В каждой конструкции, Иван Алексеевич, как в рассказе, как в картине, есть свой сюжет. Сюжет может быть на пять страниц, может — на десять. Есть сюжеты на одну мелодию, есть на целую симфонию. Так вот, сюжет АМО-Ф-15 себя исчерпал. Дальше начинается пачкотня. Топтанье на месте. А это, значит, мы отстанем от тех, кто начал раньше.

— Не людям, не медведю... Понимаю... А что делать? Чего спасет? Вы широко взгляните, Дмитрий Дмитриевич.

— Учиться, Иван Алексеевич. И без торопливости. Сразу беритесь за главное, на детали не разбрасывайтесь, иначе время потеряете. Соперники не стоят. Вы постигнете все премудрости инженерные, по глазам вижу, но ведь постичь надо в минимальный срок. Такая учеба дорого стоит. Автомобиль — продукт массового производства, а вы свои грузовики по старинке на козлах собираете. Коленчатые валы как делаете? Оси как? Штучные вещи. Время штучных автомобилей давным-давно прошло. Кануло в историю. Теперь одно направление — конвейер. Вот на него и ориентируйтесь в своей работе. Двадцать седьмой год катит. Время надо почувствовать. А насчет того, что вопрос стоит кто кого, вы правы. Давно этот вопрос стоит. Законы индустриального общества диктуют нам свои неумолимые условия. Научимся работать — будет Россия, не научимся — сомнут нас со всеми милыми нашему сердцу онучами, овинами, хлябями да зябями, как паровоз — рогожских староверов с их тетками Пульхерьями, Дарьями и Марьями, крепчайшими столпами благочестия. Я всегда говорил: только индустрия может спасти нацию! Качество, количество, цена продукции — вот объективные показатели производства. Это объективно.

— Не верили?

— А зачем? Хотели, как спокойней.

Бондарев говорил тихим голосом, будто старый дедушка с внучиком разговаривал: и я таким, дескать, был, как ты, а времячко придет — ты будешь, как я, слушай поэтому, набирайся ума-разума, чтоб шишек не наросло. Но в спокойной бондаревской интонации будто пружинка была какая-то сжата, и сила в ней скрывалась, и он сам эту силу чувствовал, знал за собой и не хотел показывать, даже как будто стеснялся.

— Дмитрий Дмитриевич, мы думаем долизать машину! Чтоб конфеткой была! А то стыдно бывает временами. И ничего, пойдет на первое время.

— Не разбрасывайтесь. Частные переделки никогда ничего не изменяли. Надо менять задачу. Всю сразу. В конструкцию должна быть заложена новая идея, новые возможности жизни в будущем. Свой сюжет. Старый исчерпан! Все. Его нет. Забудьте о нем.

— А Ципулин наш говорит, нам подвеску, говорит, переделать, цилиндры там расточить, ход поршня увеличить...

— Ципулин — хороший эксплуатационник, он чувствует машину. Но он не конструктор. Вот в музыке есть композиторы. Верно? И есть исполнители. Блестящие исполнители, гениальные даже, но качественно у них работа разная, у композитора и у пианиста. Так и в нашем вопросе, Иван Алексеевич...

Над дачным поселком Пушкино, над белыми крышами сияло солнце. Горели стекла в соседней даче. По укатанной лыжне возвращались из леса лыжники в байковых костюмах, и женщина в красной вязаной шапочке смеясь, закидывала голову.

«Э нет,— подумал Лихачев,— вот тут ты мудришь, Дмитрий Дмитриевич, вот тут у тебя узкий взгляд на вещи. Нам сейчас любая машина подойдет, любая сгодится, только, чтоб больше их было».— Улыбнулся.

— Дмитрий Дмитриевич, может, вернетесь, а?

— Нет.— И так это «нет» прозвучало твердо и сдержанно, что Лихачев не решился уговаривать упрямого Бондарева. Подумал: на сегодня хватит.

— На нет и суда нет,— сказал и развел руками, будто для того только, чтоб последнее слово осталось за ним.— Хозяин — барин, было бы предложено.

Внизу в той же светлой комнате пили чай с испеченным в чудо-печи круглым кексом, пахнувшим ванильной пудрой и керосином. Вспоминали разные автомобильные события. Бондарев рассказывал о Нагеле, о Сен-Себастьянской гонке, Лихачев — о том, как ездил на английском броневике «остин», разговорился. Елизавета Кирилловна разрумянилась и слушала, наклонив русую голову, тонкая прядка падала ей на щеку,

и она поправляла ее каким-то неуловимым, девчачьим движением.

Не заметили за разговором, как начало смеркаться. Еще посидели при зажженной лампе. Светлый круг лег на голубую скатерть, и хорошо было и никуда не хотелось уходить. Первым поднялся Лихачев, перевернул стакан донышком кверху.

— Очень вами довольны,— сказал весело и всю дорогу в машине кряхтел и терзался, что вот Дмитрий Дмитриевич, такой корифей, погряз в инженерных тонкостях и не видит потребностей жизни, ведь на 1927 год планируется увеличить выпуск аж за 500 грузовиков, а к тридцатому году, не меняя модели, Ципулин предлагает достичь цифры —1 100! И даже проект разрабатывает на выпуск четырех тысяч грузовиков в год. Время-то не ждет!

Молодой директор начал с небольших дел. Хотел потихоньку в полный порядок привести наследство Рябушинских, здание заводоуправления достроить, проходную сделать приличную, чтоб не стыдно было гостей встретить, чтоб завод выглядел опрятно и даже щеголевато, это от директора зависит в первую голову.

Он был энергичен и нетерпелив. Молод он был, и стране десятый годик шел, и жизнь свою всю до капли, до последней черточки хотелось выстрелить, не хранить до старых лет, а отдать. Делу отдать. Народу отдать. Стране своей. На, бери! Ведь не просто ж так, елки зеленые, ведь не за ради денег там, славы там личной или чего такого, а ради великой идеи освобождения трудового народа всех стран и континентов! Новый мир вставал над вековечным болотом эксплуатации человека человеком, и новому миру нужен был новый автомобиль!

— Ты меня, Петр Платонович, понимаешь? — спрашивал директор, сверкая глазами.

— Я тебя, Иван Алексеевич, понимаю,— шепотом отвечал директорский шофер и слышал за гулом автомобильного своего двигателя яростный ритм новой жизни.— Ты, Иван Алексеевич, кругом прав.

Как-то сидели в кабинете у Ципулина. Серый рассвет поднимался над Симоновкой. На столе горела лампа, Ципулин грел над абажуром руки, а затем опускал их на лысое темя, растопырив пальцы. Грел голову.

В застиранной косоворотке, в довоенном куценьком пиджачке выглядел Ципулин невзрачно, но его уважали. Он машину водил лучше любого шофера, он на токарном станке такое вытворял, что токаря́ с тридцатилетним стажем диву давались. Фрезеровал Ципулин лучше любого фрезеровщика, красил лучше маляра, а когда брал в руки топор и хотел показать работу, с четырех махов играючи кол затесывал: хрясь — тес, хрясь — тес, ых, ых и бревно в карандаш заточе-

но! Такому инженеру Лихачев не мог не доверять! Он, можно сказать, перед ним преклонялся.

— Я предлагаю,— сказал Ципулин, серой тенью поднимаясь над столом,— реконструировать завод на выпуск четырех тысяч грузовиков в год!

Эко куда замахнулся! Правильно! Лихачев одобрительно кивнул и оглядел присутствующих, а Ципулин продолжил бы дальше, но его перебил Макаровский.

— Я ознакомился с вашим проектом,— сказал Сергей Осипович, усмехаясь жалостливо,— и должен заявить со всей ответственностью и сразу же, чтоб не тратить времени попусту: это чушь! Бред сивой кобылы.

Ципулин взглянул на Макаровского с недоумением и хотел продолжать дальше, но Макаровский остановил его брезгливым всплеском ладони.

— Поймите, начинать большие работы, ориентируясь на выпуск четырех тысяч автомобилей, не следует. Завод такой мощности будет заведомо выпускать дорогую машину. Тем более модель вы не меняете! Производство не сможет быть рентабельным. И потом есть какие-то оптимальные решения. Почему именно четыре тысячи? Не десять и не три? Мне не ясно...

— Ознакомьтесь с расчетами,— сухо предложил Ципулин и тоже усмехнулся.

— И этот дилетантский бред вы расчетом именуете? Да полноте, батенька мой, полноте... Вы провинциал, честное слово...

— Весьма вероятно, провинциал. Весьма. Может, я и провинциал,— отвечал Ципулин, глядя на Макаровского строго и снисходительно,— но я понимаю заводскую организацию, а вы ее не понимаете, как следует понимать на данном этапе.

— Какую организацию? Как? Вы о чем, окститесь, Ципулин! Ваш проект безграмотный...

И что бы еще мог сказать никогда не стеснявшийся в выражениях язвительный Макаровский, если б не Лихачев. Молодого директора прямо-таки сорвало с места. Он вскочил.

— Что такое невозможно? В гражданскую за полгода полстраны освободили! Царя скинуть было невозможно, Антанту победить невозможно. Но скинули и победили! Промышленность свою создаем!

Перед Сергеем Осиповичем Макаровским стоял молодой человек, его пухлые розовые губы кривились презрительно, нет, не Макаровского он презирал, он его вроде и не видел в упор, он презирал тех, кто не верил в его веру. И встретившись с его взглядом, Сергей Осипович увидел в его глазах отсветы такого пожара, огни такой непоколебимой правоты, что стало пожилому, опытному, многоопытному, очень бывалому инженеру не по себе. Но все-таки он сказал:

— Я остаюсь при своем мнении,— и тяжело опустился на стул, а мог бы и промолчать, его слова не имели решительно никакого значения, будто и не говорил он ничего. Лихачев поддерживал Ципулина.

— Хватит, понимаешь, антимонии разводить. Работать надо!

Лихачев хотел большого дела. Страна хотела большого дела! Царя скипули, Антанту победили... Умен Бондарев, умен, и Макаровский не глуп, но не глядят они в корень. Сюжеты у них, жоржеты... Работать надо!

А Макаровский растерялся. «Я прав,— думал он.— Ципулинский проект бред». Но потом он усомнился с испугом: «Может, не бред? Может, это я бесконечно отстал от жизни? Я чего-то не понимаю. Я постарел. Я времени не чувствую, оно само по себе, а я сам по себе, стою на обочине, на пыльной полосе отчуждения, и экспресс жизни несется мимо. Другие едут люди, а я стою. Почему все они хвалят Ципулина и его наивный план? Старость, старость пришла, старость... Ничего не понимаю!»

Вечером, надвинув на лоб мягкую фетровую шляпу, он шел к трамвайной остановке и думал о жизни, о старости, о том, что другое пришло поколение и видит истину, ему, Макаровскому, недоступную.

К вечеру размокропогодилось, зябко было, сыро, толкались прохожие, на остановке штурмом брали трамвай, висели на подножках, на сцепках. Горели кислые фонари в лиловой и серой мути, мелкими брызгами секло углы домов. Он убедил себя, что постарел и не чувствует жизни. Все в прошлом. Все было — и светлый дождь с небес и твердый шаг. Надо куда-то уехать далеко, чтоб начать все с начала и понять и разобраться.

Он действительно уедет, а вернется в Москву через три года очень заслуженным человеком, героем Сталинградского тракторостроя, орденоносцем. Нарком Орджоникидзе наградит его автомашиной марки «линкольн», и как-то весенним утром порулит Сергей Осипович в Серебряный бор, на дачу, а по пути захватит двух друзей — Митю Бондарева и Ваську Строганова, уже профессора, заведующего кафедрой сельскохозяйственных машин.

— И почему ж ты ему не растолковал, что прав! — будет кричать Васька и дергать Макаровского за руку, мешая вести машину.

— Ципулина очень все уважали, я же был чужим. Народ его любил. На все руки мастер, свой человек,— отвечал Макаровский.

— Вы с Митькой чудаки! Альтернативность вашего мышления меня потрясает! По-вашему, царь плохой, только потому, что он царь, а мужик хороший, только потому, что он му-

жик. Царь был дураком, мужики были разные. Двух точек недостаточно, чтоб проложить кривую, отражающую закон. Зависимость явно не линейна. Но вы форменные народники, все хорошее по-вашему свершается людьми серыми, а все плохое — грамотными, от лукавства. Ципулин был прост, и вы готовы были ждать, что он по простоте своей может свершить чудо.

— Вася, перестань передергивать.

— Это он все из присущего ему принципа противоречия, не обращай на него внимания. Но я,— твердо сказал Бондарев,— дрался бы до конца. Мудрец ты, Сергей Осипович, что отошел. Я б на Ципулине живого места не оставил.

— Мудрец не мудрец, так получилось...

Им уже было известно, что вышло из ципулинского проекта. На АМО создали тогда свое конструкторское бюро. Столы двигали, чертежные доски ставили. Запроектировали без малого четыре тысячи новых станков. Начались строительные работы, чтоб как-то разместить весь этот станочный парк. Сделали из красного кирпича так называемую ципулинскую пристройку к механическому отделу и под крышу еще не подвели ее, а поняли все, от разнорабочего до директора, что концы с концами не сходятся. Инженерная несостоятельность лихой, единым махом перестройки стала совершенно очевидной. «Сергей Осипович предупреждал»,— вспомнит Лихачев и поймет раз и навсегда, что Ципулин хоть и был великим универсалом — шофером, токарем, плотником, а вот инженером не был. Если только в самом первом приближении. Бондарев же, Дим Димыч, ни машины не умел водить (зачем?), ни кол затесать (о чем вы?), но был инженером! Большим инженером, видевшим всю сложность проблемы и пути ее решения. Ципулин разбрасывался на частности, мелочи его интересовали, кусочки, но не мог он построить своей линии, не было у него взгляда на задачу в целом. И когда три друга ехали в Серебряный бор, Лихачев составлял заявление о необходимости командировки за границу для ознакомления с зарубежным опытом строительства автомобилей.

За столом сидел помощник, задумчиво макал перо в чернила. Лихачев, скрипя сапогами, ходил по кабинету.

— Надо написать, что, это я серьезно заявляю, Форда на фук не возьмешь! Учиться будем у капиталистов, и модель менять к чертовой матери! Сюжета в ней нет!

— Сюжета? — переспросил помощник.

— Его самого!

Через неделю командировка была подписана. Лихачев ехал в Германию.

31

Эта глава — от автора. Наверное, она выбивается из общего стиля повествования. Но с самого начала мне хотелось написать портрет Лихачева.

Перед заводской проходной в цветах стоит его бронзовый бюст. На нем гимнастерка с отложным воротником, на груди накладные карманы. Он смотрит из-под насупленных бровей пристально и добродушно.

Его имя — над стеклянными заводскими корпусами за его широкой спиной и на каждом автомобиле, выезжающем отсюда в большую автомобильную жизнь.

Сотни тысяч грузовиков — мощность завода. Это много. ЗИЛ один из крупнейших мировых автомобильных гигантов. Основная продукция — ЗИЛ-130, двухосный автомобиль грузоподъемностью в 5 тонн; ЗИЛ-131, трехосный тягач грузоподъемностью в 3,5 тонны, это при эксплуатации «вне дорог», способный проходить полутораметровый брод; ЗИЛ-133, ЗИЛ-157к, хорошо известные и знакомые.

Иван Алексеевич мог только мечтать о таких автомобилях. Они рождались уже без него.

Кроме грузовиков, объединение «АвтоЗИЛ» выпускает легковые автомобили высшего класса, «представительские» лимузины — ЗИЛ-114 и ЗИЛ-117; автомобильные прицепы; V-образные двигатели, устанавливаемые на автомобилях Кутаисского и Уральского заводов, на автобусах из Львова и Ликино; производят здесь запасные части, рядные двигатели, различные изделия и полуфабрикаты для поставок по кооперации более чем на 100 предприятий, а также выпускают доброй славы домашние холодильники, которые все зиловцы, да и не только зиловцы, считают наилучшими и самыми наидолговечными, может, даже на всем белом свете от Гренландии до Австралии.

Объединение «АвтоЗИЛ» — шестнадцать заводов по стране. Сто с лишним тысяч работающих! И все это завод имени Лихачева. Большой завод. По современным масштабам — огромный. Но, когда пишешь не про автомобиль, не про холодильник, а про живого человека, давшего имя заводу, надо отрешиться от сегодняшнего дня и начать с самого начала пути.

Его село называлось Озерёнцы. Уезд был Веневский, а губерния Тульская.

Уездный город Венев, дремавший в самоварном дыму, в черемуховом и сиреневом цветенье, торговал овсом и говядиной. Из промышленных предприятий крупнейшим был винокуренный завод. Выпускали зеленого змия. И разливали.

в штофы, полуштофы и маленькие шкалики, которые в местном населении шутейно назывались «мерзавчиками».

Будущий красный директор Московского автомобильного, своего имени завода, Иван Алексеевич Лихачев первый солидный автомобиль увидел в Санкт-Петербурге, куда его отправили учиться ремеслу. Автомобиль, чадя сизым дымом, чавкая резиновыми шинами и гремя железом, катил по торцовой питерской мостовой. Шофер в кожаном кепи с прямым козырьком, в очках от ветра, как у авиатора, и в черных перчатках с крагами, энергично нажимал на красную резиновую грушу. Автомобиль сипло крякал, прокладывая себе путь среди извозчиков и пешеходов, снующих по площади перед Московским вокзалом императорской Николаевской железной дороги.

Так он и врезался в память, этот автомобиль, а рокот его бензинового двигателя застыл во времени. Стоило только задуматься и прикрыть глаза, как он возникал: сначала звук, а потом сам «авто» на заезженном снегу, пожелтевшем, как старая страница.

В Соединенных Штатах он встречался с Генри Фордом-старшим. Старик, создатель крупнейшей автомобильной империи, пригласил его к себе отобедать. За столом вели разговоры на разные темы вообще. Об автомобилях ни слова. А затем, когда принесли сигары и кофе, Форд наклонился, сказал доверительно:

— Вы родились под автомобильной звездой. Вас поили не молоком матери, а бензином, черт возьми.

— Это вы мне комплимент... Бензином...

Форд засмеялся. Его бритая щека яхтсмена и автомеханика дрогнула.

— Дорогой мистер Лихачев,— сказал он, улыбаясь,— теперь вы убедились, что все дороги ведут в Америку. Вы, крупный советский промышленник, многому научились у нас. Ведите хозяйство у себя по-нашему, и вы добьетесь успеха.

Переводчика звали Любомир Шпирович Голо. Когда-то он работал на заводах Форда, затем вернулся в Москву и слесарил на Московском автомобильном имени Ферреро. По национальности был сербом. Английский знал не слишком, но в Детройте автомобильщики его понимали: крыл хорошим станочным жаргоном, так что сразу возникало полное взаимопонимание.

— Скажи ему только вежливо, что, во-первых, я не промышленник,— сказал Лихачев, поворачиваясь к переводчику.— Я слуга народа. Директорская должность мною получена не по наследству, а по воле моей партии. Что касается путей-дорог, тут ты, Любомир Шпирович, не ошибись, они, скажи ему, временно ведут в Америку. Придет день, и им у нас можно будет многое подзанять...

Форд кивнул: может быть. Может быть... Спорить ему не хотелось. На дворе стоял 1930 год.

— Нам нужны такие люди, как вы. Вы бы и у нас далеко пошли. По всему видно,— сказал Форд.

— Сомневаюсь,— сказал Лихачев.

Когда садились в машину, вежливый хозяин упругой походкой вышел на крыльцо. На нем был спортивный костюм. Ветер забрасывал галстук на плечо. Любомир Шпирович охнул: «Иван Алексеевич, уважение-то какое. Сам Форд! Это ж надо... Генри Форд!..»

— Деловой парень,— согласился Лихачев и приложил правую руку к шляпе. Пришлось ему купить в Штатах серую шляпу с черной лентой, век бы ее не видеть, здорово она мешала с непривычки. Фасон назывался «молодой конгрессмен».

— Будьте здоровы, мистер Форд! Милости просим в Москву на АМО, к нам в Симоновскую слободу.

Форд кивнул. Но всего, наверное, не понял. Любомир Шпирович не знал, как по-английски «слобода».

Было это накануне пуска завода. Завершалась первая реконструкция...

Нет, он родился не под автомобильной звездой и не в семье блестящего русского инженера, как сообщила одна американская газета. Или итальянская. Теперь уже трудно установить, какая, но было такое сообщение.

Автомобиль выворачивал на Невский. Черный, блестящий.

— Что варежку разинул? Закрой, просквозит,— сказал дядя.— Город наш морской. Основан, как окно в Европу.

В Питер Лихачев приехал, потому что надо было зарабатывать на жизнь. Отец болел, на руках у матери Евдокии Николаевны осталось восемь детей — две девочки и шестеро мальчишек. Он старший.

Дядя слесарил за Нарвской заставой на Путиловском заводе. Дядя говорил, допивая шестую чашку чая: «Слесарь — это тебе, племяш, то же, что столяр, только по металлу. Всегда сыт будешь и нос в табаке».

Его взяли учеником в мастерскую, потом — учеником слесаря на Путиловский, а когда началась первая мировая война, призвали в армию.

По существующему тогда положению Лихачев призывался не в столице, а в том же Веневе. Призывался во флот, но военным моряком он не был. В плавсостав не попал. А в 1917 году по болезни был освобожден совсем.

Про корабли, про крутые штормы, про лихих братишек в бескозырках он любил рассказывать, потому что море было несбывшейся мечтой. Такой желанной и солнечной, что до своих последних дней директор завода, депутат Верховного Со-

вета страны, министр Иван Алексеевич Лихачев любил, когда его называли моряком. «Я старый матрос»,— смеялся он.

В анкете он писал: «...год рождения —1896, образование — 4 класса и курсы шоферов в 14 году, член партии большевиков — с июня 17 года».

После Февральской революции был опять взят на военную службу. Но на флот не попал. Служил в 192-м запасном пехотном полку и с 1-й маршевой ротой пошагал на Западный фронт во вторую армию.

В том же июне он был тяжело ранен, лежал в госпитале, и вот, выйдя из госпиталя, большевик Лихачев надел матросский бушлат — форму революции. Социальные штормы кидают его по всей стране. Яростные норд-осты рвут якоря, зюйдвесты будят авралами. И — свистать всех наверх! Полундра! Он перепоясан пулеметными лентами, на груди красный бант, на боку маузер в полированной деревянной кобуре, на поясе с медной бляхой висят, как гири у часов, гранаты-лимонки. Он формирует отряды Красной гвардии в Гельсингфорсе и в Москве, потом работает в ВЧК.

У молодого Лихачева было две мечты. Море и автомобиль.

Он был удачливым человеком, лихим и смелым. С Алексашкой Меншиковым его сравнивали и называли Чапаевым нашей промышленности. Он обладал удивительным человеческим обаянием, открывавшим ему все сердца и двери. Но был в его личности и еще один дар. Дар удивительный и ни с чем несравнимый. Любая задача, которую он решал, соизмерима с масштабами времени. Он историчен. Его жизнь — приобщение к чуду. До каких высот он взлетел! И от этого чуда сам он отделаться не мог. Сколько раз спрашивал с трибуны: «Кем бы я был без Советской власти? — И отвечал:— Нулем бы был без палочки!» И зал гремел аплодисментами.

Говоря громко, когда знакомишься с его жизнью, история накрывает тебя своим крылом. Все события, волновавшие страну, не проходили мимо его судьбы. Они с ним.

Он строит Советскую власть в Москве, работает в ВЧК.

О чекисте Лихачеве заводские ветераны рассказывают много и все вроде бы с его слов: однажды Иван Алексеевич сказал на активе, как-то шел по цеху и вспомнил...

Есть легенды, но документально установлено, что бронепоездом он не командовал, агентов иностранных разведок не выслеживал и в конной атаке не рубил до седла усатого есаула, самого что ни на есть контру, любимчика атамана Краснова.

После ранения у него было слабое здоровье. Из ВЧК его перевели на хозяйственную работу в 1921 году, а через пять лет, 30 декабря 1926 года, он пришел на АМО.

Автомобилей было еще очень мало. Меньше 10 тысяч на всю страну. По московским улицам катили «золотые» автобу-

сы Рено и Ланчия, иностранные грузовики «форды» и «опели» пугали хриплыми клаксонами горластых ломовиков и лихачей, не признающих никаких правил движения.

Но жизнь налаживалась, стране требовался транспорт, и к двадцать шестому году уже стояла задача: посадить крестьянина на трактор, а рабочего — на автомобиль, чтоб быть непобедимыми.

Он разбирался в автомобилях и мог сравнивать продукцию своего завода с мировым уровнем как шофер. Инженером, тактиком, стратегом автомобильного производства он станет позже. А тогда, в 26-м году, он скажет: «Братишки, да неужто мы грузовика, как надо, сделать не сможем Стране Советов!»

Он был подвижен и нетерпелив. Свою директорскую биографию начал не с заседаний и не с совещаний, и даже не с консультаций с многоопытными инженерами, служившими еще при Рябушинских. Прежде всего пошел по цехам. Этот красный директор начал знакомиться с заводом не с производства, не с технологии, не с того, как делается «машина времени — советский авто», начал с биографии, с судьбы тех, кто стоял у станков и разметочных плит. Подходил, протягивал руку лодочкой, знакомился. «Иван Алексеевич. Очень приятно». И не спешил уйти. И не говорил просто так.

Завод — не станки, не цехи, не подъездные железнодорожные пути и не территория, огороженная крашенным забором. Завод — люди, которые делают с тобой одно дело. Завод вечен.

Новый директор был молодым человеком и по возрасту и по темпераменту. Его тянуло к заводской молодежи. Звук гармошки его волновал. На танцы любил смотреть. А приглашать девушек стеснялся. Инженеры в фуражках с перекрещенными молоточками на черных бархатных околышах, те мыслили высокими техническими категориями, блюли свое инженерное достоинство, а он начинал с малого. С режима экономии. Тогда в стране впервые началось это движение.

Он выступал перед заводской комсомолией с докладами о бережливости. Все заводские неурядицы изображал доходчиво и не стыдясь. И как у деревообделочного цеха мокнут под дождем неубранные доски, и как работают вхолостую станки. Директор все замечал! Очень скоро по заводу пошла молва, что Иван Алексеевич знает, где какой болт лежит. Старые кадровики за глаза стали называть его с уважением — хозяин.

— Пришлось перестроить всю работу завода, дисциплинку поднять,— вспоминал он те дни.— Пришлось разобраться в самой гуще заводской жизни, чтоб знать, с кого на заводе что требовать и кто на каком участке будет лучше отвечать поставленным задачам. Надо было вытащить завод из прорыва.

Ведь не была даже установлена мощность завода: кто говорил 100 автомобилей в год, кто — 800, а кто — 1 200...

Завод, завод, завод...

Думал ли он, приступая к новой своей должности, что маленький АМО, выпустивший в 1926 году почти 300 автомобилей, при нем, на его глазах превратится в крупнейший автомобильный завод Европы и здесь, на этом заводе, он Иван Алексеевич Лихачев, проработает 25 лет! Четверть века. И какого века...

Конец нэпа, первая пятилетка, первая реконструкция на выпуск 25 тысяч автомобилей в год. Потом вторая реконструкция —50 тысяч. Потом —100 тысяч! «Круглая цифра, считать легче»,— говорил он.

События на КВЖД, озеро Хасан. «На Хасане наломали мы бока» — песня была такая, и пели ее красноармейцы в кузовах его автомобилей. Он был директором. Во время гражданской войны в Испании — он. Его автомобили возили продовольствие и снаряды испанским республиканцам под Мадридом и на подступах к Овьедо.

Халхин-Гол, линию Маннергейма, Великую Отечественную — все это он прошел вместе с заводом в должности директора.

Его автомобиль колесил по дорогам Отечественной войны, на его шасси монтировали первые гвардейские минометы «Катюши» и счетверенные зенитные пулеметы, защищавшие небо Москвы.

В 26-м году никаких специальных знаний, кроме тех, что были приобретены на курсах шоферов, у него не имелось. Здравый смысл подсказывал, что прежде всего требуется решить, какой строить автомобиль. По данному вопросу имелись тогда весьма существенные разногласия. А он понял, что для создания автомобиля нужны качественные стали, резина, электрооборудование, лаки, краски, текстиль, стекла... Откуда их взять в достаточном количестве в стране, только вышедшей из разрухи? Как быть?

Для развития промышленности требуется надежный грузовик, а для того, чтобы этот грузовик, душу из него вон, появился, нужна промышленность. Круг замыкается.

Инженерия — конкретная область деятельности. Инженер повязан законами времени, тем более, организатор производства. Директор может и не быть инженером, но он обязан быть политиком, понимающим и чувствующим конъюнктуру сегодняшнего и завтрашнего дня.

Надо было строить надежный и крепкий грузовик. Чтоб ездить ему долго, а стоить недорого. Чтоб управлять им было легко, а чинить еще легче, потому что за руль его должен сесть конопатый деревенский парень, вчерашний хлебопашец, управлявший тихим Савраской. И самое главное — этот со-

ветский грузовик должен существовать не в единственном выставочном экземпляре на показ, а в сотнях тысяч и миллионах качественных рабочих образцов.

— Все мы по земле ходим,— говорил директор,— а автомобиль катится, вот и давайте от земли не отрываться. В облаках аэропланы витают, это другое ведомство.

И еще он говорил:

— Я считаю, что машину не должны лизать там, где не нужно. Я требую, чтобы машина была рабочей, прочной и дешевой.

Лихачев понимал, что строить новый завод надо с заделом, с мечтой на будущее, а всякие там цветные фары, подфарнички, хромированные бляшечки — это все для пижонов. Завод должен работать, и весь заводской организм обязан быть гибким: появилась новая сталь — тут же ее в дело. «Красный пролетарий» выпустил станки мирового класса — сейчас же их у себя на АМО и поставим. Вот таким манером, считал директор, постепенно, но верно автомобиль будет улучшаться, а завод становиться сверхсовременным. Вот его подход!

Иван Алексеевич Лихачев был самоучкой в том прекрасном значении, которое может вызывать только уважение. У него была мечта. Всю жизнь он стремился воплотить эту мечту в металл, этой мечте были подчинены все его планы, он видел ее на бумаге, на синьках и планшетах в своем директорском кабинете, мечта снилась по ночам.

Тот автомобиль выкатился откуда-то справа, будто из-под руки. Шофер был в кепи с прямым козырьком и в очках... «Варежку-то закрой, просквозит,— говорил дядя.— Город наш морской».

С вокзала на трамвае ехали на Нарвскую заставу. Тетя поила чаем с вареньем и все расспрашивала, как в деревне, жив ли дед Котомкин, звонят ли в Ивановской церкви к обедне и как там новый батюшка Филарет, молоденький, с аккуратной бородкой. Он отвечал, а сам думал про чудо, проехавшее мимо него на вокзальной площади.

— А у вас на заводе это делают?

— Про что говоришь, племяш? Ну и сдался тебе энтот примус! Нет, авто у нас не производят,— сказал дядя и запел: «Вдоль над Невой летит стрелою авто вечернею порою».

Когда он пришел на свой завод, конвейера еще не было. Автомобиль собирали на деревянных козлах. Ставили раму и постепенно прикрепляли к ней все необходимые автомобильные детали и агрегаты.

Новая модель. АМО-3, пришедшая на смену АМО-Ф-15, потребовала конвейера. Она состояла из четырех с половиной тысяч деталей, и весь технологический процесс завода должен был быть рассчитан так, что, подчиняясь потоку, каждая деталь, все детали на малых конвейерах из заготовительных це-

хов ручейками подавались бы на главный конвейер, где стекались в единое целое — в автомобиль. Если завод — организм, то отныне менялись законы его жизни.

По мнению Лихачева, конвейерный ритм обязывал человека чувствовать значимость своей работы. Четыре с половиной тысячи основных деталей — это много, но если хоть одна из них, пусть самая скромная, будет подана на главный конвейер не вовремя, общий ритм потерян, весь завод работает вхолостую.

Каждые четыре минуты 12 секунд с главного конвейера должен был сходить готовый грузовик мощностью в 66 лошадиных сил.

Когда до этого не завод, Россия мерила время на секунды?

Первый АМО-3 родился в час ночи 21 октября 1931 года. Лихачев, по-бычьи пригнув голову, уже не видя никого рядом, влез в кабину. «Давай по старой памяти поведу, ее,— буркнул. Резко взял с места.— Нервничаю, что ли?..» — усмехнулся, переключил на вторую передачу.

Он всегда сам испытывал новые модели своего завода, участвовал в испытательных пробегах. Первое шасси легкового автомобиля ЗИС-101 было собрано в марте 1936 года. Для обкатки его оборудовали деревянным сиденьем. Ни крыльев, ни ветрового стекла еще не было. Николай Трофимович Осипов, заводской автомеханик, поставил машину у ворот, а сам пошел пальто и шапку надеть. И шарф повязать. Без лобового стекла насквозь просквозит.

— Вышел я утепленный,— вспоминает Николай Трофимович,— а машины-то и нет! Заволновался. Кинулся туда-сюда. Нет! Но вскоре автомобиль появился. За рулем сидел Иван Алексеевич.

Директор не вытерпел и сделал круг по территории завода. Но этого ему показалось мало. Вдвоем с Осиповым они решили махнуть в Подольск и обратно.

Мокрый снег бил в лицо, засыпал колени, ветер пронизывал до костей, но Ивану Алексеевичу было весело, и всю дорогу, все 70 километров —35 туда и 35 обратно — он шутил:

— Николай Трофимович, похожи мы на авиаторов?

— Да как сказать, Иван Алексеевич, и да и нет.

— Мы на моржей похожи, на усах сосульки,— радовался директор, хотел вспомнить слова старой песни про молодого шофера, который держал руль твердой рукой. Мотив-то он помнил, а вот слова забыл.

В феврале 1939 года Ивана Алексеевича назначили наркомом среднего машиностроения. На этой должности он проработал чуть больше года и в ноябре 1940-го вернулся на завод, заявив почти во всеуслышание, что наркома из него не получилось по причине полного отсутствия дипломатических талантов и способностей.

Может быть, он был не совсем прав, когда говорил, что «товарищем директором интересней, чем товарищем наркомом, меня от бумаг в цех тянет», но ему нужно поверить. Он мыслил конкретно и должен был видеть свое дело каждый день, трогать его руками, дышать воздухом литейки и кузницы, брать за горло прорывы, не спать по ночам, спорить, сердиться и радоваться каждому успеху.

Если складывается впечатление, что он был только производственником, а вопросы большой автомобильной политики его мало интересовали, это неверно.

В 1934 году, прогнозируя завтрашний день, он настаивал на производстве массового малолитражного автомобиля. Это когда все восхищались американским опытом и автомобильные специалисты гремели с трибун: «Мы не нищая Европа. В автомобильном вопросе пойдем американским путем. Будем строить, как Форд...» Он считал, что грузовые автомобили и автобусы должны быть дизельными, хотя дискуссий и решений о защите окружающей среды тогда не было. Разрабатывая перспективную карту шоссейных дорог страны, настаивал, чтобы дорожное строительство велось капитально, ибо нет ничего постоянней временных решений.

Когда говорят, что Иван Лихачев был просто выдвиженцем, только энергичным человеком, но не тем специалистом, который двигает свое дело на новые профессиональные рубежи,— это та альтернативность мышления, которая не дает понимания сложных законов.

Он был крупнейшим организатором автомобильного производства, директором, менеджером мирового класса. Ему нравилось руководить. Быть командиром нравилось. Но громить неприятеля малой кровью он тоже не сразу научился и в танковые клещи брал врага не с первых дней. Он ошибался да и не мог не ошибаться, но в его положении его ошибки были минимальны.

Революция подняла на гребень новый человеческий характер. Рябушинские торговали люстрином и кокетоном по полтора рубля за аршин — для дела; выпускали на своих текстильных фабриках ситец и начали собирать на АМО полуторки «Фиат» — тоже для дела. Никто из них, из восьми братьев, не смог бы сказать: «для людей». А сказали, так прозвучало бы это слишком странно. Что значит «для людей»? А для господ? Были люди, были господа. И каждый жил для себя и понимал, что закон этот всеобъемлющ. Каждый живет для себя! Дело было личным делом, а для Лихачева — нашим, общим, одним для всех, при полной уверенности, что страна идет единственно правильным путем и «ветер века, он в наши дует паруса». Он в чудо верил.

Другие автомобили сходят с главного конвейера, другие люди спешат в утренних сумерках к заводской проходной, пе-

ред которой стоит присыпанный инеем бронзовый бюст того, чье имя носит завод.

Бронзовый Лихачев мало похож на живого Лихачева. В живом в нем как раз меньше всего было монументальной бронзовости. Если только иногда, когда заносило и, надувшись, начинал он играть роль лихого директора — любимца масс. Но по воспоминаниям он всегда был прост, доступен. Ходил в гимнастерке, перепоясанной широким командирским ремнем, сверкал высокими хромовыми сапогами. Летом любил ситцевые рубашки в полоску и всем доказывал, что мастеровые, уважающие себя мужчины, настоящие металлисты и механики должны одеваться просто. «По одежке только встречают, а провожают, учитывая еще и другие показатели».

Внешне он ничем не отличался от тех, кто стоял у станков и конвейеров завода. Потом стал чуть элегантней. Алексей Васильевич Кузнецов рассказывает, что однажды собрались на совещание у директора, глядь, а на Иване-то Алексеевиче шелковая бобочка цвета крем-брюле и одеколоном от него пахнет «Красный мак».

Все очень удивились, и Лихачеву пришлось рассказать историю своей обновки.

Накануне в Кремле на Ивановской площади правительству показывали новый автомобиль. Все шло хорошо. Но вдруг Сталин обернулся к Орджоникидзе, сказал: «Товарищ Серго, купи Лихачеву полдюжины хороших рубашек, а то ему, по-видимому, жалованья не хватает на приличные рубашки». Вот и пришлось директору изменить своей привычке, но не слишком. Шелков и бархатов директор не любил.

Ему нравилось донашивать старые вещи. Он любил частушки, но не любил анекдотов.

Он был человеком продолжительных привязанностей. Заказывал на воскресенье пироги с капустой. Обожал париться в бане. С квасом, с веничком в хорошей компании. И очень ему нравилось нянчиться с внучкой. При всем при том он оставался деревенским жителем, любил, чтоб все было с запасцем, свое мнение не сразу высказывал.

Вспоминают, что он уважал людей пишущих, всю жизнь мечтал уехать на месяц-другой куда-нибудь в тихие места и там засесть писать толстенную книгу, может, даже роман. «Войну и мир» про дизельные автобусы.

Когда немцы подходили к Москве, Иван Алексеевич руководил эвакуацией своего завода, выдавал удостоверения начальникам цехов и служб. И тогда старый амовец Михаил Абрамович Фильцер не выдержал:

— Иван Алексеевич! — сказал сверкая глазами.— Куда ж мы поедем в такое время! Давай лучше в лес тронем. Ведь за тобой тысяч двадцать заводских пойдет. Партизанить будем. Ты у нас за командира! Мы ж такое тут устроим...

Лицо Лихачева дрогнуло. Это предложение очень подходило его чапаевской натуре. А что, если и в самом деле? А что, если собрать своих ребяток симоновских и ударить? Ведь драться ж будут до последнего!

В кабинете сделалось тихо. Директор стоял над столом из черного мореного дуба и молчал, закрыв глаза. Видел ли он в ту минуту всех тех заводских ребят, настоящих парней, которые пойдут за ним в бой. Или он представлял, как его армия гонит немцев на запад?

— Бери удостоверение,— сказал устало и дернул ладонью.— Тоже выдумал. Выполняй приказ. На востоке заводы будем строить. Фронту автомобили не меньше солдат нужны. Голыми руками Гитлера не возьмешь. Затяжная война...

Фронт требовал автомобилей, и ЗИС-5 превратился в ЗИС-5В — грузовик военного времени.

В мирном исполнении производство его было невозможно. Заводские конструкторы заново спроектировали кабину. Теперь она была деревянной и фанерной. Надколесные крылья сделали гнутыми из листового проката. Штампованные с глубокой вытяжкой, довоенные крылья были слишком дороги.

ЗИС-5В был сделан без фар: ночью на фронте в целях маскировки света и не зажигали. Кузова не имели петель, так что боковые борта не откидывались, но зато мощность двигателя увеличена на 11 лошадиных сил. Повысили степень сжатия и перешли на алюминиевые поршни. В военном варианте этот грузовик, снискал себе добрую славу на дорогах Отечественной войны. Это был вполне надежный грузовик. «Зисуха не подведет»,— говорили фронтовые шоферы, и есть данные, что немцы охотно и без снисходительной улыбки пересаживались из своих «бенцов» и «опелей» на скромные «ЗИСы».

Как-то, после читательской конференции в механосборочном цехе МСЦ-1, ко мне подошел паренек, эдакий грибочек, плотный, ладный, в аккуратном пиджачке с серебряным самолетиком на лацкане, первым протянул руку:

— Виктор. Тарасенков. Будем знакомы. Я ваши статьи, извините, не читал, но интересуюсь.

Не плохо для начала. Я улыбнулся.

— Спасибо.

— И насчет Лихачева Ивана Алексеевича интересуюсь.

Настырный малый. Интересуется и все! С завода шли вместе, и по пути Виктор Тарасенков делился жизненными планами на ближайше обозримое будущее.

Он недавно закончил службу в армии, был старшим сержантом в роте аэродромного обслуживания, за Полярным кругом служил. На сверхсрочную ему предлагали, давали пра-

порщика, но Виктор приехал на ЗИЛ, потому что твердо решил связать свою жизнь с автомобильным производством, и вообще хотелось ему в большой город, где много людей, заводов, театров, библиотек и вообще очагов культурной жизни.

— Вот у ребят свои, можно сказать, герои,— говорил он, энергично вскидывая руку.— У кого кто. У кого Есенин, у кого Курчатов-академик, если человек задумал в науку двигать, а у меня, я вам откровенно, у меня Лихачев...

Молодой еще, решил я, и сделалось мне слегка неловко. Подумал, а что он знает о Лихачеве. Фильм смотрел «Директор».

Мы шли к первой проходной. Пахло литейкой, по брусчатке впереди медленно катился, лавируя в заводских узкостях, новый грузовик, еще без платформы и без номеров, куда-то на исследования, видимо, лежал его путь, так мы решили.

— Я его, естественно, не видел,— говорил Виктор,— но уважаю. И с детства, мне когда о нем рассказывали, я хотел подражать. Веселый он...

У Виктора ясные планы. Он работает, недавно его выбрали в комсомольское бюро, он хочет поступать в заводской втуз, хочет конструировать новые модели автомобилей. Во втузе есть такой факультет.

— Там у них неделя рабочая, неделя учебная. Удобно, честное слово, и в материальном смысле и в смысле усвоения учебной программы. А на втором курсе, как сопромат сдадим, можно жениться!

Есть у него знакомые девушки, но это так, танцы там, в кино сходить, несерьезно. А жениться он еще не знает на ком, но ему кажется, что она непременно будет медсестрой.

— Сдал сопромат, можешь жениться! — это так наши студенты говорят. Головастая наука, сопротивление материалов...

Сначала Виктор будет жить с будущей своей женой в общежитии, а потом, завод предоставит ему жилплощадь.

— Или кооператив купим. Уж там как-нибудь наскребем.

И так все это у него точно было расписано и разложено по чистым полочкам, что мне стало не по себе, я решил, что надо переменить тему, спросил:

— А родители живы? Папа, мама?

— Живут! Чего с ними... Пенсионеры оба. Ну, по дому дел у них хватает, да и сад еще. Навалом дел, честное слово. Навалом, Геннадий Сергеевич, дорогой вы мой! — так он сказал, а затем вкратце весело и доверчиво поведал, какой у них сад, сколько яблонь, сколько кустов смородины, черной, красной, белой, сколько крыжовника усатого, сколько корней клубники, «Ананасовой» и «Виктории».

— А место-то ваше как называется?

— Да веневский я! Я с Иваном Алексеевичем, можно сказать, да так оно и есть, земляк! — заявил он, весело глядя на меня большими чистыми глазами, и тут я поймал себя на том, что ведь сбудутся его мечты. Для таких-то молодых и упрямых, веселых, твердошагающих и горит зеленая стрела удачи. Звенит в полете, летит, и все ясно впереди. И никаких сомнений нет!

«Спешите жить!»

32

Закончив опытно-показательную школу при заводе «Динамо», Степа Кузяев вместе с Дениской Шлыковым и Витькой Огольцом поступили в амовское ФЗУ в ученики к Павлу Александровичу Парину, философу слесарных наук.

— Однако откеда вас таких пригнали? — спросил философ, поверх тонких очков глядя на новое пополнение.

— Откуда все, оттуда и мы! — гаркнул Витька, вытягивая худую шею.

— Грамотный шибко. Как звать?

— Виктор.

— Ну вот, скажи нам, Виктор Гюго, что такое есть упорный заводской организатор? Не знаешь. Кто знает? Никто. Рабочий. Значит, будем работать с металлом...— Павел Александрович поставил всех к верстакам. Вытянул из жилетного кармана серебряные часы-луковицу. Засек время.— Пили́!

Через десять минут, когда взмокли все и запахло потом, вздохнул протяжно, сел на скрипучий табурет.

— Шабаш! Что скажу? Плохо, скажу, ребяты...

— Так оборудование у вас стародедовское! Напильники вон лысые...— зашумели фабзайцы.

Павел Александрович пригладил седую бороденку, запахнул суконный свой пиджак.

— Барчук-белоручка склонен бесконечно болтать,— изрек строго.— Упорный же заводской организатор, тот даже при бедном оборудовании победит своей организационной сноровкой. Ясно, что сказал? Нет. Значит, буду воспитывать, пока не поймете.

Воспитывал Павел Александрович толково, весело. Все с шутками, прибаутками, которых знал бессчетное количество и был большой любитель. «Хило, Вавила,— кричал с утра.—Плохо, Тереха! За виски, да в тиски! Вот бы у немца ты поработал, он бы задал тебе пфефферу».— «А я советский пролетарий!» — смеялся Дениска.— «Ну, так пусть тебе Чичков разводной ключ нарисует».

За глаза все ученики называли Пырина дедушкой, или с гордостью — наш мастёр, потому что «наш мастёр» был наи-

первейший в заводе умелец. Это без дураков. Каждому фабзайцу внушал: «Не спеши. Сила есть — ума не надо, то верно, но лишь отчасти и не в полном понимании слова. Металл он все равно тебя сильней, и силой его не возьмешь, с ним нужно упорно, деликатно, как, все одно, с женщиной... ну, с мамой, с бабушкой... Ласково. Подошел к верстаку — подумал. Приготовился, приладился. Глядишь. Работай ровно, не рви. Изготовил, прибери за собой, вычисти». Это он каждое утро повторял, как отче наш, так что Степе Кузяеву врезались его слова на всю жизнь, он вспоминал, улыбался, а однажды вдруг вспомнил, уже став Степаном Петровичем, и удивился: до чего ж умен был мастер Пырин. И захотелось низко поклониться светлой его памяти. И сказать о нем что-то теплое, статью написать в газету, тем более, движение наставников на заводе, ребят мастерству учат и жизни, тут ведь одно от другого неотделимо. Но статью Степан Петрович так и не написал, и стыдно было перед дедушкой, и ощущение однажды вечером возникло, будто смотрит Пырин из коридора, прищурившись, качает седой головой. «И то спасибо, Степа, что вспомнил... А газета, бог с ней, с газетой-то. Я ж тебя не для славы своей учил».

Преподавателем по станочной части был серб Любомир Шпирович Голо, реэмигрант. Когда-то уплыл он из царской России за океан, работал в Детройте, на заводах Форда, рассказывал о конвейере, о массовом производстве автомобилей, по-русски говорил не очень хорошо, но слушать его всегда было интересно. «Товарищи автомобильные ученики»,— говорил он.

Невозмутимый, тихий Любомир Шпирович потом ездил с директором Лихачевым в Детройт, был у него переводчиком, показывал столицу мирового автомобилизма изнутри, чтоб видно было, что там есть хорошего, что там есть плохого, а то ведь туристы что видят? Фасад. А Лихачев хотел видеть все.

Закончив фабзауч, зимой 27-го года Степа Кузяев попал в отдел шасси, в бригаду на сборку моторов и в первый же день, только начал шабрить шейку под коренной подшипник коленвала, подошел бригадир дядя Кулагин Василий Федорович в новых, негнущихся валенках, посмотрел через плечо, определил: «Пыринский выученик».

Шабровка — занятие кропотливое. С почти готовой детали снимают тонкие стружки металла, чтоб было полное прилегание. За раз ничего не сделаешь. Пошабрил, давай поверку. Потом опять пришабривай. Опять поверяй, иначе загубишь деталь. И так хоть до ста раз, пока не будет ажура. Тот слесарь, который сказал в людном месте при барышнях, что шабровка — работа ювелирная, был кругом прав и не хвастал.

Степа старался не спешить, шабер смачивал в скипидаре, поверочную плитку покрывал тонким слоем берлинской лазу-

ри, растертой на льняном масле, и двигал ее по отшабренному месту, чтоб на выступах оставались пятна и видно было, где еще снимать металл. Шабровка очень подходящее занятие для нетерпеливых людей. Вроде рыбной ловли. Нервы успокаивает.

Наконец, коленвал ложился на отшабренную постель, надевали шатуны, поршни с компрессионными кольцами, собирали все в картер, ставили литой блок цилиндров, на этом тонкая слесарная работа кончалась, начиналась следующая операция — «погода шепчет бери расчет».

— Ну, крути, Гаврила! — приказывал бригадир нервным голосом.— Отойдите, товарищи! Лишние, которые отойдите!

Надевали на храповик заводную ручку, и Степа Кузяев, поплевав на ладони, начинал проворачивать весь кривошипно-шатунный механизм, чтоб было движение вверх, вниз, чтоб нигде затяжки не было и срезало все заусеницы.

Охотников крутить коленвал находилось мало. Тут можно было в один момент схлопотать грыжу, да и бывали такие случаи, но Степа все-таки считал себя кулачным бойцом, силачом, это ему разминка была. «Старому быту гроб! Даешь физкультуру и спорт!»

Посмотреть, как молодой Кузяев крутит коленвалы, приходили любители тяжелой атлетики из других пролетов, останавливались в проходе, спрашивали в легком недоумении:

— Парень, а ты это того, с быком бороться не пробовал?

— С быком не пробовал. А вот одного осла я сейчас прибью,— мрачно огрызался Кулагин и замахивался чем-нибудь тяжелым. Но на него внимания не обращали.

— Смотри, Кузяев, пупок развяжется! Потекет водичка по копытечку...

— Мамку будем с деревни вызывать. Ой ли...

Денис смотрел на Степу с восторгом, и на Денискином курносом носу блестели капельки пота.

— Твой опыт,— говорил,— надо отразить в газете! Я б сам написал, но есть профессиональная этика. Вон медики ни родных, ни знакомых не режут.

— То медики...

— А перо, между прочим, острейшее оружие.— Дениска был рабкором и очень газету уважал.— Я про тебя написал бы, но ты какой-то обыкновенный, про тебя трудно писать.

В бригаде Кулагина они с Дениской были самые молодые, и отношение к ним было, как к младшим. «Комсомолия вы моя ненаглядная, передовой отряд будущего»,— говорил Кулагин, рукавом вытирая губы, и это было обидно, но вскоре бригадир пошел на выдвижение, уехал в Ленинград управлять крупным заводом, и решили они с Денисом создать свою молодежную бригаду. Пригласили Нюрку Точилкину, Петю Слободкина, Кольку Пугачева, сели в красном уголке, прикинули, как что.

— А,— сказала Нюрка,— и чего с вами работать, никаких прелестей не вижу. Ни танцевать никто из вас не умеет, ни за девушкой поухаживать, как полагается. Я вчера в «Пролетарской кузнице» с одним военлетом фокстрот танцевала. Это партнер. Вот в воздушный флот я б пошла!

— Нюрка, ты свои анархистские настроения оставь! — разозлился Колька Пугачев, фасонистый парень, всегда причесанный и пахнущий одеколоном.— Ты это, Нюрка, перед Денисом крутишься, как какая-нибудь старорежимная барыня перед графом в Зимнем дворце. Так комсомолке нельзя.

— Очень надо,— Нюрка дернула плечом.— Сдался мне ваш Денис. Я к нему отношусь как к товарищу. Не больше того.

— Кончайте базарить,— сказал высокий Петя Слободкин, басовитый малый в очках.— Вы с личных рельсов сойдите, давайте думать, как одной бригадой работать. Не маленькие.

И они все вместе придумали великолепный план. Решили, что Пугачев будет шабрить среднюю шейку, навертывать шпильки под блок цилиндров, и на этом для него точка. И хватит. Слободкин возьмется за разборку моторов после первого испытания, промывать их будет керосинчиком, продувать сжатым воздухом. Пусть помогает ставить коленчатый вал, здесь сила нужна. И ладно, а то очки разобьет. Интеллипуп...

Денису вменялось в обязанность одевать картер, шабрить по мелочи, ну а Нюрке Точилкиной оставались толкатели, болты, шплинты и общая чистота.

— Ну так я всегда у себя в бригаде этим и занималась,— заявила Нюрка со вздохом, она не верила в успех.— Ничего из этого не выйдет.

Ее пристыдили:

— Племянница ты Каутского!

— Не надо так,— обиделся Денис и покраснел.

Нюрка смерила его долгим женским взглядом, сморщила лобик.

— Заступничек мой...

— Все будет хорошо,— заключил Петя Слободкин, поправляя очки.— В таком подходе есть зерно. Только давайте сначала начнем скромненько.

— Само собой,— заволновалась Нюрка.— Как только бригаду нашу сформируют, так с утречка и начнем. Утро вечера мудренее, это не я сказала.

— Пушкин!

— Пушкин не Пушкин, а на нас другие равнение держать будут.

Их предложение поддержали. Выделили бригаде свое место и свой план, и стали они работать — Денис, Колька, Петя, Нюрка и Степа-бригадир.

С первых же дней четкое распределение обязанностей дало свои результаты, и на неделе заглянул к ним старый кадровик Капитон Карпович, постоял, посопел в усы.

— Ребята,— сказал,— вы не дурите, думайте, что делаете. Вы нам всем расценки сбиваете. Кончайте так, ребяты. Атас.

И ушел, заложив руки за широкую спину, туго обтянутую черной спецовкой.

— Вот аспид,— прошипела ему вслед Нюрка.— Совершенно не понимает текущего момента! Мы ж вкалываем...

Первая смена только еще разошлась по рабочим местам. Утреннее солнце полосами легло по всему пролету от стеклянных фонарей в крыше до полу. Уже вертелись вовсю трансмиссии и от быстрого перевода с холостого хода на рабочий ерзали приводные ремни, сползали со шкивов, шлепали. Все помещение наполнялось ровным станочным гулом и слесарным скрежетом.

У испытательной станции к Степе подошел Витька Оголец. Степа только откатил на станцию собранный мотор.

— Привет! Приветик! Ударникам наше почтение с кисточкой.

— Здорово, Витька. Давно не видать тебя.

— Может, покурим вместе? Потолковать надо. В простуде был.

— Давай, если коротко.

— Как получится, Степан. Тебе, что больше всех надо? — сразу же заволновался Витька.— Больше всех, да? Слыхал, с твоей бригады хронометраж будут сымать? Вот, не слыхал! А это так. Будут сымать по часам. Одна секунда, две секунды, трали-вали...

— Пусть снимают.

— Тебе легко «пусть», ангел ты светлокрылый, а старички, между прочим, обижаются. Капитон Карпович тебя не глупей и бригадиром не первый год, а вперед не лезет. Тише едешь, дальше будешь.

— От того места, куда едешь!

— Это трудно понять,— отмахнулся Витька.— Славы захотел? За чужой счет в ударники лезешь?

— Почему за чужой?

— А потому! Только вот смотри,— Витька оглянулся по сторонам,— я тебя по-дружески предупреждаю, свалится тебе на кумпол, на темячко в самый раз железная в четыреста грамм чушка или побольше, что делать будем? Доктор не соберет. Сложный выйдет чертеж. Его с бригадно-цеховой выучки не прочтешь...

— А ты не грози.

— Да я и не грожу, душа мая. Я предупреждаю, это две большие разницы. Знай, лучше я тебе скажу, чем кто-то дру-

гой. Общество все целиком против. Говорят, штрейхбрехеры так не поступали, стыдились этого, а вы гордитесь. Первые, первые...

— Да что они не знают что ли, что по всей стране идет движение ударников! У нас реконструкция со дня на день начнется.

— Не хуже тебя знают. Но это, так сказать, в больших масштабах, нас не касаемо. А вот наш отдел ты не трогай. Общество противится.

— Им что же, хочется, чтоб хозяева снова были? По Рябушинским проскучились? — возмутился комсомолец Степа и даже ногой пнул повернувшийся обломок стружки.

— А им все едино, что Советы, что кадеты. Допустим.

— А мне вот не едино! Мне не едино! — хотел крикнуть Степа, но злости в нем не было, и он это сказал обычным голосом.

— Видал ты тех хозяев... Сознательный очень. Но про четыреста грамм помни! — Витька сунул кулаки в карманы и, покачиваясь, пошел к себе на участок. А Степа остался стоять у дверей испытательной станции, и не было у него убедительных слов, чтоб крикнуть их вдогонку Витьке. Да и что можно было крикнуть?

Нужные слова пришли позже, когда Витька со своей батареей стоял под Сталинградом. Их просили: «Артиллеристы, подкиньте огонька!» А у них не было снарядов. В пыльной, выжженной степи в мареве за разбитыми хуторами ревели моторами немецкие танки, и каждый день начинался с того, что в слепящем небе кружил над их позициями немецкий самолет-разведчик.

...Летом сорок третьего года капитан-артиллерист вошел в кабинет Кузяева. Обнялись, расцеловались, а ночью сидели на кухне, два взрослых мужчины, выпили за встречу по стопке денатурата, «ликер две косточки», закусили американской тушонкой, именуемой «второй фронт», и Витька рассказывал о своей фронтовой судьбе. «Понимаешь, Степан, они прут, а стрелять нам нечем! Подвоза нет! И пацан я, пацан, о смерти пора думать, а я думаю, и мне жалко, что по Андронниковке в форме не пройду. А у меня уж «Красного Знамени» и «За отвагу», девчонкам-то в самый раз показаться. А немец прет, гад. Бьет по нам напрямую. Снарядов нет, впору с голыми руками на танки. И тут пробились к нам три «ЗИСа». Родные наши! Сгрузили ящики и уж потешили душу! Били гадов за все!»

Далеко за полночь, укладывая гостя, матрас ему принес, простыни, светало над Москвой, и утренний ветер врывался в открытую форточку, услышал Кузяев: «Я тогда, Степа, тебя вспомнил. Помнишь, беседовали мы у испытательной станции? В двадцать девятом или в тридцатом было, а?» — «Запамято-

вал,— ответил Степан Петрович,— спи, давай, капитан, утро вечера мудренее...»

И, следуя невыдуманным законам хроники, как не упомянуть, что тем же летом сорок третьего года, в такое же раннее утро в Москву приехал другой капитан.

Его часть стояла на переформировании во Владимире, а он отпросился на сутки в Москву, приехал в Марьину рощу в Александровский переулок, постучал в дверь с медной дощечкой, на которой было написано: «Профессор В. И. Строганов».

Ему открыла Ксения Петровна, седая старушка, которая когда-то на Невском так понравилась клоуну Жакомино.

— Митя! — воскликнула она, узнав в подтянутом капитане того мальчика, что знал наизусть характеристики всех автомобилей, участвовавших в испытательном пробеге 1912 года.— Митя!

Это был сын Дмитрия Дмитриевича Бондарева, Митя Бондарев, студент Василия Ивановича.

В то утро он повез своего профессора и его жену на дачу в Кубинку. Василий Иванович был очень болен. Он сидел рядом с шофером, а они с Ксенией Петровной в кузове, и Ксения Петровна все заглядывала в кабину, волновалась за мужа. «Митя, он совсем стал стареньким...»

Капитан помог сгрузить вещи, и, глядя на него, профессор Строганов разрыдался.

— Какая ж это несправедливость, что отец твой не дожил... Ему бы тебя увидеть таким, Митя... Дай я поцелую тебя. Подойди, Митя. Россия вспомнит твоего отца, она не забудет. Он был великим русским человеком. Она вспомнит... Народ вспомнит... Митьку Бондарева, Дмитрия Дмитриевича... Сына верного...

И опять же законы хроники заставляют сказать несколько слов еще об одном офицере, танкисте, лейтенанте Коле Строганове. Может быть, в то утро накануне грандиозного танкового сражения под Прохоровкой он лежал на траве возле своей тридцатьчетверки, молодой, нетерпеливый, читал стихи. Блока он любил.

О, весна без конца и без краю —
Без конца и без краю мечта!
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита!

Это было накануне его самого последнего боя. Летом сорок третьего года родителям в Кубинку привезут похоронку. А действие нашей хроники возвращается назад, в 29-й год, когда Степа Кузяев вместе с бригадой решил работать по-ударному.

33

Итак, в 1929 году, в один из тех зимних дней, когда с утра тает, а к вечеру морозит, бессменный директорский шофер Петр Платонович Кузяев пользовался отгулом за прошлый месяц. Он отдыхал — высыпался, брился, ставил самоварчик, сдерживая нетерпение, заваривал чаек, ждал, когда кипяток окрасится в густой цвет, доставал с полки любимую свою кружечку, весом в четыре фунта, никак не меньше, насыпал в сахарницу колотый сахарок, открывал клетку, в которой жил кенарь по прозвищу «Дядя Гоша», и усаживался не спеша, решив чаевничать капитально.

Птицами шофер Кузяев занялся совершенно случайно. Заехал как-то на Самотеку, на старые свои места, попал на птичий торг на Трубе и домой вернулся с чижом и со скворцом. Привез пернатых. Затем подкупил двух синичек, щегла, зеленого попугайчика Феньку и кенаря «Дядю Гошу», которого полюбил необычайно.

Кенарь был желтый, как желток, и умный жуть! «Дядя Гоша» сидел в своей клетке, помалкивал, но стоило Петру Платоновичу выставить на стол самовар, он начинал заметно волноваться, косил глазом.

Петр Платонович, как ни в чем не бывало, схлебывал из блюдца чай, а сам тихонечко свободной рукой пощелкивал сахарными щипчиками. Давал звук.

«Дядя Гоша» пулей вылетал из клетки, садился на стол, на перевернутый там стакан или на сахарницу, и отряхнувшись начинал петь.

Темнело за окном, паровозно пыхтел самовар, а желтый кенарь без устали выводил звонкие рулады, вспоминая Канарские острова, далекую свою родину, где на песчаных пляжах на берегу растут пальмы и голубые волны выносят в белой пене перламутровые раковины, из которвх потом делают пуговицы и продают в галантерейных лавках.

Под веселый птичий щебет вспоминалась морская служба, Бискайский залив, дымы английской эскадры, растаявшей на траверзе Канарских островов, поход вокруг Африки, Мадагаскар, стоянка в Носси-Бэ...

Осенью приезжала погостить Настя, посмотрела на птиц, послушала кенаря, сказала:

— Живешь, отец, как оно в раю! Каженный день ангельско тебе пенье.

— А то!

— В уголке вон свободное место у тебя, можно еще одну клетку ставить.

— Чего ж... Можно, пожалуй.

— Поспеши, отец. Все птички у тебя уже есть, одной только и не хватает. Вороны. Грязи мало.

Петр Платонович обиделся, но дня через два Насте понравились и «Дядя Гоша» и Фенька, она и в деревне собралась таких птичек завести, и Петр Платонович забыл ее обидные слова насчет вороны. Глупые, между прочим, слова.

Кузяев пил чай, слушал кенаря, гостей не ждал. В дверь постучали.

— А и кто? — спросил Петр Платонович, ставя блюдце на стол.— Не замкнуто!

Дверь открылась, и в комнату шагнул высокий мужчина в бекеше и смушковой шапке.

— Не признаешь, Кузяев?

— Виноват буду...

— Как же так, Петруша, флотских своих забывать. Дело разве?

— Колька! Никак ты! Живой! Смотри, господи, какими путями, садись давай, гостем, вот чай пью. Ну и раздался ж ты...— Петр Платонович помог гостю раздеться, дал веничек отряхнуть снег от фасонистых фетровых бурок.— Присаживайся, Николай Ильич, прополощем кишочки наши старые. Чай только заваренный...

— Дело у меня к тебе.

— Жизнь такая. А поматерел ты, поматерел, полковником выглядываешь. У всех дела. Садись, присаживайся. Чаю попьем. Хошь вприкуску, хошь внакладку. Если шамать хочешь, сейчас сообразим. Сало есть, братан выбирал. Мишку помнишь?

Постарел Коля, обрюзг. Волос поубавилось, а зубы хоть и золотые, но ведь не свои.

— Чай попивай, пока горячий, и о деле давай, если приперло. Вот уж не думал свидеться в момент...

— Трудно о деле под чай говорить,— Николай Ильич наклонился, достал из-под стола бутылку, и это ж как он ее успел туда незаметно сунуть! Ловок! Всегда ловок был! — Со встречей, Петр Платонович. Аш два о, воду то есть из чашки выплесни, я лимончиком запасся, порежь, и рыбка у меня в кармане.

Петр Платонович был человек хваткий, насчет таких дел соображал легко. Убрал лишнее. Раз, два. Постелил на стол чистую газетку, чтоб все как у людей, культурно. Вынул острый ножичек — к слову, сам его и точил из напильника, знатный получился предмет,— порезал лимон. Достал из-за окна вареной колбаски, тоже порезал. Васькиного сала положил. Хорошая была свинка, непокрытая. Выпили.

Николай Ильич понюхал лимонный кружок, согнул его двумя пальцами, откусил серединку, а кожурку аккуратно положил на край стола.

— Хорошо...

— Кучеряво живешь. Напиток знатный.

— Коньяк. Его и доктора пьют,— объяснил Алабин.— Самое подходящее для нашего возраста, состарились мы, вот ведь годы летят.

— По тебе не скажешь.

— Ну, ну... Вся жизнь прошла, куда не знаю. Как и не жил...

Петр Платонович попробовал усомниться:

— Брось, зачем так. Глупости это. В природе все по естеству. Детки-то у тебя есть?

— Бог не дал. По второй и закусим. Лососинка знатная.

— Диетическая вполне.

— Жена говорит, не пей, Коко, она меня Коко называет, не пей коньяк стаканами. Не могу. Самая тара, а то рюмки, стопки, не матросский подход. Будьте здоровы.

«А какое же у него ко мне дело,— мучился Петр Платонович и ерзал на табуретке.— С какой стати приехал? Не иначе, случилось что-то...» Решил поторопить время:

— Слыхал, у тебя лавка бакалейная была. Торговлю вел, да?

— Это в прошлом. Картина знаменитого художника «Бабушкин сад». Было такое, не скрываю, однако все завязано, добровольно бросил. Хочу на завод к вам. Возьмешь?

— А ведь можно,— развеселился Петр Платонович, предполагая, что Алабин шутит.— Тебя, главное, к делу приставить, а там ты сам пойдешь. У нас директор вроде тебя, тоже ни минуты себе спокойствия не позволяет. Как зацепится, так уж не выпустит.

— Выходит, договорились? — Николай Ильич сощурился, и тут Кузяев понял, что он не шутит, заволновался:

— Ты что, и вправду собрался?

— Вправду. Я ведь к верстаку готов. Впору уже.

— Тогда давай думать, на что ты годный. Кем тебя на завод определять? Торговли у нас нет, если только в столовую, но там партийный парень сидит, краснознаменец, дело ответственное. А доверия тебе не будет, даже если и порекомендовать, сам пойми.

Николай Ильич достал тяжелый портсигар, расщелкнул.

— Закуривай, Петруша. Я в столовую не хочу. Какой я общепит? Хочу в гараж. Шофером возьмешь?

— Если шофером... Но тут, пойми, диплом нужен как раз.

— А есть. Вот документы могу показать. Курсы кончал. Лавочку я бросил, хватит. Товарищи твои они на частный сектор косо смотрят. Но я сам, сам, добровольно из частников вышел. На Соловках не был, административными мерами не опорочен, вполне, понимаешь ли, созрел для занятий общественно полезным трудом. Вот он, паспорт мой, вота справка из жакта, домоуправом подписанная. Вот еще один документ...

— Ладно уж,— не выдержал Кузяев. Было что-то обидное

в этом перебирании бумаг.— Потом покажешь.— И решил, что, пожалуй, можно взять Николая грузчиком в гараж, на черную работу. Должность тяжелая, но исправляется человек, на переходном этапе, всем понятно, от кадровиков неприятностей не будет. Грузчиков не хватает, пусть будет грузчиком! И поймав себя на том, что большой по деревне шум пойдет, как узнают, что Алабина Ильи Савельевича сынок у Кузяева под началом в грузчиках, Петр Платонович даже как-то расправил плечи, посмотрел на Николая Ильича оценивающе и вроде даже капризничать начал: — А что, возьму, пожалуй! Но скажу, у меня работать надо... Я дома один, на службе другой.

— Кончили нэп,— перебирая документы, продолжал Николай Ильич,— считай, что навсегда. Частник не нужен. С частником трудно и ненадежный он элемент, частник. В двадцать четвертом году грек у меня один знакомец был, деньги взял, вроде как задаток, кой-чего купить у него хотел. Жду — не возвращает. Жду и в самый раз узнаю, что он, гусь лапчатый, тем же макаром у многих разжился. Разжился и канул. А почему, спросишь, скажу: он, считай, в двадцать четвертом году уже понял, что при большевиках в Ротшильды не пробьешься. Не дадут. Так мне и сказал.

— А задаток-то вернул? — укладывая лососину на кусок хлеба и не отрывая от этого занятия глаз, поинтересовался Кузяев.— Раз взял, то возвращай...

— Грек-то? У меня на него материалы вполне судебные были. Пригрозил. Встретились, он мне и вскрыл перспективы, как в воду глядел. А наши, сказал, с вами деньжатки, это, сказал, капля в море воды, сейчас другим делом надо заниматься. Спасибо за урок. Уроки тоже денег стоят. Надо было к тебе раньше прийти, да жена не пускала. Хотел в музей хранителем устроиться, не взяли. Так что теперь на тебя вся надежда, Петруша. Бери.

Петр Платонович уже решил брать Николая к себе грузчиком, но для порядка решил подчеркнуть сложность положения, будто не так все просто: пятилетний план, реорганизация на заводе, то, се, и почувствовал свою значимость.

— Кем брать? Я с тобой битый час выясняю — кем? Квартирмейстером по строевой части? По штатному расписанию заводскому нет у нас такой должности, и пятилеткой не предусмотрено. А если, скажешь, есть, спорить не стану, но заняты они без тебя! Локтями не пробьешься, кумекаешь?

— Я в гараж хочу.

— Кем, садовая голова? Кем тебя брать в гараж, соображай!

— Шофером,— сказал Николай Ильич.— Ты ж моих документов не желаешь глядеть. А ты полюбопытствуй для интереса, у меня шоферский диплом. Печать, подписи, все культурно, интеллигентно, хоть, завтра за штурвал.

Петр Платонович от неожиданности чуть было не привстал. Ничего себе известие! Но все точно, шоферские документы у Алабина были подлинные, он их получил в двадцать третьем году, потому что купил тогда «рено». Знакомый механик привел машину в порядок, но катался Николай Ильич недолго.

— В связи с изменением положения внутри страны,— объяснил,— пришлось продать. Милиция косо смотрела, и фининспектор интересовался, на какие средства сделано такое дорогое приобретение.

Шоферы на АМО всегда были позарез. Петр Платонович сразу рассказал, не мешкая, локтями отодвинув от себя посуду, какие у них для шоферов порядки, какая работа, но Николай Ильич неожиданно погрустнел, перешел на высокие сферы, начал о политике, главным образом о текущем моменте.

— Зря нэп кончили! Зря. Разве частный сектор мешает страну поднять? Разве частник в поте свой пуп рвет без пользы? Он сам имеет, верно, в загашнике хранит на расширение капитала, не спорю, но ведь и другим от того польза! Разве государство с экономической стороной вопроса справится? С торговлей, с фабриками, с заводами без хозяев-то? Кругом хозяйский глаз нужен. Что не свое, все по ветру пойдет. С голоду пухнуть начнем, к военному коммунизму вертаемся. Не в обиду тебе, Петруша, большевики твои не подымут Россию! На счетах считать надо. Подвижность нужна. Чтоб в струе. Это ж не армиями командовать.

— Справимся! Нет тут никакого сомнения. Вопрос снят. Частник лишний элемент.

— Ой ли?

Петр Платонович разлил остатки коньяка, вздохнул:

— Давай, Николай, нет птицы «недопил», есть птица «перепил». За твое здоровье. А я насчет тебя поговорю. Будь спок!

— Да... Выдалось нам в интересное времячко жить...

— Все нормально. Наш путь ясный. Индустриализацию начали, колхозные артели в деревне нарождаются, это тебе не кредитные товарищества, тут сила будет. А если каждый в своем огороде, как тот хряк, то мне такой России не надо!

Николай Ильич покачал головой:

— По Марксу чешешь? Или по-своему? Эх, Петруша, ты не ерзай. Я тебе говорю, вспомнишь рано или поздно, к нэпу опять повернем, голод, он научит и преподаст.

— А насчет голода не надо бы! Не надо. Не к вечеру будь помянут Пал Палыч, старший Рябушинский, какой головастый парень был. Про голод много понимал, надежды на нем строил, всю доктрину, так сказать, а где сейчас? Сам скажу. В Париже. Говорят, помер. Не знаю, верно ли. А братья живы и слезки небось на кулак мотают, Россию во снах видят. Я об

этом размышлял, мозги мял и скажу: знаешь, почему мы здесь, а они там, и так получилось, что в России самое слабое звено цепи империалистической лопнуло?

— Мы войну проиграли!

— Народ войны проиграть не может! Войну проиграло правительство.

— Это да. Поэтому-то его и свергнули. Скинули его! И рухнуло все, потому что проторговались.

— В каком смысле? — не понял Николай Ильич.— Купечество виновато, это факт, но ты выше смотри, да и хватит: старое вспоминать — костьми греметь.

— Выше, ниже не о том речь! Каждый к себе тянул, для себя жил, о том, кто рядом, не помышляли. Каждый свой пятак выторговывал, делиться не хотел. Никто ни с кем! И заварилось. Русский маховик тяжелехонек. Товарищ Ленин дал искру, вот и понимай. В грязи да в униженье, когда рядом с жиру бесятся, кому жить охота? Ты же на своей шкуре того не видывал?

— Не видывал, пожалуй. Не спорю. Маркса я не изучал. Ульянова-Ленина, как можешь догадаться, тоже. Не мой это маршрут. Я иначе разумею. В России у нас всего вперебор. И народ у нас выпить, конечно, горазд, но умен. Мудрые есть, работящие есть, красивые. Леса у нас, земли, реки, любые, всякие богатства есть. Места благодатные — живи, радуйся. Вот оно от чего — от радости все и происходит. От нашего от богатства. Были бы мы, как немцы или как французы, в бедных природных условиях, сидели бы тихо. А русский человек, он от счастья бесится, всего у него слишком, всего вперебор.

— Это ты о чем? — трезвея, удивился Петр Платонович.— О чем говоришь? Или не помнишь, что хлеба до нового года не хватало у мужика? Как в город, шли, с голодухи пухли, знаешь?

Николай Ильич махнул рукой.

— Помню. Только я о другом. Не понял ты. А вот Платон Андреевич, папаша твой, тот бы сообразил. Не о той я сытости толкую.— И чтоб совсем переменить тему, сказал неожиданно: — А кенарь у тебя ничего. Я тоже птиц уважаю.

Уже вовсю гремела в славе и юной доблести первая наша пятилетка. Стучала перфораторами, вбивая срезные заклепки в стальные пролетные балки будущих цехов, пылила серым цементом по симоновским кривым переулкам, вздыхала, умываясь по утрам тугим паровозным паром, шла в красной косыночке по склизким мосткам вдоль развернутых котлованов, пилила, рубила, слепила электросваркой, и такого на памяти поколения еще не было. Желая восславить свою эпоху, рабкор

Денис Шлыков писал, что жизнь принимает одно направление — рабочее. Один смысл. Одну цель ставит перед собой. Работа, работа... Даешь советский наш автомобиль!

Он писал, что на заводе создали отдел по реконструкции и расширению, и директор Лихачев держит прямой курс на большой конвейер. На смену старому должен прийти новый грузовик американского типа «автокар», и собирать его должны с четким ритмом — один автомобиль за 4 минуты 12 секунд.

Как-то утром Денис прибежал к себе в цех запыхавшийся и счастливый, крикнул Нюрке:

— Анюта, у меня новость для тебя!

— И что? — Нюрка взглянула пренебрежительно.— Ириску что ли принес?

— Хочешь «автокар» увидеть?

— Не а, не хочу. У меня на вечер свиданье назначенное.

— Это в обеденный перерыв будет. Ребята, машину новую из Америки доставили!

У Дениса было задание написать об «автокаре» в «Вагранку», и редактор обещал дать под статьей подпись, а то до этого Дениса печатали без подписи или под псевдонимом — Глаз, Зубило и Прожекторный луч.

— Эх ты, писака, бумагомарака, так бы и сказал, что днем показ будет. Я, пожалуй, взгляну,— заявила Нюрка и обернулась к ребятам.— А вы как? Молчите? Молчание — знак согласия. Мы все пойдем, а ты, Колька, сбегай в буфет, ты верткий, и возьми на всех колбасы. Я за тебя жиклеры продую. Иди, бригадир приказывает. Верно, Степа?

— Ладно,— сказал Степа в задумчивости, почесывая переносицу.— Надо машину посмотреть. Это важно.

— Ой, господи, и что бы мы без тебя, Денисушка, делали...

Нюрка растопырила пальцы, испачканные машинным маслом, и сделала Денису «смазь»: провела по кончику носа.

В обеденный перерыв, едва прогудел гудок, побежали в Тюфелеву рощу к беседке. Там уже народу собралось порядком, все места на лавочках заняли, но Нюрка в синем своем халатике всех растолкала, пролезла вперед, таща за руку Петю Слободкина. Скромный Петя извинялся на все стороны: «Простите... Виноват... Простите». Очки у него запотели. А Нюрка лезла, как броневик, добралась до первой скамейки, согнала с нее пожилых кадровиков.

— А ну, слазьте, отцы, это место для прессы. Редакция здесь сидеть будет. Я кому сказала? Покажь давай, Денис, удостоверение свое. Да где ж ты запропастился? Пропустите его, товарищи! Он лично будет отражать наше собрание на страницах газеты.

— А ты кто такая? — спросили ее недовольные металлисты.

— Я? Мы его ассистенты,— выпалила Нюрка, садясь па скамейку и расставляя руки, так чтоб успели сесть рядом и Колька, и Петя. Денис со Степкой отстали — Пропустите их! Я кому говорю! Господи, отсталость какая... Привыкли, понимаешь... Отец, ты от скамейки филейную часть приподыми, видишь корреспондент идет, у него работа.

— Ой, Нюрка, как тебе не стыдно,— прошептал Степа.

— Давай, садись скорей, тоже нашелся архангел Михаил... Благородный. Они на травке посидят, а я женщина, мне на землю садиться нельзя.

— Едут! Едут! — закричали из задних рядов. Из-за поворота появились две машины. За рулем первого грузовика сидел директор Лихачев. По-директорски грузно он вылез из кабины, с кем-то поздоровался за руку, кому-то кивнул, помог опустить борта и встал на платформе, как на трибуне.

— Слышно меня, товарищи!

— Слышно, директор!

Лихачев начал с того, что новый грузовик, который будет выпускать завод после реконструкции, «вот этот самый аппарат, на котором я стою и который вы все видите», имеет мотор в 66 лошадей и состоит из четырех с половиной тысяч деталей. Такую машину можно собирать только на конвейере, и, значит, весь завод должен быть подготовлен к тому, чтоб каждая деталь, все детали начиная от копеечной крепежной шпильки подчиняясь потоку, подавались на главный конвейер, где соединятся в единое целое — в автомобиль.

— Конвейерный ритм обяжет нашего человека чувствовать значимость своей работы, — говорил Лихачев. — Значимость своей рабочей персоны, иначе хорошей машины не получится. Четыре с половиной тысячи деталей, может, и не так уж много с современной точки зрения, но если хоть одна из них, пусть болтик пустяшный, пусть что, попадет на главный конвейер не вовремя — потеряется общий ритм! Затор возникнет. Огромный завод, товарищи, сложнейший организм, будет работать вхолостую. Задача, стоящая перед нами, перерастает в задачу государственную. Каждые 4 минуты и 12 секунд с конвейера будет сходить готовый грузовик. Когда до этого, кто вспомнит, я вас спрашиваю, Россия мерила время на секунды?

— Здорово сказал,— заволновался Денис.— Я эти слова отражу!

— Отразишь, отразишь... А пока помалкивай,— сказала Нюрка, щурясь на солнце. Ветер трепал рыжие ее волосы. В задних рядах голос директора слышно было плохо. «Громче, Иван Алексеевич! — кричали оттуда.— Тише вы, ребята, дай слушать...»

— Товарищи! Сроки перед нами сжатые. Бешеные перед нами сроки! За какие-нибудь два года мы должны сделать

то, на что другим странам понадобились многие десятилетия. У нас нет времени ждать. Вся надежда на нас самих. Или мы построим автомобиль, или нас сотрут с лица земли! Ясно я говорю?

— Ясно, директор!

— Крой дальше!

— Мы первые должны научиться мерить время на секунды. Никогда до этого Россия не мерила время секундами. Другие были масштабы. Триста лет дома Романовых, триста лет татарского ига, пуды, аршины, сажени, версты, ваше благородие было, ваше степенство сколько хочешь, а секунды не было! Во всех стихах поэта Пушкина, вон сколько книг написал, я сам проверил, нет секунды! Есть «миг», но это другое измерение...

— Ты смотри, как говорит,— охнул Денис,— я это отражу!

И вечером, сочиняя статью для «Вагранки», так и написал, добавив от себя: «Пусть мечтает Пуанкаре — о лакомом русском куске,— плохо разве? — пусть подсчитывают Рябушинские проценты убыточности коммунизма для России,— пусть! — пусть шамкает прославленный вождь социал-интервентов старичок Карлуша Каутский — о «большевистском тупике», пусть хныкают слепые оппортунисты, не видящие активности рабочих масс,— но ведь как завернул! — пусть петушатся леваки, трогательно обнявшись с правыми нытиками. Пусть! Амовцы делают свое верное пролетарское дело — дерутся за выполнение пятилетки...»

— Пишешь ты гладко,— сказал Лихачев, прочитав Денискину статью в черновике, потому что редактор велел показать ее директору: может у того будут какие предложения.— Хорошо пишешь. Язык у тебя грамотный, образный. С чувством пишешь.

— Вам понравилось?

— Вполне, чего уж тут. Если ты, братишка, на журналиста хочешь учиться, так направление дадим, от завода. Прямо на факультет. Нужное дело. Хочешь?

— Я, Иван, Алексеевич, писателем хочу,— отвечал Денис, смутившись.

— Писателем! — круглые глаза Лихачева сделались строгими, он сдержал улыбку.— Писатель — это, считай, высоко! «Мои университеты» Максима Горького читал? Писатель... Жизнь надо знать, как господь бог, писателю-то. Инженер слова... Там сюжет. Это тебе не на строгальном станке. Слово положить надо, так-сяк примерить, чтоб одно к одному строгать.

Лихачев был в бодром настроении, и паренек-рабкор ему нравился. Лопоухий, застенчивый, на юнгштурмовке кимовский значок, в кармане вечное перо. «Собранный паренек, а что видел он в жизни,— подумал Лихачев.— Какие планы стро-

ит на будущее? Быть писателем? «Пусть петушатся леваки, трогательно обнявшись с правыми нытиками...» Верно, но ведь не от себя это. Ни леваков он тех не встречал, ни нытиков».

— А почему ты статью псевдонимом подписал? — спросил Лихачев, подходя к окну и отдергивая занавеску.

— Эдиссон, Иван Алексеевич, на газетной полосе лучше смотрится, чем Шлыков. Д. Эдиссон — броско.

— Век живи, век учись! А мне-то и невдомек.— Лихачев взглянул во двор.—Чего это там привезли? Трансформатор? Точно! — Обернулся к Денису.— Ну, вот что, Маркони, если ты всерьез решил в писатели двигать, я тебе подсоблю.— Прошелся по кабинету, паузой подчеркнув значимость своего предложения, и спросил: — Хочешь в деревню на коллективизацию? Трудно будет, не просто, но кое-что поймешь и про нытиков и про леваков. Надо крестьянство на колхозные рельсы ставить, иначе пятилетку не сдюжим. Будешь выступать от заводского нашего имени, что машину мы им дадим, трактор дадим, инвентарем поможем... Но это, конечно, не сразу все будет, а ждать нельзя. Порохом пахнет.

Денис смотрел на директора робко и доверчиво. Он верил Лихачеву, и Лихачев понял, что надо найти какие-то очень правильные и нужные слова, и еще он подумал, а что если бы этот паренек был его сыном или младшим братом, послал бы он его в деревню или нет, и ответил себе: да! Да, да, да! Сто раз да! И даже глазами сверкнул.

— Мы сейчас проводим небывалый эксперимент. Я, Денис, в Германии был, в Америке. Там богаче живут, верно, но у нас силы есть и возможности сделать свою страну самой богатой и счастливой — вот такая задача стоит в пятилетнем плане. Все это понимать должны.

— Я понимаю,— сказал Денис, серьезно насупив брови. И опять Лихачев подумал о тех словах, которые звенят, но никак не могут выплеснуться, ведь как же это важно сейчас понять задачу момента с перекидкой на будущее! Хоть бы засомневался этот паренек, что ли, слабинку бы дал, чтоб спор загорелся, и он тут как тут нарисовал бы ему про тех американских безработных, что толпами стоят у заводских ворот, о бездомных стариках, ночующих под мостами, сказал бы, о неграх бесправных, о германских фашистах, это форменная банда, чистой воды уголовники!

— Тихо жить нам не позволят. Мы капиталистическому окружению кость поперек горла. Они войну развяжут, тут иного мнения быть не может. И вот до войны надо нам много успеть.

— Это я понимаю, товарищ директор.

— Ну а раз понимаешь, решай сам.

Сияла весна. В тихих симоновских палисадниках дымила черемуха. Фыркали мокрые извозчичьи лошади, шлепали копытами по лужам. Захлебывались в синей весенней стылости заводские гудки и ветер пах горелым углем и молодой травой.

Дениса провожали всей бригадой. Он уезжал с Казанского вместе с другими амовскими партийцами, мобилизованными на работу в деревню.

На вокзал приехали к девяти. Поезд уходил в девять двадцать. На мокром перроне играл духовой оркестр. «Эх, комроты, даешь пулеметы! Даешь батареи, чтоб было веселее!» По перрону ходил заводской фотограф, делал снимки.

Петя Слободкин в галстуке, в галошах, стоял у самого вагона, давал Денису последние советы:

— Ты, Дениска, этого, ну, из себя при деревенских-то не строй директора, а то, глядишь, парни и поколотят.

— Пиши, если что, мы тебе посылкю пришлем,— сказал Степа.— Масла там, консерву какую пошамать найдем.

Нюрка прибежала перед самым отправлением и разревелась. Степа очень удивился, когда они с Денисом обнялись при всех и расцеловались, как невеста с женихом. Вот ведь бригадир всегда все последним узнает!

— Ой, Денисушка, я ж тебя ждать буду,— ревела Нюрка. Беретка у нее сбилась на сторону, волосы растрепались. И другие девчонки слезы утирали рядом. На перроне блестели лужи, и получалось, будто все это они и наревели, женский пол.

— Денисушка, миленький, я на танцы ходить не буду, пока не возвратишься. Сразу с завода домой буду... Ой...

Звенел звонок к отправлению. «...За трудящийся народ да, да, да, да»,— гремели трубы, и веселые голоса подхватывали слова припева: «Эх, комроты, даешь пулеметы...»

Поезд тронулся. Нюрка побежала за вагоном по лужам. Денис стоял на подножке, там еще ребята стояли, высовывая лицо из-за чужих плеч, махал рукой и чего-то кричал, кричал, но уже слов нельзя было разобрать.

34

В июне тридцатого года в самый разгар первой летней жары подводили итоги конкурса молодых ударников, и комсомольская бригада Степы Кузяева получила первую премию.

В цех явился хромой фотограф, тот же, что и на вокзале снимал, молча установил деревянную треногу с аппаратом, накрылся черной тряпкой, чтоб не отсвечивало, и всем велел улыбаться. «Спокойно... Снимаю...»

Бригада сфотографировалась рядом с новым мотором, его только с испытания привезли.

— Товарищ фотокор, разрешите, я его вытру,— предложили Нюрка смущенно и кокетливо, будто это не мотор, а самовар и все собрались у нее дома пить чай.

— Так даже лучше,— подумав, ответил фотограф.— Сразу видно, на рабочем месте, не надо, барышня.— И посмотрел на Нюрку с многозначительной грустью. Тоже еще ухажер!

Назначено было собрание в Зале ударника, Степе как бригадиру полагалось говорить речь. Времени для подготовки дали один день, и Степа хотел начать с международной обстановки, рассказать кратко о значении грузового автомобиля для развития промышленности и смычки города с деревней. Затем он хотел перейти непосредственно к задачам реконструкции, рассказать, как поднялось ударничество на АМО вообще и в отделе шасси в частности и как была достигнута высокая производительность на сборке моторов. Сидел за столом, писал. Отец, убирая ужин, посоветовал:

— Ты особенно о себе не помышляй, не надо этого. Твой номер крайний, ты понимать должен. Давай скромно, от и до. Расскажи про бригаду, похвали Кольку, Нюрку Точилкину, Петьку... Про Дениса скажи теплые слова, им внимание и тебе уважение. Я тут Ваську сухоносовского встретил, племянничка троюродного,— вздыхал отец.— В чайной мальчиком у Алабиных служил, а теперь доцент! Преподаватель. Так-то! Пойдем, говорит, дядя Петь, со мной на первую лекцию. Пошел. Все точно! Зал полнехонек, а Васька наш — на трибуну. Он науку читает, государственное право. Ну, права государств, как кому двигаться, правила движения. На юридическом факультете. И наш Васька превозмог! Товарищи студенты, говорит, давайте знакомиться, моё фамилие Кузяев...

Утром Степа переписал речь начисто. Получилось две страницы, и первому показал Кольке. У Кольки брат в парткоме работал. Колька прочитал, сдвинув к переносице лохматые брови, определил:

— Десять минут.

— Десять много,— засомневался Степа,— меньше.

— Это ж только тезисы. Там разовьешь. Реакцию зала учитывай. Аплодисменты, бурные аплодисменты, вопросы, реплики...

Нюрка удивилась:

— Неужто сам писал?

— Нет, мамка помогала,— сострил Степа.

В назначенный час Зал ударника гудел, как электромотор с новыми коллекторами. На одной ноте тянул, ровно, без всплесков. Свободных мест не было. В полукруглом торце за-над столом президиума на алом полотнище было написано, что коллектив поздравляет молодых ударников.

Степе дали слово. Это была его первая речь. Сколько потом пришлось выступать Степану Петровичу и на заводских акти-

вах, и на коллегиях в министерстве, и в Госплане, и в Госснабе... В Японии он выступал, когда ездил туда с профсоюзной делегацией, в Чехословакии речь говорил на заводе «Шкода». Давно легко это у него получается, а тогда вошел на трибуну, достал свои два листочка, откашлялся. Яркая лампа светила в лицо. Зал застыл в ожидании. Кто-то покашливал. Кто-то поскрипывал стулом.

Степа взглянул на свои листки, буквы поплыли перед глазами, так что ни одного слова прочесть невозможно, а зал ждал, и в президиуме повернули к нему лица. Сделалось совсем тихо, жарко сделалось.

— Товарищи! — крикнул Степа и обомлел, первый раз услышав свой голос, усиленный микрофоном.— Товарищи!.. Да здравствует Советская власть! — И ушел с трибуны.

Ему долго хлопали, но он страшно расстроился, и Нюрка долго его успокаивала, гладила по плечу: «Ничего, ничего,— шептала в ухо.— Все очень оптимальненько! Ну, нет у тебя ораторского таланта, ну, нет, и лады. Ты ж не Цицерон греческий, ты ж советский человек, и дело у тебя не словесное, а моторное... Дай пять, я тебя поздравляю, Кузяев».

Тогда же в Зале ударника они узнали, что премию можно выбирать на свое личное усмотрение. Им предложили или идти в техникум: будут предоставлены места, или, пожалуйста, есть в парткоме для ударников пятилетки билеты на шикарный пароход, совершающий рейсы вокруг Европы из Ленинграда в Одессу. Раньше дворяне на нем плавали.

— Я б, конечно, на пароходе...— размечталась Нюрка.— Ах, помотали б у меня некоторые слезки на кулак... Портвейны бы пила, фисташками закусывала. Фокстроты бы танцевала до упаду, но не могу. Денис ревнивый.

— Вспомнила,— ухмыльнулся Колька.

— Хочешь, я тебе сейчас бледный вид сделаю? — предложила Нюрка, и глаза у нее стали, как у злой кошки.— Бледный вид и королевскую походку?

— Завтрева.

— Завтрева дома сиди, гробовщик придет мерку сымать!

— Перестаньте, хватит уже...

— Кончайте! Сколько можно.

Думали, решали, два дня спорили и в конце концов решили, что надо подаваться всей бригадой на учебу. Время такое. «Европа от нас не уйдет»,— сказал Петя Слободкин. Он много не говорил, разумный был парень.

В те дни когда решался вопрос, учиться им всем или плыть на белом пароходе под красным флагом, нервируя европейских капиталистов, на заводе произошло событие совершенно неожиданное.

Строители-сезонники потребовали расчета, побросали инструмент и шумной толпой двинулись к директору. На каменной площади перед первой проходной под окнами заводоуправления устроили митинг, выбрали делегатов, бородатых мужиков в расхлыстанных рубахах, те прямым ходом двинули к директору, смяли всех, кто был в приемной. «Посторонись!» И, оставляя на полу следы известки, окружили директора.

— А ну, глянь в окно, того-этого, начальник, народ ждет! Расчета не дают!

— Спущайся на низ, Иван Алексеев...

— Не пойдешь, силой выпихнем! Это так.

Лихачев побледнел. Уперся руками в стол, набычил спину.

— Бунтовать, да? Контрреволюцию разводите?

— На сенокос пора! Деревенские мы, хозяйство у всех.

— А это не хозяйство? — Лихачев мотнул головой.

— Иди к народу! — приказали делегаты. Глаза их горели решительностью.

— Ну, ладно... Ладно...

Лихачев спускался во двор. Толпа расступилась, пропуская его, и тут же сомкнулась.

К Лихачеву шагнул парень в застиранной рубахе без ремня. Волосы цвета лежалой соломы падали на его костистый лоб, парень дергал головой, будто сплевывал, смотрел не мигая, бесцветными, горящими глазами.

— Не отпустишь?

— Тише, Федь...— загудели артельщики одобрительно.— За народ мазу держит, за общество. Уважаем. Давай!

Парень рванул рубаху, охнул и что есть силы кулаком шарахнул себя в грудь. Кулак у него был мужицкий, плотницкий, а кожа на груди ниже четкой линии загара белая, ребячья, все жилочки видно и родинку под ключицей.

— Не отпустишь? Не отпустишь? Убью!.. — Федя задохнулся, на его губах выступила пена, он рухнул на камни, затрясся, захрипел.

Лихачева поставили на ящик. Директор стоял в синих галифе, в гимнастерке, перепоясанной широким ремнем. Молчал, сжав зубы. Что он мог сказать этим людям, торопящимся домой, к земле? Какие должен был найти слова, чтоб убедить их остаться до окончания строительства, сам крестьянский сын, директор красного АМО, ударного завода, будущего советского Детройта? Он поднял руку.

— Спокойствия прошу. Говорить сейчас буду...

Артельщики переступили с ноги на ногу, приготовились слушать.

— Давайте посмотрим на страну нашу,— крикнул директор ломким тенорком,— как она лежит разутая, раздетая, в смысле механизмов обеспеченная совершенно недостаточно. Любая развитая держава запросто может сделать нас колони-

ей, сырьевым придатком, жалким аппендиксом своего технического развития. Вы что же, дети малые или не слышите, как клацают зубами хищники? Англичане Баку хотят отцапать, немцы — Украину, японцы вон претензии до Урала предъявляют, Сибирь им отдай. Оч-чень хотят!

Лихачев прищурился, увидел впереди косматого дядьку в холщовой рубахе, растоптанные сапоги и бесформенный картуз, сдвинутый на затылок придавали всей его фигуре каменную монументальность.

— А ну,— крикнул директор, обращаясь к косматому дядьке,— сымай портки! Сымай, кому говорю! Показывать сейчас начну, что они с тобой делать будут, немцы те и японцы те и в праздники, и в будни, мать твою и бабушку твою и тетку конопатую в загробное рыданье! Кругом заворот кишок!

— Товарищ директор...

— Какой я тебе товарищ? Я третьи сутки с завода не вылазю, а ты работать не хочешь! — Сел на ящик, пригладил волосы.— Закурить дайте. Разнервничался.

Не дали.

— У нас заработок, небось, меньше твоего.

— На табак не хватает.

— Не хватает,— вспыхнул Лихачев.— А мне хватает! Я очень много зарабатываю. И все, значит, это в парижский банк отправляю. На вчерашний день ровно у меня три мильона было. И еще я дочке своей Вальке особняк в Ницце построил и дом купил, где вот только не знаю. В Берлине, помоему...

— Крестьяне мы, уговор был, директор, до сенокоса...

— Давай по-хорошему, Иван Алексеев, детки у всех, семейные мы, хозяйство.

— Что хотите,— сказал тихим голосом,— согласья моего нет, ребята. Я б на вашем месте, как хотите, завода не бросил бы. Потерпел бы год, другой. Поймите: автомобиля не будет, будет помещик. Вернутся сукины коты. Теперь идите и думайте, это не от меня зависит. Не директор законы издает. История.— Указал рукой на лежащего Федю, тот все еще хрипел и пена стекала изо рта.— Уберите его. И в медпункт. Кто бросит работу, судить буду без пощады, расценивая как саботаж...

Прошел сквозь толпу решительной походкой с кожаным хрустом. Сапоги на нем были новые и тугой ремень. Обернулся. Махнул рукой: «Расходись! Кончай митинг!»

Вставало над Симоновкой дымное фабричное солнце. Сияли церковные купола на зеленом даниловском берегу, гудели заводы, фабрики, и странно было, что не нужно никуда спешить. Занятия на подготовительных курсах при техникуме начинались в два часа дня.

11 Зак. № 928

Степа завтракал, прибирал постель и садился чертить гаечный ключ, первое задание по черчению.

К восьми часам валила в завод утренняя смена. Надрывались трамвайные звонки, хлопали в бараке двери, сквозняки пахли утренним табачным дымом и постным маслом. За последним гудком наступала тишина, которой, кажется, никогда раньше Степа не слыхал.

Во дворе трепыхали на веревках одеяла и простыни, мирно позванивали бидонами молочницы, возвращавшиеся в деревню Кожухово. К девяти выползали на улицу детишки, бегали под окнами, играли в красных и белых. Шаркал по мосткам татарин-старьевщик, тянул глухим голосом: «Старьё берем! Старье́...»

Отец уходил чуть свет. Став начальником гаража, он дома почти не бывал, и дядя Михаил Егорович жалел отца: «Вот она, руководящая работа»,— говорил, поджимая губы.

На заводе вовсю уже развернулась реконструкция, поднялись краснокирпичные коробки новых корпусов. На помощь строителям приезжали с песнями красноармейцы городского гарнизона, счетоводы, артисты, работники советской торговли.

День пуска завода несколько раз переносили. Сначала говорили, что будут пускать в августе, потом — в сентябре. Но в основном все уже было закончено, справились без Степы.

Утром проходил по мосткам вдоль барака стекольщик, нес на плече плоский ящик со стеклами, и в стеклах горело солнце. Регулярно наведывался слесарь по кастрюлям, по металлу и по салу — так его звали. Орал дурным голосом: «Лудим, паяем... Кастрюли, чайники, самоварные трубы...» Частым гостем бывал точильщик. Пристраивался со своим станком где-нибудь в тенечке, кричал, как петух, задрав голову: «Ножи, ножницы точим... Мясорубки... Бритвы правим...» Его окружала ребятня, стояли кружком, смотрели, как летят из-под вертящегося наждачного колеса желтые, красные искры.

Проходила мимо, всегда мимо, толстая почтальонша в суконном форменном бушлате, несла тяжелую сумку. Однажды остановилась, постучала в дверь: «Вам письмо».

Тихое утро плыло над Симоновкой.

— Спасибо. Чаю не хотите?

— Не за что. Служба такая.

— А нам письма есть? — поинтересовалась соседка тетя Маня Игнатенкова и глазом скосила, чтоб адрес прочитать, кто это Кузяевым пишет.

— А вам пока нету,— ответила почтальонша и рывком подтянув на плечо сумку, пошла дальше.

Письмо пришло из деревни Макаровки, пришло с большим опозданием, писал незнакомый Степе секретарь деревенской ячейки, у которого жил Денис, просил подготовить его родственников к тяжелому известию. Из того письма узнал

Степа, что Дениски уже нет в живых, и не будет для него ни тихого утра, ни стекольщика, ни искр из-под наждачного колеса.

Как приехал Денис, вывесили у сельсовета объявление, что рабкор Д. Эдиссон будет разъяснять молодежи деревни Макаровки задачи коллективизации, а затем агитбригада исполнит спектакль о крушении старого мира, о том, как «нечистые» у «чистых» власть отобрали. Теплынь, стояла, черемуха цвела, и макаровский милиционер накануне поехал в район за зарплатой. Денис проходил мимо пожарного сарая. Выстрел раздался оттуда, и белый дымок поплыл на солнце. Денис обернулся, постоял, качаясь, и рухнул лицом в дорожную пыль. Стреляли в упор из обреза, потом нашли в том сарае стреляную гильзу, а тех, кто стрелял, не нашли. Нюрке решили сказать, что никакой боли Денис не почувствовал. Не успел.

И дальше летит наша хроника без имени Дениски Шлыкова, симоновского паренька, слесаря и рабкора, мечтавшего воспеть свою эпоху для будущих счастливых поколений.

В то лето газеты писали: «Автомобиль побеждает время. Автомобиль ускоряет движение промышленности и сельского хозяйства. Он позволяет нам эксплуатировать часы и минуты».

«Стрелка часов — вот главный директор завода!»

«Автомобиль сделает человека счастливым!»

«Мы посадим крестьянина на трактор, рабочего — на автомобиль, чтоб быть непобедимыми!»

35

Это ж кто такой, какой ученый, уважаемый академик, биолог или врач сказал, что время есть функция обмена веществ? Странно звучит, а если задуматься, то не так уж и странно.

Раньше бывало лето тянется, тянется и конца, края совсем не видно. За три месяца в деревне по городу соскучишься, по школе. Год пройдет, так ведь как век, сколько всего увидишь, сколько узнаешь! И то верно, в восемнадцать лет один год — одна восемнадцатая, а в шестьдесят — другая дробь, одна шестидесятая, вот и сравнивай, что больше.

Степан Петрович сидит у себя дома в большой комнате, крашенной «под шелк». Он только что пришел с завода, поужинать еще не успел, но переобулся. Сидит в тапочках.

— Помните того генерала, рассказ я тут читал, название забыл. Его спрашивают, генерала, ваше высокоблагородие или как там, желали бы вы снова сделаться молодым, а он, генерал, отвечает басом: нет, не желаю! В молодости я прапорщи-

ком ходил, младшим лейтенантом, значит. А вот я скажу, явился бы ко мне какой Мефистофель, предложил: будь Кузяев снова молодым, я б крепко задумался. Ох, крепко! Маргарит там всяких Тань, Мань мне не надо. Геннадий Сергеевич, здоровья бы попросил и все. Честно говорю, мне мой возраст нравится!

Он улыбнулся, рукой разгладил плюшевую скатерть.

— Для меня завод был праздником. И до сих пор он для меня праздник. Я своего достиг. Ведь на моих глазах все это двигалось. А вы Игоря спросите. Для него автомобиль — просто машина, посложней швейной, полегче какой другой, для него все сложности и самый интерес вокруг автомобиля. Начнет вам про загрязнение окружающей среды, про надежность, про безопасность, качество вспомнит — вот, скажет, настоящие проблемы. И прав. Другое время, другой поворот диалектической спирали и другой подход. Я его слушаю, и мне иногда смешно. Годы — это опыт. С годами просто на моду уже не клюнешь. Я видел и широкие брюки, и узкие дудочками, и опять широкие, и опять узкие... То драповые пальто самый шик, то кожаные. Так и в инженерных проблемах. То вдруг автомобиль, автомобиль, он человека счастливым сделает. Перехлест! Теперь опять автомобиль, автомобиль, он человека погубит. Опять перехлест.

Жена Анна Сергеевна смотрит на мужа строго. Она всегда считала, что дома нельзя говорить о работе, дома надо отдыхать. Лицо у нее серьезное, и при новом человеке хочется ей быть у себя дома строгой хозяйкой.

— Другой темы у тебя нет, да? Нет другой темы?

— А чего? Мы ж в литературном плане беседуем, а не в техническом.

— В литературном... Ты хоть одну книгу-то читал? Геннадий Сергеевич, сколько живем, я только одно и слышу: моторы, лонжероны, эти — как их? — картеры то бишь... Я молодая была, меня к культуре тянуло, в кино, на танцы во Дворец, интересно, а он — бу, бу, бу... Техническое совершенство.

Анна Сергеевна сидит напротив в кресле под торшером, завешенным японской косынкой, руки положила на колени, седые волосы у нее гладко зачесаны назад и собраны в тонкую косичку. Она говорит строго, но в ее строгости — гордость за мужа, за его преданность семье и делу, за то, что жизнь вот так удачно сложилась. Она волнуется и в волнении все время ввертывает в свою речь неуклюже, как лампочку в патрон, «то бишь». Все у нее то бишь и то бишь.

— Ох, Нюрка,— насмешливо вздыхает Степан Петрович,— мадам Кузяева! До старости лет дожила, а все одно на уме. Тебе не на завод, а в эстрадный ансамбль надо было идти в свое время, к Утесову, Леониду Осиповичу.

— Насмешил... Слава богу, Геннадий Сергеевич, телевизор изобрели. Он хоть иногда у ящика этого посидит, посмотрит, к культуре приобщится.

— Вы тоже на заводе работали, Анна Сергеевна?

— Работала, как же. Вместе со Степаном Петровичем, в одной бригаде. Потом я училась. Я всегда книги собирала. Пушкина, Толстого, Бальзака... Островского собрание сочинений, то бишь пьесы, комедии, их у нас томов двадцать, а он, вы думаете, хоть однажды в тот шкаф заглянул? Он статьи технические смотрит да мемуары. Маршала Жукова пятым разом читает, то бишь, про войну.

— Ладно,— Степан Петрович шлепает ладонью по столу.— Хватит, Нюра. А Жуков, между прочим, мой землячок. Калужский наш парень.

— Мне Кулевич рассказывал,— говорю я.

Уже давно стемнело. За балконной стеклянной дверью мигает окнами соседский дом. Качаются деревья в дворовом сквере, горят фонари, и дом напротив кажется большим пароходом. Сейчас он сдвинется и поплывет. За стеной с тихим масленным хрустом поднимается лифт.

У нас вечер воспоминаний. Мы сидим и вспоминаем. Вспоминаем, как учил старичок Марусин, наш внештатный консультант, сухонький русский интеллигент, хранитель древностей, доцент педагогического института. Надо расслабиться, он учил, раскинуть руки, чуть прикрыть глаза или вырубить верхний свет, чтоб не слепил, и вот она подкатывает на волне, машина времени, невидимый, неслышный аппарат, то ли лодка, то ли большой пароход. Звеньями якорной цепи щелкают цифры в окошечке — годы, годы, годы, и щемит сердце, будто и вправду отплытие и неслышно ударил уже медный колокол.

...Только что перепал короткий нерешительный дождик, ветер унес облака за Окружную дорогу. Просветлело. Пахло жженым мусором, мокрой пылью, мокрыми рогожами и цементом. На повороте скрежетали трамваи, откуда-то из поселка сквозь заводской гул, в короткие интервалы, когда на заводе вроде бы чуть смолкало, доносилась патефонная музыка, неясный мотив. «Марфушу» играли. «Марфуша, как березонька, стройна...»

К красному кирпичному зданию заводоуправления, чавкая мокрыми шинами, валко подкатил наркомовский «линкольн», развернулся, блеснув стеклами и черным холеным лаком. Шофер шикарно посадил тяжелую машину на тормоза, что и было сразу же замечено и оценено двумя металлистами, стоявшими у проходной.

— Хват,— сказал один, гася папиросу о каблук.— Осадил-то, ажно присело.

— Знатно,— сказал второй.

Из «линкольна» вышел нарком Орджоникидзе, поправил зеленую суконную фуражку. На околыше блеснула красная звезда.

В проходной началась суетня. Кинулись за Лихачевым. «Иван Алексеевич! Иван Алексеевич!.. Где директор?»

Лихачев был в новом инструментальном. Выбежал, на ходу поправляя гимнастерку, чтоб все складки были на спине.

— Здравствуй, директор, да,— с легким грузинским акцентом сказал нарком.

— Здравствуйте, товарищ Серго,— ответил, не переводя дыхания.

— Нежданный гость, понимаю, да, но ничего, показывай хозяйство. Вот решил посмотреть перед пуском. Такой снаряд по капитализму...

— Аэроплан.

— Кто сказал аэроплан?

— Я сказал. Но имел в виду бомбовоз.

— Ты, Ваня, за словом в карман не полезешь. Бомбовоз...

— Стараемся.

В это самое время завгар Петр Платонович Кузяев степенно шагал к проходной вместе с новым водителем Николаем Ильичом Алабиным и, думая о кружке пива, которую следовало бы непременно подарить своему иссушенному организму, выслушивал необоснованные претензии по поводу того, что слишком много ездок порожняком.

— За порожняк не платят! За пережог бензина не платят! — волновался Алабин.

— А чего за них платить? — удивлялся Кузяев, еще не понимая, к чему клонит новый водитель.

Увидев наркома и директора, Петр Платонович двумя пальцами вежливо приподнял кепи, осмотрелся и, сообразив, что Лихачев не иначе как будет показывать Орджоникидзе новые цехи, ткнул Алабина локтем.

— Давай в кильватер.

— Не надо,— засомневался Алабин.— С какой стати. У них свое, у нас свое...

— Допотопный подход.

Директора и наркома подковой окружили заводские начальники и подковой же двинулись все в механический. Кузяев с Алабиным поспешили следом, имея отставание, потому что Алабин упирался.

— Да ни к чему мне... Смотрят на нас, идем отсюда...

— Выгоню за несознательность,— пригрозил Петр Платонович, стараясь походкой и ритмом шага быть похожим на наркома.

Первым осматривали механический отдел. Он уже начинал жить. Новенькие «ньютоны» вертели блоки цилиндров, трещали автоматы цеха «нормаль», мерно и солидно враща-

лись головки «глиссонов», вырезая сложные профили шестерен для коробок передач.

— Здесь полторы тысячи станков,— сказал директор.— Все оборудование новое. По последнему слову техники, товарищ Серго.

Алабин прищурился, всматриваясь в лицо директора. Откуда он взялся, революцией поставленный в начальники? Николай Ильич впервые видел Лихачева так близко. Что ему с тех станков, не свое же. Или снимут, или переведут с повышением, но не век же ему здесь. Рябушинские хозяевами были, Георгий Николаевич, дядя незабвенный, для себя старался, пулемет держал. А этот за ради чего пуп рвет? Власти захотел, чтоб потом всю жизнь вспоминать, как заводом командовал? Сладкое мгновение? Власти, власти! — решил Николай Ильич. Лучше, выходит, голым генералом быть, чем сытым солдатом. Вот она суть человеческая. И даже зубами скрипнул. Начальнички...

Директор рассказывал, какие на заводе трудности, как выполняется график. Алабин и прислушивался, и не прислушивался к его словам, его интересовало другое. Он видел, что директор любуется заводом, говорит о заводе так, будто все это, куда не кинь взгляд, только ему и принадлежит. Шел, как Сергей Павлович! «Как Степан Павлович! Переодеть, так со спины — Рябушинский, правда, те гимнастерок не носили. Но ведь те владели! Те хозяевами были! Другой оборот. А этот кто? Неужто не понимает,— мучился Николай Ильич,— что одно дело капитал, другое — иллюзия. Ладно, у Петруши всегда заблуждение в мозгах было от папаши-праведника наследство, считает, что со всяким можно договориться, человек он не тварь животная, человеку разум дан, и если что, сели рядком, потолковали и так вот до сути добрались! Неужто и у этого подобный взгляд и завихрение в мозгах, и выходит, в самом деле народились люди на Руси, плеяда такая, когорта, или как их там величать, для которых что свое, что чужое — все общее. Все для всех. Так ли? Нет, нет... Власти хотят. Утвердить себя. Эвон, чего я достиг, а там хоть трава не расти... Хоть лопни все».

Но вошли в штампомеханический, остановились у копировальных станков.

— За каждый пришлось заплатить по 25 тысяч долларов. И это еще по дешевке,— сказал Лихачев.— Торговались, как на Сухаревке. Если б не кризис, не продали бы ни в жизнь, товарищ Серго.

— Красивые машины,— сказал нарком.

«Красивые»,— согласился Алабин, обернулся к Кузяеву.

— Петр Платонович, а и в самом деле по 25 тысяч отдали? В долларах?

— Точно. Дошлый директор, его не проведешь.

А потом был термический цех и кузница. В голове у Алабина вертелось все, как на том «глиссоне»: «Это ж какую махину развернули! Это же сколько нагнали техники, сколько металла кругом».

— Оборудование у вас прекрасное,— говорил нарком.— Теперь только работать. Чего еще не хватает? А?

— Нам бы, товарищ Серго, Бондарева на завод заполучить.

— Бондарева? У Бондарева сейчас другие дела. И не менее, а может даже, более важные, чем у тебя. Он сельскохозяйственные машины строит.

— Ему автомобили строить надо. Большой спец. Очень нам нужен. Перевод бы в Москву организовать. Как он здесь нужен.

— Согласится ли?

— Уломаем.

— Уламывай. Я возражать... не стану, да.

— Спасибо, товарищ Серго! За Бондарева всем заводом благодарим.

Из кузницы дорога вела в холоднопрессовый цех, где двумя рядами вдоль центрального прохода стояли выкрашенные шаровой краской ковочные машины, а там печи, прессы, и за все, все золотом плачено. А потом был рамный цех и рессорный, сплошь конвейерный, и Николай Ильич услышал, как нарком спросил директора:

— Срок выдержите? Все у тебя красиво, Иван, а грузовиков-то еще нет? — Достал пачку папирос, протянул всем.— Угощайтесь, товарищи.— Сам закурил. Выпустил струйку дыма голубую на просвет.— А ясновидцы за рубежом считают, что не получится у большевиков завода.

— Пускай себе,— сказал директор.

И вдруг, с чего бы это, Николай Ильич заволновался, почувствовал нытье в груди — а если и в самый раз не выйдет у них автомобиля? Не оживет завод, не примет единое движение? По уму-то так бы и надо, решил Алабин, но стало обидно: сколько ж труда вложено! Леший с ними, с большевиками, чем хуже, тем лучше, но только пусть завод они отладят, а споткнутся на чем другом.

С завода вышли молча. Ноги гудели от усталости, и было в голове смятение. У трамвайной остановки попрощался с Кузяевым.

— Бывай здоров.

— До завтрева,— сказал Петр Платонович, и всю дорогу до Сокольников, трясясь в трамвае на задней забитой площадке, Николай Ильич терзался, не понимая, что же происходит на белом свете, какие ценности в ходу и что по чем. Шиллера вспомнил, немецкого писателя, Глаша рассказывала: «Любовь и голод правят миром». Какой голод? К чему любовь?

...Завод после реконструкции пускали 1 октября. С утра развесили по слободе красные флаги. «Мы свой, мы новый мир построим...»

Из томильных печей пошел на главный конвейер ковкий чугун. Рамная пришла в движение, рессорная... На испытательных стендах взревели, захлебываясь в бензиновой ярости, задрожали автомобильные моторы, выбрасывая в коллекторы горячее дыхание, запах будущих дорог. В Зале ударника было торжественное заседание. Лихачев говорил речь и пальцем стучал по микрофону, что-то там не контачило у радистов. «Слышите меня, товарищи?» — «Слышим, директор, говори своим голосом...»

Во всех газетах печатали приветствия и портреты передовиков. Все театры и кинотеатры Москвы два дня работали только на ударников АМО. Всем выдали по два билета и талоны на усиленное питание.

— Товарищи,— говорил Лихачев, отставив в сторону хрипящий микрофон.— Товарищи, весь наш новый АМО пронизан конвейерами. Автомобиль идет к своему рождению многими потоками, и только стены завода неподвижны. Внутри же все бежит! Абсолютное торжество методического, ровного, рационального движения. Автомобиль — гений быстроты, поглощает пространство, еще не родившись. Став на колеса, он только продолжает конвейерный бег...

И вдруг на третий или на пятый день после пуска в Москву пришло письмо в длинном голубом конверте. Свалилось, как снег на голову, нежданно, негаданно, будто тихой тенью накрыло из другого мира, пропахшего нафталином и подмышками, давно ушедшего и погибшего.

«Милостивый государь, господин редактор! — было написано на тонком листке.— В числе последних достижений большевики рекламируют открытие ими нового автомобильного завода АМО в Москве. Это открытие они обставляют с большим шумом.

Для восстановления истины довожу до сведения газеты, что автомобильный завод АМО был построен в 1916—1917 годах группой москвичей, оборудован американскими машинами, снабжен материалами для постройки тысячи грузовых и легковых автомобилей типа «фиат». Был приглашен лучший технический персонал и приступлено к началу работы по изготовлению автомобилей.

В конце 1917 года деятельность завода была остановлена Октябрьским переворотом. Теперь, через 14 лет своего владычества, большевики собрались восстановить работу на заводе, построенном и оборудованном не ими. Это они называют своими достижениями.

С совершенным уважением Сергей Рябушинский».

В злобе писано, решил Алабин, и понял со всей очевидностью раз и навсегда, что возвращения не будет, нет у Рябушинских сил, поэтому-то и огрызаются. Последнее дело, и, значит, конец всему. Крест на старом. На других скоростях жизнь пошла.

Давно это было. Давно. А с другой стороны, недавно совсем, тут своя арифметика, свой счет. Как считать? Каким масштабом? Год за два. Год за три. Год за год...

— Нюра! — вскрикивает Степан Петрович.— Нюра, первый АМО 19 октября собрали?

— Нет,— говорит Анна Сергеевна, подумав.— Нет, Степа... Первый сделали, то бишь, собрали в ночь на 21-е...

Она все помнит! Первый стоял с задранными створками капота, яркие лампы в белых матовых колпаках, как в хирургической, горели над ним, вокруг суетились сборщики, заглядывали в мотор, проверяли подачу бензина, а Первый не желал заводиться. Стоял как вкопанный.

Кажется, тысячу раз все было проверено и перепроверено, а он стоял мертвый, и директор Лихачев, будто сделавшись меньше ростом, бегал вокруг и махал руками. «Чего там у вас, в самом деле! Черт возьми!»

Анна Сергеевна с подружкой Наташкой Мунблит забралась на антресоли и оттуда все видела.

— Ой, господи...— пугалась Анна Сергеевна.

— А может, перепутали что по мелочи, проводок отцепился, и все, а в основном все верно,— шептала Наташка.

— Ума не приложу...

И вдруг Первый выхлопнул из себя резкий рык. Мотор взял обороты, загудел, и в лобовом стекле задрожали отсветы потолочных фонарей.

Закрыли капот. Лихачев полез в кабину, сел за руль, хлопнул дверцей. Грузовик тронулся. В распахнутых воротах, в черном проеме ночи и заводских огней, размытых дождем, рубиново загорелся стоп-сигнал. Директор притормозил.

Девушки спустились вниз. Они обе проходили на заводе практику, и рабочие их места были на сборке, но их смена давным-давно кончилась, они просто остались посмотреть на Первого.

— Я к тебе, Наталья, пойду ночевать. Я ж домой до света не доберусь,— сказала Анна Сергеевна, запахивая пальтишко из маминого перешитое.

— Идем. Вдвоем и ляжем. Ты во сне не брыкаешься?

Они шли, две комсомолки, и говорили о чем придется — о женихах, о танцах, о Чарли Чаплине, но во всех их разговорах присутствовал тот Первый. Он все менял, он значил так много в их жизни, что не говорить о нем они не могли.

— Это очень важно в данный момент,— говорила Наташка.— Весь мир увидит, что мы умеем. Нет уже России лапотной, есть Россия автомобильная. Попробуй, сунься враг.

На Москве-реке шлепал плицами ночной пароход. С Окружной дороги приносило ветром тяжелое паровозное дыхание. Дошли до Наташкиного дома. Дом был старый, восьмиэтажный, ночью лифт не работал. Поднялись на седьмой этаж пешком. И вдруг оказалось, что Наташка где-то потеряла ключ, растеряха.

— Ой, а ключ-то где?

— Ну, и раззява ты!

— Ведь был же где-то... Куда ж я его...

— Ну, постучи тогда...

— Боюсь, Нюр, у нас соседи сердитые. Если дядя Петя Кузяев проснется, то ничего, а если его жена...

— Сердитая тетка?

— Да не сердитая. Где ж ключ-то? А посмотрит так, как на гулящую. Лучше на лестнице на подоконнике лягу. Тихая, тихая, а характер у нее, я тебе скажу...

— Ладно. Я постучу, становись за мной, тебе в смене еще днем плохо стало.

— Нюр...

— Девичья немощь, скажу, понимать надо и сочувствовать.— Анна Сергеевна решительно забарабанила в дверь.

— Кто там? — послышалось за дверью.

— Открывайте, Наташку вашу веду, плохо девушке...

Дверь заскрипела, Анна Сергеевна увидела сонное, испуганное лицо Петра Егоровича. Кузяев стоял босиком в накинутом пальто.

— А чего с ней? Чего случилось с Натальей-то?

— Чего, чего? Переработала, небось, нагрузка-то какая. Наталья, не спеши, доктор ведь сказал... Спасибо вам, Петр Егорович, совсем дошла девка, ключа достать не может.

...Они лежали вдвоем на узкой Наташкиной кроватке, отгороженной ширмой от остальной комнаты, хихикали в подушку и не могли заснуть. Рядом спала Наташкина бабушка, брат Наташкин спал и родители, папа с мамой, на диване. Лунно светился графин на тумбочке, сияло на потолке белое подобие окна, шумел дождь, и весь буровский дом спал, наполненный тихим дыханием своих жильцов, а они, две подружки, старались заснуть и не могли. Не получалось у них, и они понимали, что это из-за того, что родился Первый.

Анна Сергеевна, тогда бойкая девчонка с рыжими косичками, ее подруга Наташка, их друзья и будущие мужья — все они принадлежали к первому поколению советских людей, уже не видевших, как оно и что было при царе, при помещиках, при фабрикантах и заводчиках. Их великое поколение несло в себе светлую веру в особое свое историческое предназначение.

Они должны были сделать Россию неколебимой промышленной державой, осушить болота, прорыть каналы, превратить Колхиду в цветущий край, согреть Хибины, догнать и перегнать, чтоб выше всех, чтоб быстрее всех, чтоб дальше всех! Это при них вместо таких привычных расхожих слов — «ямщик», «кухарь», «кустарь», «половой», «поп», «монах», «юродивый»...— широко войдут в русский язык небывалые и странные в своем звучании, чеканные — «токарь», «лекальщик», «сверловщик», «фрезеровщик», «револьверщик», «сварщик», «затыловщик»... Они веровали в то, что до них не было ничего, им надо начинать с нуля, и их розовощекая, комсомольская, краснознаменная вера, открытая всем ветрам, стояла на том, что нищая была Россия, забитая, голодная, безграмотная, они первые, а первым всегда трудно. При них огромная страна встанет к конвейерам, к расточным, к шлифовальным станкам, чтоб вынести на своих плечах тяжесть самой большой войны и победить. При них миллионы крестьянских парней придут наниматься в завод, и дети их, коренные городские жители, будут читать Белинского и Гоголя в синих вагонах московской подземки и на гремящих в непрерывном движении эскалаторах. Вперед, вперед... Время, вперед! Что может сравниться с той верой, с той славой и той усталостью?

«Спешите жить...»

За стеной масленно похрустывает лифт. Хлопает дверь на этаже. «Это Игорь»,— определяет Степан Петрович, прислушавшись. И точно, в передней щелкает замок.

Игорь давно живет отдельно, получил двухкомнатную квартиру, но часто приезжает к родителям, говорит: поработать. Забирается в свою комнату, где все по-старому, закрывает дверь и курит.

Последнее время он зачастил, и бдительный Степан Петрович решил, что молодые Кузяевы не иначе как вошли в полосу первых конфликтов.

Игорь моет руки в ванной. Льется вода.

— Грехи наши... Не то смешно, что жена мужа бьет, а то смешно, что муж плачет,— вздыхает отец.

— Ты о чем, Степан Петрович? — шепотом спрашивает Анна Сергеевна.

— Да ни о чем, мать. Ни о чем. Так просто. Пусть сами разбираются, ты не лезь.

Игоря надо кормить. «Что у тебя, мама, сегодня? Азу. Отличненько. И чай завари, а...»

— Как дела, инженер? — спрашивает отец.

— Я не инженер, я ворон.

— Дуся ты, а не матрос,— говорит Анна Сергеевна ласково и печально и отправляется в кухню.

Разговор идет о заводских новостях. Степану Петровичу передает привет какой-то Сорокин. «А, Ферапонт Петрович... И ему кланяйся, когда встретишь, Ферапонту».

— Как у вас в корпусе?

— Да ничего вроде. Нормальненько.

— Завтра заеду. Макнамара ревет, что коммуникации ему не подвели.

— А он всегда ревет. У Медведева неприятности.

— Слушай, мать,— шепчет Степан Петрович, когда Игорь выходит в переднюю позвонить,— может, это все опасения. Спокойный он, может, помирился с Наташкой?

— Не надо было их от нас отпускать, жили бы вместе, все в порядке было бы, никто никому не мешал.

— Умная ты.

— В тебя.

— Эх... Ух, Нюрка... Стыдно сказать... Сорок лет парню! Я в тридцать лет... Избаловала!

— Садись, Игорек. Садись. Геннадий Сергеевич, хотите азу? А мы тут без тебя вспоминали, Игорь.

— Вечер воспоминаний у нас.

— О чем?

— Да так, обо всем,— Степан Петрович вздыхает, откидывается в кресле, ему хочется, чтоб снова подкатила машина времени и пусть Игорь послушает тоже, как оно было, с чего начиналось и когда. Вся жизнь — автомобили, весь смысл — автомобили. Кончил техникум, вернулся на завод, работал инструктором ФЗУ, пел на демонстрациях: «Мы путь земле укажем новый, владыкой мира будет труд!» Уже итеэром был, а все на гармошке играл.

Педагогическая деятельность ему нравилась. Но когда умер отец Петр Платонович, к Лихачеву пошла делегация из гаража просить назначить молодого Кузяева на отцово место. «Они там мою кандидатуру обсудили по-шоферски и решили промеж себя, что я им вполне подхожу».

Лихачев выслушал делегатов, походил по кабинету, посокрушался: «Ты смотри, мать честная, Степка вырос! Вчера ж еще мальцом был». Подумал: гараж — дело не шуточное и дал добро. Стал Степан Петрович командовать гаражом.

Работы было много. И ездить самому приходилось много. Он любил за рулем. Молодым был. Силачом. Физкультурником. Нравилось, когда сыплет холодный дождь, а в кабине тепло, и на ум приходят разные мысли. Ровно гудит мотор. Отмахивают вниз-вверх щетки стеклоочистителя, и желто светится под рулем круг спидометра. Все движется! Совершает движение Вселенная, плывут по своим спиралям и орбитам разным там планеты, кометы и метеориты, малые атомы плывут и целые галактики, и равный среди равных, по таким же законам, живой, вместе со своим автомобилем движешься ты.

Из гаража перешел в помощники директора по транспорту, стал начальником цеха.

Помнится в сорок втором, зимой, немцы к Волге рвутся, заскочил он к себе в кабинет, взять бумаги и ехать в наркомат, вошла к нему секретарша.

— Степан Петрович, вас тут женщина дожидается, говорит, она Алабина, Глафира Федоровна...

— Алабина? Не знаю...— вынул из стола папку с документами. Алабина? Алабина... Нет, не помнит! — скажи ей, Галочка, что некогда... Никак сегодня не получится. Отмени все.

Выскочил из кабинета, мельком увидел аккуратную старушку, похожую на кузнечика, с острыми локотками под платком, понял, что это и есть Глафира Федоровна, не знакомая совершенно, приложил папку к груди.

— Извините, мамаша. Лечу. В Кремль вызывают... Ради бога простите.

Кремль ввернул для солидности. И забыл. А через месяц в самолете — летел «дугласом» на Урал,— раскрыл газету и прочитал, что гражданка Алабина Глафира Федоровна передает в фонд обороны большие деньги и ценности, доставшиеся ей от покойного супруга Алабина Николая Ильича.

Он ее по имени вспомнил. Это она приходила! А потом всплыло в памяти имя ее мужа, отец рассказывал, служил с ним на флотах такой Алабин Колька — Николай.

Вернулся в Москву, поинтересовался у секретарши:

— Глафира, старушка, помнишь? Адрес она свой не оставляла случаем? Вот жалость! Узнай через адресный стол.

— Узнали? — встрепенулся я.

— Сообщили, что уехала в эвакуацию. Эвакуировалась.

В 1945 году, сразу по окончании войны, начали они осваивать новый тогда мотор ЗИС-150. Не хватало опытных рабочих и мастеров: не все с фронта вернулись. Плохо было со снабжением, с оборудованием, а задача стояла во что бы то ни стало наладить серийное производство нового мотора, не снижая выпуска старого, и считалось, что моторный кузяевский цех — самый ответственный участок, как вдруг осенью, в серый дождливый день, Лихачев вызывает Степана Петровича к себе, говорит простуженным голосом:

— Степа,— он его всегда Степой называл,— выручай! Погода вишь какая?

— Вижу,— сказал Степан Петрович, не подозревая, к чему клонит директор.— Дождит...

— Вот и хорошо, что видишь. Значит, так. Не уберем урожая в подсобном нашем хозяйстве, будем сидеть без картохи и придется нам столовые в быстром темпе закрывать.

— Тяжело придется.

— Помогай.

— Иван Алексеевич, да вы ж сами говорили, разве не

помните: освоение нового мотора — на сегодняшний день самое главное звено!

— Говорил,— подтвердил Лихачев.— Говорил и сейчас так говорю. Но сначала уберешь урожай, а потом займешься мотором, другого выхода нет. Не вижу, Степа.

— А я вижу! Найдите кого другого! — Обидно стало. Молодой был, горячий. Зачем от мотора отрывают! — Не поеду,— сказал твердо.— Нет у меня на это времени. Я не по картошке, а по моторам специалист. Так вот!

— Видали,— Лихачев поднялся из-за стола и даже как-то просветлел лицом,— видали специалиста! По моторам... Не поедет! Да я что, по прихоти по своей тебя туда посылаю? Поедешь, Степа! Нельзя иначе! Я сам не хуже твоего понимаю, как нам новый мотор нужен, но ведь машины мы не для машин, а для людей делаем. И люди стоят у станков, а не куклы деревянные... Стеклянные, оловянные... Иди!

На следующий день чуть свет Кузяев отправился в подсобное хозяйство. Лил дождь, и холодина стояла промозглая. Через двое суток по партийной мобилизации прибыли к нему семьсот рабочих. Заняли под жилье все жилые и нежилые постройки, овины в ход пошли, сараи. Разобрались по бригадам, начали уборку. И когда было трудно или вдруг леденело в груди от мысли, как там с мотором, и хотелось немедленно вернуться на завод, он вспоминал слова Ивана Алексеевича: «Машины мы для людей делаем». Золотые, между прочим, слова, и пусть они будут эпиграфом ко всем спорам.

Директор Лихачев был прекрасным психологом — это факт бесспорный и другого мнения тут быть не может. Ехать в деревню на уборку картофеля он Степана Петровича сравнительно легко уговорил, а вот как он из него сделал строителя — это история внешне более драматическая и заслуживает внимания.

В конце сорок седьмого нежданно-негаданно помощник Лихачева Николай Савватеевич Баранов предложил Кузяеву возглавить на заводе жилищное строительство, и само собой разумеется, Степан Петрович начал отказываться, сердился, прижимал руки к груди, говорил: «Я автомобилист»... А Николай Савватеевич настаивал, рисуя масштабы строительных работ и ту страшную неразбериху, форменную вакханалию, которая может возникнуть очень даже запросто, если дело возглавит неспособный человек. «Я автомобилист!» — последний раз напомнил Степан Петрович и, хлопнув дверью, пошел к Лихачеву.

— Иван Алексеевич...

— Вы только посмотрите на него! Кожа да кости, боже ты мой... Ты до чего себя довел, Степа,— воскликнул Лихачев, едва тот открыл директорскую дверь, обитую черной кожей, и так это искренне у него получилось, что Кузяеву захотелось

взглянуть на себя в зеркало. Лихачев встал, усадил рядом с собой на диван и все сокрушался:

— Это ж только посмотрите... это ж до чего себя человек работой довел... и ведь не придет, помощи не попросит... мы Кузяевы, мы, елки — моталки, гордые...— Снял трубку, вызвал главного бухгалтера: — Кузяев у нас умирает.

Слышно было, как бухгалтер удивился: «Иван Алексеевич, да я ж его только что видал...»

— Ошибся. Умирает он. Выпиши-ка ему полтора оклада из моего фонда. На лечение.— Затем тут же позвонил в Совмин и тоже с грустью в голосе: — У меня старый работник заслуженный болен. Да, да, серьезно весьма. Нельзя ли для него путевочку в Кисловодск. И чтоб санаторий получше... Надо очень...

Конечно, уехал Степан Петрович в Кисловодск, отдохнул, поправился, возвращается домой, в тот же день звонят от директора — зайдите. Зашел в директорский кабинет с черной резной мебелью. Лихачев обнял:

— Живой?

— Живой.

— На сколько поправился?

— На шесть килограммов.

— Ты смотри, на полбарана! — Шесть килограммов было менее наглядно, чем полбарана, а Лихачев любил наглядность.— Вот ведь как удачно! Стоило, значит, тебя на курорт посылать. А теперь садись-ка и слушай. Мы тут решили, Степа, создать жилищно-строительное управление, а тебя начальником назначить.

— Иван Алексеевич, да я ж...

— Ничего, ничего... Поможем, подскажем, надо будет — накажем, и дело пойдет. Главное не хнычь.

— Иван Алексеевич, но я же все-таки автомобилист...

— И я, Степушка, директором не родился, вот обида! А то б легко. Но надо. Война кончилась, фронтовики домой возвратились, которых пуля обошла, жизнь налаживать нужно. Устали люди. Красивой жизни хотят. На государственное дело тебя посылаем, а ты... В коммуналках жить надоело, отдельные квартиры нужны, надо, чтоб деревья во дворах росли, фонтаны там, то-сё, чтоб на роялях люди играли...

— Когда приступать?

— А с завтрашнего дня и приступай с богом. Я ведь знал, что ты сознательный, согласишься, и приказ уж заготовил, да и подписал по-моему, чтоб стаж тебе шел без перерыва.

Так стал Степан Петрович, потомственный автомобилист, строителем и пребывает в этом звании по сегодняшний день, а история с его назначением кажется ему значительной, потому что в любых, даже самых сложных технических проблемах — он это за аксиому держит — есть чисто человеческие аспекты.

36

Под нами за балконной решеткой катил Волгоградский проспект. Там проносились автомобильные ветры, гудели двигатели, пришептывала пыльная резина. Там было жарко, за распахнутой балконной дверью, там гремел механический машинный ритм, а у нас на двенадцатом этаже был полный сервис и покой. Мы уже выпили бутылку сухого. Крутился большеголовый вентилятор, повсеместно именуемый подхалимом, за то что он бездушно поворачивается то влево до упора, то вправо до упора, Игорь вынул из холодильника банку апельсинового сока и лоток с ледяными кубиками. Мы беседовали со вкусом — вполголоса и не торопясь.

Игорь приглашал на испытания нового двигателя. Куда как просто! Берите в редакции командировку и — в добрый час. Он явно не представлял себе всех аспектов газетной службы.

— А что я предложу своему начальству?

— Как что? Вы напишете о инженерах и ученых, которые сделали еще один важный шаг на пути к решению проблемы чистого выхлопа. Разве не интересно?

Я согласился, что интересно, и он загорелся. Он говорил о том, что у нас уже давно применяются усовершенствованные карбюраторы, есть устройства, исключающие нарушения регулировок в процессе эксплуатации, поинтересовался, слышал ли я про бесконтактные электронные системы зажигания, и, узнав, что слышал, констатировал без излишнего драматизма, но мрачно, что всего достигнутого, увы, не хватает.

— Странное человек существо, Геннадий Сергеевич, беспокойное, мы любопытное племя, нам и кататься быстрей ветра хочется, и свежими воздусями дышать, в то время как из краткого курса физики известно, что, выигрывая в силе, надо проиграть в расстоянии или еще в чем-нибудь, а проигрывать не хочется.

У Игоря прекрасное настроение. На неделе начинаются испытания его двигателя. Возникла новая идея, и вот она уже воплощена в металл.

— Вот об этой работе вы и напишите,— щедро разрешает он и смеется.

Когда он смеется, то закидывает голову и чуть-чуть прикрывает глаза, совсем как Анна Сергеевна, и возникает какая-то неуловимая линия от подбородка до ложбинки между ключицами под тугим вырезом домашней тельняшки, принципиально застиранной почти до ветхости. В этой линии что-то детское, мальчишечье, девчачье, беззащитное и радостное. Мне было интересно про новый двигатель, но я сам ушел в сторону:

— Игорь, вы очень на маму похожи. Я давно вас хотел спросить. Фотография висит у ваших родителей рядом с Айвазовским... Это ваша мама? Мне как-то неудобно было...

— Так точно! — ответил он, долил в стаканы сок и бросил еще по кубику льда мне и себе.— Это моя матушка, но вы очень правильно сделали, что стариков не стали расспрашивать. Там история, и, должен сказать, любовная. Извините, наши родители тоже любили и страдали.

Игорю известно, что за мамой ухаживал некий товарищ по фамилии Эдиссон. Он был латышским стрелком и служил в ВЧК, отчаянной был храбрости человек. Потом назначили его комиссаром, вроде бы на южную границу, и там зарубили его басмачи или кулацкое восстание было, подробностей Игорь не знает, а спрашивать неудобно. Эдиссон любил маму, писал ей стихи.

— Ну и батя наш,— продолжал Игорь,— сейчас редко, а в свое время довольно-таки часто, нашу маму товарищем Эдиссоном попрекал почем зря. Он, надо сказать, Кузяев-старший, большой собственник и ревнив был, как мавр Отелло. Бывало как что, сразу: «Я понимаю, Эдиссон лучше...» — и все это змеиным шепотом.— «Я, конечно, такой-сякой, но вот Эдиссон!..»

— А мама?

— Анна Сергеевна это бремя достойно несла. И глазом не моргнет. У нее один ответ: «Дуся ты, а не матрос!» Вот если вы не поедете с нами на полигон, вы будете Дусей.

Игорь занят проблемой, как отводить в коллектор выхлопные газы, переобогащать рабочую смесь и для дожигания окиси углерода использовать термореактор. Мне это интересно, но все его слова шли мимо, как гул летящего внизу проспекта, я думаю о комиссаре Эдиссоне, о его любви и тайне.

В соседней комнате жена Игоря готовилась к аспирантским экзаменам, читала Бодлера.

> Когда в морском пути тоска грызет матросов,
> Они, досужный час желая скоротать,
> Беспечных ловят птиц, огромных альбатросов,
> Которые суда так любят провожать.

Читала по-французски нараспев и без выражения, потому что было не до того: запомнить бы. И нам обоим вдруг — и мне и Игорю — становится смешно, и мы оба, еще и словом не обмолвившись, понимаем почему.

Маму Анну Сергеевну французскому не учили. И бабушку не учили. А прабабушка Акулина Егоровна вовсе писать не умела, вместо подписи ставила крест и верила в Змея летающего и в то, что нечистая сила озорует исключительно по средам и пятницам.

Деды и прадеды кузяевские были крестьянами, сеяли ранние овсы и ковали лошадей в дымной сухоносовской кузнице, уходили на заработки в извоз и становились металлистами от успения до петрова дня, когда нужно было снова возвращаться в деревню на сенокос. Из всей родни один только Василий Яковлевич вышел почти что в купечество, фабрикой управлял, за границы ездил, но все равно оставался крестьянином Калужской губернии Боровского уезда. Не мог не остаться. Сменить сословие не представлялось возможным, а земля была тем лоном, в которое возвращались, испытав житейские бури и штормы, проиграв или сведя вничью.

Игорь — интеллигент первого поколения. «Отец не в счет,— говорит он,— отец ускоренный выпуск». И смеется, закидывая голову и опять возникает эта линия от подбородка до ворота застиранного тельника, девчачья, мальчишечья, беззащитная.

Другой русский инженер, Дмитрий Бондарев его имя, сам сельский житель по рождению, став интеллигентом нес в себе неоплатный долг перед своим народом. Он воспитан был в понимании того, что его образование и успехи оплачены мужицким потом. Он становился инженером, специалистом, интеллигентом, и пропасть между ним и теми, кто был простым народом, увеличивалась сама собой. Его корабль неслышно отчаливал от родной земли.

Игорю такое положение понятно, но не знакомо. Он его не переживал, и если попытаться представить, что было бы, если бы его, воспитанника советского втуза, выпускника славного Московского автомеханического института, так же как Бондарева, вывели бы из кабинета и поставили на ящик среди гудящей толпы, то это просто фантазия. И не потому даже, что ситуация фантастична,— нет духовной основы конфликта. Он инженер, но мог быть рабочим. Должности эти не сословия. Нет барина и нет работника.

— Я автомобильный человек,— говорит Игорь.— Хотите, я вам один примерчик дам. У меня все вокруг автомобиля вертится, так что не обессудьте. Автомобильный пример. Я за рулем с шестнадцати годов. Бывало над кем смеялась шоферня, кто был фигурантом во всех гаражных анекдотах, кто пер на красный и давил по пустой трассе в левом ряду? Частник, белоручка, пижон в зеленой шляпе. Он самый. Неумеха и раззява. Традиция подобного отношения достаточно глубока. Вспомните Достоевского с его «Записками из мертвого дома». Русский простой мужик относился ко всем этим «ученым», как к барам, чужие они были. На трассе нечто подобное наблюдалось у нас до семидесятого года. Есть точная дата. В семидесятом хлынул на дороги массовый автомобиль. «Жигули» пошел и за руль сел и лекарь, и пекарь, и кто угодно, короче, человек не автомобильной, иной профессии. И смех над белоручкой прекратился. Частник, оказалось, может здорово

шоферить. Но он при этом еще и доктор, и парикмахер, и физик-теоретик, а рулит будь здоров, так как же над ним смеяться, его уважать надо. И нет уже анекдотов про пижона в зеленой шляпе... Таксист с частником стукнутся, так разбираться будут кто прав, кто виноват и сами же таксисты будут говорить: «Лихачат наши. Работа такая. План...» А раньше бы — все ясно: «Куда лез, дурак? Продавай машину, катайся на метро».— И весь разговор. Вот вам, пожалуйста, еще одна грань на наших глазах стерлась.

На следующий день с утра я пошел к Самому. Мне нужна была командировка на полигон. Я хотел писать про испытания нового двигателя.

— И какую ж тему вы предлагаете? — спросил Сам, с любопытством глядя на меня поверх золотых очков.

— Автомобильный двигатель и защита окружающей среды, там интересные решения и конфликты есть...

— Конфликты,— насмешливо хмыкнул Арнольд Евсеевич.— Конфликты! Вы все с ума посходили, вас интересуют только автомобили, телевизоры, кофемолки, патефоны, то есть проигрыватели, как будто другой темы нет. Вы тоже будете доказывать, что техника портит человека, мещанином он от нее становится и себялюбцем, в отличие от сельского первозданного жителя, который не страдал избытком техники, а потому любил соседей и природу? Верно ведь, а? Будете ведь...

— Тут особый случай.

— По мнению кардинала Ришелье, все особые случаи имеют личную окраску. Без окраски они просто случаи. Поймите, Геннадий Сергеевич, у меня уже сил нет читать на эту тему. Помню лет пятнадцать назад были физики и лирики. Спорили с пеной у рта, доспорились до того, что ветка сирени нужна и в космосе. Этакая смелость мышления! Замах какой! А вот мне сирень эта не нужна ни на земле, ни в космосе, у меня от нее аллергия. Ну да ладно... Значит, вы хотите писать о новом автомобильном двигателе? Я вас правильно понял? И тоже, небось, включитесь в отчаянный спор, доказывая, что моторы ваши портят не только воздух, но и души. Я знаю, вам всем потребно широко мыслить.

— Вы смеетесь...

— Гена,— иногда Сам называл меня по имени и на ты, но редко.— Гена, пойми, я только что сдал в набор профессора одного статью. Диспут. Спор. На этот раз не физики и не лирики, а — «следы на асфальте и следы в жизни». Будто выйти на асфальт это все равно, что «выйти на панель», и духовные ценности следует искать в чистом поле, в лесу, в тайге, в огороде, а на асфальте их нет. Известно ли тому профессору, что к

двухтысячному году половина населения всей земли будет жить в городах, на асфальте?

— Я его не читал.

— Вы хитрый парень, Гена, вы уходите от ответа, но я-то знаю, что вы хотите написать.

— А я не знаю.

— Так как же вы просите командировку, если вы не знаете? — Сам встал, подошел к окну и поднял жалюзи. Он стоял ко мне вполоборота, тяжелый и квадратный в черном шерстяном костюме. Солнце резало его лицо пополам.

— Техника, техника,— вздохнул он.— Дочка замуж вышла, а жене моей несерьезным этот брак казался. Вдруг приходит радостная с известием: молодые холодильник купили. И вся счастьем светится. Холодильник, железный аппарат для понижения температуры, эмалированный шкаф — символ семейной стабильности. На первом этапе. Семья с него начинается.

— С любви семья начинается.

— Любовь не символ. Любовь — это жизнь. К слову не придирайтесь. Помню, я женился, нам с женой дали комнату в общежитии, и я с Зацепы тащил на извозчике матрас о четырех ножках. Я его привез и выгрузил, и все поняли, что мы семья. Я к тому холодильник вспомнил, чтоб показать вам, мне, себе, нам, как жизнь меняется. Племянница из Каширы приезжала в лифт боялась войти, а теперь «Москвича» с мужем купили, у него близорукость большая, она за шофера, ключики на пальце вертит: «Дядя, где у вас здесь правый поворот, мне на Садовую надо будет вывернуть». Но ведь все эти холодильники, матрасы, кофемолки, которые людей будто бы мещанами делают,— это не техника, это бытовая техника. Так вы про технику или про бытовую технику писать будете? О чем все же?

— Я хочу про новый двигатель. Решается проблема, как сберечь воздух.

— Это интересно. Воздух... Так давайте попросим написать об этом специалиста по двигателям. Специалисту всегда больше веры.— Сам смотрел на меня добродушно, откинулся в кресле и опустил желтые веки.— Я был молодым газетчиком, когда вызвал меня к себе Кольцов и отправил на Уралмаш, на завод заводов. Тридцатый год, весна и солнце, будто и не я жил, когда вспоминаешь... Приехали мы с фотокором в Свердловск, там показали нам подъемный кран — тонн эдак сто он ворочал,— и для наглядности подняли паровоз. Я потрясенный ходил. Вот мощь! Вот сила! Когда же вы поедете в Свердловск и гостеприимные хозяева захотят вас удивить, они не будут задирать паровоз. Или тепловоз. Они вам чего-нибудь другое покажут, менее, более впечатлительное, но другое.

— Я не собираюсь ехать в Свердловск.

— Это еще не решено,— хитро усмехнулся Сам.— Я не думал о вас, но вы мне подсказали выход. Мне пришло письмо с Урала, заводские историки натолкнулись на мою сорокалетней давности статью про их завод и приглашают к себе. Я ехать не могу, но вижу интересный очерк.

— Арнольд Евсеевич, меня интересуют автомобили. Я хотел бы написать книгу...

— Я старый человек,— перебил Сам.— Я много что видел, мой юный друг. Много всякого горячего, холодного, теплого, но самое печальное, уверяю вас, самое непростительное, когда хороший журналист становится посредственным писателем. Все понятно, у вас свои планы, свои мечты, но вы служите в газете, и это прекрасно. Я хочу, чтобы вы написали о заводе не в свете этого никчемного асфальтотропиночного спора, а отрешась. Видеть в технике только миксеры и соковыжималки, которые портят человека, отрывая его от умственного и морального совершенствования личности,— убого. Да и почему они портят?

— Погоня за ними портит.

— Погоня погоне рознь. Мало их, вот и гоняемся. Тут тема глубже. Это все символы. Как можно рассуждать, что техника кого-то портит, сидя в теплой комнате, ТЭЦ дает вам тепло, лампа настольная горит, не лучина, хлеб вы едите, который машина и сеяла и собирала. Молоко пьете, должны пить регулярно, которое доильный агрегат из буренок выкачивает, а не тетя Маня своими бесценными и золотыми руками. Если на тети Манины руки ориентироваться, то это молоко не для всех. Мы великая индустриальная держава, мы давным-давно вступили на путь, свернуть с которого нельзя и невозможно, а если забраться на остров посередь реки и пытаться ничего не видеть, так и не увидишь ничего, но разумно ли это? Итак, чтоб не тратить многих слов, вы летите на Урал, на Уралмаш. Я не сковываю вас темой, но желательно, чтобы это был рассказ о заводе, о его людях, о судьбе... Жизнь идет, Гена, идет жизнь, вот и попробуй, порассуждай, голубчик, на эту тему.

Сам встал и обнял меня за плечи. От Самого крепко пахло одеколоном и здоровьем.

— Куренок... В добрый час, Гена.

Через день я улетел в Свердловск на две недели и возвратился в Москву тихим солнечным вечером.

Печальное солнце заливало летное поле, поблескивали самолетные плоскости, и стеклянное здание аэровокзала просвечивало насквозь, видны были буфетные столики на втором этаже, кресла и сосны. Верхушки сосен.

У автобусной стоянки ко мне прилепился маленький морячок с двумя тяжелыми чемоданами. Для начала он дружески ткнул меня в бок, ткнул, как кореша, и предложил, как верному корешу:

— Давай, годок, такси на двоих. Тебе далеко? До центра. Добро! И мне до центра. На Красную площадь хочу. Давай на пару?

Морячок побросал чемоданы в багажник, сел на заднее сиденье. «Я, ребята, покемарю»,— сказал. И тут же начал кемарить. «Минуток по шестьсот надо выбрать на каждый глазенап,— объяснил не открывая глаз.— С Тихого, с Великого океана лечу...»

Таксист, сухой рыжий парень, взглянул на него в зеркало, кинул взгляд на меня — чудака везем,— и когда выехали на шоссе, спросил, переключая на прямую передачу:

— Откуда прилетел, земляк?

— Из Свердловска.

Дорога от Домодедова до Москвы не слишком близкая, молча ехать скучно.

— Какую-нибудь свердловчанку обидел?

— Нет.

Впереди автобус. Таксист врезает мигалку, взгляд в зеркало — назад и вбок, руль влево и снова — на третью. Обходим автобус с легким моторным воем. «Клапана у тебя гремят».— «Завтра тэо». Заняли свой ряд. Снова на четвертую. Все хорошо. Руки расслабить, чтоб отдыхали: за день намотаешься и взгляд в мою сторону, краем хитрого глаза.

— Чего так грустно, земляк? Пассивный в этом смысле? Забот много?

— У кого их мало?..

— Скучал по дому?

— А то нет...

Летели навстречу по обеим сторонам шоссе березы и елки, шуршали шины вишневых «икарусов», солнце золотило крыши. Таксист понял, что собеседник я никудышный, взглянул на морячка.

Морячок кемарил и вроде даже посапывал во сне. Шикарный чуб выбивался из-под бескозырки. Его пошевеливало легким сквознячком.

— С Амура летит,— сказал таксист и, чтоб я не сомневался, уточнил: — Погранвойска, зеленый кант.

Красиво ехал таксист. Эффектно. Руки бросил на руль совсем безвольно, плечи опустил. Не работа, отдых! Губами вытянул из пачки сигарету, не глядя прикурил, сплюнул табачную крошку.

Стучал счетчик, морячок спал, мне не хотелось говорить. Какое-то время ехали молча. Уже со всех сторон подступал к нам город.

Смеркалось. Наружного освещения еще не зажгли, ни фонарей, ничего, и вдруг над крышами на траверзе Автозаводского моста я увидел горящие в сумерках под размытыми ветром облаками три голубые буквы — «ЗИЛ».

Бесконечное чувство возвращения. Несравнимое ни с чем и всегда новое. Помню, первый раз я вернулся из-за границы. Из месячной командировки. Поезд приходил ранним утром. Меня встречали на Киевском вокзале.

Я вышел на пустынную площадь и почувствовал, что сейчас разревусь.

По Бородинскому мосту, пустынному в этот час, катил, тихо позванивая проводами, голубой троллейбус. Над рекой, под мостом и над безбрежным асфальтом площади с умытым сквером стлался реденький туман. На стоянке перед сквером стояли машины, холодные, в росе. Было свежо. Но дома вокруг были уже освещены ровным утренним светом и кое-где поблескивали окна.

До чего ж красивой и величественной показалась мне Москва в то утро!

Рядом прыгала дочка, прижимая к себе заграничного мишку. Жена чуть отстала. Я еле сдерживался. Того еще не хватало, реветь у всех на виду! И, поняв мое состояние, отец загородил меня плечом. «Все хорошо»,— сказал и прикурил мне сигарету.

Никогда не забуду ощущение того утра и мокрый след его губ на сигаретном фильтре. Это было давно, а теперь я возвращался из обычной командировки. Две недели не срок и Урал — родная земля, не за тридевять земель летал, но горели над крышами три голубые буквы «ЗИЛ». Я никогда не работал на этом заводе, я только собирал его историю, выписывал странички в архивах и расспрашивал очевидцев. Я не спешил к его проходным изо дня в день, я только писал о нем, но я был захвачен величием его истории. Конечно, Уралмаш больше, шире, грандиозней, но ЗИЛ — свой завод. Родной. Вся жизнь с ним. Я рос в Москве, и он рос в Москве, и судьбы наши пересекались каждый день.

Меня водили по Уралмашу, гигантскому заводу, выросшему на пустом месте в рыжей заболоченной тайге на кочках, поросших брусникой и маслятами.

Для меня не поднимали паровоза, чтоб я удивил читателей мощью техники и подсчитывал, сколько раз можно опоясать земной шар продукцией предприятия. Уралмаш — уникальное машиностроение: шагающие экскаваторы, прокатные станы, буровые установки, во время войны — тяжелые танки КВ и самоходные артиллерийские установки, которые брали насквозь и «тигра», и «фердинанда» и любой другой танк второй мировой войны.

Я не искал специально факта, который бы мог стать символом времени, выхваченным ритмом дня. Но в цехе крупных узлов, где собирают детали для шагающих экскаваторов, исполинов десятиэтажного роста, выступал перед коллективом симфонический оркестр Свердловской филармонии. И дело

даже не в том, что все скрипачи, трубачи, дирижер во фраке и крупная дама с арфой поместились на расточном станке. Играли Чайковского, Пятую симфонию. И когда знакомые с детства звуки финала поплыли под сводами, закопченными электросваркой, пропахшими горелым маслом и окалиной, открылось что-то в душе, истина какая-то. Вспомнился разрушенный домик в Клину, фотографии военных лет...

Все оркестранты были во фраках, а слушатели — в спецовках, мастера — в халатах и кладовщицы из инструментальной тоже в халатах.

Я помню свое послевоенное детство и то, как выходили на сцену фрачные конферансье. С астрой на груди, с готовой шуточкой, что-нибудь вроде: «Только что шел я на наш концерт — и вот вижу...» А зал уже заранее улыбался, потому что все эти люди, прошедшие войну, голод, эвакуацию, живущие в коммунальных квартирах, видели в этом фрачном человеке какого-то выходца из другого мира, с неведомого острова, где тишь да гладь, где девушки в белых платьях из парашютного шелка танцуют вальсы Штрауса, а мужчины кушают пирожные эклер.

Оркестр играл Чайковского. Оркестр во фраках, слушатели в спецовках, но те и другие были рабочими людьми. И не было ни сюсюканья, ни улыбок заранее, авансом, все всё понимали, и я хотел написать об этом. О понимании работы. Но горели над крышами три голубые буквы «ЗИЛ», мы остановились у светофора, и я сказал, кивнув в окно:

— Завтра на завод нужно.

— На ЗИЛе работаешь? — спросил таксист.

Мне захотелось соврать и я соврал:

— В сборочном корпусе.

— Вкалывать приходится?

— Как везде.

— Ну, у вас там все по науке,— отметил таксист, и эта его скромная похвала заводу была мне приятна.

Я возвращался на свой завод. На завод, где я никогда не работал, но на мой. И эта осознанная вдруг причастность к заводу, к его судьбе удивила меня. Мне уже было не все равно, как там на ЗИЛе.

Извечное ли человеческое стремление к законченности сюжета, к логической его закольцованности, не знаю, что меня толкало, но мне захотелось пройти со Степаном Петровичем по новому корпусу, выросшему на Шестом дворе, где стояли мы вначале нашего знакомства и жаркий ветер гнал красную кирпичную пыль.

Чтоб попасть в автосборочный корпус, надо спуститься вниз в широкий туннель, облицованный белым кафелем, как подземный переход где-нибудь под шумной магистралью в столичном центре. Все такое же, только над головой вместо

уличного шума гул механизмов, приводящих в движение сложное хозяйство сборочного корпуса, и во время смены никаких прохожих нет. Ни попутчиков тебе, ни встречных. В белом кафельном мерцании гулко отдаются наши шаги.

В корпус можно войти и по верху, войти, так сказать, с улицы, но мы выбрали путь, каким идут сборщики на рабочие места, уже переодевшись.

Лестница из туннеля круто выводит вверх. Сначала на уровне взгляда возникают тонкие стойки перил, ноги сборщиков у конвейера — сандалии со стоптанными задниками, закапанные маслом кеды, эластичные носки...

Еще шаг наверх, и возникает сразу весь корпус, огромное пространство, залитое дневным светом и наполненное всегда волнующими запахами нового. Новой эмали, новой неезженной резины, новой электроизоляции... За несколько мгновений до нас прошел кто-то свежевыбритый, и пахнет одеколоном и бодростью.

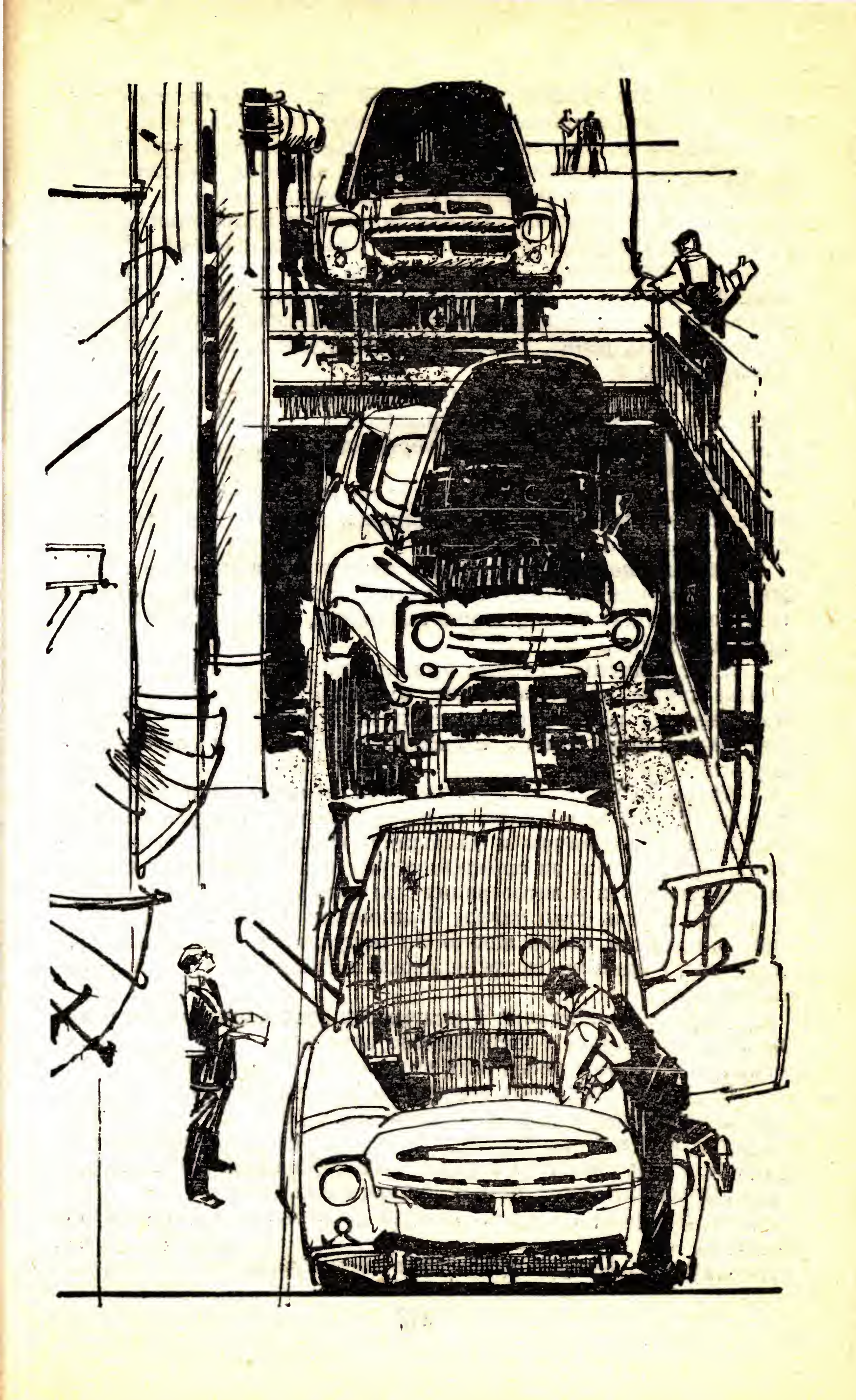
Высоко над головой, вдоль конвейера, плывут, покачиваясь и бликуя, автомобильные кабины — голубые, зеленые, песочные; по направляющим скатываются вниз, упруго ударяя в пол, как мячики, автомобильные баллоны, тонко и надсадно взвизгивают электрические гайковерты. Закручивать гайки вручную нет никакой возможности. Это все равно, что корову вручную доить. Дорого будет.

Здесь производят сборку автомобилей ЗИЛ-130, ЗИЛ-131, ЗИЛ-133 в условиях двухсменной работы.

Тянутся вдоль корпуса на полкилометра два стоечных конвейера, один конвейер для сборки двухосных моделей, второй — трехосных.

Мы шли вдоль конвейера, и на наших глазах из частей и агрегатов собирались автомобили, приближаясь к той черте, к тому завершающему участку, где царствуют шоферы-отгонщики, люди живописные, разбойничье в них что-то и хоккейное, диапазон от Стеньки Разина до Валерия Харламова и Фила Эспозито. В джинсах, в тельниках, с косыночками на шее молодые, разухабистые. Походочка, разворот плеч — все как в кино! Взглянуть надо, как картинно вскакивают на подножку, перекинув сигарету в угол рта. Хлопает дверца. Выстрел. И новенький, стерильный еще грузовик издает первое рычанье. Пошел!

С места трогают лихо, на больших газах, поиграв педалью акселератора. Так принято. У каждой профессии свои профессиональные обычаи, в общем-то, даже не регламентируемые строгими правилами. Они складываются годами. Отгонщики — отпетые парни, шалуны, лихачи, откатывают быстро, да и спешить надо: следом уже идет другой грузовик, такой же новенький, сияющий, только цвет не такой, не голубой он, а песочный, и дорогу ему, дорогу...



Может, это национальная черта? Что сохранилось с тех кавалерийских, тележных, гренадерских, ямских времен, когда выскакивали на позиции легкие казачьи батареи, хрипели кони, приседая на задние ноги, прислуга второпях рубила постромки, офицеры в расстегнутых сюртуках шпагой давали цель, и белые разрывы русской шрапнели накрывали французскую кавалерию. Какие ритмы присущи нашему национальному характеру? Не так ли было там, на Шевардинском редуте в дыму, в крови, в грохоте и конском ржанье? Каким законам подчинялись движения тех смоленских, ярославских, архангельских ребят, тяжелыми банниками прочищавших горячие стволы пушек?

«В хоккей играют настоящие мужчины... Трус не играет в хоккей...» — поет маленький транзистор, кинутый на переднее сиденье. Выстрелами гремят дверцы голубых, зеленых, песочных грузовиков.

Вот на том длинном напишут на ветровом стекле: «Уборочная» — и станет он крестьянином, повезет жарким проселком зерно на элеватор.

Идут по конвейеру будущие самосвалы и гужевые грузовички, которым на роду назначено таскать не перетаскать железобетонные балки, кирпичи, ящики, парфюмерию и пряники для деток.

Идут машины, готовые принять на себя цистерны, подъемные краны, электростанции, буровые для геологов, и уже на конвейере где-то с середины пути угадывается их будущее предназначение. Судьба и смысл. Этот пойдет в снега на север, этот — на юг.

Автомобильная судьба пишется заранее. Она готовится загодя. Потом она только подтверждается на утренних подмосковных шоссейках и сахалинских проселках, на кавказских серпантинах, на сибирских грейдерах, на северных неведомых зимниках и автострадах союзного значения.

Автомобиль стал таким будничным, что и говорить-то о нем в высоком стиле как-то не получается. Неудобно. Подумаешь, грузовик, то же невидаль какая, железяка на резиновом ходу.

Но в автомобильной будничности есть если не изначальное, то уважаемое и капитальное значение. Грузовик, нефть, сталь, хлеб — вот показатели сегодняшнего могущества.

Шоферы-отгонщики, сбившись в кучку, смотрят из-под руки, ждут своего номера. «Давай, Коля, твой подкатывает».— «Привет!» И над всем этим кондиционированным пространством, залитым неживым светом, гремит женский голос диспетчера, красивый голос, но как цветок без запаха:

— Товарищ Губарев, срочно позвоните в центральный пункт...

Помните, Пьер Безухов едет посмотреть сражение и, мо-

жет быть, самому принять участие. В белой шляпе он спускается с крутого холма. За спиной Можайск и красный стрельчатый собор. Там благовестят, колокольный звон далеко плывет над желтеющими полями. Конец августа, а по старому стилю — начало сентября.

На холм тяжело поднимается обоз с ранеными. Окровавленные повязки, бледные лица, искаженные страданием. А вниз спускается на рысях под благовест кавалерия, с песенниками впереди, уже переодетая к бою во все чистое, при развернутых штандартах, и не хочет видеть ни смерти, ни страданий, хотя идет на смерть. «Ах ты еж, перееж»,— выводит запевала.

Мы много знаем о тех временах, об истории такой дорогой для нас. Над топким берегом речки Колочи ныне стоит сельмаг об один этаж, где проголодавшиеся туристы покупают пряники, в бутылках можайское молоко, розовый портвейн Волгоградского розлива и консервированную рыбу мойву в томате, сорок копеек банка.

Туристы дышат здоровым воздухом, дивятся тогдашнему обмундированию, развешенному в стеклянных витринах музея, и никто не задается вопросом: сколько пороху, сколько ядер и бомб подвезли на это поле, по мнению Толстого, ничем не отличающееся от прочих полей России, чтоб 624 русских орудия весь день 26 августа 1812 года могли держать дуэль с 587 французскими? Сколько обозов тянулось сюда, сколько мастеровых людей работало на этот день?

Не кукушка куковала, много ли жить стране, то первые гудки плыли над слободскими ее заводами, над дымной Тулой, над лесным Невьянском, над Петрозаводском... Слишком лакомый была она кус для соседей западных и соседей восточных, и давно бы сожрали ее за милую душу с морковкой и укропом, если б, кроме огорода, не имела она своих умельцев, не ковала брони, не вострила мечей с тех стародавних времен, когда орды кочевников, объедая кору с деревьев, докатывались до Константинополя. Каким масштабом мерить? В сто лет, в двести, в тысячу...

Самолетная тень накрывает быковский лес, и дрожат в моих руках рисунки кружек, сохраненные с первозданных времен, выстраданные и защищенные, и переданные в каждой черточке от бабушки — внучке, от мамы — доченьке, чтоб наряжалась она, как положено, чтоб гордилась, что она русская, и детей рожала, которые в день великого испытания своей родины готовы были бы пролить кровь на том поле, ничем не отличающемся от всех других полей России, за счастье своей страны и преуспеяние. И стоят перед глазами кружевные елочки, лошадки, глазастые добрые человечки, с растопыренными руками от мам, от бабушек к нам пришедшие...

Непрерывная шеренга грузовиков обрастает автомобиль-

ной плотью, зажигаются фары, ближний свет, дальний свет, мигают подфарники, проверяются тормоза, шипит сжатый воздух, хлопают дверцы, и лица шоферов-отгонщиков, издали неясные, приобретают четкость.

Новорожденные грузовики, рыча в сто с лишним своих лошадей, откатывают на сдачу, резко садятся на тормоза, встав впритирку к таким же точно, своим близнецам. Там на светлой стене корпуса синими буквами: «Здесь работает бригада Героя Социалистического Труда Манахтина Анатолия Яковлевича».

Гудят моторы. Еще одна хлопает дверца. Выстрел. Пошел! Пошел! Пошел!

— Гоша, капот закрой! Гош...

— Товарищ Губарев, срочно позвоните...

А время гудит автомобильным мотором. Время рвет тормоза. «Спешите жить! Спешите жить! Спешите...»

Содержание

Добровольский Е. Н.

Д 56 Зеленая стрела удачи. Роман-хроника.— М.: Профиздат, 1979.— 352 с.

1 р. 90 к.

В основу романа положены реальные события. Прототипами героев автору послужили члены одной рабочей династии. Родоначальник ее был шофером купцов Рябушинских, а его сын, коммунист, активный участник строительства первого советского автогиганта, красного АМО, стал заместителем генерального директора ЗИЛа. В жизни семьи Кузяевых отразилась история страны. На их глазах начиналась индустриализация. Они работали с «великим автомобильным директором» Иваном Алексеевичем Лихачевым, сидели за рулем первых советских автомобилей, встречались с Генри Фордом-старшим, строили и мечтали о том, чтобы АМО превратился в крупнейший завод.

Д $\frac{70302-001}{081(02)-79}$ 106—79 4702010200

83.3Р7
Р 2

ИБ № 862

Добровольский Евгений Николаевич

ЗЕЛЕНАЯ СТРЕЛА УДАЧИ

Роман

Зав. редакцией В. Е. Вучетич
Редактор Ю. В. Василькова
Художник Г. Д. Новожилов
Худож. редактор А. П. Ерасов
Техн. редактор В. Д. Шульдешова
Корректор Е. Л. Тартаковская

Сдано в набор 08.12.78. Подп. в печать 08.06.79. А 08870. Формат $84\times108^1/_{32}$. Бумага тип. № 1. Гарнитура обыкновенная. Печать высокая. Усл. печ. л. 18,48. Уч.-изд. л. 23,33. Тираж 100 000 экз. Заказ № 928. Цена 1 р. 90 к.

Издательство ВЦСПС Профиздат, Москва, ул. Кирова, 13.

Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Тула, проспект Ленина, 109.

ЕВГЕНИЙ ДОБРОВОЛЬСКИЙ

ЗЕЛЕНАЯ СТРЕЛА УДАЧИ